ОСКАР УАЙЛЬД

Жак де Лангле

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Вниманию любителей творчества неподражаемого мастера изящной словесности и изысканного юмора Оскара Уайльда (1854–1900) предлагается одно из наиболее полных на сегодняшний день жизнеописаний величайшего английского поэта, писателя и драматурга конца XIX века, принадлежащее перу известного французского биографа Жака де Ланглада. Основываясь на огромном объеме документов и воспоминаний друзей и современников писателя, автор рисует подробную картину трагической судьбы Оскара Уайльда, неразрывно связанной как с жизнью артистической богемы, так и с политическими событиями, происходившими в Западной Европе. Обращение к этой теме именно французского исследователя вполне закономерно: с Францией связаны как самые счастливые, так и самые трагические периоды жизни Оскара Уайльда; когда Уайльд после выхода из тюрьмы вынужден был бежать от ханжества викторианской Англии, Франция его приютила; именно здесь он умер и был похоронен.

- Жак де Ланглад. Оскар Уайльд, или Правда масок
  - НЕСПАСАЮЩАЯ КРАСОТА
  - ПРЕДИСЛОВИЕ
  - Глава I. КОРОЛЕВСКОЕ ДИТЯ
  - Глава II. ЭСТЕТСКОЕ ТУРНЕ
  - Глава III. САЛОННАЯ СЛАВА
  - Глава IV. ВСТРЕЧА С ДОРИАНОМ ГРЕЕМ
  - Глава V. ДОЛГИЙ ПРОЦЕСС
  - Глава VI.ИЗ ОДНОЙ ТЮРЬМЫ В ДРУГУЮ
  - Глава VII. РЕДИНГСКАЯ БАЛЛАДА
  - Глава VIII. ЕМУ НУЖНО БЫЛО УМЕРЕТЬ
  - Эпилог. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АККОРД
  - ХРОНИКА ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ОСКАРА УАЙЛЬДА[635]
  - БИБЛИОГРАФИЯ
  - ИЛЛЮСТРАЦИИ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6

- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50

- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94

- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138

- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182

- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226

- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270

- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314

- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358

- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402

- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446

- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490

- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497
- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503
- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518
- ○ 519
- ○ 520
- ○ 521
- ○ 522
- ○ 523
- ○ 524
- ○ 525
- ○ 526
- ○ 527
- ○ 528
- ○ 529
- ○ 530
- ○ 531
- ○ 532
- ○ 533
- ○ 534

- ○ 535
- ○ 536
- ○ 537
- ○ 538
- ○ 539
- ○ 540
- ○ 541
- ○ 542
- ○ 543
- ○ 544
- ○ 545
- ○ 546
- ○ 547
- ○ 548
- ○ 549
- ○ 550
- ○ 551
- ○ 552
- ○ 553
- ○ 554
- ○ 555
- ○ 556
- ○ 557
- ○ 558
- ○ 559
- ○ 560
- ○ 561
- ○ 562
- ○ 563
- ○ 564
- ○ 565
- ○ 566
- ○ 567
- ○ 568
- ○ 569
- ○ 570
- ○ 571
- ○ 572
- ○ 573
- ○ 574
- ○ 575
- ○ 576
- ○ 577
- ○ 578

- ○ 579
- ○ 580
- ○ 581
- ○ 582
- ○ 583
- ○ 584
- ○ 585
- ○ 586
- ○ 587
- ○ 588
- ○ 589
- ○ 590
- ○ 591
- ○ 592
- ○ 593
- ○ 594
- ○ 595
- ○ 596
- ○ 597
- ○ 598
- ○ 599
- ○ 600
- ○ 601
- ○ 602
- ○ 603
- ○ 604
- ○ 605
- ○ 606
- ○ 607
- ○ 608
- ○ 609
- ○ 610
- ○ 611
- ○ 612
- ○ 613
- ○ 614
- ○ 615
- ○ 616
- ○ 617
- ○ 618
- ○ 619
- ○ 620
- ○ 621
- ○ 622

- ○ 623
- ○ 624
- ○ 625
- ○ 626
- ○ 627
- ○ 628
- ○ 629
- ○ 630
- ○ 631
- ○ 632
- ○ 633
- ○ 634
- ○ 635

Жак де Ланглад. Оскар Уайльд, или Правда масок

НЕСПАСАЮЩАЯ КРАСОТА

Длинный шлейф сплетни тянулся за Оскаром Уайльдом при жизни, и даже посмертно сплетня не оставила его в покое.

Стараниями врагов и просто жадной до пересудов черни имя Уайльда стало своего рода символом порочности. Преодолеть

инерцию подобного отождествления было непросто и людям непредвзятым, к тому же не обделенным художественным слухом. Давала себя почувствовать магия укоренившегося мифа. Перед нею отступали, оказываясь беспомощными, и объективность, и такт.

Вот лишь один из многих примеров этой невольной несправедливости. В романе Ивана Шмелева «Иностранец» — он писался слабеющей старческой рукой и не был завершен — герою, бывшему русскому офицеру, из-за легочного ранения, полученного еще на галицийском фронте, приходится ехать в горный санаторий в Пиренеях. Там собралось общество бездельников, поглощенных бриджем, флиртом и синема, где показывают мелодрамы с нескромными кадрами. Под вечер в курзале иной раз заходит разговор об искусстве, и это особенно невыносимо для бывшего капитана Виктора Хатунцева. Он боготворит Чехова, испытывает трепет над строками Шелли и Эдгара По. А «эти прокисшие сливки континента и островов», ничего в жизни не читавшие, смеют с апломбом толковать о поэзии и — подумать только! — Шелли, «чистейшего» Шелли «сравнивают… с Оскаром Уайльдом!»

Кощунство для Хатунцева не в том, что сопоставляют несоразмерные таланты. Еще ужаснее, что в один ряд попадают взаимоисключающие нравственные величины.

В своем возмущении персонаж Шмелева вполне типичен. И не только для описываемого времени, 20-х годов. Он остался бы типичен и сегодня.

На парижском кладбище Пер-Лашез, по пути к могиле Эдит Пиаф, туристов непременно проводят мимо покрывшегося мхом камня. Группа останавливается, гид поясняет, что тут обрел последнее упокоение нашумевший английский писатель, который возбуждал много пересудов своей беспутной жизнью и был предан суду, потому что оскорблял правила нравственности. О том, что Уайльд написал, не поминается ни словом. И незачем. Ведь публику интересует связанный с Уайльдом скандал, а не его творчество.

Тихо жужжат магнитофоны, стрекочут кинокамеры, вспыхивают блицы. Легко вообразить, как, вернувшись домой, эти американцы и японцы будут слово в слово повторять рассказ экскурсовода и демонстрировать слайды. Попытайтесь переломить изустно создаваемую репутацию — напрасный труд. «Оскар Уайльд? А, это тот англичанин, который соблазнял мальчиков из хороших семей».

В книге Жака де Ланглада приведены многочисленные примеры такого рода оскорбительных выпадов против Уайльда и

прямой клеветы на него, которую пытались закамуфлировать сомнительным остроумием. Никому, конечно, не было дела до истинных побуждений, которые им руководили. Никто — или почти никто — не воспринял бы всерьез те потрясающие признания, которые содержатся в приведенном у Ланглада письме Уайльда одному из друзей, написанном уже после тюрьмы: «Любовь, зовущая, призывающая с распростертыми объятиями… ну кто бы устоял перед таким соблазном? Я не мог… мне было так одиноко, я так ненавижу одиночество».

Куда соблазнительнее было обратить все случившееся в скандал, а затем посостязаться в зубоскальстве, сочиняя водевили под броскими названиями «Закат Оскара» или «Опасности свиданий тет-а-тет с эстетом». Самое печальное, что в суждениях об Уайльде примерно такие же ноты прозвучали и у тех, кто очень хорошо знал: тут не фарс, а трагедия. Да к тому же сопровождаемая неистовством лондонских обывателей, которые рвали на куски фотографии писателя, выставленные в витринах книжных лавок.

Откровенное недоброжелательство к Уайльду чувствуется даже у Альбера Камю, замечательного французского писателя и философа, лауреата Нобелевской премии. Никто не упрекнет его в узости взглядов и понятий. И тем не менее в эссе, посвященном Уайльду, Камю не нашел иных слов, кроме тех, которые скорее подошли бы для прокурорской речи. На взгляд Камю, ничто не извиняет мимолетно прославившегося фланера, модника и себялюбца, который наивно верил, будто, дразня мещан подчеркнутой странностью своего поведения, можно всерьез поколебать пошлые понятия и окаменевшие устои.

А ведь это Камю, мыслитель, никогда не соглашавшийся с догмами и возвеличивший свободу выбора духовной позиции — вопреки мнениям, которым придан статус непреложности.

Чего же ожидать от остальных?

Правда, среди остальных были биографы строгие и добросовестные, со всем тщанием восстановившие цепочку больших и малых событий, из которых состоит жизнь Уайльда. Был такой мастер литературной биографии, как Хескет Пирсон, которого у нас знают по книгам о Диккенсе и Шоу. Был Ричард Эллман, крупнейший литературовед, написавший об Уайльде том необъятных размеров, который заполнен разнородными, подчас очень ценными сведениями.

Тем не менее книга Ланглада явно выделяется и на этом фоне. Она основана на тщательном изучении документов, до недавнего времени остававшихся известными лишь специалистам, а иногда новых и для них. В ней тщательно

восстановлены все существенные события жизни Уайльда и показано, какая это была сложная, яркая, можно сказать, уникальная личность. Причем, в отличие от предшественников, старавшихся описывать Уайльда на фоне общественных и литературных событий его времени, Ланглад уделяет основное внимание как раз исключительности этой фигуры. Для него Оскар Уайльд — это творческий дар в самом чистом своем выражении, воплощенное благородство, которое проявляется даже в минуты жестоких потрясений. Пожалуй, такого Уайльда не приходилось встречать ни у кого из прежних биографов.

Правда, и этой книге отчасти присущ недостаток практически всех биографических очерков: чем достовернее факты и полнее их перечень, тем ощутимее отдаляется от нас художник Уайльд. Но все же и в этом отношении Ланглад выигрывает, особенно на фоне Эллмана. Он в большей мере, чем другие, учитывает, что герой его повествования — романтик, который не проживает, а созидает собственную жизнь. В жизненных отношениях такие люди остаются теми же служителями красоты, что и в искусстве. Этим в случае Уайльда объясняется многое, если не все.

Может быть, единственное существенное возражение, которое наверняка появится у читателей этой биографии, сведется к тому, что интимным сторонам жизни Уайльда в ней уделено слишком много внимания: так много, что шокирующие подробности, случается, заставляют позабыть обо всем остальном. Искусство Уайльда словно бы оказывается чем-то не таким уж существенным для понимания его личности. Повторяется сюжет, о котором когда-то с горечью размышлял Александр Блок: какой ужас для поэта, если он сделается «достояньем доцента». Всему отыщут свои причины, все разложат по полочкам, а ведь поэт обязательно таит в себе что-то загадочное, необъясненное. Возможно, и необъяснимое.

Впрочем, это почувствовал и Ланглад. Свою задачу он видит главным образом в том, чтобы развеять многочисленные легенды об Уайльде и покончить с отголосками тех клеветнических домыслов, которые слышатся вот уже целое столетие. Честность — пожалуй, основное достоинство его рассказа. Он не скрывает своей любви к Уайльду, как и своего возмущения ханжеством викторианской Англии, которое явилось не последней причиной разыгравшейся трагедии. Однако сама трагедия реконструирована в его книге беспристрастно и аналитически, — заслуга, которую оценит каждый, кто знаком с литературой об Уайльде (поистине огромной, как становится ясно даже из выборочной библиографии, завершающей книгу Ланглада).

Меж тем каждому, кто пишет об Уайльде (а особенно о

судебном процессе и причинах, которые к нему привели), приходится преодолевать и сложности совсем особого рода, вступая в соперничество с самим Уайльдом. В тюрьме он создал «De Profundis», быть может, самую горькую исповедальную книгу на свете. Себя он не щадит ни в чем, изводит душу перечислением своих слабостей и грехов, порою сильно преувеличенных, кается и взывает к снисхождению. Но не может удержаться — да и нужно ли? — от язвительных выпадов против тех, кто, мягко говоря, способствовал именно такому завершению его блистательного, но недолгого пути. Он предчувствует, что дни его сочтены. Ему нужно сказать всю правду: о себе и о тех, кто находился рядом.

Когда есть столь значительный автобиографический документ, сложно даются иные трактовки и версии. Уайльд рассказал о себе лучше, чем это мог сделать кто бы то ни было. Всякая иная интерпретация покажется натяжкой. На этой мине подорвались многие концептуальные построения, и книга Ланглада, при всех необходимых оговорках, поражает тем, что ее автору удалось избежать такой участи. До Ланглада с той же трудностью смогли справиться лишь немногие, — пожалуй, лучше всех английский прозаик Питер Акройд, автор романа «Последнее завещание Оскара Уайльда». Он вышел в 1983 году.

Это виртуозная книга, в ней с необычайным мастерством переданы не только взгляды Уайльда, но сам характер его мышления. Ирония, игра несочетаемыми понятиями, которые сближены парадоксом, местами едкость, местами наивное самолюбование, — все это у Акройда воспроизведено с чувством меры, не изменившим ему ни разу. Писатель подобен искушенному музыканту, который, нигде не отступая от партитуры, умеет создать собственную интерпретацию. И она тоже становится, как исполняемое произведение, фактом искусства.

В романе Акройда перед нами больной, измученный человек, которому жить осталось три месяца и приходится мириться с нищетой, отверженностью, убожеством быта. Еще клубится пыль над обломками, оставленными недавней катастрофой. Прошлое отрезано, настоящее угнетает. Будущего просто нет.

Рассказ ведется от первого лица. Иное художественное решение выглядело бы фальшью. «Последнее завещание» — как бы дополнительный материал к тому, что написал о себе сам Уайльд. Однако рассказ продолжен и доведен до окончательной развязки (на самом деле, выйдя из тюрьмы, Уайльд не писал ничего).

Оттого так убедительны у Акройда картины душевного

состояния умирающего Уайльда, вся сложная гамма противоборствующих чувств смирения, презрения, ужаса, гордости, отчаяния. Такое не достигается одним лишь литературным мастерством. Необходима способность перевоплотиться в другого человека, самому пережить все, им испытанное. Писательская способность.

Ланглад пишет не роман, а биографию в точном значении слова. Однако его метод примерно тот же самый — попытка проникнуть в сокровенные побуждения героя, увидеть его мир как бы изнутри. При сходстве установок результат оказывается совсем иным, чем у Акройда. В «Последнем завещании» воссоздана личность скорее жалкая, чем притягательная, человек с непоправимым надломом, искатель изысканных наслаждений, тяжело расплатившийся за свое гурманство. И на страницах Ланглада порой главенствует эстет, денди, настолько увлеченный избранной им ролью, что он даже не замечает собственных ошибок, которые оказываются непоправимыми. Но прежде всего это гениальный художник, и он остается гением даже в те минуты, когда его вдохновение дремлет и когда свершается круговорот обыденной жизни, которая для него — так он устроен — никогда не сделается плоской, бесцветной будничностью.

Как каждая версия, трактовка, предложенная Лангладом, вероятно, может быть оспорена или, во всяком случае, уточнена. Однако в ее пользу говорят тщательно собранные факты. И самое важное, ею подчеркнута та особенность Уайльда, которая и вправду значительнее всего остального, — его бесконечная, хочется сказать, фанатичная вера в спасительную миссию искусства.

Есть у него цикл стихотворений в прозе, когда-то великолепно переведенных на русский Федором Сологубом. Открывает этот цикл стихотворение «Художник», которое, быть может, следует рассматривать как самый яркий из всех манифестов Уайльда. В нем — сгусток его заветных идей, вся его вера.

«Радость, пребывающая одно мгновенье» и выкованная из «печали, длящейся вовеки», — вот евангелие Уайльда. Не считаясь ни с насмешками, ни с нападками, он упоенно проповедовал его и в своих художественных произведениях, и в эссеистике. Он то пускал в ход оружие разящего парадокса, то возносился в сферы чистой романтики, хотя при необходимости умел укротить противника выпадами беспощадно логичной мысли. Цель же оставалась одной и той же — восславить искусство и красоту, убедив, что все остальное эфемерно.

Поразительно, что в те времена торжествующей вульгарности

нашелся человек, ставший бескорыстным поборником красоты и поклонявшийся ей как единственному божеству. Сам этот взгляд на мир казался современникам Уайльда явной аномалией. Как тут было избежать упреков в притворстве и неискренности!

Но ничего притворного в Уайльде не было. Знаменитый афоризм героя Достоевского, что красота спасет мир, лучше всего мог бы выразить суть и дух убеждений английского поэта. Никто, кажется, не относился к подобным мыслям настолько серьезно, как он, хотя его самого красота не спасла. Да и никого не могла бы спасти, покуда речь идет не об идеалах, а о практической жизни.

Но для Уайльда между этими понятиями — идеалы, жизнь — не было разрыва. Чудо красоты внушало ему священный трепет, и он слагал гимны прекрасному, взирая на художника как на мага, чья власть беспредельна. Художник был для него существом избранным, ответственным только перед своим искусством и талантом, но уж никак не перед той моралью, которая сводится к плоским назиданиям пошляков! Не перед добродетелью, убивающей фантазию и свободу. Не перед логикой, оказывающейся просто набором банальностей.

Художник творит красоту и несет обязательства только перед нею одной. Потому что она одна заключает в себе истину. И не позволяет миру окончательно одряхлеть.

В его диалоге «Критик как художник» авторский двойник Джильберт утверждает: искусство «достаточно во всем». Оно «полностью аморально», ибо его цель — «переживание во имя переживания». А все прочее ничтожно, особенно заботы о том, чтобы ни на шаг не отступить от господствующей морали. По логике того же Джильберта, «сделаться образцом добродетели проще простого, если принять вульгарные представления о том, что есть добро. Всего-то и нужно проникнуться жалким страхом, позабыть о воображении и о мысли». А дальше — с решительностью, которую не назвать иначе, чем безоглядной: «Эстетика выше этики. Она принадлежит сфере более высокой духовности. Научиться видеть красоту вещей — это предел того, чего мы способны достичь».

Понятно, какая это рискованная философия. Противопоставлять красоту морали — подобное совсем не в традиции гуманистической культуры (уж тем более — русской). Но надо принять во внимание, против какой морали восставал Уайльд. Чаще всего это был пресловутый «здравый смысл», банальная доктрина целесообразности, кодекс приличий, которым подменено настоящее нравственное чувство. По прошествии века, теперь, когда извлекли на свет многие

документы и свидетельства, не предназначенные для посторонних глаз, можно с уверенностью сказать, что за всю историю Англии вряд ли была эпоха столь лицемерная и, по существу, столь распущенная, как конец XIX столетия. И зная это, невозможно не оценить мужества, с каким Уайльд отверг дух своего времени, пропитавшегося пошлостью, — пусть его бунт становился гибельным для самого бунтаря.

Уайльду много раз приходилось удостоверяться в беспочвенности своих представлений, будто не время формирует людей, а наоборот, человек сам создает свое время, утверждая торжество красоты и истины как норму существования. Но, убеждаясь в легковесности подобных надежд на обновление жизни, он все равно их не оставлял. И этому упорству мы обязаны несколькими прекрасными страницами, которые он вписал в историю литературы. Достаточно назвать его бессмертные сказки. Или стихотворения в прозе. Или книгу эссеистики «Замыслы». О драматургии, о романе «Портрет Дориана Грея» не приходится специально говорить — это живая классика. По прошествии столетия с лишним и комедии Уайльда, и его проза пробуждают такую же острую реакцию, как при своем появлении.

Уайльд жил в эпоху исторических канунов и радикальных перемен, которые вызревали в общественном сознании. «Конец века» был и концом определенного порядка жизни. Бескрылый рационализм и плоская логичность, насаждаемые в качестве непререкаемой нормы, уже не вызывали былого доверия. Видеть, чувствовать, выражать текущее, переживая его с наивозможной полнотой, — такие устремления пока еще казались странными или даже опасными большинству современников Уайльда. Однако будущее принадлежало тем, кто осознавал, что вся система ценностей и жизненных ориентаций становится иной, чем прежде.

И Уайльд был едва ли не первым, кто возвестил о необходимости творческого пересоздания жизни, выразив свой программный принцип в диалоге «Упадок лжи»: «Если окажется никоим образом невозможно сдержать или, по меньшей мере, видоизменить наше чудовищное поклонение фактам, Искусство сделается стерильным, а Красота отлетит от этой земли». В его время это казалось в лучшем случае чудачеством, если не пустословием и кокетством. Теперь мы знаем, что по существу он был глубоко прав.

Тогда уже входило в обиход словечко «декаданс», пущенное в ход французами: поэтом Полем Верленом, сказавшим о себе, что он — «римский мир периода упадка», прозаиком Жорисом Карлом Гюисмансом, чей роман «Наоборот» (1884) кое в чем

предвосхищает уайльдовского «Дориана Грея». Декаданс выразил томную и душноватую атмосферу «конца века», быть может, болезненно, однако по-своему достоверно. В нем была ущербность, причем скорее нравственная, чем художественная, но сквозь нее пробивалось отвращение к самодовольному скудоумию и жажда света, откровения, непреходящей духовной истины, сколько бы ни говорилось, что свободное творчество и мораль несочетаемы.

Конечно, Уайльд был слишком крупной индивидуальностью, чтобы воспринимать его только под знаком декаданса. Но в его творчестве и судьбе след этих веяний распознается очень отчетливо. Может быть, судьба и сложилась так именно оттого, что Уайльд считал делом своей жизни воспитание определенного художественного вкуса, а тем самым — укрепление образа мыслей и стиля жизни, которые ассоциируются с декадансом. Кстати, судьбы тех его литературных современников, с которыми он ощущал свое настоящее родство, оказались столь же печальными. Достаточно назвать Артюра Рембо, оставившего поэзию, когда ему было всего девятнадцать лет. Или того же Верлена, захлебнувшегося в объятиях «зеленой феи абсента».

Все они служили красоте, признав ее единственной неоспоримой истиной. И для всех неотвратимым становилось отчуждение от мира, в котором они принуждены обитать. В случае с Уайльдом это отчуждение вылилось в открытый конфликт, закончившийся расправой черни над «отщепенцем», имевшим смелость думать по-своему и строить жизнь без оглядки на общепринятые стандарты. Суть этого конфликта очень убедительно раскрыта в книге Ланглада. Видимо, необходимо внести только одно уточнение, — став жертвой интриг маркиза Куинсберри и лорда Дугласа, который сыграл во всей этой истории поистине роковую роль, Уайльд до какой-то степени и сам спровоцировал драму, которой не смог пережить, даже когда ад Редингской тюрьмы для него кончился.

Он на собственном опыте узнал, что такое ярость Калибана, который в его книгах, словно в зеркале, разглядел свой отталкивающий облик, — так, пользуясь образами из шекспировской «Бури», определил он собственные отношения с публикой. Но не слишком ли радикальной была позиция, требовавшая обособиться от этой публики, от «толпы», вызывающе резко, так что субъективный произвол — и в творчестве, и в сфере человеческих отношений — уже переставал нуждаться в каких бы то ни было обоснованиях и оправданиях? Ведь эта позиция грозила обратить творческую свободу в непризнание любых норм и обязательств. Она всего

последовательнее выразилась в «Саломее», довольно претенциозной драме, где эпатаж и своего рода шоковая терапия, которой подвергают публику, значили куда больше, чем взятый из Библии сюжет.

Уайльд и в дальнейшем не раз и не два с дерзостью противопоставлял себя «толпе», убежденный, что ее «снисходительность достойна удивления… она все готова простить, кроме таланта». Тепло обыкновенной жизни с ее простыми заботами, драмами и чаяниями оставляло его вполне равнодушным. Его вообще влекло за горизонт будничности, и как художник он всего органичнее осуществил себя, доверяясь чудесному, сказочному, рожденному фантазией и вдохновенной импровизацией. Но среди написанного им есть и такие страницы, которые остались только образцом стилизаторского мастерства, пусть исключительно высокого, или лабораторным опытом, правда необычайно интересным.

Вот эти страницы как раз и способствовали закрепившейся за Уайльдом сомнительной славе денди от искусства. Словно бы ничего другого он и не писал. Словно другому перу принадлежат «Гранатовый домик» и «Счастливый принц», и комедии, ставшие праздником юмора, и блистательная новелла-мистификация «Кентервильское привидение», и не менее блистательная филологическая новелла «Портрет г-на У. Г.», где с необыкновенным остроумием обосновывается догадка о том, кто явился прототипом героя шекспировских сонетов.

Редко к кому общественное мнение было настолько несправедливо, как к Уайльду. Но по-другому, наверное, и не могло быть, ведь сам Уайльд сказал, что «искусство, вовсе не являясь порождением времени, чаще всего находится в конфликте с ним». А он и в своей частной жизни воплощал собой искусство, которое всегда на подозрении у тех, кто поклоняется «полезностям» и придерживается «очень трезвого взгляда на веши», как Волк из его сказки.

Уайльд не принял этого взгляда. Для него истинным было только исключение, а не правило, только мгновенье, а не будни, только искусство, а не реальность, только фантазия, а не факт. И высшим импульсом для него неизменно была свобода от окружающей обезличенности, даруемая творческим началом, которое заключено в каждом и обязано проступить даже в самых заурядных заботах и делах. Вот что он подразумевал, снова и снова повторяя, что не искусство следует за жизнью, а жизнь подражает искусству.

Сам он, по собственному признанию, свой гений вложил в жизнь, а в литературу — только талант. Наверное, ему была бы

высшей наградой уверенность, что его книги создали новый человеческий тип или новое умственное состояние, подобно тому как некогда «весь мир сделался печален оттого, что печаль изведал сценический персонаж», созданный Шекспиром. Как галерея характеров обогатилась нигилистом, «чистой воды порождением литературы», поскольку «его выдумал Тургенев, а довершил его портрет Достоевский».

В такой награде судьба отказала Уайльду — не потому, что недостаточен был его талант, а по той причине, что в действительности природа все-таки не подчиняется образам искусства, сколь они ни притягательны.

Но если бы Уайльд ставил перед собой цели более скромные и традиционные, сама жизнь стала бы в чем-то беднее, лишившись его неповторимых книг.

Алексей Зверев

ПРЕДИСЛОВИЕ

Восемьдесят семь лет прошло со дня смерти Оскара Уайльда. Казалось бы, из того моря книг о нем, которые вышли с тех пор в разных странах и на разных языках, можно почерпнуть мельчайшие подробности его жизни. Ничуть не бывало. И это становится особенно очевидным, если сравнить, например, книгу Жака де Ланглада, которую вы держите в руках, с биографией, написанной Филиппом Жюлианом и вышедшей во Франции несколько лет назад. Книга Жака де Ланглада имеет преимущества уже хотя бы потому, что Филипп Жюлиан в своей работе почему-то не использовал письма Уайльда, опубликованные в Лондоне в 1962 году.

Лично я склонен сожалеть об этом упущении. Когда вышла в свет моя докторская диссертация об Оскаре Уайльде, которая, кстати, строго говоря, биографией вовсе не была, я изрядно сокрушался по поводу того, что у меня не было возможности работать с указанными письмами, поскольку в то время они еще не были собраны в едином издании.

Жак де Ланглад отнесся к этим документам гораздо менее беспечно, чем Филипп Жюлиан. Он даже почерпнул из них уйму важных подробностей и нигде ранее не опубликованных точек зрения, благодаря которым биография, и без того отличающаяся замечательной живостью изложения, приобретает особую ценность.

К примеру, Жак де Ланглад был тысячу раз прав, детально остановившись на процессе против отца Уайльда, обвиненного в изнасиловании одной из своих пациенток: прежде всего потому, что это был процесс по делу, связанному с сексом, и который, mutatis mutandis[1], явился как бы зловещим предвестником того шумного судебного разбирательства, жертвой которого стал впоследствии его сын. И во-вторых, потому что шумиха, поднятая в прессе вокруг слушаний по делу о скандальной жизни ирландского врача, произвела неизгладимое впечатление на юного Оскара. Жак де Ланглад справедливо замечает по этому поводу: «С тех пор молодой человек, подавленный сильным характером собственной матери и шокированный деяниями отца, начинает проявлять неспокойное отношение к вопросам, связанным со взаимоотношениями полов». Психолог сказал бы, что травма, полученная тогда Уайльдом, так и не позволила ему преодолеть эдипов комплекс. Я воздержусь от предположения, что именно этим объясняется его гомосексуальность, не будучи уверен, что такое объяснение вообще возможно. Однако стыд за

похождения отца и чувство унижения от того, что на тебя показывают пальцем одноклассники, несомненно, отразились на душевном равновесии десятилетнего мальчика.

Мне особенно пришлась по душе замечательная параллель, которую Жак де Ланглад проводит между судом над Уайльдом в Англии и процессом по делу Дрейфуса во Франции. Они разразились с интервалом в месяц, и, несмотря на то, что были совершенно разными по сути, оба привели к скандалам, последствия которых ощущаются и по сей день. Добавим к тому, что Уайльд, выйдя из тюрьмы и укрывшись во Франции, живо заинтересовался делом Дрейфуса. Неоднократно бывая в обществе Эстерхази, он услышал однажды сорвавшееся с его уст ошеломляющее признание в том, что именно он, Эстерхази, и был автором бордеро, за которое осудили Дрейфуса. В связи с этим Оскар Уайльд был впоследствии вызван в суд по делу Золя в качестве свидетеля защиты, однако обвинению удалось отвести кандидатуру этого свидетеля по причине его «аморальности».

Еще более поразительные параллели просматриваются в реакции общественного мнения в Англии по отношению к Дрейфусу и во Франции на приговор по делу Уайльда. Англичане единодушно сочли французов бездушными вояками, бросившими за решетку невиновного капитана только за то, что тот оказался евреем. А французы называли англичан лицемерными фарисеями, избравшими Уайльда в качестве козла отпущения, дабы отвлечь внимание от высокопоставленных особ, отличавшихся точно такими же склонностями.

В действительности отношения между Францией и Англией были и без того напряжены по причине колониальных амбиций обеих стран, что наглядно проявилось во время Фаходского кризиса 1898 года. Дело в том, что обе державы боролись за господство в одной и той же части африканской пустыни и потому злорадно замечали в глазу соперника соломинку, оставляя без внимания бревно в собственном глазу. И тем не менее полюбовное соглашение, то есть Антанта, надолго примирившая в радости и в горе «бездушных вояк» и «лицемерных фарисеев», была уже не за горами.

Жак де Ланглад повествует об отношениях Оскара Уайльда и Андре Жида в Африке, и я полностью разделяю мнение автора, описывающего, как Жид «был очарован» Уайльдом, который посвятил его в тайны магрибской любви, проторив путь многочисленным европейцам, решительно последовавшим за ними. В книге «Если зерно не умрет» Жид пишет, что еще до встречи с Уайльдом в Алжире он уже познал такую любовь с юным арабом. Однако в это трудно поверить, поскольку он

говорит о своей последующей связи с Оскаром Уайльдом в Алжире именно как о посвящении. Андре Жид рассказывает, как однажды в мавританском кафе поэт, заметив интерес Жида к юному флейтисту, решил предстать в роли дьявола-искусителя и спросил: «Ведь этот маленький музыкант вызывает у вас желание, не правда ли?» «Я вдруг ощутил, как у меня остановилось сердце; и сколько же мне понадобилось мужества, чтобы ответить „да“, и каким глухим был мой голос!» Зачем было бы говорить о «мужестве», если французский писатель ранее, без Оскара Уайльда, уже имел опыт гомосексуальных связей?

В книге «Оскар Уайльд» Жак де Ланглад убедительно показал, что Уайльд не просто вызывал у Жида неодолимое влечение, но оказывал влияние как на его личность, так и на творчество. Это доказательство тем более важно, что позднее Жид, не переставая превозносить красноречие Уайльда, сделал попытку принизить значимость его литературных работ. Не секрет, что творческое содружество писателей часто перерастает в неусыпную ревность.

Хочу также отметить, что письма Пьера Луиса, на которые ссылается Жак де Ланглад, ранее нигде не издавались и что они проливают неожиданный и ценный свет на историю рукописи «Саломеи», написанной Уайльдом по-французски: много чернил было пролито по поводу появления этого произведения, поскольку некоторые критики утверждали, что пьеса сначала была написана по-английски, а затем переведена на французский язык друзьями Уайльда. По этому вопросу Жак де Ланглад делает окончательный вывод: пьеса была написана автором на французском языке, а последующие исправления Пьера Луиса были немногочисленны и незначительны.

Жак де Ланглад делает также совершенно удивительное уточнение по поводу «католического вероисповедания» Оскара Уайльда. Крещенный при рождении в англиканской церкви, он был крещен вторично в католической вере в восьмилетием возрасте после того, как по просьбе матери в течение нескольких недель прослушал курс катехизиса у приходского священника церкви Св. Кейвина, близ Дублина. Пристрастие леди Уайльд к католической вере само по себе удивительно, поскольку в ее речах никогда не было и намека на религиозность. Быть может, причина кроется в страстном желании отождествить себя с ирландскими националистами, для которых, как известно, религия играет не последнюю роль.

Мне думается, что религиозные чувства Оскара Уайльда гораздо более глубоки и сложны. Выйдя из тюрьмы, он без сомнения переменил бы веру, если бы ему не было отказано в

приюте в том монастыре, куда он хотел удалиться. На смертном одре его соборовал католический священник, и если сам Уайльд так и не решился призвать исповедника, то, умирая, все же сказал Россу, что «только католическая вера подходит для того, чтобы достойно умереть».

В то же время Уайльд не скрывает скептицизма, когда восхищенно и эмоционально рисует образ Христа в своем знаменитом письме «De Profundis»[2]. Правда, границы между верой и неверием на самом деле гораздо более расплывчаты, чем кажется. У любого верующего бывают часы сомнений, у скептика — минуты веры.

Тяга Уайльда к католическому вероисповеданию довольно часто встречается у некоторых гомосексуалистов, независимо от того, кто они по происхождению — атеисты или протестанты. В качестве примеров можно назвать Росса, Верлена, Дугласа, Сакса, Кокто, Жида. Однако такая вера крайне хрупка. Саксу достаточно было часовой беседы с Маритэном, чтобы принять его веру. После нескольких месяцев тюремного заключения Уайльд перестал интересоваться христианством. Семинарист со скандальной репутацией, Сакс отрекся от духовного сана и вернулся к свободомыслию. Дуглас на склоне лет утратил интерес к религии. Росс стал вероотступником. Молитвы Верлена едва различимы в поэме «Счастье». Кокто порвал с Маритэном. Жид, слывший добрым католиком, ускользнул из лона церкви. Уайльд же вернулся в него лишь на смертном одре.

Не вызывает сомнения, что каждый гомосексуалист сталкивается с неразрешимым парадоксом, когда его живо привлекает религия, одним из устоев которой является тысячелетний запрет на подобные отношения, побуждающий общество к преследованию ему подобных и отягчающий душу сознанием собственной греховности. Это противоречие породило у Уайльда, равно как и у других гомосексуалистов, искушение верить и, одновременно, невозможность утвердиться в своей вере. Ему так и не удается принять до конца ни философию скептицизма, на которую он, казалось, был обречен, ни систему взглядов, ставящую под сомнение законность его жизненных устремлений.

Жак де Ланглад написал биографию именно так, как, по-моему, это только и можно делать: она наполнена персонажами и насыщена фактами. Таким образом, книга отвечает двум требованиям: простой читатель найдет ее не менее увлекательной, чем любой роман, полный отчаянных страстей, а исследователь обнаружит в неизвестных доселе фактах очередной повод для размышлений о соотношении жизни и творчества. Мне,

конечно, известно, что новейшая школа литературной критики требует рассматривать творчество вне связи с историей жизни автора. Но я считаю такую постановку вопроса ересью чистой воды. Жак де Ланглад прекрасно демонстрирует, что существуют два способа читать комедии Оскара Уайльда, причем второй — познакомиться сначала с личной трагедией, которую переживал автор в момент их написания, — кажется мне бесконечно более действенным, чем первый.

Робер Мерль

Глава I. КОРОЛЕВСКОЕ ДИТЯ

Речь идет о том, чтобы научить человека сосредоточиваться на мгновении бытия, которое само по себе не более чем мгновение.

Достаточно трудно взять на себя смелость[3] утверждать, что Оскар Уайльд родился 16 октября 1854 года в доме 21 по Уэстленд-Роу в скромном районе Дублина. Оскар стал вторым сыном в семействе Уайльдов; первым был его брат Уилли, появившийся на свет в 1852 году. Рождение Оскара было разочарованием для матери, которая страстно желала родить дочь, и потому до пятилетнего возраста упорно одевала сына в платья для девочек[4]. Экстравагантная семейка, в которой вырос юный Оскар, несомненно, приложила руку к проявлению его дальнейших наклонностей.

Мать будущего писателя имела прозвище мадам Рекамье[5] из Челси, но вся Ирландия знала ее под именем Сперанца.

Джейн Франческа Элджи, супруга сэра Уильяма Уайльда, родилась в 1824 году, однако, как это было принято в те времена, утверждала, что родилась в 1826-м. Ее отец работал юристом в Уэксфорде, а мать, мисс Кингсбери, приходилась двоюродной сестрой пастору Чарлзу Мэтьюрину[6]. Всю свою жизнь мать Оскара витала в мире выдумок и фантазий, утверждая, что по происхождению она итальянка и принадлежит к потомкам Данте Алигьери. Ложь для нее была искусством.

Мать Уайльда была рано созревшим ребенком: вместо того чтобы играть со сверстниками, она с удовольствием читала по-латыни и по-гречески, изучала французский, немецкий, итальянский языки, но при этом не оставляла без внимания политику, рассуждая о ней с друзьями отца и тем самым нарушая традицию, ибо девочкам того времени, хотя и разрешалось появляться на глаза, запрещалось вообще открывать рот. В свои семнадцать лет эта девушка вызывала всеобщий восторг необычной развитостью и умением вести беседу. Вскоре ее увлек национальный ирландский вопрос, и юная дива стала героиней восстания против английского правления. «Никто из тех, кто выступал с обличением политических ошибок в Ирландии, — пишет ее биограф, — не пользовался таким благоговейным вниманием, как эта очаровательная девушка, ставшая вскоре известной под псевдонимом Сперанца»[7].

Тем временем, пока формировалась эта сильная личность,

некий ирландский журналист, ярый националист Чарльз Гоуван Даффи основал газету «Нация» и так заявил о своих намерениях: «Становится очевидным, что сейчас стране требуется газета, способная оказать помощь и организаторскую поддержку массовому движению, охватившему наш народ»[8]. Первый номер газеты вышел 15 октября 1842 года; уже в нем демократический режим, на манер греческого или французского, был объявлен образцом для угнетенной Ирландии, являвшейся неотъемлемой частью Соединенного Королевства со времени подписания Акта о Соединении в 1800 году. Ирландия не разделяла всеобщего энтузиазма, который сопровождал восхождение на английский престол в 1837 году принцессы Виктории и ее бракосочетание 10 февраля 1840 года с принцем Альбертом де Сакс-Кобург-Гота. С 1843 года «Нация» стала оплотом сопротивления и опасным противником правительства королевы Виктории.

Катастрофический неурожай картофеля (основного продукта питания ирландцев) в 1846-м привел к «великому голоду» 1848 года. 24 февраля того же года вспыхнула революция в Париже. Свергнутый Луи-Филипп в сопровождении королевы 4 марта высадился в Нью-Хейвене. Ирландские патриоты под предводительством О'Коннора[9] устраивали демонстрации на улицах Лондона. Правительство лорда Джона Расселла вынуждено было сдерживать всплеск ирландского национализма, олицетворяемый Сперанцей: «Воинствующий национализм, — писала она, — звучавший в музыке и песнях Мура в начале нашего века, позднее усилиями О'Коннелла[10] превращается в мощнейшую политическую силу и проявляется в бурном 1848 году, когда волна восторженной страсти, кажется, переполнила сердце нации… Даже в стенах Тринити-колледжа были слышны звуки ирландского рожка, поющего гимн свободе»[11]. А в громкой статье «Jacta Alea Est»[12] эта воинствующая националистка зашла еще дальше, открыто призвав к вооруженному восстанию: «Двести тысяч ружей уже сверкают на солнце… Огромные баррикады перегородили улицы богатых кварталов… Быстрое решение, смелый порыв — и земля в наших руках»[13]. Свою революционную страстность она постоянно уснащала ирландским фольклором, легендами и мифами о привидениях и феях. В ее статьях нередко можно было встретить черта; обычно он обитал в замках богатых господ, например, в Каслтауне, где рогатый участвовал в ужине после охоты и шокировал гостей неслыханными речами. Неудивительно также, что Сперанцу покорила рассказанная немецким пастором Вильгельмом Мейнхольдом история «Колдуньи Сидонии», которую в ее переводе прочитала вся Англия.

Героиня произведения Сидония фон Борк была музой художника-прерафаэлита Берн-Джонса, околдовав и юного Оскара Уайльда. Считается, что она родилась в 1540 году и провела довольно бурную молодость, полную романтических приключений, как при дворе в Померании, так и в обществе конюхов, которые переодевались в привидений, чтобы беспрепятственно пробираться по ночам к ней в спальню. Помолвка Сидонии с герцогом Е. Л. фон Фольгастом была расторгнута из-за козней князей Щецинских, которые сочли, что в ней течет недостаточно знатной крови, и к тому же были шокированы ее поведением. От такого оскорбления она пришла в бешеную ярость и в отчаянии удалилась в монастырь Маринфлисс, задумав отомстить при помощи ворожбы. Доподлинно известно, что всех мужчин этого княжеского рода злой рок поразил бесплодием. В 1618 году герцог Фрэнсис приказал разыскать колдунью и арестовать ее в монастыре, настоятельницей которого она была. Герцог обещал сохранить Сидонии жизнь при условии, что она снимет заклятье с оставшихся князей. Ведьма отказалась и была публично обезглавлена, а затем сожжена 19 августа 1620 года на центральной площади города Щецина. Существует картина с изображением юной колдуньи Сидонии, написанная в 1554 году. Это произведение руки мастера школы Лукаса Кранаха позднее было переделано: в мастерской Рубенса на полотне было дорисовано изображение колдуньи, строящей гримасы из-за плеча девушки.

Совершенно очевидно, что такая судьба не могла не восхитить ирландскую пассионарию, а также будущего автора *«Портрета Дориана Грея»*.

После разгона массовой демонстрации, организованной О'Коннором, начались репрессии. И в это время опять отличилась Сперанца. На процессе по делу молодых патриотов она вышла на трибуну, прервав выступление генерального адвоката, и произнесла речь в защиту независимости. Гнев переполнял ее, и все с замиранием слушали ее страстную речь, так что даже председатель суда не осмелился приказать ей замолчать. Молодая женщина вышла из зала суда национальной героиней.

В ноябре 1851 года она стала женой известного врача-окулиста Уильяма Уайльда, страстного любителя археологии и путешествий и неутомимого искателя женской красоты. Этот уродливый человек был почти карликом, но отличался исключительной образованностью, обладая истинным даром соблазнителя и необыкновенным ораторским талантом, столь

ценным в стране, где беседа возведена в ранг искусства, сочетающего обаяние и выдумку, призванную приукрасить неприглядную действительность. Доктор Уайльд успешно оперировал катаракту у короля Швеции Оскара I, основал больницу в Дублине и написал ряд авторитетных научных трудов.

Это был странный союз ветреного и взбалмошного мужчины с гордой и высокоидейной женщиной. И в то же время они были великолепной супружеской парой, сплоченной общими фантазиями. Свадебное путешествие они предприняли по Скандинавии, где погрузились в мир удивительных древностей. По приезде в Данию Сперанца так описывала свои впечатления: «Здешняя жизнь так чужда дикости отставшей в своем развитии Англии… И вместе с тем никакого ханжества. Религия в Дании — просто дань красоте; их вере не свойствен фанатизм и присуще элегантное неприятие вульгарности»[14].

По возвращении в Ирландию молодые поселились в скромном доме на Уэстленд-Роу, где и родились все их дети: Уилли, Оскар и, наконец, долгожданная дочь Изола. После рождения Оскара Сперанца предельно искренне написала подруге: «Скорее можно представить Жанну д'Арк, покорную узам брака, чем Сперанцу, качающую люльку с мальчуганом! Ребенку всего месяц, а он уже красив и силен, как если бы ему было три; его назвали Оскаром Фингалом. Не правда ли, это великолепно, туманно и в стиле Оссиана?»[15] Доктор Уайльд уже сумел завоевать дружбу короля Швеции, который предложил стать крестным отцом новорожденного. Его крестили в традициях протестантской церкви и нарекли при крещении именами Оскара, Фингала, О'Флаэрти, Уиллса. Однако, если верить свидетельству Лоуренса Чарлза Придо Фокса, нельзя исключить вероятность того, что мальчик был крещен в католической вере. В 1862 году Лоуренс Фокс служил священником прихода Св. Кейвина в нескольких километрах от Дублина; он часто встречался с Уильямом Уайльдом, ярым противником католиков-реформаторов. Сперанца иногда вывозила детей на каникулы в Глинерр, где и был расположен приход. Она часто беседовала со священником и приводила Уилли и Оскара послушать проповеди. «Я не уверен, — пишет отец Фокс, — что она стала католичкой, однако очень скоро она попросила меня давать уроки сыновьям, один из которых оказался тем самым будущим экстравагантным гением Оскаром Уайльдом. Спустя несколько недель я крестил их обоих»[16].

Доктор Уайльд становился знаменит. Его талант был признан Наполеоном III, которого он лечил в Париже, а также королевой Викторией: Уайльда даже назначили окулистом Ее Королевского

Величества. Семья переехала в фешенебельный район Дублина в дом 1 по Меррион-сквер. А через несколько недель ирландское высшее общество, оценив по достоинству приемы в доме четы Уайльдов, уже регулярно собиралось у них послушать доктора и полюбоваться на величественную пассионарию, снова беременную. Всегда сильно напудренная, обычно она одевалась либо в черное, по случаю печальных событий, либо в белое, по случаю праздников или побед ирландских революционеров. Пеструю смесь завсегдатаев дома составляли английские офицеры из Замка[17], коллеги доктора, артистическая богема, политики и множество красивых женщин, быстро становившихся добычей хозяина дома. Среди частых гостей можно встретить Шеридана Ле Фаню, автора «черных» романов и племянника знаменитого Роберта Шеридана. Фантастические рассказы, перемешанные с воспоминаниями о великом драматурге и политическом деятеле, разжигали воображение юного Оскара. Последний вскоре был допущен на эти приемы, часто заканчивавшиеся далеко за полночь. Еще один постоянный посетитель дома на Меррион-сквер — профессор Махэйффи, будущий ректор Тринити-колледжа в Дублине. Этот пастор, европейски известный специалист по Древней Греции, любил строить из себя скептика; кроме того, будучи снобом, он старательно обхаживал обитателей Замка и представителей городской знати. Благодаря ему пейзажи и культура античной Греции рано стали питать живое воображение Оскара.

В 1864 году положение семьи Уайльдов достигло апогея. Оскару было десять, в тот год он безумно влюбился в свою сестру Изолу, пятью годами младше него. Мальчика определили на пансион в колледж Портора в Эннискиллене, расположенном в ста пятидесяти километрах к северо-западу от Дублина на реке Ирн, впадающей в Атлантический океан. Колледж располагался в белом деревенском доме, построенном над озером на территории обширного парка. Репутация учебного заведения была связана скорее с его историей и красотой окружающего пейзажа, нежели с качеством преподавания. Но это было одно из королевских учебных заведений страны, и в нем Оскар Уайльд провел семь лет.

28 января 1864 года был днем наивысшего признания достоинств придворного лекаря: королева Виктория пожаловала доктору Уайльду дворянство. По окончании церемонии в Замке Сперанца стала леди Уайльд: еще каких-то пятнадцать лет тому назад пассионария предрекала этому сословию гореть в вечном адском огне! «Сперанца была настолько же счастлива, — рассказывает ее биограф, — насколько и горда тем, что стала

„Вашим Высочеством“, что ее портрет кисти Бернара Мулервэна[18] был выставлен в Королевской Академии в 1864 году и что она стала вхожа в салон Его Превосходительства. Голос дворецкого, объявлявшего, что „карета леди Уайльд подана“, казался ей восхитительной музыкой»[19]. Что же касается Оскара, то он уже начинал проявлять незаурядные способности и превращаться в яркую индивидуальность.

Во время школьных каникул он приезжал к матери, окруженной всеобщим вниманием, то в Дублин, то в Мойтуру — так называли недавно построенный новый дом в Коннемара, краю озер и болот, блуждающих огней и духов, где дни заполнены ловлей лосося, охотой, купанием в темных озерах, украшающих тревожные пейзажи северной Ирландии, так описанных Ф. Жюлианом: «Гранитные глыбы то тут, то там выступают из воды цвета сепии; с одной стороны — торфяные болота, которые как бы продолжают озеро, с другой — ярко-зеленые поля, перерезанные каменными стенами… Июньские сумерки бесконечно сгущаются над этим мирным пейзажем, постепенно исчезающим в дымке, наполненной видениями»[20].

Но сам Оскар Уайльд предпочитал жизнь в Дублине, у ног матери, королевы высшего общества в салоне на Меррион-сквер. Его друг Гамильтон, кстати, очень увлеченный ею, вспоминает: «Вне всякого сомнения, Сперанца была самой яркой звездой земной галактики… Молодость, красота, исключительное воспитание, редчайший ум, личное обаяние, образованность, оригинальность и сила характера сделали эту женщину центром дублинского высшего общества»[21].

Газета «Нация», печатавшая памфлеты, попала под запрет. Именно с этого времени Сперанца посвятила себя литературе, стала публиковать стихи, выпустила многотомник ирландских легенд. Критики благосклонно принимали ее творчество: «Эта женщина, несомненно, обладает подлинным поэтическим даром, коли она написала столь прекрасное, полное силы и грации стихотворение, которое вы дали мне прочесть. Из любви к поэзии, а также из любви к старушке Ирландии ей необходимо продолжать писать и поскорее выпустить сборник»[22]. Все свои стихи Джейн Уайльд посвящала сыновьям; юный Оскар с удовольствием слушал комплименты, которые гости расточали его матери, а сам старался запомнить ее речи, как бы черпая из богатого источника собственного разговорного и литературного языка. Когда кто-то предлагал матери познакомить ее с уважаемым человеком, она восклицала: «Никогда не произносите при мне это слово. Только торговца можно назвать уважаемым человеком!» Однажды она так приняла дочь одного не слишком

талантливого писателя: «Добро пожаловать, милая. Как вы похожи на своего интеллектуала-папочку, вот только лоб не такой величественный, как у него… Мне говорили, у вас есть возлюбленный. Какая жалость, ведь любовь убивает честолюбие»[23]. Скрывая улыбку, Оскар поднимал на мать, у которой с раннего детства ходил в любимчиках, восхищенный взгляд: «Уилли хорош, — говорила она, — он на редкость умен, но Оскар — о, из него получится нечто божественное»[24].

Однако не все было так безоблачно на семейном небосклоне. Расходы по содержанию хлебосольного дома на Меррион-сквер, покупка мебели, загородного дома начинали сказываться на не столь уж значительных доходах доктора. Сам он стал раздражительным, отношения с клиентами разладились, он почти перестал следить за собой; доктор начал пропадать в тавернах и преследовать служанок; о его предосудительном поведении поползли скандальные сплетни. А леди Уайльд, как и раньше, принимала гостей, не обращая внимания на слухи, словно они и не достигали ее ушей. Она продолжала царить в своем салоне: длинное до пола платье из пурпурного шелка, припудренное лицо, волосы цвета ночи, руки, унизанные драгоценностями, медальоны на шее, вылитая «королева сцены провинциального театра», как шутили злые языки. До нас дошло описание одного из таких, нередко чрезмерно шумных, приемов: «В этой среде возвышенность мысли ни в коей мере не соответствовала привычкам повседневной жизни. Гостеприимный дом представал уделом роскоши и веселья, поздних ужинов, обильно сдобренных вином, беззаботных бесед и нарядов. Галантные приключения сэра Уильяма стали излюбленной темой разговоров. Даже его безупречная супруга порой грешила высказываниями, вряд ли предназначенными для детских ушей. В салоне матери и за столом у отца обосновались представители шумной и неряшливо одетой богемы, которые в избытке переполняли Дублин той эпохи»[25].

Падкая на рекламу леди Уайльд принимала и журналистов, публиковавших отчеты о приемах, на которых распущенность все чаще одерживала верх над благопристойностью: «В прошлую субботу известная своим выдающимся литературным творчеством леди Уайльд, признанная в Дублине второй мадам Рекамье, давала прием у себя на Меррион-сквер. Среди многочисленной и изысканной публики можно было встретить самых ярких представителей художественных, литературных и политических кругов. Преподаватели Тринити-колледжа преподобный Пребендари, преподобный Махэйффи и профессор Тайрелл

находились там рядом с известными судьями, адвокатами и некоторыми членами труппы Дублинского королевского театра. Нетрудно догадаться, что беседа шла на самые возвышенные темы, но основным предметом обсуждения стала поэзия…»

Успех салона на Меррион-сквер вызывал зависть многих завсегдатаев, которым было непонятно, каким образом хозяйке удается собрать вместе так много выдающихся личностей. «Достаточно их заинтересовать, — отвечала леди Уайльд. — Все очень просто. Стоит лишь пригласить самых разных людей, но ни в коем случае не зануд, и перемешать их, не слишком заботясь о морали. И не важно, если у ваших гостей ее вовсе нет»[26]. Сэр Уильям редко выходил в общий зал; он предпочитал уединяться на первом этаже с кем-нибудь из коллег и в спокойной обстановке, с сигарой в одной руке и бокалом коньяка в другой комментировать последние скандалы и сплетни.

Результаты такой экстравагантной и беспутной жизни не заставили себя ждать: кредиторы начинали хмуриться, судебные исполнители — являться для выполнения постановлений суда; на часть имущества был наложен арест, в то время как леди Уайльд находила себе утешение за чтением Эсхила. В дом наведывался и еще один, еще менее приятный посетитель — полупомешанная прежняя любовница доктора Уайльда, которая шантажировала его, угрожая расклеить по всему городу памфлет, разоблачающий его преступление. Это была некая мисс Трэверс, дочь преподавателя из Тринити-колледжа, которая уверяла, что сэр Уильям изнасиловал ее. Юная особа не слишком подбирала слова, объясняясь с сэром и леди Уайльд. Давно привыкшая к похождениям мужа Сперанца с ледяной иронией приняла нападки «оскорбленной» девушки. Но однажды, когда леди Уайльд уехала с детьми в маленький курортный городок Брэй в нескольких километрах к югу от Дублина, ее встретили расклеенные на стенах домов оскорбительные листовки; Уилли и Оскар никак не могли понять, что все это означало. Душа матери была оскорблена, и 6 мая 1864 года она отправила гневное письмо профессору Трэверсу: «Вы, может быть, не в курсе того, какие возмутительные выходки позволяет себе ваша дочь в Брэе. Она бессовестным образом сговорилась с уличными торговцами газет и заставляет их расклеивать по городу афиши, в которых утверждается, будто у нее была связь с сэром Уильямом Уайльдом. Если ей взбрело в голову бесчестить свое имя, мне до этого нет дела; но поскольку, оскорбляя меня, она рассчитывает под угрозой разоблачений выудить денег у сэра Уильяма, — что, кстати, ей неоднократно удавалось, — я считаю необходимым поставить вас в известность, что никакие угрозы и оскорбления не

заставят нас платить ей далее. Отныне вашей дочери, опустившейся до требования платы за свою честь, будет отказано навсегда»[27].

Это письмо не вызвало никакой реакции у отца, зато девушка, сочтя себя еще раз оскорбленной, поручила своему адвокату предъявить иск о возмещении морального ущерба в размере двух тысяч фунтов стерлингов: такова была цена ее девственности, если верить сложенному по этому поводу двустишию:

> Она пришла к нему невинной девой,
> Прощаясь, боле ею не была!

В подобной ситуации леди Уайльд была вынуждена думать о собственной защите; при этом, естественно, она не могла отрицать своего авторства. Она заявила, что письмо: 1) ни в малейшей степени не было оскорбительным; 2) не было клеветническим; 3) носило строго конфиденциальный характер. Короче говоря, она сама, очертя голову, напрашивалась на скандал, в точности так же, как поступил ее сын Оскар через тридцать лет, и весь процесс был фактически посвящен установлению истины по одному-единственному вопросу: виновен ли ее супруг в совершении профессионального проступка в соответствии с обстоятельствами, на которых настаивала в своем заявлении мисс Трэверс[28]. К вящей радости читателей, газеты немедленно набросились на это дело. Знаменитый придворный окулист, член Дублинской академии наук сэр Уильям Уайльд обвинялся перед судом в том, что усыпил при помощи хлороформа юную девятнадцатилетнюю пациентку с целью изнасилования! Можно себе представить интерес публики и замешательство судебных органов. Начало процесса превратилось в настоящий спектакль. В обращении к присяжным адвокат мисс Трэверс заявил: «Обстоятельства, которые мне предстоит изложить, настолько неприличны и чудовищны, что мне хотелось бы, чтобы это сделал за меня кто-нибудь другой». Председатель прервал его: «В таком случае, может быть, некоторые дамы, находящиеся сейчас в зале, пожелают выйти, прежде чем вы станете продолжать?»[29] Никто не двинулся с места, и многочисленные сидящие в зале женщины ограничились тем, что стыдливо опустили глаза. Между тем адвокат продолжал: «Господа присяжные заседатели, я не в силах взять на себя ответственность в точности описать то, что произошло в кабинете доктора Уайльда. Когда настанет время, мисс Трэверс сама выполнит грустную обязанность пересказать тот ужас, жертвой которого стала… Пока я только могу сказать, что она

лишилась самого дорогого, что у нее было, своей невинности, причем по вине мужчины, который благодаря своему положению более, чем кто-либо другой, обязан был помнить об оказанном ему Доверии»[30]. Не будет преувеличением сказать, что публика затаила дыхание.

Когда девушку вызвали для дачи свидетельских показаний, она подтвердила, что в 1854 году обращалась к доктору Уайльду и что он с самого начала относился к ней скорее по-дружески, нежели как к пациентке, часто одалживая деньги. Наконец она перешла к главному: «Однажды я попросила доктора осмотреть ожог у меня на шее. Но он внезапно схватил меня в объятия, и я потеряла сознание. Потом доктор Уайльд побрызгал на меня водой и, как только я пришла в себя, стал умолять меня встать поскорее, ибо иначе мы, по его словам, пропали». Истица подтвердила, что доктор изнасиловал ее, воспользовавшись беспамятством. Более того, она заявила также, что через несколько дней после происшествия получила от доктора письмо: «Простите меня. Я просто ничтожество. Я лежу сейчас в постели и думаю о вас… Будьте умницей и не рассказывайте никому о том, что произошло»[31].

Очередь доходит до леди Уайльд; ее нисколько не интересовали ни инсинуации мисс Трэверс, ни вся эта мрачная история с изнасилованием. Ею двигало желание защитить детей: «Единственной причиной, побудившей меня написать ее отцу, была боязнь того, что однажды такая листовка окажется у меня в почтовом ящике, а потом может случайно попасть в руки моих невинных детей. Кстати, моя дочь уже где-то подобрала один из таких листков и сказала: „Смотри, мама, это, наверное, о вас с папой. А что это значит?“»[32]

Суд вынес приговор в пользу мисс Трэверс, что, кажется, не причинило ущерба авторитету сэра Уильяма Уайльда. Что же касается юного Оскара, то он тяжко переживал скандал, так как стал предметом насмешек у себя в школе в Порторе, куда был недавно переведен. Его дразнили злым стишком, который сильно ранил его чувствительную натуру:

> Он окулист, имеет дом на Меррион-сквер,
> Талантлив, ловок и умен сверх всякой меры,
> Я расскажу, коли желаете вы знать,
> Что же заставило мисс Трэверс так кричать.

С тех пор молодой человек, подавленный личностью собственной матери и шокированный деяниями отца, начал проявлять неспокойное отношение к вопросам, связанным со

взаимоотношениями полов. Юноша был столь же деликатен и чувствителен морально, сколь силен и крепок физически. История сохранила для нас подробные воспоминания сэра Эдварда Салливана о четырнадцатилетием Оскаре во время его учебы в Порторе:

«Я познакомился с Оскаром Уайльдом в начале 1868 года в королевской школе в Порторе… Прежде всего сразу бросались в глаза его жесткие длинные волосы. В течение нескольких лет он оставался в свободное от учебы время очень ребячливым, живым, даже непоседливым юношей. Стараясь избегать мальчишеских игр, Оскар предпочитал кататься на лодке по озеру Лох Ирн, несмотря на то, что слыл неважным гребцом. С ранней юности он считался замечательным рассказчиком, блистая даром великолепно описывать события и приводя всех в восторг забавным пересказом своих школьных приключений. Одним из самых излюбленных мест, где ученики любили собираться после обеда, был Стоун Холл. Здесь Оскар чувствовал себя на коне… Помню, как однажды, уже после 1870 года, мы как-то заспорили о некоем преследовании на религиозной почве, которое наделало в ту пору много шуму. Оскар тоже был среди нас, поглощенный загадками суда рота[33]; он вдруг заявил, что больше всего на свете хотел бы стать героем такого же шумного дела и войти в историю, как защитник на процессе „Регина против Уайльда“. Он обладал истинно романтическим воображением, но вместе с тем в его речах всегда проскальзывала некоторая сдержанность, будто юноша неизменно отдавал себе отчет в том, что слушателей так просто не одурачишь… Больше всего он увлекался романами Дизраэли… уделял огромное внимание классической литературе, а элегантная легкость его переводов из Фукидида, Платона или Вергилия так и осталась непревзойденной… Все одноклассники были обязаны своими прозвищами исключительно острому языку Оскара»[34].

Сам Оскар писал позднее Фрэнку Харрису: «До самого последнего класса в Порторе мне было далеко до репутации брата Уилли. Я читал слишком много английских романов, слишком много поэзии, чрезмерно витал в облаках, вместо того чтобы заниматься по школьной программе. Смею утверждать, что знание, как оно всегда и бывает, пришло ко мне через удовольствие… Мне было почти шестнадцать, когда я внезапно начал осознавать чудо и красоту Древней Греции. Моему взору неожиданно предстали белые силуэты, отбрасывающие красные тени на залитые солнцем стены гимназии: группа обнаженных юношей и девушек на темно-синем фоне, подобно фризам Парфенона, как писал Готье. Я полюбил читать по-гречески и чем

больше читал, тем больше оказывался во власти волшебных чар»[35].

23 февраля 1867 года умерла младшая сестра Оскара Изола. Он погрузился в отчаяние, которое даже не пытался скрыть на страницах одного из своих первых стихотворных произведений «Requiescat»[36], вошедшего в сборник 1881 года. Леди Уайльд была безутешна, ей уже не суждено было оправиться от этой потери, от «грустной горечи», которой предалась отныне ее душа.

Будучи чувствительным и эмоциональным ребенком, Оскар был особенно подвержен риску быть вовлеченным в гомосексуальные связи, бытовавшие в среде школьных товарищей. Но что бы ни говорили о начале его любовных похождений, можно смело утверждать, что в ту пору это были случайные эпизоды, об одном из которых поведал сам Уайльд: «Я выбрал в наперсники одного юношу, который был младше меня на два года, и без конца рассказывал ему истории про Александра, Алкивиада, Софокла, чьими чувствами проникался в то время. Он слушал с замиранием сердца, с подлинным вниманием, которое я считаю признаком ума. Я же, погружаясь в образ героя, не отдавал себе отчета о производимом впечатлении. Вскоре мне предложили стипендию в дублинском Тринити-колледже, и я бросился поделиться радостью с другом. Он выслушал это известие с грустью и настоял на том, чтобы пойти проводить меня на вокзал на следующее утро. Расставание было безрадостным, и я видел, как печаль затуманила взор моего друга. И вдруг неожиданно, буквально за мгновение до того, как тронулся поезд, прежде чем я смог понять, что происходит, он сжал мое лицо своими горячими руками и поцеловал меня в губы. Затем тотчас соскочил с подножки вагона и скрылся из виду. Я ощутил холодные капли у себя на щеках: это были его слезы. Происшедшее глубоко потрясло меня: то была любовь, истинная любовь»[37].

После семи лет учебы в Порторе Оскар получил первое место по греческому языку, и это дало ему право на стипендию в Тринити-колледже в Дублине, куда он поступил 19 октября 1871 года. Его сразу поразили красота и элегантность учебных корпусов, которым было уже более трехсот лет. Колледж располагался в центре города и считался менее престижным, чем Оксфорд или Кембридж, причем при наборе учеников здесь не делалось различия между протестантами и католиками. Репутация колледжа значительно укрепилась с приходом на кафедру древней истории и культуры преподобного Джона Пентленда Махэйффи и Роберта Тайрелла — на кафедру латыни.

Оскар жил у родителей, в большом доме на Меррион-сквер, куда часто приглашал друзей: «Идемте ко мне, мы с матерью основали кружок и выступаем за отмену целомудрия»[38]. На следующий год они вдвоем с братом Уилли поселились в квартире с окнами, выходящими на северный фасад колледжа, в крыле здания, известном как Botany Bay[39]. Здесь Постоянно царил полный беспорядок, а на мольберте посреди комнаты, служившей гостиной, неизменно стояла картина, написанная маслом. Все свое время Оскар проводил за чтением: Суинберн, Саймонс, Шекспир… и Бальзак. «Я предпочитаю светские приемы в мире Бальзака любым приглашениям на балы у наших герцогинь»[40]. Несмотря на это, он был всегда желанным гостем в дублинских салонах, где расточал свое очарование в умении вести беседу, и разговор его сочетал огромную эрудицию с выдумками ирландца-фантазера. У себя в колледже он был членом исторического и философского кружков, участвовал в диспутах, чаще всего на религиозные темы. Уже тогда стало заметным предпочтение, которое он отдавал обрядам католической церкви. Но единственной его настоящей страстью оставалась Древняя Греция, о которой он писал: «Восхищение греческой культурой и удовольствие от чтения произведений греческих мыслителей и их жизнеописаний привели меня к более глубокому изучению этого предмета. Именно в Тринити-колледже у Махэйффи и Тайрелла я заразился страстью к древнегреческим идеалам и досконально изучил язык; оба эти преподавателя олицетворяли для меня весь колледж, а особенно я ценил тогда Махэйффи. Тайрелл был эрудированнее, но Махэйффи бывал в Греции, жил там и проникся замечательными идеями и чувствами этой страны. Кроме того, он всегда подходил к предмету с художественной точки зрения, и я все больше соглашался с ним в этом. Махэйффи был восхитительным собеседником… мастером изящных слов и красноречивых пауз»[41].

Несмотря на сан, Махэйффи был развратен: он предложил своему ученику принять участие в работе над книгой «Общественная жизнь в Греции от Гомера до Меандра», в которой широко освещался вопрос гомосексуализма. Именно со своим учителем юный Оскар постиг азы если не практики, то по меньшей мере теории гомосексуализма, отмеченного ореолом греческой красоты. Мир изящного и возвышенного тем более привлекал его, что за пределами школьных стен он ежедневно сталкивался с шокирующей грубостью и половой распущенностью однокашников: «Они были еще хуже, чем мальчишки из Порторы, — писал Уайльд, — в голове ничего, кроме крикета и футбола, скачек и прыжков, интеллектуальные экзерсисы они

перемежали драками и попойками. Если у кого-то и была душа, то ее обычно губили в объятиях вульгарных кабацких служанок или уличных девок. Они были просто ужасны»[42].

Видя такое беспутство, Оскар не мог удержаться от мыслей об отце, стыд за которого продолжал жечь его душу; мать — идеальная, далекая, величественная, представлялась ему словно частью светлого мира Древней Греции. Так у него зародилось понятие античной чистоты, красоты и всего, что из этого вытекает, противостоящих порочным, лишенным какой бы то ни было любви связям с куртизанками — свидетельством тому был его собственный жизненный опыт. Складывается впечатление, что на данном этапе своего развития Оскар Уайльд был обречен на гомосексуализм, благодаря культу изысканного и интеллектуального и физическому неприятию женского образа таким, каким он представал в рассказах однокашников об их грязных похождениях или в восхвалении проституток, с которым брат Уилли как-то выступил на очередном заседании философского кружка.

Из всех противоречий, которые так ярко воплотил Оскар Уайльд, отнюдь не самым незаметным был контраст между его высочайшей, рафинированной культурой, интеллигентностью и неуклюжей и грубоватой внешностью. Однокашник по Тринити-колледжу Салливан вспоминает об одном довольно характерном эпизоде: «Однажды он написал стихотворение, которое прочел прямо в классе. Все были поражены его исключительной красотой, но когда Оскар закончил декламировать, самый здоровый детина неожиданно разразился оскорбительным смехом. Никогда раньше я не видел, чтобы человеческое лицо отражало столько дикой ненависти. Оскар прошел через весь класс, резко остановился прямо перед грубияном и спросил, по какому праву тот позволяет себе издеваться над поэзией. В ответ мальчишка расхохотался пуще прежнего, и тогда Уайльд с размаху врезал ему по физиономии»[43].

Учеба Уайльда в Тринити-колледже — сплошная полоса успеха. Дважды он стал лучшим по итогам экзаменов в конце учебного года, завоевал приз по греческому стихосложению, дважды стал стипендиатом по классическому обучению и, наконец, в феврале 1874 года, на третьем году учебы ему присудили одну из самых престижных наград колледжа — золотую медаль имени Беркли[44] за успехи в греческом языке. Чрезвычайно польщенный успехом сына сэр Уильям Уайльд пригласил президента Ирландской королевской академии отметить этот триумф: «Мы позвали нескольких самых близких друзей на пирушку в Мойтуре в четверг, главным образом чтобы

поздравить дорогого Оскара, который удостоился на прошлой неделе золотой медали имени Беркли. Он всегда был очень к вам привязан и надеется, что вы разделите с ним эту радость»[45]. В 1874 году эта ежегодно присуждаемая высшая награда была вручена за издание сборника греческих комических поэтов Йоганну Мейнеке.

Университетская газета в Оксфорде опубликовала статью об успехах Уайльда, и самые несбыточные мечты юноши наконец сбылись: он удостоился годовой оксфордской стипендии в размере девяноста пяти фунтов стерлингов. Маленький ирландец, живший в тени собственного брата и витавший в мире иллюзий и Древней Греции, а главное, не имевший дворянского происхождения и не обладавший большим наследством, был допущен в святая святых английской аристократии: Оксфорд! Здесь царило Средневековье: великолепные сады, цветы, буколический пейзаж с обязательными пастухами. Колледж Св. Магдалины считался одним из самых элегантных учебных заведений университета. Он располагался на обширной территории, включавшей собственный загон для ланей, и был увенчан величественной башней, откуда каждый год 1 мая раздавалось хоровое исполнение церковных песнопений на латыни. В этом колледже учились Эдисон, Гиббон, поэт Чарльз Рид. 17 октября 1874 года сюда приехал Оскар Уайльд, переполненный нескрываемой радостью и гордостью: «Оксфорд, алтарь бесполезной борьбы и несбыточных надежд; Оксфорд Мэтью Арнольда[46], серые корпуса колледжей, таблички в пурпурном обрамлении, прячущиеся в листве деревьев, а вокруг — дивные луга, усеянные, как звездами, яркими пятнами крокусов и первоцвета… Оксфорд — это рай… Это волшебная долина, заключающая в себе, как в цветущей чаше, весь идеализм Средневековья»[47].

Благодаря стипендии в девяносто пять фунтов, а также скромной финансовой поддержке отца и наследству, оставшемуся после смерти двоюродного брата матери (вице-адмирала сэра Роберта Макклюэра, умершего в 1873 году), Оскар мог чувствовать себя вполне вольготно, когда добрался до Оксфорда, чуть поотстав от собственной блестящей репутации. Он сразу же стал экстраординарным явлением среди этих сказочных декораций, смешавшись с толпой обнаженных подростков, исполненных «животной красоты греческих юношей», по выражению Поля Бурже[48], расположившихся под сенью деревьев вдоль берега реки Червелл.

Вот как описывают Оскара Уайльда в этот незабываемый

период его жизни: «Сверкающий взгляд, широкая лучезарная улыбка; по правде говоря, личность привлекательная, притягивающая еще более благодаря таланту собеседника; достаточно было едва узнать его, чтобы тотчас отметить исключительные качества… Доброжелательность, покладистый характер, всегда хорошее настроение, неизменное чувство юмора и чисто ирландское гостеприимство, которое частенько не укладывалось в скромные рамки его возможностей, помогли Оскару завоевать известность, очень скоро вышедшую за пределы круга университетских товарищей. К концу первого учебного года в Оксфорде его комната, расписанная красками, отделанная лепными украшениями и выходившая окнами на реку Червелл, стала штаб-квартирой воскресных вечерних собраний, на которые радушный хозяин приглашал всех своих друзей»[49].

Гостей принимали за столом, на котором неизменно стояли два графина с пуншем, два футляра с трубками и набор лучших сортов табака, а также голубая фарфоровая посуда, о которой Оскар говорил, что надеется быть ее достойным, чем вызывал яростное возмущение одного из местных проповедников, который однажды взорвался на кафедре: «Когда мы вдруг слышим, как молодой человек не в шутку, а всерьез заявляет, что ему с трудом удается соответствовать высокому уровню каких-то вазочек из голубого фарфора, как тут не заподозрить, что в наши монастырские стены закралась некая форма атеизма, борьба с которым всегда была нашим священным долгом»[50]. В компании было всегда весело, но не шумно, чтобы не шокировать фарфор.

К 10 часам вечера гости с сожалением покидали маленький салон; иногда один или двое из наиболее близких друзей задерживались, чтобы продолжить увлекательную беседу. Здесь Оскару Уайльду не было равных: «Оскар всегда был лидером во время этих полночных разговоров, — вспоминал Салливан, — он непрерывно сыпал парадоксами, экстравагантными умозаключениями, странными комментариями о людях и предметах… Мы слушали, мы аплодировали, мы восставали против некоторых слишком смелых теорий»[51]. Именно во время одной из таких дружеских вечеринок Оскар Уайльд и предсказал свою судьбу: «Господь знает, что мне не быть деканом степенного Оксфорда. Я стану поэтом, писателем, драматургом. Я так или иначе буду знаменит, ну если не знаменит, то по крайней мере известен. Или, быть может, какое-то время буду жить в свое удовольствие, а затем, кто знает, вдруг брошу все, чем занимался до тех пор. Как Платон определяет высшую цель человека на этом свете? Сидеть и созерцать добро. Может быть, в конце пути меня ждет именно это. Все в руках Божьих. Чему быть, того не

миновать»[52].

Сразу же по прибытии в этот рай, оказавшись допущенным в приемную высшего общества, Оскар впервые надел на себя маску эстетского безразличия и презрения ко всему, что не является красотой. Он особенно усердно следовал советам Рёскина[53], отца современного английского искусства, главным образом художников-прерафаэлитов, оракула красоты. Этот преподаватель Оксфордского колледжа ухаживал одновременно за всеми молоденькими девочками и всячески поощрял любовные связи между своими студентами. Сперанца писала: «Оскар теперь учится в Оксфорде и живет в этом святилище интеллекта. Рёскин приглашает его на обеды, а Макс Мюллер[54] просто обожает»[55]. Одновременно с Рёскиным, этим пророком Истины, Добра и Красоты, который, наравне с Платоном, знал, что лишь их можно считать единым идеальным соцветием, в колледже преподавал один из самых крупных английских прозаиков Уолтер Пейтер, строгий слуга красоты, охотно оказывавший знаки внимания молоденьким мальчикам. Нет сомнения в том, что он испытывал сильнейшее чувство к этому юному студенту, восхищаясь его эрудицией и физической красотой. Однажды они оказались сидящими рядом, наблюдая за купанием студентов; вдруг Уайльд небрежно заметил: «Иисус-страдалец нынче устарел, его жертва и страдания были лишь слабостью; мы же идем к высшему искусству, когда строгая красота классицизма затмит колдовской аромат страсти»[56]. Уолтер Пейтер в экстазе бросился к ногам Оскара, крайне смущенного подобным проявлением восхищения.

Однако вскоре окружающие в очередной раз получили возможность убедиться в том, что этот длинноволосый и рафинированный эстет обладал недюжинной физической силой, ибо он оказался способен выставить за дверь троих не в меру возбужденных молодцов, вознамерившихся переломать его мебель. Он заставил главаря этой троицы вернуться в его собственную комнату, обрушил на него стоявшую там мебель и позвал всех желающих полюбоваться необычным зрелищем. С тех пор Оскара оставили в покое, даже если он по-прежнему отказывался играть в крикет или футбол и если оказывалось, что Платон, Вергилий и Шекспир привлекали его больше, чем бег трусцой. Один из близких друзей, некий Уорд, по прозвищу Вышибала, так рассказывал о Уайльде в этот период его интеллектуального становления: «Каким блестящим и сияющим он мог быть! Каким веселым и обаятельным! Но как быстро менялось его настроение, и сколько наслаждения находил он в непостоянстве! Мимолетная фантазия являлась в полном смысле этого слова сутью его существования. Осмелюсь сказать, что мы

нередко приходили в некоторое замешательство от вольности его высказываний и просто диву давались, выслушивая крайне необычную точку зрения на окружающие предметы. То был неизвестный нам доселе взгляд на жизнь, вызывавший постоянное удивление как образом мыслей, так и особой вычурностью слога или построением фразы… Находились и такие, кто считал Оскара невыносимым и самодовольным позером, однако он всегда был блестящим и умным оратором и по-своему любезным товарищем»[57].

Несмотря на ирландское происхождение, Уайльд испытывал постоянную тягу к католической религии. Один из оксфордских друзей, Хантер Блэйр, по прозвищу Старина Дански, обратился в католическую веру, и Оскар засыпал его вопросами о церковных ритуалах, а сам рассказал, сколько раз, будучи еще студентом в Дублине, вызывал негодование отца, крайне недовольного его пристрастием к католической церкви, посещением богослужений и даже чем-то вроде дружбы с некоторыми католическими священниками. Но хотя сам юноша и рассказывал об этом шутливым тоном, ни у кого не возникало сомнений в серьезности его увлечения католицизмом, о чем свидетельствует и сэр Рональд Гоувер, кстати, известный гомосексуалист: «Я познакомился с юным Оскаром Уайльдом… Это исключительно любезный и веселый мальчик с чудесными длинными волосами, только вот голова у него забита всякими глупостями про Римскую католическую церковь. Вся его комната увешана фотографиями папы и кардинала Мэннинга»[58].

В этот период Англия оказалась целиком охваченной религиозным кризисом вследствие публичных заявлений кардиналов Мэннинга и Ньюмена о необходимости обращения в католическую веру, подкрепленных еще и речами Пьюзи[59], проповедовавшего объединение церквей. В Ирландии нарастало недовольство протестантской церковью, и это приводило к новым столкновениям, расшатывавшим и без того зыбкую веру Оскара Уайльда, который после падения Наполеона III начал проникаться республиканскими идеями, полагая, что учреждение III Республики предвещало окончательное освобождение его родины. Вместе со вновь обращенным стариной Дански они ходили в старую католическую часовню в Оксфорде, слушали церковную музыку, и Оскар проникся уважением к отцу-иезуиту, отправлявшему службы и заинтересовавшемуся в свою очередь новым прихожанином. «Ему было не занимать ума, — вспоминал священник, — множества других положительных качеств, он был несомненно обаятелен, обладал хорошими манерами и замечательным слогом… Я убежден, что за его хвастовством и

фривольными речами крылось нечто гораздо более глубокое и сокровенное, что несомненно склоняло его к вере в Господа и католическому вероисповеданию»[60]. Конечно, доброго отца-иезуита несколько удивляло окружение Оскара Уайльда — Хантер Блэйр, Реджинальд Хардинг, Уильям Уорд, Фрэнк Майлз. Однако он не придавал особого значения казавшимся ему безосновательными предположениям относительно пристрастий Уайльда, который, впрочем, не отказывал себе и в обычных удовольствиях, встречаясь с танцовщицами кабаре, которые в конце концов заразили его венерической болезнью. Вместе с тем католицизм, такой, каким он его себе представлял, был скорее частью выдуманного мира, мира Оскара Уайльда. Уже с первых лет, проведенных в Оксфорде, он пытался найти убежище в этом мире, в чем и сам признавался: «В Оксфорде, словно в Афинах, обитатели стараются держаться подальше от мрачной действительности окружающей жизни… Именно в Оксфорде я впервые примерил французский кюлот[61] и шелковые чулки. Можно сказать, я произвел революцию в моде и сделал эстетичной современную одежду… Однажды я заявился на бал, переодетый в принца Руперта[62]; я почти не танцевал, зато говорил столь же яростно, сколь тот дрался, причем с гораздо большим успехом, поскольку всех своих врагов я обратил в друзей»[63].

Идет ли речь о Средневековье, католической церкви, ирландском фольклоре или собственных фантазиях, двадцатилетний Оскар Уайльд живет своим воображением, всячески импровизирует, а порой и лжет. Для него даже дружба — скорее интеллектуальное влечение, наподобие причащения к культу красоты, поэзии, совершенства души и тела.

В июне 1875 года Оскар Уайльд поехал в Италию. Во Флоренции он осмотрел капеллу Медичи, восхищаясь красотой цветного зеркально отполированного мрамора. Все вызывало его удивление и восторг, он восхищался драгоценностями, монетами из этрусского музея и даже послал отцу собственноручный рисунок саркофагов. Особенно поразила его одна увиденная на улице сцена, о которой Оскар написал в письме матери: «На обратном пути, прямо напротив дворца Питти, я увидел великолепную похоронную процессию: длинная вереница монахов, одетых в белое и с факелами в руках, вуаль из тонкого батиста закрывала их лица. Они несли два гроба и были похожи на тех ужасных монахов, которых изображали на картинах про инквизицию»[64].

После остановки в Венеции Оскар направился в Милан, однако никак не мог забыть ни с чем несравнимые, полные

романтики вечера, проведенные в городе дожей. Он так писал об этом: «По возвращении из театра мы высадились из гондолы у статуи Льва на площади Св. Марка. Картина была столь романтична, что казалась сценой из оперы»[65]. Но тут же замечал: «После замужества итальянки ужасно опускаются, но мальчики и девочки красивы»[66]. В Падуе он восхищался фресками Джотто, напоминавшими о Данте, бывшем здесь в изгнании; Милан и его экспансивные жители сильно напомнили ему Париж. Однако каникулы подошли к концу, то же можно было сказать и о деньгах. Пришло время возвращаться через Лозанну, а затем Париж.

Второй год учебы Уайльда в Оксфорде знаменовался для него прежде всего новым всплеском католического рвения. Он ходил на выступления кардинала Мэннинга в церковь Св. Юлия, хотя, впрочем, у него оставалось достаточно времени, чтобы потихоньку ухаживать за очаровательной сестрой своего друга Уильяма Уорда и водить дружбу с юным художником Фрэнком Майлзом, который получил некоторую известность после того, как написал портрет восхитительной Лилли Лэнгтри.

Вероятно, у летописцев семьи Уайльдов не все было в порядке с датами, поскольку налицо еще одна ошибка, на этот раз касающаяся даты смерти сэра Уильяма Уайльда. На самом деле это случилось 19 апреля 1876 года. О беспутстве его уже забыли, и газеты рассыпались в хвалебных статьях о знаменитом докторе. «На похоронах присутствовали президент и члены Ирландской королевской академии, а в знак особого уважения скипетр Академии был задрапирован в черное. На очередном заседании Академии была принята резолюция с соболезнованиями, и и в знак уважения к памяти сэра Уильяма обсуждение других вопросов было перенесено на следующий раз»[67]. Газетные хроникеры прослеживали основные этапы его карьеры, отовсюду были слышны выспренние слова о его эрудиции, преданности, ораторском таланте; никто и словом не упомянул о похождениях доктора и о скандальном процессе.

Оскар Уайльд ничего не забыл; его печаль измерялась лишь силой печали матери, которая писала: «День ото дня он все более слабел, слава Богу, не страдая при этом; последние дни он большую часть времени находился в беспамятстве и наконец скончался, как будто просто уснул. Эта потеря окутала мраком всю нашу жизнь. Я ощущаю себя кораблем, который терпит бедствие»[68]. Еще большую грусть вызвало известие о том, что состояние сэра Уайльда, которое оценивалось в двадцать тысяч фунтов стерлингов, оказалось обремененным многочисленными долгами, к тому же в завещании он отказал восемь тысяч фунтов

своему внебрачному сыну Генри Уилсону[69]. В результате вдова получила лишь триста фунтов, а Оскар — маленькое имение в Мойтуре. К счастью, университетская карьера складывалась очень удачно. Объем литературных познаний, а также живой ум и юмор, порой граничащий с дерзостью, не могли остаться незамеченными. Оскар был увлечен чтением Суинберна, когда ему пришлось сдавать обязательный экзамен по религии. Ему достался перевод на греческий двадцать седьмой главы Деяний Апостолов. Уже через несколько часов, к удивлению экзаменаторов, Уайльд завершил перевод этого бесконечно длинного текста, и те вынуждены были поставить ему высший балл, несмотря даже на довольно развязное поведение студента. Устный экзамен по окончании учебного года прошел еще более блестяще, и Оскар сам рассказал об этом в письме Реджинальду Хардингу: «Я побаивался того, что придется комментировать тексты из Катулла, а на самом деле сдал наиприятнейший экзамен очаровательному преподавателю, сначала по „Одиссее“, так что мы побеседовали о лирической поэзии вообще, о собаках и женщинах. А затем по Эсхилу, вместо которого мы обсуждали Шекспира, Уолта Уитмена и принципы поэтики. Он много говорил о моем эссе по поэтике Аристотеля и вообще был необычайно любезен»[70].

Летние каникулы застали Оскара в Дублине, где на него буквально навалились материальные проблемы. Пытаясь вырваться из этих пут, он на несколько дней уехал погостить к родителям Фрэнка Майлза в Ноттингемшир, где попал в окружение сразу четырех очаровательных девушек. «Мое сердце не выдерживает чувства восхищения, которое я испытываю ко всем четверым сразу, причем до такой степени, что это становится вредным для здоровья, так что на этой неделе я возвращаюсь в Дублин»[71]. Отец Фрэнка Майлза был дружен с кардиналом Ньюменом, кардиналом Мэннингом, Пьюзи, со всеми тогдашними столпами католической веры. Встречаясь с ними, Уайльд вновь чувствовал у себя пробуждение католических наклонностей и в письме своему верному Уорду писал, что для пущего их укрепления собирается съездить в Рим: «Сам не знаю, что и думать. Хотелось бы, чтобы и вы поехали в Рим вместе со мной и помогли мне во всем разобраться. Мне страшно ехать одному. Я никогда толком не понимал, насколько близко англиканская церковь подошла к тому, чтобы объединиться с Римом. Ведь до обнародования Непорочного Зачатия Пьюзи, Лиддон[72] и другие всячески стремились подписать договор о примирении и объединении с католиками, а теперь вдруг резко обратились к греческой православной церкви. Мне кажется, это

сон; так странно видеть, что они предпочитают Деву Марию, зачавшую во грехе»[73].

Оскар вернулся в Дублин 20 июля 1876 года и снова оказался в родительском доме на Меррион-сквер. Однако религиозные метания не оставляли его, о чем свидетельствуют строки из очередного письма Уорду: «Удивительно, как ты не видишь красоты и неизбежности воплощения Бога в человека ради того, чтобы мы смогли удержать за подол Бесконечность»[74]. «Дублинский университетский журнал» и «Ежемесячное католическое ревю» опубликовали три стихотворения Оскара Уайльда: «San Miniato», в котором он воспевает культ «Непорочной Девы Марии, Всемилостивой Царицы», «Ради музыки» и «Арона», в которых ожили воспоминания поэта о поразивших его итальянских пейзажах.

Вместе с Фрэнком Майлзом они уехали на несколько дней в Мойтуру порыбачить, пострелять куропаток и поухаживать за девушками, среди которых оказалась и Флорри Болкомб[75]; ее считают первой возлюбленной Оскара Уайльда. Его также нередко можно было застать у преподобного Махэйффи, который проводил свой летний отпуск в маленьком домике, расположенном у моря на берегу Дублинского залива. Здесь Оскар правил черновики книги Махэйффи о нравах греческого общества, размышляя о двусмысленности отношений двух студентов, которых однажды случайно застал вдвоем в театральной ложе. По всей видимости, Оскар уделил особое внимание этому происшествию, о котором он и написал все тому же постоянному адресату: «Вы единственный человек, с которым я могу этим поделиться, поскольку обладаете философским складом ума, только прошу: никому ни слова, вы ведь добрый малый. От этого ни нам, ни им лучше не будет»[76]. Читая рукописи о нравах Древней Греции, наблюдая обнаженные тела юношей, загоравших на берегу реки Червелл, Уайльд задумывался о существовании своеобразных отношений между молодыми людьми, с которыми был знаком. И именно тогда он влюбился в необычайно красивую юную ирландку Флоренс Болкомб, которая представлялась ему совершенно недоступной.

Вместе с Фрэнком Майлзом Оскар уехал в Коннемару, чтобы поработать над рецензией на книгу Джона Саймонса[77] «Исследования греческой поэзии». Столь тесные отношения с Майлзом вызывали удивление у Хардинга и Уорда, которые с некоторым оттенком ревности вынуждены были признать, что Фрэнк и Оскар стали неразлучными друзьями. В Дублине, Лондоне — они постоянно были вместе, на обедах и в театре, среди художников и артистов. Они аплодировали Генри Ирвингу

в «Макбете», Нелли Бромли в постановке Майлхака и Алеви, встречались с Эллен Терри и Лилли Лэнгтри, их принимали как в художественных мастерских, так и в светских салонах, где их вполне невинные отношения встречали лишь улыбку.

По возвращении в Дублин Оскара ожидали проблемы, связанные с вступлением в наследство отца, и заботы по обеспечению будущего матери. Тем более что помощи от брата Уилли ждать не приходилось, ибо хотя он и стал с недавних пор журналистом в Лондоне, чаще всего его видели за столиком в «Кафе Рояль» перед неизменной бутылкой коньяка, вечно грязного и неопрятно одетого, этим он очень напоминал отца.

И снова Оксфорд, где Оскара ожидал предпоследний учебный год. Он начал носить клетчатый сюртук, серые брюки и забавный котелок, которые делали его оригинальным, не выделяя, однако, из толпы студентов во время прогулок по парку вокруг колледжа Св. Магдалины. Впрочем, свойственная ему в это время насмешливая улыбка дает понять, что сам Оскар уже не слишком доверял чрезмерно яркой маске своего персонажа. Несмотря на то, что недавняя смерть сводного брата Уилсона вновь обратила его взор на католическую церковь, в ноябре 1876 года Оскар вступил в ряды франк-масонов, считающихся извечными противниками религии. 27 ноября его допустили на масонский обряд тридцать третьей степени в Оксфорде, а это ни в коей мере не совместимо с верой в Бога. «Недавно я сделался ярым приверженцем масонского движения, и мне действительно будет очень жаль отказываться от него, если я, наконец, решусь уйти от протестантской ереси»[78].

Благодаря протекции сэра Дэвида Роберта Планкета[79], Оскар сделал еще один шаг в лондонское высшее общество: его приняли в клуб Св. Стефана, расположенный на набережной Виктории, членство в котором было необходимым атрибутом для любого, кто желал считаться джентльменом. Он написал стихи и посвятил их новому другу, который так будоражил его мысли и воображение, словно на свете не было ничего более возбуждающего. И это при том, что, с одной стороны, Оскар не прекращал засыпать пламенными письмами Флоренс, чувство к которой отнюдь не угасло, а с другой, — поднялся на еще более высокую ступень, будучи представленным герцогине Вестминстерской.

Таким был студент Оскар Уайльд в конце 1876 года, нерешительный в выборе между протестантской религией и католицизмом, между античной красотой и мимолетными увлечениями, между дружбой с юным Огастесом Крессвеллом и любовью к Флоренс Болкомб. Свидетельством нерешительности,

свойственной молодому человеку в этот период, стало стихотворение «Напрасно прожитые дни», написанное в начале 1877 года и посвященное описанию прелестей юного друга, «хрупкого и деликатного мальчика, не созданного для мирских страданий», который в стихотворном сборнике 1881 года, предназначенном для более широкого распространения, превратится в «девушку-цветок». Оскар Уайльд полагал, что красоте греческих скульптур более соответствует внешний облик юношей, нежели девушек, которыми он предпочитал любоваться издали и которых воспринимал скорее разумом, нежели сердцем. Кстати, доказательством зарождения особого вкуса, ограниченного до поры до времени чисто эстетическим восприятием, было восхищение Оскара красотой юного спортсмена Баллок-Уэбстера, приехавшего на университетские соревнования. «Только что закончились университетские соревнования, и все было бы как обычно, если бы не участие Баллок-Уэбстера, чей бег стал одним из самых красивых зрелищ, которые мне когда-либо доводилось наблюдать. Обычно бегунам не достает фации — налитые мускулами ноги и раздутая, как у голубя, грудь; он же полон стремительности и бесконечно грациозен… Это как бег великолепной лошади… В Неаполе я видел две бронзовые статуи, изображающие юных греков, бегущих, как Уэбстер»[80].

Оставаясь увлеченным пышностью католических обрядов, Уайльд не терял надежды совершить паломничество в Рим вместе со своим другом Дански. Но, по собственному признанию, в этот период он был на мели, причем положение было настолько серьезным, что он даже подумывал о браке по расчету. Мать не желала и слышать об этом. «Мне будет очень жаль, — писала она, — если ты всерьез решишься на брак по расчету и потеряешь все надежды получить университетскую стипендию, притом я не считаю, что твоя бедность способна пробудить в ком-либо жалость или сострадание»[81].

Дански собирался навестить родителей в Монте-Карло и предложил попытать счастье в казино. Несколько фунтов чудесным образом превратились в шестьдесят, это позволило Оскару Уайльду присоединиться к приятелю в Генуе, и оба решили ехать дальше в Рим. Однако неожиданно Оскар встретил преподобного Махэйффи, который предложил ему ехать вместе в Грецию. Вот что Оскар писал с Корфу: «Это остров идиллической красоты, он целиком укрыт оливковыми плантациями. В Италии почти у всех оливковых деревьев подстрижены верхушки, и они выглядят искусственно, а тут ими можно любоваться в естественной красоте. Особенно поражает возраст веток, словно

скрюченных в страдании, именно так, какими их любит изображать Гюстав Доре[82]. А когда поднимается ветер, серо-зеленая листва начинает отливать серебром»[83]. Он писал оттуда и ректору колледжа Св. Магдалины Генри Рэмсдену Брэмли: «По дороге в Рим я встретил своего бывшего учителя, профессора Дублинского университета, господина Махэйффи, и он настоял на том, чтобы я поехал с ним на Миконос и в Афины. Радость от возможности увидеть эти места, да еще в столь изысканном обществе, была слишком велика, чтобы я мог устоять, и вот я на Корфу»[84]. В письме он предупреждал, что опоздает к началу занятий в апреле, впрочем, это не означало, что ему удастся избежать наказания по возвращении.

Оскар Уайльд в Греции! Эта историческая встреча с родиной греческой литературы, искусства и красоты — всем тем, что он всегда боготворил, должна была бы оставить для потомков несчетные восторги, описание пейзажей, обычаев, местных жителей. Однако, если не считать нескольких статей, опубликованных в 1885–1887 годах во «Всякой всячине», трех писем матери, Реджинальду Хардингу и ректору Брэмли, от этого путешествия в Грецию, которая всегда была для него второй родиной, не осталось никаких следов. Благодаря дорожному блокноту преподобного Махэйффи, можно восстановить их маршрут и предположить, что греческая действительность и трудности в пути заслонили собой мечту, в одеяния которой эта поездка облачилась для Уайльда по возвращении в Оксфорд.

Вот некоторые записи Махэйффи, благодаря которым можно представить себе впечатления Уайльда: «Нам повезло, что мы прибыли в Грецию ночью, когда великолепная луна отражается на глади летнего моря. Изрезанные берега Суньона и Эгины были еще довольно светлы, однако тень уже таинственно сгустилась, умеряя наше нетерпение поскорее рассмотреть всю картину при свете дня. И хотя мы обогнули Эгину и приблизились к скалистому берегу Саламины, Пирей продолжал быть скрытым от нашего взгляда. Вскоре мы увидели свет маяка Пситгалейя, и нам сказали, что порт находится с другой стороны. Мы продолжали плыть в полной темноте. Казалось, голые прибрежные скалы сливаются в одну линию, не оставляя ни малейшего прохода. Но вот корабль лег курсом на восток, и нашему взору открылись тысячи огней и множество судов, заполнивших знаменитый порт. Увы! В шуме и суматохе высадки на берег он мало чем отличался от других портов. Как и во времена Платона, порт Пирея остался пристанищем матросов со всего света, незнакомых с хорошими манерами… И все же, когда мы наконец вырвались из этой толкотни и оказались в тишине, на дороге в Афины, дороге,

практически не изменившей внешнего вида со времен Древней Греции, усвоенная нами классическая культура, изгнанная суетой торговли и жуткой портовой бранью, снова возобладала»[85].

Маленькая группа, возглавляемая преподобным Махэйффи, посетила Акрополь, храм Тезея, осмотрела колонны Адриана. Затем они поднялись на гору Химетт и испытали неподдельный восторг при виде красоты открывшегося вида и великолепных статуй. А после — снова разочарование скукой афинских музеев. Путешественники покинули Афины и уехали на Аттику, пересекая оливковые рощи и слушая пение соловьев, перепутавших день с ночью в тени густой листвы. Здесь, при ярком свете голубого дня они пересели на маленький парусник и подгоняемые сильным восточным ветром, взяли курс на Киклады. Между тем гармония Древней Греции вновь оказалась нарушенной из-за вспышки политической активности в преддверии предстоящих выборов. Скачка на мулах по Аркадии также не принесла радости; было впечатление, будто весна ни с того ни с сего сменилась хмурой осенью, да и пейзаж перед ними был не из веселых: «Между тем узловатые дубы — ветви, словно перекрученные в борьбе с бурями и заморозками, совершенно прозрачная листва — вся природа этой альпийской пустыни казалась пораженной старостью или жестокой болезнью, хоть и была отмечена какой-то особой красотой. Огромные стволы были сплошь покрыты серебристым мхом, будто бархатом».

Впрочем, мрачный лес наконец закончился, рассеялся туман, и взглядам путешественников открылся чудный вид на весь Пелопоннес. В Аргосе Оскар был немало шокирован тем, как преувеличенно страстно выражал его компаньон — святой отец — свои чувства по отношению к встречным мальчикам из окрестных деревень. Англичане без сожаления покинули Аркадию на борту рыбацкой шлюпки и поплыли вдоль южного берега, любуясь чудесными видами, бухтами и неожиданной растительностью. «Нет ничего более приятного, чем этот типично греческий способ передвижения — плавание от острова к острову или вдоль скалистых берегов на просторной и удобной шлюпке с палубой, дающей прекрасное укрытие от водяных брызг»[86].

Но самый удивительный прием ожидал путешественников в Агиос Петрос. «Нас любезно принял член деревенского совета, почтенный старец с белой бородой, который был врачом, но, к сожалению, оказался еще и политиком. Он буквально засыпал нас вопросами о Гладстоне[87] и о герцоге Бисмарке[88], а мы просто умирали от голода. Несколько рыбин, которых, к счастью, еще в Астросе купили наши погонщики мулов, стали украшением вечеринки, если, конечно, не считать потрясающую красавицу,

разодетую в несметное множество цветастых юбок и с кинжалами на боку, которая вышла поприветствовать нас перед ужином, с достоинством поцеловала каждому руку и оказалась в конце концов метрдотелем… Восхищенно наблюдая за грацией и изысканностью ее движений, мы поняли, сколь важную роль в поведении женщины играет великолепное одеяние»[89].

Но вот они бросили прощальный взгляд на восходящее над заснеженной вершиной горы Тайгет солнце и снова отправились в путь, сначала в Микены, а там — на корабль, плывущий в Италию, оставив на берегу попутчиков, которые, кажется, также разочаровали Оскара Уайльда. В Риме они встретили Уильяма Уорда и Хантера Блэйра. А кульминацией этих дней стала аудиенция у папы Пия IX, после которой Оскар заперся у себя в номере в гостинице «Англетер» и записал переполнявшие его чувства в стихах: это была поэма «Зарисовки из Италии». Одновременно Оскар написал стихотворение «Дорожные впечатления», посвященное поездке по Греции:

Сапфиром отливало море; небеса
Сверкали в воздухе пылающим опалом.
Мы парус подняли; и ветер нас погнал к востоку,
В сторону земли, укрытой дымкой синеватой.
С кормы высокой я впивался взглядом
В оливковые рощи Закинтоса,
его изрезанные берега,
В скалистые утесы на Итаке и снежные
вершины
Ликаона,
Ласкали глаз зеленые холмы Аркадии,
покрытые
цветами.
Ничто не нарушало тишины —
одни лишь стуки паруса о мачту,
Удары волн о корпус корабля,
Девичий смех хрустальный на корме;
Когда Восток воспламенился вдруг
И солнце — рыжий всадник — оседлало море,
Я понял, что стою на греческой земле[90].

В Оксфорде за опоздание на месяц Оскара Уайльда ожидал штраф в сорок семь фунтов стерлингов и лишение права обучения в течение одного семестра. Он с иронией замечал: «Меня выгнали из Оксфорда за то, что я стал первым студентом, посетившим Олимпию»[91]. Оскар нашел утешение в объятиях

Флорри, ставшей еще более очаровательной, и начал готовиться к лекциям о Греции. Он опубликовал статью о первой художественной выставке в Гросвенор-гэллери, основанной сэром Коутсом Линдсеем специально для того, чтобы собрать в этом, не претендующем на звание академического салоне произведения современных английских художников, не вынося вопрос об участниках на обсуждение комиссии экспертов. Оскар представил картину Уистлера[92] «Ноктюрн в черном и золотом», того самого Уистлера, который вскоре стал его заклятым другом, вызвал гнев Рёскина и спровоцировал громкий скандал по вопросу о границах допустимого в художественной критике. Статью расхвалил Уолтер Пейтер, не утративший тайной страсти к любимому студенту. Молодой поэт опубликовал стихотворение «Могила Китса»[93] и завязал переписку с бывшим премьер-министром Гладстоном по вопросам, связанным с событиями на Балканах.

В мае 1876 года в Болгарии вспыхнуло восстание против турецкого гнета; ответная реакция баши-бузуков[94] была ужасна: насилия, пытки, грабежи вызвали бурное возмущение в Европе. Гладстон, который находился в это время в оппозиции к кабинету министров Дизраэли, опубликовал брошюру «Зверства в Болгарии и Восточный вопрос», в которой потребовал принятия решения о высылке из Европы всех турок. Такое выступление было несомненной политической ошибкой и сыграло на руку России, которая получила доступ в Средиземное море. Однако Гладстон продолжал упорствовать, и 13 марта 1877 года вышел его второй памфлет. Оскар Уайльд, неравнодушный к свободолюбивым устремлениям народов, написал Гладстону из Дублина, в ожидании разрешения вернуться к учебе: «Сэр, ваши благородные и страстные, письменные и устные выступления против истребления христиан в Болгарии тронули меня до глубины души, и я осмеливаюсь послать вам сонет, написанный мною на эту тему»[95]. Сын ирландской пассионарии ощущал в своей душе трепет республиканца, но вместе с тем не забывал обращаться за поддержкой к политическому деятелю, прежде чем опубликовать свои стихи! Впрочем, Уайльд получил от Гладстона ответ и, воспользовавшись его рекомендацией, отправил сонет в журнал «Зритель», где, правда, он так и не был напечатан. Стихотворение с небольшими изменениями вошло в поэтический сборник Уайльда в 1881 году.

13 июня 1877 года умер его кузен, точнее, один из многочисленных внебрачных детей сэра Уильяма Уайльда. Оскар был опечален этим событием, но еще более страдал от того, что обойден наследством, о чем и писал Реджинальду Хардингу: «Он

завещал мне сто фунтов, при условии, что я останусь протестантом! Он, бедняга, был фанатично нетерпим к католикам, и, видя, что я „на грани“, вычеркнул меня из завещания. Для меня это ужасное разочарование; как видишь, мое пристрастие к католицизму больно ударило меня по карману и обрекло на моральные страдания»[96].

Очередные студенческие каникулы Оскар провел в Дублине, Мойтуре или Лондоне у своего друга Эдварда Салливана. Он начал испытывать интерес к театру и актрисам. И тем не менее ему вновь приходилось менять этот чарующий праздник жизни на более суровые университетские будни. В сентябре 1877 года Оскар Уайльд вернулся к учебе в колледже Св. Магдалины и познакомился с новыми товарищами: лордом Керзоном, будущим адвокатом Карсоном, Артуром Чемберленом, лордом Болфуром. К тому времени он уже был страстным поклонником великой актрисы Эллен Терри. Ее отец и мать также были актерами, сама же она была не только на шесть лет старше Уайльда, но и замужем — за художником-прерафаэлитом Фредериком Уоттсом. В 1875 году она играла в «Венецианском купце» в театре принца Уэльского. «Казалось, в меня все вокруг влюблены! — вспоминала она. — Поклонников — людей известных и не очень — я насчитывала дюжинами. Возможно, публики было не так много, зато какие замечательные личности! О’Шонесси, Уоттс-Дантон, Оскар Уайльд и, по-моему, еще Суинберн. Театр, сцена купались в атмосфере поэзии и искусства»[97].

Уайльд посвятил актрисе свой первый сонет «Порция», который появился на страницах газеты «Уорлд», где работал его брат. Позднее Эллен Терри писала в своих мемуарах: «Еще один сонет Оскара Уайльда, „Порция“ — первый из имеющихся у меня документов, связанных с „Венецианским купцом“»[98]. В течение 1875–1880 годов она неизменно восхищалась талантом поэта, личность которого казалась ей поразительной: «Не знаю даже, чего больше, глубины или блеска, я нахожу в словах Оскара Уайльда о том, что великий художник идет путем развития от одного шедевра к другому, причем последний никогда не бывает совершеннее первого»[99]. Явно допустив несправедливость по отношению к Бернарду Шоу, которым актриса была страстно увлечена, она добавляет: «Самыми замечательными мужчинами, которых я когда-либо встречала, были, несомненно, Уистлер и Оскар Уайльд. Это не значит, что я любила их или восхищалась ими больше, чем другими, но оба заключали в себе столько индивидуализма, столько нескрываемой дерзости, что это невозможно описать»[100]. Ей было посвящено еще одно стихотворение Уайльда, «Королева Мария Генриетта», написанное

по случаю премьеры в театре «Лицеум» пьесы «Карл I», в которой Эллен Терри исполняла роль королевы Генриетты Французской, супруги Карла I Английского. Оно также было опубликовано на страницах газеты «Уорлд», затем позднее вошло в сборник 1881 года. Если верить мемуарам Эллен Терри, актриса была несказанно тронута этим посвящением: «Части зрителей я больше понравилась в сцене третьего акта, где действие происходит на бивуаке и где у меня мало слов. Как же я была рада и горда, когда обнаружила, что именно эта сцена вдохновила Оскара Уайльда на очаровательный сонет»[101].

Все это, впрочем, нисколько не мешало учебе. Начинался последний, самый блестящий год обучения Оскара Уайльда в Оксфорде. Он сдал экзамен по классической литературе и получил предложение о продлении ему стипендии еще на год, а 10 июня 1878 года удостоился премии Ньюдигейта за поэму «Равенна»[102], написанную на очень близкий ему сюжет. «В том, что именно я получил эту премию, — писал Уайльд, — заключено странное совпадение. 31 марта 1877 года (задолго до того, как была объявлена тема) я находился в Равенне по пути в Грецию, а 31 марта 1878 года должен был писать эту поэму»[103]. Так Оскар Уайльд узнал, что такое слава. Церемония вручения премии проходила в Шелдонийском театре в присутствии преподавателей, одетых в тоги, и восхищенных студентов. Оскар без тени смущения зачитал несколько отрывков из этого предлинного произведения, играя своим прекрасным голосом, который обеспечил ему столько побед и благодаря которому он мог стать выдающимся актером, если бы предпочел великосветским салонам театральные подмостки. Уже не только университетские газетки, но и крупные английские и ирландские периодические издания отметили успех молодого Оскара Уайльда; его личность и поэтический талант стали пользоваться вниманием дам высшего света, которые наперебой старались заполучить это юное чудо.

Оскар собирался покинуть Оксфорд, и публичный выпускной экзамен стал для него возможностью лишний раз продемонстрировать едкое острословие вкупе с высокомерной иронией, которые позднее принесли ему как успех, так и несчастье. К столу экзаменационной комиссии для выставления итоговой оценки были приглашены профессор Аткинсон и Оскар Уайльд.

— Как вы оцениваете работу мистера Уайльда? — спросил декан.

— Мистер Уайльд периодически пропускает мои занятия, не

давая никаких объяснений, — раздраженно ответил преподаватель.

— Разве позволительно так относиться к джентльмену? — заметил декан Уайльду.

Тот ответил с обезоруживающей улыбкой:

— Но господин декан, мистер Аткинсон не джентльмен![104]

Он и потом позволял себе не менее звучные выражения, однако это все реже сходило ему с рук.

Оскар продолжал ухаживать за Флоренс Болкомб и восхищенно преследовать Эллен Терри. В июле 1878 года, окутанный ореолом зарождающейся славы, старательно поддерживаемой братом-журналистом, он приехал в Дублин, чтобы помочь Сперанце справиться с материальными трудностями, в которых она безнадежно увязла.

У нее не осталось никакой возможности содержать дом на Меррион-сквер.

И тогда она приняла решение покинуть Ирландию и переехать к сыну в Лондон, главным образом из соображений экономии, впрочем, стараясь в этом не признаваться: «Мы решили уехать из Ирландии, и это последнее письмо, которое я пишу в старом фамильном доме на Меррион-сквер. Мои сыновья предпочитают жить в Лондоне, этом центре высокой мысли, прогресса и ума»[105]. Подобные речи звучат как вежливый эвфемизм, поскольку леди Уайльд скромно устраивается в расположенном далеко от центра квартале Кенсингтон на Овингтон-сквер.

Но недолго прозябала дублинская мадам Рекамье. Вскоре, благодаря помощи Уилли, она получила возможность открыть салон на Парк-стрит в квартале Мэйфер. Сперанца объединила вокруг себя и сына Оскара интеллектуальное и художественное общество, столь богатое талантами в ту эпоху: актеры Генри Ирвинг, Эллен Терри, Лилли Лэнгтри, танцоры из «Альгамбры», художники Уистлер и Альма-Тадема, поэт Суинберн… В ее салоне обсуждалось буквально все — последняя выставка в Гросвенор, события в Афганистане и Ирландии, где Парнелл[106] собрал крестьян в Аграрную лигу, которая объявила бойкот всем, кто был согласен подчиняться английским законам, смерть наследного принца в Судане. Гости играли с телефонным аппаратом и высказывали опасения по поводу новых американских пишущих машинок, которые, несомненно, в недалеком будущем должны были погубить искусство и письменность.

По-прежнему величественная и все более импозантная леди Уайльд правила бал, оказывая наиболее радушный прием ирландским поэтам — Йейтсу, Бернарду Шоу, который не мог

забыть этих встреч: «Леди Уайльд была очень добра ко мне в Лондоне в самые трудные годы, после моего приезда в 1875 году и до 1885-го, когда я начал зарабатывать на жизнь собственным пером»[107]. Несмотря на то, что новый салон был значительно меньше дублинского, в нем тем не менее собиралась все та же пестрая и разношерстная толпа. Внезапно появился Браунинг[108], и Рёскин в ужасе спасся бегством, явно подозревая, что у хозяйки дома не все в порядке с головой. С пяти до семи вечера салон был битком набит гостями, которые проводили время за скромной чашкой чая, окутанные клубами сигаретного дыма в полумраке плотно задернутых штор. Хозяйка дома, освещаемая отблеском редких тусклых ламп, призванных скрывать следы прошедших лет и подступившие финансовые трудности, напоминала императора Нерона, вызывая неизменное восхищение у окружающих. «Женщина, — говорила она, — никогда не должна уступать добровольно свое место в обществе. Она может утратить привлекательность молодости, но обаяние беседы и изысканность манер останутся»[109]. Уильям Батлер Йейтс так подтверждал эти слова: «Если послушать ее, да вспомнить, каким замечательным рассказчиком был в свое время сэр Уильям Уайльд, то стоит ли удивляться, что Оскар Уайльд стал самым блестящим собеседником нашего времени»[110].

Да, именно здесь Оскар Уайльд окончательно сформировал тот образ, в каком он предстал в 1879–1880 годах. Известная актриса мисс Фортескью, которая стала модной после того, как отсудила десять тысяч фунтов стерлингов при разрыве помолвки с лордом Гармойлом, так вспоминала об этом времени: «Послеобеденные приемы у леди Уайльд всегда были обставлены так, чтобы неяркий приглушенный свет выделял наиболее известных гостей, оставляя других в полумраке… И вот появился Оскар. Он остановился посреди комнаты. Там стояло что-то вроде дивана или софы, на которую я присела, чтобы побеседовать с ним. Мы оказались в самом освещенном месте»[111]. Здесь он впервые встретил известную писательницу Мэри Корелли, автора пользовавшихся успехом романов, в частности «Сатанинской грусти», которая пришла в восторг от беседы с Оскаром, сожалея, впрочем, о том, что самой ей не удалось при этом вставить ни слова.

Однако леди Уайльд осталась самым редкостным персонажем этого блестящего, хотя и разнородного общества; она назубок знала свою роль и тщательно обыгрывала собственные выходы на сиену. Каждое ее появление в салоне напоминало швартовку корабля, входящего в порт на всех парусах, высокомерно и пренебрежительно расталкивая утлые рыбацкие лодчонки. Что же

до Йейтса, то он находил Сперанцу восхитительной, как и ее книги. Оскар же, выступая в роли хозяина дома, ловко подавал матери чай.

Он старался забыться, ведь Флорри как раз вышла замуж, и он писал ей полные меланхолии письма: «Дорогая Флорри, так как на днях я уезжаю обратно в Англию, наверное навсегда, я хотел бы взять с собой золотой крестик, который подарил Вам давным-давно утром на Рождество… Теперь наши пути разошлись, но крестик будет напоминать мне о минувших днях, и, хотя после моего отъезда из Ирландии мы никогда больше не увидимся, я всегда буду поминать Вас в молитвах. Прощайте и да благословит Вас Господь»[112]. Несмотря на грусть, которая представлялась Оскару изящно-уместной, он влюбился в Констанс Флетчер, которая вывела его в своем романе «Мираж» под именем Клода Давенана, а затем предложил руку и сердце богатой невесте Шарлотте Монтефиоре. Та отклонила предложение Оскара, который откровенно заметил в ответ: «Шарлотта, я крайне разочарован Вашим решением. С Вашими деньгами и при моем уме мы бы далеко пошли»[113].

Начало 1879 года Уайльд провел попеременно то в Оксфорде, то в Лондоне, то в Мойтуре. Он написал ряд газетных статей, планируя заняться переводами из Геродота и Еврипида, и завершил работу над своим первым серьезным произведением «Заря исторической критики». Вечера он проводил в театре на спектаклях Лилли Лэнгтри, или, как ее теперь называли, «Лилии из Джерси», а послеобеденное время посвящал клубу. Брат Уилли частенько упоминает Оскара в своих колонках хроникера; его имя было на слуху, а в журнале «Панч» даже была помещена на него карикатура. Оскар блестяще сдал последние экзамены и переехал в Челси, в дом, построенный и отделанный Гудвином по заказу юного Фрэнка Майлза. Гудвин становился модным архитектором, отделав дом Уистлера, который жил по соседству с Майлзом. Уайльд сразу же переименовал Дом Скитса в «Китс-хаус» и заявил: «Адрес ужасный, но дом очаровательный»[114]. Квартал Челси становился шикарным: там селились артисты и многие известные личности, а в Тюдор-хаусе жил художник-прерафаэлит Данте Габриэль Россетти, которого Уистлер просто боготворил. Известный гомосексуалист Фрэнк Майлз имел вполне приличные доходы, и на какое-то время существование обоих молодых людей было обеспечено.

Для Оскара настало время завоевывать Лондон, подобно тому, как он завоевал Оксфорд и Дублин. Он остановил свой выбор на строгом костюме, с гвоздикой или хризантемой в

бутоньерке, иногда позволяя себе шикануть в коротких штанах на французский манер. Он познакомился с деканом Кембриджского университета Оскаром Браунингом, нередко ужинал с лордом Керзоном, ходил в театр в обществе Рёскина, мелькал в Гросвеноре и получал почетные приглашения, в частности на юбилейное представление «Венецианского купца».

Среди многочисленных гостей Китс-хауса можно заметить принцессу Луизу, герцогиню д'Аргилл, поэтессу, автора чрезмерно сладострастных стихов Вайолет Фэйн, лорда и леди Дорчестер, а также всех модных актеров и актрис. Казалось бы, диплом открыл перед Оскаром возможность сделать карьеру политика или преподавателя, однако тяга к роскошной жизни, поэтическое призвание и непревзойденное обаяние превратили его в подлинного «салонного завсегдатая». Имея перед глазами опыт матери, он стал организовывать чаепития. Уайльд — легкомысленный и очаровательный, но иногда слишком экстравагантный и претенциозный — расцветал и с присущей молодости неловкостью старался сделать свою жизнь похожей на произведение искусства: синий фарфор, цветы в бутоньерке, цветы на каждом столе и ошеломляющие речи.

Вслед за Китсом, Уолтером Пейтером, Рёскиным и Уистлером Оскар Уайльд хотел получить звание профессора эстетики и художественного критика. Он приглашал в гости изысканную публику: Эллен Терри, леди Лонсдэйл, Лилли Лэнггри, Уистлера, Джорджа Ирвинга, Джорджа Керзона… О его приемах писали в разделах светской хроники газеты «Таймс», «Дейли Кроникл» и «Уорлд»: «Прекрасная атмосфера, а публика — остроумнейшие, наделенные фантазией люди, которые умеют развлекаться… Вся гостиная буквально утонула в белых лилиях и фотографиях мисс Лэнгтри; ширмы и вазы струились павлиньими перьями, стены были увешаны достойными восхищения полотнами»[115]. Время от времени сюда заглядывали Бернард Шоу, Джон Рёскин со своими «малышками-невестами», польская актриса Хелена Моджеска. Вайолет Хант вспоминала, каким был Оскар Уайльд весной 1880 года: «Я помню Оскара еще до поездки в Америку, когда он — голенастый юноша с несколько торопливой и шепелявой манерой речи — усаживался в большое кресло у нас в гостиной, отбрасывал со лба прядь волос и говорил, говорил обо всем, что приходило ему на ум»[116]. Он познакомился с Норманом Форбс-Робертсоном, молодым актером, который на пять лет был моложе его. «Дорогой Норман, — писал Уайльд, — мне кажется, что Вы заняты в субботу, неужели мы никак не сможем пойти вместе на соревнования по гребле? Если у Вас есть время, прошу зайти ко мне как можно скорее. Боюсь, не надоел ли я Вам вчера вечером с

рассказами о своей жизни и своих проблемах. Мне кажется, Вы очень симпатичный и любезный по натуре человек, и Вы были настолько очаровательны те несколько раз, что мы встречались, что я, несмотря на то, что мы знакомы совсем немного, готов рассказывать Вам о вещах, которыми делюсь обычно лишь с теми, кого люблю и кого считаю своими друзьями»[117]. Вскоре его чаепития в Китс-хаусе начала посещать американка Женевьева Уорд, дебютировавшая на оперной сцене, но затем, потеряв голос, ставшая драматической актрисой. «Дорогая мисс Уорд, я предполагаю, что Вы очень заняты на репетициях. Однако если у Вас найдется время на чашку чаю с Вашим большим поклонником, приезжайте в пятницу в половине шестого на Солсбери-стрит, 13. Там будут еще две прекрасные дамы, леди Лонс-дэйл и мисс Лэнгтри, а также мама и несколько друзей»[118].

Оскар бывал на всех премьерах; он приобретал все большую известность, в частности, благодаря карикатурам Джорджа Дюморье в «Панче» и газетным статьям с рецензиями на его публикуемые в различных журналах стихи. Постоянная улыбка на его устах легко оправдывала любые свойственные молодости излишества: «Он был не только замечательным рассказчиком, но постоянно искрился улыбкой, радость жизни била в нем ключом, и какие дифирамбы пел он всем, кто ему нравился!»[119] Среди тех, кем в то время восхищался Оскар, были Лилли Лэнгтри, Уистлер и Сара Бернар. Эти люди, несомненно, сыграли важную роль в формировании его эстетического вкуса.

Лилли Лэнгтри, урожденная Эмили Шарлотта Ле Бретон, появилась на свет 13 октября 1853 года в Джерси и стала единственной дочерью преподобного Уильяма Корбета Ле Бретона. Ее мать, Эмили Девис Мартин, страстно любила поэзию, музыку, цветы, животных и свежий воздух. Еще в раннем детстве девочку прозвали Лилли за очень белую кожу. Она выросла вместе с шестью братьями: «Жизнь вместе с братьями, — вспоминала она, — превратила меня в неисправимого сорванца, случайно родившегося девочкой. Я умела лазить по деревьям, прыгать через ограды наравне с самыми ловкими из братьев; я с восторгом участвовала во всех их шалостях. Помню, как по ночам, когда нам положено было быть в постели, мы отправлялись с самым младшим братом на старое кладбище, забирались на ходули, заворачивались в простыни и безумно пугали запоздалых прохожих… Но это не мешало мне быть серьезной, и я могла читать часами напролет»[120]. В 1874 году она вышла замуж за Эдварда Лэнгтри, богатого ирландца из Белфаста, владельца шикарной яхты «Красная перчатка».

В Лондоне она попала в высшее общество и, благодаря своей красоте и обаянию, оказалась среди самых известных людей того времени. Лилли вызывала всеобщее восхищение, а газеты не жалели восторженных эпитетов в адрес «красавицы Лэнгтри». Она позировала Ф. Д. Уоттсу, Берн-Джонсу, Пеннингтону и — верх успеха — самому Джону Миллесу[121]. Он изобразил ее с лилией в руках, и с тех пор ее прозвали «Лилией из Джерси». Картина произвела сенсацию на выставке в Королевской академии. Лилли Лэнгтри представили королеве Виктории, а ее искусство пленило принца Уэльского, о котором она писала: «Принц Уэльский обожает музыку и обладает несомненным критическим чутьем. Почти каждый вечер его видели в самой большой ложе в Опере в окружении ближайших друзей. Все, кто с ним общался, всегда отмечали приветливость принца даже в отношении домашней прислуги, он не мог пройти мимо, не обронив любезного слова и не поприветствовав вас хотя бы взглядом»[122].

Серьезные финансовые затруднения, связанные с чрезмерными расходами, привели Лилли Лэнгтри на сцену. Первый опыт едва не обернулся катастрофой: «Увы, я не могла вспомнить ни единого слова из вступительного монолога. Я просто стояла на сцене, старательно улыбаясь и сжимая в руках букет роз, и не имела ни малейшего представления о том, что делать дальше. К счастью, я услышала настойчивый шепот импресарио, с тревогой ожидавшего за кулисами моей первой реплики, и пришла в себя, а дальше все прошло без осложнений»[123]. Вскоре Лилли с успехом исполнила роль Кейт Хардкасл в пьесе известного ирландского драматурга Оливера Голдсмита «Ошибки одной ночи» в театре «Хеймаркет». Создание этого образа обеспечило актрисе успех у критики и восхищение Оскара Уайльда, который осыпал ее цветами и посвятил ей стихотворение «Новая Елена», написанное как раз по случаю ее выхода на сцену «Хеймаркета» в 1880 году.

В те дни Оскар нередко прогуливался в районе Пиккадилли, одетый в средневековый костюм и с цветком зеленой гвоздики в виде единственного украшения, там же появлялась и миссис Лэнггри с пуделем на поводке, у которого на боку были выбриты инициалы Л. Л. Что это была за пара: она — красавица, украшение любого салона, он — его достопримечательность! Они оба стали символами веселья и фантазии, сверкавшими в викторианский век, чахнувший от скуки. Принц Уэльский пригласил Уайльда в свою ложу в Опере, и Оскар сблизился с лордом Литтоном, леди Шрюсбери, леди Грэй. Лилли Лэнгтри осталась излюбленной моделью художников и славой «Хеймаркета», в то время как Уайльд начал вызывать интерес у

деятелей литературы, таких, как Томас Харди, Мередит, Браунинг, Суинберн, пусть даже некоторые суждения о нем порой бывали слишком строги. Главное, в обществе только и было разговоров, что о нем и о ней.

Нет ничего удивительного в том, что молодой человек стал личным секретарем красавицы-актрисы, о чем свидетельствует письмо, написанное им в доме Лилли из Джерси на Понд-стрит, 18: «Дорогая миссис Синглтон, миссис Лэнгтри попросила меня ответить на Ваше любезное письмо и сообщить, что она плохо себя чувствует, что ей запрещено выходить из спальни, и поэтому она вынуждена отменить приглашение на ужин… Она будет очень рада, если вы сможете зайти проведать ее с утра или после обеда и просит сообщить, когда вы соберетесь ее навестить… Поскольку она чувствует себя обессиленной, я исполняю роль секретаря»[124]. Лилли постоянно обращалась к Оскару за советом по поводу выбора туалетов: «Конечно, я хотела бы поскорее продолжить занятия латынью, но мы вынуждены задержаться здесь до вечера в среду; поэтому я смогу увидеться с моим любезным преподавателем только в четверг. Так что если сможете, то приходите в этот день часам к шести вечера. Кстати, я позвонила на Солсбери-стрит примерно через час после Вашего ухода. Я хотела спросить у Вас, как мне одеться на бал-маскарад, но потом выбрала греческую тунику черного цвета с серебряной бахромой, расшитую жемчугом и звездами, и бриллиантовую диадему. Я назвала этот наряд „Царица Ночи“. Я сама изготовила его. Хотелось бы написать побольше, но совершенно невозможно писать этим пером, да еще на такой ужасной бумаге, поэтому, когда увидимся, я расскажу вам все в деталях (только ничего не говорите Фрэнку)»[125].

Несмотря на положение любимца салонов и актрис, на карикатуры в «Панче», на блестящие успехи в учебе и газетное прозвище «принц эстетов», Уайльд испытывал серьезные финансовые затруднения, которые не позволяли ему развить свой успех. Однако он не отчаивался и, видя, что вызывает нарастающее раздражение у викторианской публики, начал культивировать парадокс, крайность, примеривая маску персонажа, вообще не признающего запретов. Он разгуливал по улицам Лондона, читая вслух Бодлера. К восторгу праздношатающихся юных снобов, называвших себя «душки», равно как и к возмущению толпы разбогатевших торговцев — основы тогдашнего английского общества, он усаживался на террасе открытого кафе и предавался безмятежному созерцанию цветка подсолнуха, поставленного в специально принесенный стакан воды. Он стал пророком тайного культа в то самое время,

когда определенные круги, в частности жители Мэйфера[126], начинали испытывать потребность в эстетике, в более художественно ориентированных эмоциях, нежели отслеживание повышения или понижения рыночных цен на сырьевые ресурсы. Впитав в себя эстетические теории Рёскина, Суинберна и французских поэтов, Оскар Уайльд вполне осознавал себя воплощением этих тенденций и готовился к серьезной литературной деятельности, началом которой должен был стать выход его новой театральной пьесы и сборника стихотворений.

Тем временем выразительные средства Оскара Уайльда обогатились благодаря еще одной встрече. В июне 1879 года в Фолькстоун приехала жрица декаданса Сара Бернар в сопровождении труппы «Комеди Франсез». Уайльд встретил ее на пристани с букетом белых лилий. Она была, несомненно, величайшей актрисой своего времени, и ее слава превосходила известность Лилли Лэнгтри. У всех на устах были ее капризы, а последний ее ангажемент в «Комеди Франсез» прошел со скандалом из-за интриг Эмиля де Жирардена и Франциска Сарсэ. «Ангажемент мадемуазель Бернар произвел революцию. Поэзия вторглась в чертоги драматического искусства, или, если хотите, волк внезапно очутился в овчарне»[127]. Начиная со своего дебюта на сцене в 1862 году, актриса усердно работала над своим великолепным голосом, при этом не забывая уделять внимание собственной рекламе. Саре Бернар покровительствовал Наполеон III, она была любовницей Муне-Сюлли и многих других, оказавшихся не в силах устоять перед ее чарами; начиная с 1872 года она стала непревзойденной исполнительницей ролей в пьесах Виктора Гюго, подлинной королевой Парижа; в 1877 году Сара Бернар заставила рыдать автора «Эрнани»[128], который так написал ей об этом: «Мадам, Вы величественны и очаровательны; Вы взволновали меня, старого вояку, а в какой-то миг, когда публика, умиленная и взволнованная Вашим искусством, рукоплескала, я даже заплакал. Эти слезы по праву принадлежат Вам, и я склоняюсь у Ваших ног»[129]. В письмо был вложен браслет с бриллиантовой подвеской. В течение целого года актриса играла эту пьесу в переполненных залах.

Ее прибытие в Фолькстоун взбудоражило всех. «Мы проходили, — вспоминала она, — сквозь море протянутых нам цветов, со всех сторон нам пожимали руки… Это немного смущало, но вместе с тем было восхитительно. Одна из актрис, шедшая рядом и не питавшая ко мне дружеских чувств, неожиданно зло сказала: „Смотри, тебе еще дорогу будут цветами устилать!“ „С готовностью!“ — воскликнул какой-то молодой

человек и бросил к моим ногам охапку белых лилий. Я в смущении остановилась, не осмеливаясь наступить на прекрасные белые цветы, но сзади надавила толпа, и мне пришлось пройти вперед прямо по бедным лилиям. „Гип-гип! Ура! Да здравствует Сара Бернар!“ — страстно воскликнул молодой человек. Его голова возвышалась над всеми остальными, глаза горели огнем; длинные волосы делали его похожим на немецкого студента. Однако то был английский поэт, величайший поэт нашего века; гений, но, увы! измученный и побежденный безумием: то был Оскар Уайльд»[130].

Когда Сара Бернар прибыла на вокзал Чаринг Кросс, там была расстелена красная ковровая дорожка, предназначенная, правда, не для нее, а для встречи принца и принцессы Уэльских. На какой-то миг это ее огорчило, но потом сверкающая и элегантная лондонская жизнь поглотила актрису, помогая забыть разгромленный Париж, где были еще живы воспоминания о Коммуне. Оскар Уайльд организовывал для нее приемы, приглашая на них все изысканное общество, а Генри Ирвинг давал в ее честь торжественные ужины. Она завязала близкую дружбу с Эллен Терри, свела знакомство с Бернардом Шоу, выставила свои картины в салоне на Пиккадилли при покровительстве нового лондонского любимца Гюстава Доре. Поражаясь новизне ощущений, Оскар Уайльд был сражен очарованием этой принцессы декаданса, словно сошедшей с полотна Гюстава Моро. В июне 1879 года он присутствовал на триумфе актрисы в театре «Гэйети» в постановке «Федры». 11 июня он написал стихотворение «Саре Бернар», вошедшее позднее в сборник 1881 года под названием «Федра»; в январе 1882 года «Панч» опубликовал пародию на это его стихотворение. Оскар был заворожен; пред ним открылся диковинный мир декаданса, и Сара Бернар стала его идолом. «Лично я должен признаться, — писал он, — что осознал сладость музыки Расина только после того, как услышал Сару Бернар в „Федре“»[131]. Отныне его выплескивающийся на улицы и переполняющий салоны эстетизм, которому он продолжал служить с новым рвением, окрашивается в тона декаданса. Оскар являлся на Сент-Джеймс-стрит «в бархатном сюртуке, обшитом петличным шнуром, и в коротких штанах на французский манер, обутый в башмаки с пряжками и в рубашке из тонкого шелка с венецианским воротником, украшенной широким зеленым галстуком… Он уверял, что реформа костюма важнее, чем реформа церкви»[132]. Актер Бирбом Три, который впоследствии стал другом Оскара, пародировал его на сцене театра «Критерион» в комедии «Где же кошка?» и на сцене театра принца Уэльского в «Полковнике».

Красота Лилли Лэнгтри и экстравагантность таланта Сары Бернар были откровением для юного Оскара. И в это же время еще один художник вторгся в его мир и занял постоянное место в нем: Джеймс Макнейл Уистлер. Американский художник объяснил Уайльду, что гении всегда возвышаются над толпой и подчиняются лишь собственным законам; он полагал, что в демократическом обществе ум, необычность и талант имеют двойную цену и что единственным критерием истины и морали является эстетика. Нет ничего выше совершенства красоты, *ощущения,* испытываемого при виде зрелища, каким бы оно ни было.

Джеймс Эбботт Макнейл Уистлер родился в 1834 году в штате Массачусетс. Отец-генерал прочил ему военную карьеру, и он поступил в знаменитое военное училище Вест-Пойнт, где и принял окончательное решение стать художником. В 1854 году он приехал в Париж, где обучался в мастерской у Глейра, встречал Фантен-Латура, Курбе, Дега. С его легкой руки в моду вошли сине-белый фарфор, эстампы Хокусаи, Хирошиге, чьи «деликатные цвета и тончайшие рисунки на шелке и на рисовой бумаге вызывали восхищение у молодых французских художников»[133]. Однако Уистлеру было отказано в участии в художественном салоне 1859 года. Он уехал в Лондон и оказался там в обществе Россетти и прерафаэлитов. С того момента на его полотнах появились павлины, листья деревьев, а персонажи приняли размытые, неясные очертания. Талантливый, легкораздражимый и обладающий язвительным умом, Уистлер завоевал популярность благодаря своим лекциям, остротам, а также тяжбе с Рёскином, который упрекал художника тем, что во время художественного салона 1877 года, где выставлялся его «Фейерверк в Кремоне», он имел наглость потребовать тысячу гиней за обыкновенную разноцветную мазню. Процесс состоялся 25 ноября 1878 года в Казначейской палате Вестминстерского дворца и наделал много шуму — речь шла о вынесении судебного решения по вопросу ограничения прав критики. Суд безоговорочно признал правоту Уистлера, Рёскин на заседание не явился. В своих мемуарах Эдмон де Гонкур так свидетельствует о поведении художника в зале суда: «Ответы Уистлера просто прелестны; когда у него спросили, сколько времени ему потребовалось для написания этой картины, он пренебрежительно бросил: один или два сеанса! О! — раздалось в зале, на что он добавил: Да, я рисовал картину один или два дня, но вложил в нее опыт всей своей жизни»[134].

Если верить описанию Гонкура, Уистлер являл собой

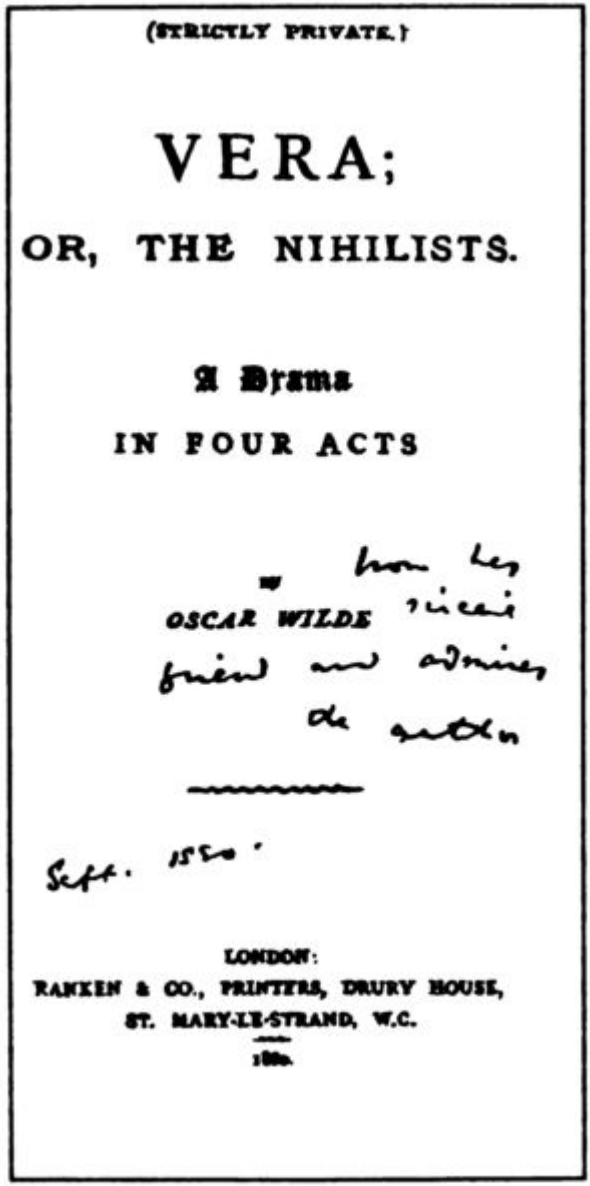
удивительную личность, обладавшую достаточной силой, чтобы привлечь внимание Оскара Уайльда, большого любителя всего диковинного: «Странная личность этот американский офортист по имени Уистлер — неизменно открытая шея, деревянный смех, белая прядь посреди черной шевелюры, олицетворение мрачного и фантастического педераста»[135].

Художник обратил внимание на статью Уайльда в «Дублинском университетском журнале», посвященную выставке в Гросвенор-гэллери 1877 года, где были представлены полотна Берн-Джонса, Уильяма Холмана Ханта, Миллеса и самого Уистлера. По поводу одной из его картин под названием «Ракета» молодой критик написал: «Эти картины бесспорно заслуживают того, чтобы перед ними задержаться на время взрыва этой самой ракеты, то есть не более чем на несколько секунд». Ничуть не мягче его суждение об «Аранжировках» того же автора: «Под номерами 8 и 9 представлены портреты в полный рост двух молодых женщин, написанные, очевидно, в лондонском тумане; дамы могут показаться сестрами, однако, вне всякого сомнения родственницами не являются, поскольку одна из них называется „Гармония в янтарном и черном“, а другая „Аранжировка в коричневом“[136]. Тем не менее Уистлер стал модным; Уайльд старался подражать его экстравагантным выходкам, одеяниям, выражениям. По замечанию Фрэнсиса Уинвора, „к благочестию Рёскина и гедонизму Пейтера Уайльд добавил перечную остроту Уистлера“[137]. Уистлер был не такой человек, чтобы спустить своему подражателю иронию, которая породила симпатии у насмешников. В следующем 1878 году он снова выставился в Гросвеноре и оказался вместе с Уайльдом в окружении обожателей, когда к нему обратился критик из „Таймс“ Хэмфри Уорд, который высказал свою оценку выставленным работам. „Друг мой, — мгновенно парировал Уистлер, — критику никогда не следует произносить, что такая-то картина хороша, а другая плоха, никогда! Вам надо забыть о таких терминах, как хороший или плохой; скажите лучше, мне это нравится, а это не нравится, и будете абсолютно правы. А теперь пойдемте, я угощу вас виски, уж это-то вам понравится наверняка!“ При этих словах Уайльд восхищенно воскликнул: „Боже! Ну почему не я это сказал!“ „Еще скажете, Оскар, еще скажете!“ — добил его беспощадный Уистлер»[138].

В 1879–1880 годах Джейн Уайльд переехала с Парк-стрит в Челси и устроилась в доме 146 по Оукли-стрит по соседству с Тайт-стрит, где жили Оскар и Фрэнк Майлз. Она вновь распахнула двери своего салона перед артистической богемой;

время от времени там вещал и Оскар в своих эстетских облачениях, описанных Лилли Лэнггри: «Обычно его наряд включал в себя светлые короткие штаны, черное пальто (застегнутое только на последнюю пуговицу), из-под которого выглядывал ярко расцвеченный сюртук и галстук белого шелка, заколотый, вместо булавки, камеей из аметиста»[139]. Будучи великолепной хозяйкой дома, леди Уайльд с блеском умела подчеркнуть достоинства гостей, в особенности собственного сына. «Ей было достаточно поднять свой выразительный взгляд на говорящего и прошептать: восхитительно! Одного этого слова хватало для того, чтобы завоевать сердце любого застенчивого философа или начинающего поэта. Каждый чувствовал, что его наконец-то поняли»[140]. Именно мать объяснила Оскару, что умение вести беседу всегда ценилось намного больше, чем талант певца. Именно она нарисовала портрет женщины XX века, продемонстрировав замечательный дар предвидения, столь редкий в обществе викторианской эпохи, в котором она играла или, по меньшей мере, делала вид, что играла малозаметную роль: «Женщина будущего перестанет быть пустым идолом бесплотной страсти, фривольной игрушкой мимолетного времени… Она займет достойное место рядом с мужчиной, как равноправный партнер, и своим умением вдохновлять сердца людей внесет неоценимый вклад в великое дело просвещения и свободы»[141].

Оскар усваивал эти уроки, которые постепенно обозначили некоторую глубину в доселе поверхностном образе молодого человека. Это становилось тем более важным, что восхищение актрисами, Уистлером, Рёскиным, карикатуры в «Панче», статьи брата в «Уорлде» приносили ему до поры лишь мимолетную известность, но, главное, не давали никакого дохода. Он уже отчаялся увидеть на сцене постановку пьесы «Вера», которую недавно издал в Лондоне у Рэнкина и К° и отослал Эллен Терри и американской актрисе Кларе Моррис. В письме Норману Форбс-Робертсону он признавался: «Я не знаю, что мне делать, если никто из режиссеров не даст денег на моих нигилистов; не могу же я одеваться только в атлас, да еще от Чиппендейла.


(STRICTLY PRIVATE.)

VERA;

OR, THE NIHILISTS.

A Drama

IN FOUR ACTS

OSCAR WILDE

LONDON:
RANKEN & CO., PRINTERS, DRURY HOUSE,
ST. MARY-LE-STRAND, W.C.

Титульный лист первой пьесы Уайльда „Вера, или Нигилисты“.

Иначе я просто не смогу писать»[142]. Не мысля своего существования без ставших уже необходимыми предметов роскоши, Оскар был особенно подавлен и разочарован тем, что ему не удавалось добиться постановки своей пьесы.

От грустных мыслей Уайльду помогал отвлечься его

однокашник по Оксфорду, тоже лауреат премии Ньюдигейта, будущий посол в Италии, молодой поэт Реннелл Родд, который пригласил его съездить вместе во Францию. Немного позже Оскар написал в своем предисловии к поэтическому сборнику Родда «Лист розы и яблочный лист»: «Мне кажется, очень точным будет сравнение, если сказать, что по своему качеству работа этого молодого поэта сродни пейзажу на берегах Луары. Мы вместе с ним останавливались там в Амбуазе»[143]. Сам же Реннелл Родд так вспоминал об исключительном обаянии своего товарища: «Никто в то время не умел, как он, посмеяться над самим собой, и не было никого щедрее по отношению к достоинствам и талантам его друзей. В те годы, проведенные вместе в Лондоне, мы не замечали и следа проклятого безумия, которое, спустя много лет, разрушило столь блестящую жизнь»[144].

В тот же период Уайльд оказался замешанным в скандал на гомосексуальной почве, из которого ему удалось вытащить того самого Фрэнка Майлза, с кем он жил в одном доме в Челси. В один прекрасный день юный художник, сын почтенного служителя церкви, стал объектом шантажа со стороны некой интриганки, в руках у которой оказались несколько компрометирующих писем. Даму пригласили в Китс-хаус, и Уайльд принял ее один на один. Он был любезен и с симпатией выслушал историю, которую рассказала ему гостья. Затем попросил показать компрометирующие документы, и та, потеряв бдительность, протянула их Оскару.

— Я полагаю, это ваше единственное доказательство?

— Да.

— Вам бы надо снять копию на случай потери. Вы сделали это?

— Нет, но обязательно сделаю.

— Боюсь, вы опоздали.

И Уайльд швырнул письма в огонь. Дама завопила и призвала на помощь типа, который пришел вместе с ней. Тот ворвался в комнату и столкнулся с великаном, который был готов спустить его с лестницы. Оба сообщника скрылись, и Майлз никогда больше не слышал о них[145]. Существует множество других доказательств физической силы и смелости, казалось бы, удивительных для такого эстета, но тем не менее являвшихся одной из сторон неординарной личности Оскара Уайльда.

Январь 1881 года. Неизменно оставаясь в плену своих финансовых проблем, Оскар тем не менее нашел возможность поздравить с очередным триумфом на сцене Эллен Терри, а также отметить дебют совсем молоденькой актрисы Флорри, которая оказалась не кем иным, как Флоренс Болкомб. Непревзойденный

мастер лести, он так писал Эллен Терри: «Дорогая моя Нелли, пишу, чтобы пожелать Вам всяческого успеха сегодня вечером. Ваша игра не может не стать отражением высшей красоты искусства… Посылаю Вам цветы — два букета. Один из них — тот, который лучше Вам подойдет, — прошу Вас принять от меня. Другой же — не сочтите меня изменником, Нелли, — так вот, другой отдайте, пожалуйста, Флорри от своего имени». И дальше добавляет ностальгическое и не лишенное эстетства пожелание: «Мне будет приятно думать, что в первый вечер, когда она выйдет на сцену, на ней будет нечто, подаренное мной, и нечто, исходящее от меня, будет прикасаться к ней. Конечно, если Вы думаете… но ведь Вы не думаете, что она может догадаться? С чего бы это? Ведь она убеждена, что я никогда ее не любил, что я все забыл. Боже, разве это возможно?! Дорогая Нелли, сделайте это, если сможете, — и в любом случае примите эти цветы от Вашего преданного поклонника и любящего Вас друга»[146].

1 марта 1881 года террористическая организация совершила в Санкт-Петербурге покушение на царя Александра II, причем это произошло именно тогда, когда царь чуть ли не был готов поставить свою подпись под Конституцией и издать указ об учреждении настоящего парламента, что стало бы первым шагом на пути к «освобождению русского народа, начало которому положило его вступление на престол»[147]. Одновременно Англия вынуждена была активизировать свои колониальные походы и установить в Африке и Индии режим колониального гнета, сходный с режимом царя Александра II и его преемника или Оттоманской империи на Балканах. В изданной за год до этого пьесе речь шла как раз о борьбе террористов против абсолютной монархии, при этом в голове сына Сперанцы, несомненно, витали мысли об Ирландии. Действие драмы происходит в Москве 1880 года, а основными персонажами являются царь Иван и группа террористов под предводительством пламенной революционерки Веры. Схожесть сюжета пьесы с реальными событиями, а также растущая известность автора побудили директора театра Адельфи наконец поставить ее, пригласив на главную роль миссис Бернард Бир. Эта актриса, которую считали серьезной соперницей Лилли Лэнгтри, дебютировала в 1877 году на сцене лондонской Опера-Комик. Именно она должна была сыграть героиню, принесшую себя в жертву во имя свободы своей родины. Однако за три недели до премьеры, которая должна была состояться 17 декабря 1881 года, в газетах появилось сообщение о том, что, «учитывая характер общественного мнения в Англии в настоящий период, г-н Оскар Уайльд принял решение отложить на некоторое время

постановку своей пьесы „Вера“[148]. Дело в том, что на смену умершему Дизраэли на пост премьер-министра был назначен Гладстон, который сразу столкнулся с новой волной возмущений в Ирландии. В Индии, где в это самое время пророком национально-освободительного движения стал Рабиндранат Тагор, также назревало народное восстание. Кроме того, новой царицей в России стала супруга Александра III, двоюродная сестра принца Уэльского, что еще более усложнило вопрос о постановке пьесы, где главным героем был борец против царского гнета.

Тем не менее Оскар Уайльд вовсе не был так удручен, как можно было бы предположить, ибо его внимание было сосредоточено сразу на нескольких событиях, которые в конце концов привели к его отъезду в Соединенные Штаты. Уже в течение целого года Оскар прилагал немалые усилия для того, чтобы опубликовать свои стихи, написанные после получения премии Ньюдигейт. Весной 1881 года, по выражению Фрэнка Харриса, „на помощь Оскару пришла слава его коротких штанов и шелковых чулок, а в особенности непрерывные нападки светских газет“»[149]. Его книга вышла в июне 1881 года в издательстве Дэвида Бога, расположенном в доме 3 на площади Св. Мартина; она продавалась по цене десять шиллингов шесть пенсов. Книга имела успех: в течение нескольких месяцев были распроданы две тысячи экземпляров, что, в соответствии с условиями контракта с издателем, принесло автору семьсот пятьдесят фунтов. Рассчитывая на благосклонные отзывы, Уайльд отослал подписанные экземпляры Мэтью Арнольду, Роберту Браунингу, Д. Г. Россетти и Гладстону. Он оказался настолько прозорлив, что написал преподавателю Итонского колледжа, а позже декану Оксфордского университета Оскару Браунингу: «Дорогой Браунинг, если у Вас найдется время и возникнет желание, я хотел бы попросить Вас написать критическую статью на мой первый сборник стихотворений, который должен скоро выйти; книги так часто попадают в руки глупых неучей, что хочется услышать оценку настоящего критика; слепая похвала, равно как и незаслуженное порицание, одинаково оскорбительны»[150]. Статья действительно появилась 30 июля в журнале «Академия», а такие издания, как «Атенеум», «Субботнее обозрение» и «Уорлд» уделили молодому поэту значительное место на своих страницах. Единственной диссонирующей нотой прозвучала заметка в «Панче», усомнившемся в оригинальности автора: «Возможно, мистера Уайльда и можно назвать эстетом, но это не делает его оригинальным. Его книга — сборник чужих перепевов, это Суинберн и розовая вода»[151].

Но для Оскара, который только что подписал контракт на издание своего сборника в Америке, это не имело значения. Книга должна была выйти там в ноябре и уже имела отличную прессу: «Англия получила в липе Уайльда нового поэта, причем если не самой первой величины, то по меньшей мере подлинного художника, скрывающегося за фасадом собственной эксцентричности, стоившей ему гнусных преследований со стороны прессы»[152]. В Нью-Йорке, как и в Лондоне, книга пользовалась несомненным успехом у книготорговцев; газеты не ошиблись, так представляя сборник: «Высокое качество стихотворного материала и известность автора, являющегося сегодня одной из самых заметных личностей в литературном мире, без сомнения, вызовут большой спрос»[153]. Уайльд и сам подбрасывал хроникерам пищу для статей, отвечая одному из критиков, назвавшему его творчество грязным и аморальным: «Стихотворение может быть написано хорошо или плохо. В искусстве не должно существовать понятия добра или зла. Само его присутствие уже означает ограниченность видения художника. Этот принцип прекрасно понимали древние греки и, сохраняя полную безмятежность, наслаждались такими произведениями искусства, на которые мои цензоры, как я полагаю, запретили бы смотреть членам своих семей. В поэзии главное не сюжет, она доставляет удовольствие благодаря языку и поэтическому слогу. Искусство по определению должно являться предметом обожания, а не критики с точки зрения неизвестно какой морали!»[154] Оскар прекрасно помнил уроки Уистлера, и уже сейчас в его воображении начинал вырисовываться силуэт Дориана Грея. В сборник вошли два стихотворения, посвященные Эллен Терри: «Гамма», так звали ее героиню в пьесе Теннисона «Чаша», премьера которой состоялась 3 января 1881 года, и «Мария Генриетта», о которой уже шла речь. Особый интерес у читателей вызвали стихотворение «Федра», посвященное Саре Бернар, и «Новая Елена», написанное в честь Лилли Лэнгтри.

Позабыв на время о материальных заботах, Оскар Уайльд приобретал все большую известность. «Повышенное внимание, которое критики уделяют его поэтическому сборнику, свидетельствует о том, что личность автора и его успех в обществе не оставили мир прессы безразличным»[155], — заметил Ф. Харрис. Даже постоянные выпады «Панча» против «наистраннейшего из странных», приводящие в восторг яростных противников входящего в моду увлечения эстетизмом, способствовали укреплению легенды о легкомысленном эстете, которого можно встретить на Риджент-стрит или Сент-Джеймс-

сквер в коротких французских штанах, шелковых чулках и обшитой шнуром куртке, с букетом лилий или даже подсолнухов в руке, останавливающегося время от времени у какого-либо кафе, чтобы освежить подсолнух, который, с его легкой руки, стал модным атрибутом в обществе. Оскар Уайльд, принц эстетов и крестный отец «душек», кучки повсюду сопровождавших его томных юношей и изнеженных девственниц в греческих туниках, играл свою новую роль вполне серьезно, даже если сам не очень верил во все происходящее. Вокруг пожимали плечами, возмущались и припоминали кое-какие эпизоды из его оксфордской жизни; Уайльду не было до этого дела; у него наконец оказалось достаточно средств, чтобы удовлетворить свои изысканные потребности, он был готов бросить вызов викторианскому обществу и собирался в турне с серией публичных выступлений; брат Уилли так писал об этом в «Уорлде»: «Благодаря удивительному успеху своих „Стихотворений“, мистер Оскар Уайльд получил приглашение выступить в Соединенных Штатах»[156].

Глава II. ЭСТЕТСКОЕ ТУРНЕ

Человечество принимает себя слишком всерьез. В этом заключен первородный грех нашего мира. Если бы пещерный человек умел смеяться, ход развития истории был бы иным.

Уилли Уайльд по-братски переусердствовал и явно поторопился с анонсом американского турне Оскара, а главное, сделал неправильный вывод о том, что издание поэтического сборника за океаном стало возможным благодаря известности автора в Соединенных Штатах. Известность была, но скорее скандальная.

В субботу 23 апреля 1881 года лондонская Опера-Комик стала свидетелем необычного наплыва публики. На сцене шла премьера пьесы У. С. Гилберта и сэра Артура Салливана «Терпение», и в зале был полный аншлаг. Причем в тот же день Эллен Терри и Генри Ирвинг играли в «Чаше» Теннисона; мистер Кембл вместе с Мэрион Терри были заняты в пьесе Чарльза Рида «Маски и лица», а Сара Бернар должна была выйти на сцену театра «Гэйети» с труппой Жимназ. Свои места в ложе заняли леди Уайльд, Фрэнк Майлз и Оскар Уайльд в вечернем наряде с зеленой гвоздикой в бутоньерке.

Занавес поднялся, и на сцене появились сэр Реджинальд Банторн в роли чувственного поэта и сэр Арчибальд Гросвенор в роли поэта идиллического в окружении хора девственниц. Зал оживился: в первом персонаже все узнали Данте Габриэля Россетти, а во втором — Оскара Уайльда. Девушки играли на лютнях и мандолинах, воспевая свою любовь к герою Реджинальда Банторна, а тот, в свою очередь, пытался изобразить портрет своего соперника — Гросвенора: «Если вы гуляете по Пиккадилли с цветком лилии или подсолнуха в руках, то каждый встречный на вашем цветочном пути скажет: коли он довольствуется растительной любовью, что не подойдет мне ни в коей мере, то каким же необыкновенно чистым должен быть этот молодой человек!»[157] Чтобы не оставаться в долгу, Арчибальд Гросвенор еле слышно бормотал: «Я трубадур с разбитым сердцем, разумом эстета и вкусами простолюдина… Да, я эстетичен и поэтичен». Публика была в восторге; средневековые и эстетские аллюзии встречали аплодисменты и взрывы хохота. Встаньте так, присядьте вот так, побольше гримас и ужимок, старайтесь быть плоским и угловатым… В каждом слове актеров

содержался намек на лондонского денди, и публика все чаще бросала взгляды в его сторону. Когда дело дошло до одежды, смех усилился: одежда сценического героя точь-в-точь повторяла сегодняшний костюм Уайльда. Вся публика в зале, не в силах сдержаться, обернулась к нему, когда Банторн сказал о Гросвеноре: «Этот японский юноша. Юноша в сине-белом наряде»[158]. Уайльд с интересом следил за тем, что происходило на сцене, и улыбался при упоминании о синем фарфоре, страсть к которому перешла к нему от Уистлера. Когда занавес опустился, он наклонился к матери и заключил: «Карикатура — это дань, которую посредственность платит гению».

А в понедельник 25 апреля в «Морнинг пост», как и в других газетах, можно было прочесть, что авторы «Терпения» стремились выставить на посмешище поклонников школы чувственной поэзии и так называемого художественного эстетизма. Для того чтобы добиться такого эффекта, автор либретто собрал все самые необычные ключевые слова, фразы и выражения, которые, как предполагается, используют между собой приверженцы этой абсурдной эстетики… Эстеты — это изобретение «Панча», и они уже не раз подвергались насмешкам… «Пьеса признана крайне забавной; публика много смеялась. Некоторое сожаление вызывает отсутствие голоса у актеров, исполняющих роли поэтических героев, но зато все в восторге от мисс Элеоноры Брэм, чудесно играющей роль Пэйшенс: „Ее сладкий голос и поставленная манера исполнения позволяют как нельзя лучше передать прелесть чудесной музыки г-на Салливана“».

Удачливый продюсер Ричард Д’Ойли Карт поделился с прессой причиной, побудившей его поставить этот спектакль: «Общественное движение, направленное на развитие художественного вкуса, имеет, несомненно, большие заслуги, делая нашу повседневную жизнь приятнее и красивее. Однако в последнее время чистая и совершенно нормальная манера преподавания г-на Рёскина и его коллег уступила место сборищу ультрарафинированных преподавателей, проповедующих учение о нездоровом томлении духа и болезненной чувственности, движение одновременно искреннее и напускное в устах этих великих отцов, стремящихся через свою проповедь добиться личной известности. В общих словах, отличительная черта новой школы заключается в эксцентричности вкусов, ведущей к нездоровому преклонению перед обществом потребления, коррупции и вырождения. Изображая в сатирическом виде этих (так называемых) эстетов, авторы „Терпения“ не ставили целью высмеять дух подлинной эстетики, а стремились лишь заклеймить неестественную эксцентричность, старающуюся

выдать себя за таковую. И им удалось создать одну из самых очаровательных и веселых музыкальных комедий»[159]. Кстати, выходя из театра, Оскар Уайльд заслужил аплодисменты публики, оценившей чувство юмора, с которым он воспринял спектакль.

Оскар не преминул воспользоваться своей возросшей известностью; Лилли Лэнгтри рассказывала о том, насколько умно и с каким чувством юмора это было сделано: «Позднее, когда он начал становиться заметным персонажем лондонской жизни и когда его наивные чудачества сделались мишенью юмористических колонок в газетах, он быстро сообразил, что может обернуть их себе на пользу, и с этого момента начал так смело доводить их до крайности, что игнорировать его стало невозможно. Над ним смеялись, но его всюду звали. Когда он появлялся с цветком в петлице, сотни молодых людей делали то же самое. Когда он восхищался цветами гелиотропов, ими торопились украсить все салоны… По забавному выражению того времени, он считался апостолом лилии, апостолом трансцендентализма… Могу с уверенностью сказать, что его позы были рассчитаны именно на публику. Для друзей он всегда оставался прежним, и у нас не было другого выхода, как признать его авторитет, несмотря на эти постоянные ухищрения»[160].

22 сентября 1881 года «Терпение» было представлено на сцене театра «Стандарт» на Бродвее. 30 сентября Уайльд получил телеграмму с предложением осуществить турне по Соединенным Штатам начиная с 1 ноября, во время турне поэт должен был провести около пятидесяти публичных выступлений. 1 октября Уайльд написал из Лондона: «Согласен, если Ваши условия меня устроят». Условия устроили, и 24 декабря 1881 года длинноволосый эстет, молодой человек с лилиями и подсолнухами, автор недавно вышедшего сборника стихов, герой постановки «Терпения», приехал в Ливерпуль и поднялся на борт парохода «Аризона». Багажом поэта были рукопись пьесы «Вера» и собственный гений.

По всей видимости, плавание прошло без приключений. 2 января 1882 года Оскар Уайльд, «разочарованный Атлантическим океаном»[161], прибыл в Нью-Йорк. Один из журналистов сел в лодку и бросился ему навстречу. Накануне он выучил наизусть определение эстетизма: «Наука об ощущениях или о том, что объясняет причины чувства боли или удовольствия, возникающих при созерцании произведений искусства или природы; наука о красоте и о различных формах ее проявления в природе и в искусстве; философия изящных искусств»[162]. Но прежде всего журналист был поражен внешностью Уайльда: «Мистер Уайльд

был ростом не меньше 1 м 80 см, прямой, как стрела, широкоплечий и длиннорукий, что свидетельствует о немалой физической силе. Он был одет в длинное, до пола, свободное зимнее пальто с поясом, отороченное двумя разными видами меха, на ногах ботинки из прекрасной кожи, на голове что-то вроде греческой войлочной шапочки без полей, а открытую на груди рубашку можно смело назвать байроновской. На груди был повязан галстук небесно-голубого цвета, прекрасно сочетавшийся с морской тематикой. Длинные, слегка завивающиеся книзу волосы темной волной спадали на плечи. Глаза светились густо-синим цветом, однако были начисто лишены того устремленного в даль выражения, которое столь часто приписывают поэтам». Наивное удивление, отразившееся в широко открытых глазах журналиста, позабавило Уайльда; его собственное определение эстетизма будет перепечатано во всех нью-йоркских газетах: «Эстетизм — это поиск признаков красоты. Это наука, позволяющая обнаружить связи, которые существуют между различными художественными формами. Если быть еще точнее, эстетизм — это поиск тайны бытия»[163].

Пароход причалил слишком поздно, чтобы пассажиры могли пройти через таможню, поэтому Оскар сошел на берег только на следующее утро. Его встретил американский агент Д'Ойли Карта полковник Морс, который проводил его в гостиницу, где поэта ждал завтрак; затем они отправились в здание на Семнадцатой авеню, адрес которого был засекречен и где отныне располагалась штаб-квартира Оскара Уайльда. Рекламные агенты готовили брошюру с биографией его родителей и описанием жизни в Оксфорде; вскоре появилось сообщение, что первая лекция будет посвящена Ренессансу английского искусства. Городская золотая молодежь наперебой приглашала Оскара Уайльда на бесконечные ужины.

7 января Уайльд присутствовал на постановке «Терпения» в театре «Стандарт». На нем был обычный эстетский наряд: короткие штаны, черные шелковые чулки, рубашка с жабо и пунцовый галстук; в бутоньерке куртки черного бархата, обшитой шнурком, на этот раз красовался цветок гелиотропа. Он невозмутимо аплодировал репликам, приводящим публику в восторг, и с улыбкой выдерживал обращенные на него взгляды. После представления он отправился за кулисы поздравить исполнителей, а затем — на ужин в свою честь. На следующий день он проснулся знаменитым на весь Нью-Йорк: газеты писали только о нем; сатирические журналы «Пак» и «Дейли грэфик» поместили на него карикатуры. Словом, 9 января 1882 года все было готово для начала первого выступления в Чикеринг-Холле.

Зал был переполнен, и каждый по праву задавался вопросом, какой прием будет оказан безумному поэту — поедателю цветов, которого в течение стольких лет высмеивал журнал «Панч». Уже с сентября прошлого года «Терпение» пользовалось неизменным успехом у американской публики, а Оскар Уайльд как бы заочно исполнял в этом спектакле главную роль. Продюсеры старались использовать его в качестве живой рекламы. Но они плохо его знали. Сразу после прибытия квартира, в которую поселили молодого поэта, стала местом встречи журналистов, актеров, актрис и некоторых привилегированных гостей, допущенных послушать рассуждения Оскара о красоте, открывшейся ему в средневековом великолепии Оксфорда в колледже Св. Магдалины или во Флоренции, этой жемчужине итальянского искусства. Ему уже удалось преобразить английское общество; цель нынешней кампании — попытка оказать влияние на американскую публику. Он предвещает появление цветовой гаммы в мужском костюме, которому необходимо отказаться от скуки черно-серых тонов, так как в конце концов «стремление к красоте является не чем иным, как возвеличенной жаждой жизни», о чем сам Оскар не уставал повсюду повторять. Публика не могла опомниться: все ожидали увидеть плохого комедианта, а перед ней неожиданно оказался молодой человек, культура и уровень развития которого намного превосходили их собственный. Оскар Уайльд, спокойно наслаждавшийся сложившейся ситуацией, предпринял первые шаги для постановки своей пьесы «Вера».

Вечером 9 января, накануне выступления, Оскар был необычно сосредоточен. Его наряд отличался примерной строгостью: черная бархатная куртка, рубашка с напуском, короткие штаны, шелковые чулки и башмаки с пряжками. Никаких цветов в бутоньерке, лишь букетик лилий в вазе на пюпитре. Не обращая внимания на нескольких опоздавших, он разложил записи и начал говорить слегка приглушенным голосом. Публика с любопытством прислушивалась, тем не менее кое-где послышался шепот и саркастические замечания. Но едва закончились первые пять минут, в течение которых оратор дал определение предмету своего выступления, как обаяние голоса, неожиданная и выразительная манера речи, простота и ясность слога подкупили аудиторию, и недоверчивость сменилась восхищенным удивлением. Уверенность возвращалась к Оскару по мере того, как его острые выпады, направленные против англичан, неизменно встречали одобрительный отклик. Публика была окончательно покорена, когда Уайльд заявил: «Поскольку вы все уже успели побывать на пьесе, которая идет здесь столько

времени, я думаю, у вас достанет терпения послушать сегодня вечером меня»[164]. Молодой оратор — а ему было только двадцать семь, — духовный отец юных «душек», каким его вот уже несколько месяцев язвительно изображали в Англии и Соединенных Штатах, оказался личностью совсем иного масштаба. «Благодаря этому испытанию, — отмечал полковник Морс, — в присутствии критически настроенной, подозрительной и почти враждебной публики, Уайльду удалось самоутвердиться как оратору; никто и никогда больше не подвергал сомнению его умение обрести власть над аудиторией и заставить слушать себя в полной тишине. За все свои долгие годы работы с самыми известными американскими и английскими лекторами я не припомню столь сурового испытания и такого полного триумфа, какого добился г-н Уайльд на своем первом публичном выступлении»[165]. Сам Оскар Уайльд по достоинству оценил свой первый успех.

Не скрывая удивления, он так говорил об этом своему юному другу Форбсу-Робертсону: «Меня не оставляют в покое ни на секунду. Грандиозные приемы, великолепные обеды, постоянная толпа, окружающая мой автомобиль… очаровательные девушки, простые и умные молодые люди»[166]. К нему даже приставили чернокожего слугу, раба, о котором он, шутя, говорил: «Воистину, в свободной стране невозможно жить без раба!» 17 января Оскар вместе с полковником Морсом расположился в мягком вагоне, выделенном в его распоряжение, и на пароме пересек Гудзон. Он читал Рёскина, вытянув длинные ноги и провожая удрученным взглядом некрасивую панораму Джерси-сити. Он без устали отвечал на вопросы журналистов, не переставая удивлять их продолжительными и страстными тирадами о цветах, природе и искусстве. Он восторгался американскими женщинами и сравнивал актрису Клару Моррис, которую видел на сцене в Нью-Йорке, с Сарой Бернар. Он с уважением читал произведения американского поэта Уолта Уитмена и философа Эмерсона. Журналисты наперебой утверждали, что вместо обещанного шута открыли замечательно интересного человека.

Правда, не все было так безоблачно — Филадельфия приняла Уайльда хоть и вежливо, но скептически. В местной прессе можно было даже прочитать, что «Оскар Уайльд по-прежнему одевается в черное в память об утраченном разуме»[167]. Задетый подобным непониманием, Оскар утешался в обществе Уолта Уитмена, которому наносил визит за визитом. Великий американский поэт-мистик, автор единственной книги «Листья травы», которую он постоянно дополнял и исправлял, в свои шестьдесят три года жил одиноким затворником в городке Камден, штат Нью-Джерси. Два

поэта проводили вместе вечера, обмениваясь довольно противоречивыми взглядами на эстетизм, ибо Уитмен несколько опасался излишеств, которые, на его взгляд, могли явиться следствием уайльдовских теорий. Он записывал в дневнике: «Мистер Уайльд заехал проведать меня сразу после обеда. Я увел его в свое логово, где мы очень приятно провели время. Кажется, он был рад возможности отвлечься от своих лекций и элегантного общества и пообщаться со стариком. Он показался мне искренним, честным и бесстрашным. Я был счастлив побыть рядом с ним, поскольку его здоровая юность, энтузиазм и избыток чувств действовали на меня освежающе. Он был в веселом настроении и, по-моему, отбросил всякое притворство, которое ему ставят в упрек. На меня он произвел впечатление блистательного и хорошо сложенного молодого человека»[168].

И вот наконец первое серьезное происшествие. Оскар отказался выйти из вагона в Балтиморе, где должен был выступить с очередной лекцией, поскольку поссорился с другим лектором, Арчибальдом Форбсом, который позволил себе ироничное замечание по поводу эстетических воззрений Уайльда. И тогда он оказался в Вашингтоне, попав на бесконечный праздник, устроенный в его честь политическими деятелями и богатыми финансистами, которые демонстрировали его как некую диковинную «эстетскую обезьяну», вроде тех, что можно встретить на страницах «Харперз уикли». Это не мешало Оскару завязывать знакомства с самыми красивыми женщинами города и ухаживать за исполнительницей роли Пэйшенс молодой актрисой Лилиан Расселл. Однако оскорбительная карикатура, появившаяся 22 января на страницах «Вашингтон пост», где Уайльда сравнили с дикарем, разгневала его и побудила покинуть город. Уайльд почувствовал на себе всемогущество американской прессы, которой хватило двух пренебрежительных статей и нескольких карикатур, чтобы серьезно подорвать его престиж.

Дальнейший его путь лежал в Бостон, где встречи с Уайльдом ждали с некоторым недоверием. Рисунок в газете «Дейли грэфик» напомнил, что в североамериканских Афинах не нуждаются в уроках эстетизма. 27 января его поезд прибыл в заснеженный город. Приглашения, отзывы в прессе породили у Уайльд добрые предчувствия, несмотря на некоторую сдержанность в приеме, оказанном ему «потомками Мэйфлауэра»[169]. Он нанес визит Лонгфелло, отцу американской поэзии, современнику Эдгара По. «Я поехал в гости к Лонгфелло, — читаем мы, — в снежную пургу, а когда вернулся, был уже ураган, и когда я вспоминаю Бостон,

перед моими глазами встает только этот прекрасный старик, который сам по себе целая поэма». Несмотря ни на что, интеллектуальные круги Бостона по достоинству оценили Уайльда, чем вызвали удивление прессы, не поднявшейся выше уровня нью-йоркских газетчиков и констатировавшей, что поэт «остается слишком легкой добычей для педантичной цензуры и всех тех, кто желает над ним поиздеваться»[170]. Однако показной пуританизм «потомков Мэйфлауэра» был возмущен непристойностями автора «Хармид», так что женской части населения было рекомендовано воздержаться от чтения подобных откровений:

> И не было прекрасней встречи прежде —
> Всю ночь шептал он о своей любви
> И любовался девственной красою,
> Устами нежными касаясь серебра
> Ее нежнейшей шеи, прижимая
> Пылающее сердце к белизне ее груди[171].

Ответ Уайльда не заставил себя ждать, но на этот раз насмешники к его доводам не прислушались. «Если у вас появится желание узнать, что такое английский пуританизм, не в самом своем худшем виде, когда он действительно слишком плох, а в лучшем его проявлении, когда он все равно не слишком хорош, я полагаю, что лучше всего его искать не в Англии, а в Бостоне и Массачусетсе, где он буквально бросается в глаза»[172].

Несмотря на не особенно вежливый прием, 31 января в зале бостонского Мюзик-холла Оскар Уайльд читал лекцию об английском Ренессансе. Он полагал, что этот период пришелся на середину XIX века, и говорил о нем как о «новом рождении человеческого разума, основными признаками которого являются: стремление сделать более привлекательным свой образ жизни, культ физической красоты, исключительное внимание к внешней оболочке, поиск новых поэтических тем, новых художественных форм, новых интеллектуальных восторгов, порожденных воображением»[173]. Такое возрождение, по Уайльду, явилось плодом соединения древнегреческой культуры с английским романтизмом.

За несколько дней до его выступления газеты писали: «Шестьдесят мест в зале, ангажированные одним студентом из Кембриджа, займут студенты Гарвардского университета, которые будут в вечерних сюртуках, коротких штанах на французский манер, шелковых чулках и с лилиями в бутоньерке»[174]. Ожидались беспорядки, и полиция была наготове.

Когда вечером во вторник 31 января 1882 года Оскар Уайльд готовился выйти на сцену, зал был уже переполнен. В первом ряду пустовали шестьдесят мест. Но в тот самый миг, когда Уайльд вышел из-за кулис и направился к трибуне, в зале появились шестьдесят разодетых денди и грациозно уселись на свои места. Назавтра в газетах сообщалось: «Вырядившись во все возможные эстетские атрибуты, они являли крайне комичное зрелище. Светлые и темные парики, широкие развевающиеся галстуки всех цветов и оттенков, и у каждого в руках бесценная красота лилии или напоминающее расцветку льва сверкание огненного подсолнуха»[175]. Оскар Уайльд медленно разложил свои записи, поправил цветы, украшавшие трибуну, и обратил свою самую любезную улыбку к молодым людям, которые со смущением заметили, что на принце эстетов черный бархатный смокинг, длинные брюки и галстук из белого шелка. Он поклонился залу, затем остановил взгляд на первом ряду и произнес: «Смотрю я вокруг и чувствую, что вынужден впервые вознести молитву Всевышнему: упаси меня, Господи, от последователей»[176]. Затем Оскар осыпал студентов комплиментами за великолепные облачения, в которых им не разрешили бы даже появиться в Оксфорде и которые равно не подошли бы и для земляных работ, к которым Джон Рёскин привлекал английских студентов в рамках своей программы эстетического воспитания: «Наши противники, впрочем, так же, как и наши друзья, постоянно издевались над этими работами, но нам как не было до этого дела раньше, так нет и теперь! А этим очаровательным молодым людям было бы полезно последовать нашему примеру; физический труд пошел бы им на пользу, однако не думаю, что они способны построить такую прекрасную дорогу, какую построили мы»[177]. И Оскар перешел к теме лекции под аплодисменты публики, повергнув в смущение своих хулителей. В конце выступления он подарил университетскому спортивному залу статую, изображающую греческого атлета. На следующий день в прессе появились замечания такого толка: «Своим тактом, достойной и любезной манерой поведения мистер Уайльд обезоружил противников, и ему хватило нескольких саркастических замечаний перед началом выступления, чтобы поставить на место школяров»[178].

На фоне необыкновенного процветания американского общества в 80-х годах прошлого века художественные уроки, преподаваемые Уайльдом, получали все больший отклик. Здесь с новой силой вспыхнул интерес к моде, внутренней отделке домов, произведениям искусства. Эти тенденции становились все

заметнее и, несомненно, способствовали успеху лекций человека, который все меньше воспринимался публикой как жеманный герой, некий Арчибальд Гросвенор из Опера-Комик, и пользовался все большим успехом.

В начале февраля Оскар Уайльд остановился в Рочестере, где снова выступил в эстетском наряде, несколько смягчив его экстравагантность, если верить описаниям, которые не замедлили появиться в прессе: «Короткие штаны, черные шелковые чулки, открытые лаковые туфли, вечерний пиджак, жилет из белого шелка и белый галстук, тщательно завязанный поверх рубашки, на манишке которой была приколота булавка с бриллиантом, обрамленным двумя жемчужинами. Из-под пиджака выглядывала цепочка от карманных часов, и еще одно, последнее украшение — массивный перстень на среднем пальце левой руки. Картина в целом получалась забавная, если не сказать живописная, но особую привлекательность придавало этому наряду совершенно удивительное лицо»[179]. Были и другие студенческие выходки с целью внести смуту и сбить его с толку, однако Оскар Уайльд реагировал на них с неизменным спокойствием, чем приводил в восторг журналистов. Кстати, они решительно заняли сторону поэта во время одного из выступлений, когда полиции пришлось вообще очистить от публики зал. В то время завязалась его переписка с экстравагантным Хоакином Миллером[180]. В письме, написанном 9 февраля 1882 года, американский поэт поделился с Уайльдом чувством стыда, охватившим его при виде «хулиганов из Рочестера», и посоветовал ему уехать подальше от этих варваров с восточного побережья и поскорей перебраться в цивилизованный мир западного побережья. Уайльд так ответил Миллеру: «Поверьте, еще меньше, чем судить о мощи и сверкании солнца или моря по танцующим в луче пылинкам или по пузырькам пены на воде, склонен я принимать мелкую и вздорную грубость обитателей одного или двух крошечных городков за показатель или мерило подлинного духа здорового, сильного и простодушного народа»[181].

Перед тем как покинуть Рочестер, Уайльд вновь продемонстрировал оригинальность своего гения по сравнению с тривиальностью прессы: «Я знаю, что правда на моей стороне, передо мной великая миссия. Я неуязвим! Шелли был изгнан из Англии, но не стал писать хуже, оказавшись в Италии. Не он подвергся оскорблению, а весь народ»[182]. И наконец, подобно тому, как много позже он бросил вызов викторианской Англии, Уайльд, уже удаляясь на запад, преподал урок вежливости жительнице Бостона, воскликнувшей при виде его: «Так, значит, это Оскар Уайльд! Но где же ваша лилия? — Дома, мадам, там

же, где Вы оставили свою воспитанность»[183].

И в самом деле, настало время уезжать. Чикаго, равно как и Ниагарский водопад, не произвел на него никакого впечатления, правда, возможно, отчасти оттого, что их затмило известие о скором приезде Лилли Лэнгтри. Кроме того, Уайльду пришлось состязаться в известности с чемпионом по боксу, национальным героем Джоном Л. Салливаном, слава о подвигах которого разносилась по всей стране; ради Уайльда городским властям пришлось закрыть здание хлопковой биржи, где должен был состояться очередной бой. Не говоря уже о слоненке Джумбо, которого цирк Барнума приобрел в Лондонском зоопарке и который вызвал столько эмоций, что английской королеве даже пришлось выступить с заявлением, чтобы успокоить разгоряченные умы. После Чикаго Уайльд пустился в большое и изнурительное путешествие: Цинциннати, Сент-Луис, Канада… Он переслал Уолту Уитмену письмо Суинберна, в котором тот высказал более чем сердечные чувства к великому американскому поэту, оставаясь, кстати, значительно сдержаннее в отношении «эстетической миссии» самого Уайльда: «Мне только один раз довелось повстречаться с г-ном Оскаром Уайльдом, это случилось на приеме у нашего общего друга лорда Хоутона. Он произвел впечатление совершенного бездаря, и я никак не мог тогда предположить, что этот человек способен устроить такой балаган, о котором пишут газеты. С другой стороны, совсем недавно я получил от него письмо, касающееся Уолта Уитмена, написанное совершенно просто, вежливо, разумно, без малейшего позерства или прикрас, как по духу, так и по стилю изложения. Это и впрямь очень любопытно. Я думаю, что его имя Вам так же надоело в Америке, как нам в Лондоне надоело имя г-на Барнума и его Джумбо»[184].

Как бы далеко ни находился Оскар Уайльд от Уистлера, он ни на минуту не прекращал своей перепалки с ним, причем оба с удовольствием смаковали впечатление, которое она вызывала у публики. 4 февраля Уистлер подписал своей традиционной «бабочкой» очередное письмо к Уайльду: «Оскар! Все мы, обитатели Тайт-стрит и Бофор Гарденс, радуемся твоему триумфу и аплодируем твоим успехам, но считаем, что, за исключением эпиграмм, речи твои напоминают, скорее, провинциального Сидни Колвина[185], и если не считать французских коротких штанов, ты одеваешься, как Гарри Куилтер[186]»[187]. Уайльд тотчас отвечал: «Мой дорогой Джимми, я только что получил твой ужасающий литературный опус. Я поверить не мог тому, что моя очаровательная и остроумнейшая леди Арчи могла поставить под ним свою подпись. Я был настолько вне себя, что счел

необходимым рассказать о тебе одному репортеру. Посылаю тебе то, что из этого вышло»[188].

После чего он отправил Уистлеру следующую телеграмму: «Я допускаю французские короткие штаны и согласен с эпиграммами, однако отметаю Куилтера и отвергаю Колвина. Надеюсь выступить с лекциями в Нью-Йорке и Бостоне. Всегда твой»[189].

25 февраля в Сент-Луисе встретили «принца истомы» и проявили определенное неприятие по отношению к эстетским позам, экстравагантным одеяниям и приглушенному свету, используемому во время выступления. После этого Уайльд читал лекцию в Сент-Поле, откуда написал Д'Ойли Карту о сюжете, интересующем его больше, чем лекции: о пьесе «Вера». «Я получил Ваше письмо относительно моей пьесы. Я согласен полностью передать Вам заботу о ее постановке при условии получения половины прибыли и гарантии выплаты двухсот фунтов после первого спектакля… Что касается исполнителей, то я знаю, что Вы, как и я, считаете, что эта роль как нельзя лучше подойдет Кларе Моррис; и в то же время мне известно, какой трудный у нее характер, и что, приглашая ее на эту роль, нужно быть готовым к любым неожиданностям»[190].

Наконец эстет из Англии покинул восточное побережье Соединенных Штатов; он сел в железнодорожный вагон «Юнион Пасифик» и направился в Небраску, навстречу индейцам сиу, поближе к американскому Западу, который так расхваливал ему Хоакин Миллер. 21 марта он добрался до Омахи, откуда послал жалобу полковнику Морсу, ссылаясь на слишком большое число лекций и грубый прием в Чикаго. Он вновь вернулся к своей главной заботе — постановке пьесы «Вера», обсуждая возможность приглашения на роль русского царя Кайрли Беллью или Форбса-Робертсона. В том же письме он отправил специально написанный пролог, в котором сделал уточнения относительно декораций. Но Морс ответил ему, что Клара Моррис отказалась от этой роли и что он считает разумным отложить постановку спектакля. Уайльда постигло очередное разочарование, и он утешал себя наблюдениями за индейцами из Сиу-сити: «Дорогая миссис Льюис, я уверен, что Вам будет интересно узнать, что я видел индейцев. Они точь-в-точь похожи на Колвина, когда он обряжается в свою профессорскую тогу. Речь их была весьма интересной, покуда оставалась непонятной. А еще я встречался с шахтерами: у них у всех высокие сапоги, красные рубашки и светлые бороды, из них получились бы чудные сутенеры»[191]. Одному местному журналисту, который мечтательно рассуждал о «неглиже», в котором его принял герой дня, — «черная бархатная

куртка, темные брюки, шарф из коричневого шелка и носовой платок из той же ткани такого же цвета», — Уайльд заметил: «Зло, причиняемое машиной, заключается не в результате ее работы, а в том, что она превращает в машины людей, в то время как мы стремимся к тому, чтобы они были художниками, то есть людьми. Вот теперь Вы понимаете, чего мы хотим»[192].

Сан-Франциско радостно встретил «поэта с подсолнухом», а на вокзале собралась толпа, чтобы поглазеть на светского «льва». Оскар расположился в пышных апартаментах Палас Отеля и, превозносимый прессой, скоро забыл о Чикаго и недоброжелательных вашингтонских журналистах. Он был покорен многоцветьем окрестных пейзажей, от зелени залива до позолоты Алькатраза и Золотых Ворот, едва различимых в утренней дымке. Элегантные манеры, вдохновенный вид, умный взгляд и очевидная культура заставляли окружающих забыть об экстравагантности его нарядов. «Во время разговора мистер Уайльд обычно сохраняет вежливое и внимательное отношение, но едва беседа затрагивает близкую ему тему, лицо его проясняется, а взгляд серо-зеленых глаз устремляется на пробудившего его интерес собеседника, не скрывая поощрительной и одобрительной улыбки»[193].

Отвечая на вопрос одного из собеседников, Уайльд дал такое определение искусству: «Своим возникновением школа прерафаэлитов, к которой я принадлежу, больше, чем кому-либо другому, обязана Китсу. Он был предтечей этого течения, подобно тому, как Фидий стоял у истоков древнегреческого искусства, а Данте стал вдохновителем силы, страсти и красочности итальянской живописи. Позднее Берн-Джонс в живописи, Моррис, Россетти и Суинберн в поэзии превратились в плод, завязью которого был Китс»[194]. На его лекции собиралась самая эстетская публика: изобилие красоты, празднество красок. Цветы, великолепные ковры, сверкающие люстры, бархатные кресла, все приводило в восторг Уайльда: «Четыре тысячи человек пришли встречать меня на вокзал, была подана открытая коляска, запряженная четвериком. Железнодорожная компания предоставила в мое распоряжение специальный состав для поездки вдоль всего побережья до Лос-Анджелеса, этакого американского Неаполя, со мной обходятся по-королевски, к полному моему удовольствию. А женщины здесь восхитительны»[195].

26 марта Уайльд прибыл на поезде в Сакраменто, где ему преподнесли охапку самых красивых местных цветов; город не скупился на похвалы «этому чудесному и замечательному оратору», который стал заметно скромнее одеваться, хотя

неизменной осталась широкая белая панама, которая по-прежнему привлекала всеобщее внимание. Пресса публикует комментарии к его художественным теориям и помещает на первых страницах такой афоризм: «Всякое художество должно начинаться с художественного промысла». Здешние газеты нашли чрезмерными недоброжелательную критику в прессе и маскарад, который устроил в Юте Джон Хоусон, актер из труппы, исполняющей «Терпение»: Хоусон высунулся из окна своего вагона в театральном костюме, вызвав шумные приветствия толпы, принявшей его за Уайльда. Уайльд задержался на две недели в этом если не артистическом, то богемном городе, в котором смешались все расы и народности и где его выступление прошло с большим успехом, хотя на страницах «Пака» и на театральных подмостках продолжали появляться карикатуры на него и его манеру одеваться. В Сакраменто его застало известие, потрясшее всю Америку: гибель Джесси Джеймса, убитого 3 апреля 1882 года двумя членами его банды. Казалось, страна готова была объявить траур по случаю смерти того, кого, несмотря на его многочисленные преступления, считала своим «любимым бандитом».

Затем Оскар приехал к мормонам в Солт-Лейк-Сити, где с прискорбием констатировал уродство здешних церквей и их убранства, а также лицемерие культа мормонов. Об этом он заявил позднее одному из журналистов: «Храм напоминает по внешнему виду крышку от супницы, а внутреннее убранство достойно тюремной камеры. Это самое уродливое сооружение, которое мне когда-либо доводилось видеть. Оказавшись внутри, я обнаружил, что там все ненастоящее, и даже колонны нарисованы. А ведь в доме Господнем не пристало лгать!» Он считал, что полигамия мормонов посягает на романтизм, ибо он как раз «заключается в том, что человек может любить многих, но берет в супруги только одного». Уайльд нанес визит Джону Тейлору, президенту мормонов, которого американское правительство преследовало за полигамию — у него было семь жен и тридцать четыре ребенка.

12 апреля в Денвере его встретили шахтеры Ледвилла, заинтригованные словом, которое впервые услышали — эстетизм. В гостиницу к Оскару явился сам губернатор Колорадо и пригласил его осмотреть шахты. Уайльд как раз сидел за столом: «Это будет прелестно! — ответил он. — Изо всех мест, которые я хотел бы посетить, именно шахта манит меня более всего»[196]. Финансовый магнат Табор, о котором говорили, что он зарабатывает по десять миллионов долларов в год, отдал распоряжение выделить эстету апартаменты в принадлежавшей

ему гостинице «Виндзор». Стены в прихожей были оклеены розовыми обоями с цветками лилий. Одна из фресок в спальне изображала Гений Ренессанса; стены были затянуты тканью бутылочного цвета, усеянной маковыми цветами, ванная комната украшена статуями Купидона и Венеры. Однако, освежившись бокалом шампанского, Уайльд поспешил выйти на сцену в заполненном до отказа, но, к огромному огорчению оратора, пребывавшем в полудреме зале. Вернувшись вечером в отель, Оскар Уайльд вынужден был констатировать: «Это просто неслыханно! Проехать в душном вагоне шестьсот миль кряду, чтобы выступать перед спящей публикой!»[197]

И все-таки пресса нередко принимала его за шарлатана; вот как об этом писала «Нью-Йорк дейли трибьюн»: «Очень умные, но не слишком образованные представители прессы сделали все возможное, чтобы выставить его в роли шута, однако без особого успеха. Он сам являет собой ответ на их дерзости. Он прекрасно знает свой предмет и великолепно его излагает. Кое-кто может счесть его взгляды абсурдными, поскольку все, что выходит за рамки вульгарной обыденности, кажется им абсурдным, но его нельзя винить в помутнении серого вещества в мозгах у этих людей, также как и невозможно принуждать безропотно сносить проявление людского невежества»[198].

Несмотря на это, в Ледвилле Уайльд выступал перед полным залом неотесанных, но внимательных и готовых в любой момент взорваться шахтеров; вот как он сам писал об этом: «Я говорил им о ранних флорентийцах, а они спали так невинно, как если бы ни одно преступление еще не осквернило ущелий их гористого края. Я описывал им картины Боттичелли, и звук этого имени, которое они приняли за название нового напитка, пробудил их ото сна, а когда я со своим мальчишеским красноречием поведал им о „тайне Боттичелли“, эти крепкие мужчины разрыдались, как дети. Их сочувствие тронуло меня, и я, перейдя к современному искусству, совсем было уговорил их с благоговением относиться к прекрасному, но имел неосторожность описать один из „Ноктюрнов в синем и золотом“ Джимми Уистлера. Тут они дружно повскакали на ноги и с дивным простодушием заявили, что такого быть не должно. Те, кто помоложе, выхватили револьверы и поспешно вышли посмотреть, „не шатается ли Джимми по салунам“. Окажись он там, его, боюсь, пристрелили бы, до того они распалились»[199]. Уайльд все же спустился в шахту при свете факелов и даже поучаствовал там в банкете в свою честь. Эстет оказался своим: шахтеры обнаружили, что он может выпить с ними на равных, что одевается он так же, как они, и не боится спускаться на глубину. Сам Уайльд, вне всякого

сомнения, находился под впечатлением от общения с этими необразованными, но искренними людьми. Газеты иронизировали: «Уайльд приехал дать им урок по искусству костюма, а вышло так, что шахтеры сами преподали ему урок». Эстетское движение в Лондоне неожиданно показалось ему очень далеким и окрасилось для него в тона гуманитарного социализма, который принял более конкретные очертания в «Душе человека при социализме».

Уайльд вовсе не сожалел о вновь приобретенных знаниях, лишний раз убедившись, насколько свободный и дикий американский Запад более восприимчив к культуре, чем Восток, развращенный близостью тлетворных веяний Европы. Однако револьверная пальба, слишком суровые нравы, уличные сражения проституток удручали его. Уайльд уехал из Денвера с гораздо меньшими сожалениями, чем те, с которыми ему пришлось оставить ледвиллскую публику, и направился в Сент-Луис, где посетил дом Джесси Джеймса, одно из самых популярных мест в Миссури; здесь наперебой раскупали как реликвии домашние вещи знаменитого головореза. Оскару устроили экскурсию в тюрьму, и вид одного из заключенных, читающего в камере Данте и Шелли, навел его на размышления, полностью подтвердившиеся дальнейшей судьбой: «Удивительным и прекрасным показалось мне, что скорбь одинокого флорентийца в изгнании сотни лет спустя служит утешением в скорби простому узнику в современной тюрьме; а один убийца с печальными глазами (через три недели, как мне сказали, его повесят) проводит оставшиеся дни за чтением романов — скверная подготовка к тому, чтобы предстать перед Богом или Пустотой»[200].

20 апреля весь Канзас-Сити собрался в зале оперного театра, где выступал принц эстетов. И уже в который раз его голос, его талант и обаяние оказались выше газетных насмешек; выступление принесло ему новый успех у простой и скромной публики, понимавшей его гораздо лучше, чем так называемая образованная публика восточного побережья.

12 мая поэт был в Монреале. О его прибытии возвещали огромные афиши, расклеенные на стенах домов. Он пользовался всеобщим вниманием и принимал представителей прессы в отеле «Виндзор». Его оксфордское произношение, по общему мнению, звучало «диковинно», но это не помешало Уайльду мгновенно завоевать симпатии зрителей и поздравить себя с очередным успехом. До этого ему уже удалось привлечь всеобщее внимание к одному талантливому чикагскому скульптору, который прозябал

в неизвестности и который благодаря Уайльду сделался гордостью всего города. Из Оттавы Уайльд написал Уистлеру очередное письмо, которое, как повелось, было опубликовано в газетах к восторгу публики, с интересом наблюдавшей за блестящим диалогом двух великих художников: «Мой дорогой Джимми, я хочу, чтобы ты познакомился, а значит, и полюбил мисс Ричардс[201], не просто художницу, а самый настоящий маленький культурный оазис в Канаде. Она уже стала восторженным поклонником твоих картин, вернее, моих описаний твоих картин, которые ничуть не хуже, а часто намного лучше оригиналов. Она безусловно достойна твоего сине-белого фарфора, и поэтому я посылаю ее к тебе вместе с этим письмом. Уверен, ты примешь ее наилучшим образом.

P.S. Америку к цивилизации я уже приобщил — осталось только Небо!»[202]

Не получая ответа от своего закадычного врага, Оскар отправил новое письмо: «Дорогой старый бездельник Сухая игла! Почему не пишешь? Даже оскорбительное послание доставило бы мне радость; я здесь читаю о тебе лекции, чем навлекаю на себя гнев всех американских художников. Салон, разумеется, имеет успех. „Маленькую Розовую леди“[203]… я часто вспоминаю, расскажи мне о ней. И потом, когда ты собираешься в Японию? Вообрази себе книгу: я — автор, ты — иллюстратор. Мы бы разбогатели»[204].

Вот уже полгода Уайльд путешествовал по Соединенным Штатам и Канаде, и новые организаторы турне, убедившись в успехе, планировали продлить его пребывание на континенте. Однако Уайльд утомился от долгих переездов по железной дороге, какими бы комфортабельными ни были поезда, от постоянных лекций на одни и те же темы, устал от бесплодных попыток найти возможность поставить «Веру». Тем более что вашингтонские, нью-йоркские и чикагские газеты снова принялись за свое: время от времени они объявляли, что его эстетская миссия единственной своей целью имела деньги, которые приносили ему выступления. И все же он продолжал.

15 мая Оскар появился на выставке в Торонто среди восхищенной и любопытной толпы, явно сожалевшей о том, что он одет в обычный костюм. 15 июня апостол современного искусства проехал через Новый Орлеан. 20 июня в Сан-Антонио местные газеты скостили ему два года, сделав двумя годами моложе. Из Галвестона, где его, должно быть, за высказывания о войне Севера и Юга, произвели в полковники, Уайльд вернулся, по собственному выражению, с ощущением «драгоценного камня,

оправленного в хрусталь». Газеты не преминули перепечатать его слова: «По-моему, дело, которое отстаивал Юг во время гражданской войны, сродни тому, за что борется современная Ирландия. То была борьба за самостоятельность и свободу»[205].

4 июля «Великого Эстета» принимала Джорджия; Уайльда разместили в специально для него обставленном номере гостиницы. В городе прошли пышные торжества по случаю празднования Дня независимости. Вокруг только и было разговоров, что о Джефферсоне Дэвисе, живом воплощении принципов свободы, столь близких сердцу сына Сперанцы. «Нельзя не думать, — заявлял он, — о достоинстве страны, породившей Патрика Генри, Томаса Джефферсона, Джорджа Вашингтона и Джефферсона Дэвиса[206]»[207]. Уайльда спросили, чем объясняется его пристрастие к подсолнухам, и он ответил: «Помимо очаровательной формы, людское воображение окружило этот цветок ореолом красивых легенд, столь же ярко сверкающих золотом, как оттенок его лепестков; кстати, один из феноменов искусства заключается именно в том, чтобы взять, например, считавшийся обычным цветок и показать, насколько он прекрасен»[208].

Тем не менее в письме, адресованном из Огасты американской писательнице и известной полемистке миссис Хау, принявшей сторону поэта, когда на того обрушилась пресса восточного побережья, чувствуется усталость. «Я пишу Вам с прекрасного, пылкого, разоренного Юга, края магнолий и музыки, роз и романтики, живописного даже в его неспособности поспеть за вашим северным интеллектом, проницательным и энергичным; края, живущего преимущественно в долг и погруженного в воспоминания о сокрушительных поражениях прежних лет. Я побывал в Техасе, сердцевине Юга, и гостил у Джефферсона Дэвиса на его плантации (как они очаровательны, все эти неудачники!), видел Саванну и леса Джорджии, купался в Мексиканском заливе, участвовал в колдовских ритуалах негров, ужасно устал и мечтаю о свободном дне, который мы проведем в Ньюпорте»[209].

7 августа он действительно прибыл в Ньюпорт, элегантный и роскошный курортный город, место проживания американских миллиардеров. Его принял писатель и эрудит Нортон, которому Уайльда горячо рекомендовал Берн-Джонс. Поэт снова окунулся в роскошь, богатство, светскую жизнь, о которых успел забыть за время, прошедшее после отъезда из Сан-Франциско. Послушать его лекции в казино приходило «самое элегантное общество, когда-либо собиравшееся в театральных стенах… Женская половина зрительской аудитории приходит в трепет, когда он,

вдоволь поиздевавшись над ужасными головными уборами и искусственными цветами, выражает надежду на то, что никто из присутствующих дам не носит такого уродства». Здесь его принимали, как нигде, и он провел несколько дней у той самой миссис Хау, которая обеспечивала столь необходимый Уайльду душевный покой. Снова попав в привычную среду, он раскрыл неизвестную доселе грань своей натуры, открытую лишь для Лилли Лэнгтри, Эллен Терри и самых близких друзей, — Оскар оказался замечательным гостем и бесподобным собеседником. «Самое лучшее, что было в этом человеке, выплыло наружу, как только он оказался в этом окружении»[210]. Он читал стихи под сенью тенистой листвы и не без лукавства замечал, каким странным должно казаться то, что пара шелковых чулок может взбудоражить целую нацию!

В Саратоге, еще одном месте, где собирались миллиардеры, он развлекался тем, что записывал распорядок дня элегантного общества:

> Курс лечебных вод в качестве утреннего туалета.
> Легкий флирт после завтрака в полуденном одеянии.
> Совершение покупок и прогулки в послеобеденном наряде.
> Ранний ужин и концерт в легком вечернем облачении.
> Поздний ужин при луне на берегу озера или бал в вечернем костюме.

При этом Оскар по-королевски располагался в красивейшей гостинице Соединенных Штатов — «Гранд юнион-отеле». В августе его уже можно было встретить в Нью-Йорке, где Уайльд ожидал прибытия Лилли Лэнгтри, отправившейся из Ливерпуля на борту «Аризоны» в длительное турне по Соединенным Штатам. Они вместе любовались Ниагарским водопадом. Затем она отвезла Уайльда в Буффало в своем роскошном двадцатипятиметровом личном вагоне, с выбитыми на нем инициалами Л.Л., украшенном гирляндами позолоченных лилий и с платформой из тикового дерева. Спальня была затянута парчой из зеленого шелка; в ванной комнате, отделенной от спальни розовыми шелковыми занавесками, были установлены ванна и раковина из чистого серебра, стены салона покрывали гобелены из парчи кремового оттенка; были еще две спальни для гостей, кухня, комната для прислуги, не говоря уж об установленном в салоне пианино.

Уайльд начал переписываться с известной актрисой Мэри Андерсон, которая попросила у него пьесу. «Всякая хорошая пьеса

представляет собой сочетание поэтического вымысла и актерского практического знания, которое придает насыщенность сценическому действию и напряженность ситуации, а поэтический эффект — описание — заменяет эффектом драматическим, то есть самой жизнью»[211]. Пьеса называлась «Герцогиня Падуанская», и в ноябре 1882 года Уайльд заключил контракт на пять тысяч долларов. В течение всего сентября, задыхаясь от нью-йоркской жары, они вместе работали над сценарием, и Оскар заявил, что создаст «образ, который позволит воплотить Ваш огромный талант во всем его объеме, Вашу страстность во всей ее глубине и Вашу красоту во всей ее безграничной власти»[212]. Вопреки собственным предположениям он устроился в Бостоне, где на этот раз вызвал значительно более доброжелательное любопытство, чем во время первого приезда. Он заметил, что студенты Гарвардского университета, столь насмешливые прежде, сами предпочитали теперь одеваться в те наряды, которые он пропагандировал. Уайльд посетил с экскурсией университетский городок и не мог сдержать удивления при виде нескольких необыкновенно красиво обставленных студенческих комнат. Его пригласили к себе администраторы, и он мгновенно завоевал их расположение, рассказывая уйму анекдотов из жизни Юга, который все еще как бы продолжал находиться в плену своей собственной проигранной гражданской войны; он рассказывал, как однажды вечером на террасе виллы любовался светом луны: «Как прекрасен этот лунный свет, падающий на воду!» — на что хозяйка дома лишь вздохнула: «Да, действительно красиво, мистер Уайльд, но видели бы вы, как это было до войны!»[213] Тем временем Лилли Лэнгтри продолжала свое триумфальное турне: «Континент настолько огромен, что просто диву даешься; меня завораживает волшебное ощущение переездов через всю страну из одного города в другой, незнакомый ранее комфорт, который оказывается возможным на железной дороге, и конечно же, больше всего — исключительно теплый прием американской публики»[214]. Оскар снова встретился с ней в Галифаксе, засыпал охапками лилий и посвятил ей хвалебную статью, которая появилась 7 ноября 1882 года на страницах «Нью-Йорк уорлд». Он не уставал повторять: «Да, именно из-за таких женщин была разрушена Троя, и они того стоили»[215]. Ее любовником стал американский миллиардер Фредди Гебхардт, который усеял путь актрисы цветами и долларами. Она несколько охладела к верному Уайльду, оставаясь тем не менее очень к нему привязанной: «Необузданная страсть Оскара к красоте, живой или неживой, делает его нетерпимым к любой форме уродства, он

инстинктивно начинает ненавидеть и избегать малопривлекательных людей, используя при этом самые выразительные слова, чтобы подчеркнуть свое к ним отвращение»[216].

Уайльд снова вернулся в Нью-Йорк, где встретился с Мэри Прескотт, и возобновил переговоры относительно постановки «Веры». В результате очень долгой переписки пьеса в конце концов предстала перед зрителями лишь в августе 1883 года, причем некий Халетт заявил свои претензии на первоначальный замысел, что вынудило Уайльда вернуться в Соединенные Штаты. Последним ярким отблеском этого турне стал большой прием, устроенный в Нью-Йорке финансистом и крупным меценатом Сэмюэлом Уордом, на который в качестве почетных гостей были приглашены Оскар Уайльд и Лилли Лэнгтри. За большим столом, установленным в очень красивом зале, купающемся в неярком свете ламп и аромате самых редких цветов, сидели человек двадцать гостей. В зеркалах отражались столовые приборы, которыми была уставлена атласная скатерть кремового цвета с красными розами. Большие хрустальные вазы были наполнены букетами белых лилий, а напротив кресла, которое должен был занять Оскар Уайльд, стоял одинокий подсолнух. Самые красивые женщины Бостона и Нью-Йорка, известные своим незаурядным умом, демонстрировали эстетские платья, наиболее подходившие для того, чтобы произвести впечатление на апостола этого направления, который был крайне доволен тем, что находится в центре всеобщего внимания. Анна де Бремонт так описывает его: «Его торжествующая молодость и уверенная манера поведения придавали даже некоторую привлекательность странному костюму. Он значительно выигрывал именно в таком окружении, по сравнению с выступлениями со сцены. Его манеры были исполнены такой фации и достоинства, что заставляли забыть об эксцентричном внешнем виде. Длинные темные пряди вьющихся волос, закрывавшие лоб и спадавшие на плечи, придавали его лицу скорее женскую утонченность; если бы не крепкая мускулистая шея, широко открытая в распахнутом вырезе воротника и украшенная шелковым галстуком фантастического зеленого цвета, его голову можно было бы принять за голову очень красивой девушки»[217]. Само собой разумеется, что по обеим сторонам от него сидели самые красивые дамы на этом приеме; слева — дочь одного богатого американца, а справа — Лилли Лэнгтри. Она была одета в тунику из бледно-зеленого атласа, украшенную несколькими нитями сверкающего жемчуга. Беседа шла в основном об эстетизме, цветах и впечатлениях Уайльда от Соединенных Штатов. Но внезапно Уайльд прервал

банальные речи и произнес, как бы отвечая на немой вопрос: «Что такое душа? Душа — это и есть самая суть идеальной красоты. Я бы мечтал вдохнуть в себя душу красоты, как вдыхают аромат розы, а затем, если потребуется, умереть», — после чего, будто про себя, он продолжил, то приглушая голос, то заставляя его звенеть: «Женская душа заключена в красоте, так же, как мужская — в силе. Если бы обе могли соединиться в одном человеке, мы получили бы идеал искусства, о каком люди мечтают с тех пор, как оно существует. Но искусство не в состоянии создать живую розу, хоть оно и способно сделать ее красивее»[218].

На следующий день после приема один американский журналист, переводчик Теофиля Готье, пригласил Уайльда посетить рабочий кабинет Эдгара По. «10 ноября Теодор Тилтон повел меня посмотреть кабинет, в котором По написал „Ворона“. Старый, целиком деревянный дом, возвышающийся над Гудзоном; низкие потолки, большой камин, освещение в стиле Коро»[219].

27 декабря 1882 года он сел на «Ботнию», которая взяла курс в направлении Британских островов. Уайльд увез с собой около полутора тысяч фунтов, контракт на написание «Герцогини Падуанской» и ангажемент на постановку «Веры».

Проведя год в Америке, проехав около двадцати тысяч километров и посетив более шестидесяти городов, Оскар Уайльд в свои двадцать восемь лет, конечно же, не изменил ее, а вот она оставила на нем свой отпечаток. Его доселе внешний эстетизм стал способом художественного выражения: «По пути домой он выбрасывает за борт чудачества и позы, которые прежде культивировал и носил, как маску».

Английские газеты возобновили кампанию травли; лондонская «Дэйли ньюс» так комментировала эстетскую миссию поэта: «По возвращении Уайльд выглядит более грустным, если не сказать поумневшим, ведь после его отъезда американцы явно повеселели, но остались при том же уме, что и прежде. Г-н Оскар Уайльд должен быть снисходительным по отношению к Атлантическому океану, который, подобно ему самому, являет собой не что иное, как гигантский провал»[220].

Тем не менее благодаря прочитанным лекциям и новым знакомствам, которые он завязал в Новом Свете, Оскар Уайльд сформулировал заново основы своей художественной концепции. Он понял, что главное отличие художника от простого смертного заключается не только в способности чувствовать природу, а главным образом в умении показать ее окружающим. Поэт — высшее звание художника, он обладает умением видеть, как проходит время, наблюдать за ходом бытия; для него не

существует ничего отжившего или старомодного: каждый предмет заключает в себе частицу красоты, истины, отмечен знаком присутствия на земле вечного человека. «Не существует иного времени, кроме мига искусства; иного закона, кроме закона формы; иной страны, кроме страны красоты — безусловно, страны безмерно далекой от реального мира, но более осязаемой благодаря собственному постоянству»[221]. Именно в этом воображаемом мире художник может добиться эффекта отчуждения, который защищает его от веяний моды: «Получается так, что художник, кажущийся далеким от своей эпохи, от своего времени, способен отразить его лучше других, поскольку умеет отделить все случайное и временное, умеет развеять туман обыденности, который мешает нам лицезреть жизнь в ее истинном свете»[222]. Силу, востребованность произведения искусства можно измерить лишь радостью, испытываемой при его созерцании. Именно этим объясняет он повсеместное увлечение искусством стран Дальнего Востока, которое отличается чувственностью и эротизмом: «В то время, как западный мир взвалил на плечи искусства невыносимое бремя интеллектуальных комплексов и поучительной трагедии собственных бед, Восток неизменно оставался верен основополагающим законам изобразительного искусства»[223].

В своем утверждении о первичности искусства по отношению к морали Уайльд пошел еще дальше, предвосхитив принципы той философии, в которую лорд Генри посвятит Дориана Грея, заявляя, что такие художники, как Россетти, Моррис, Берн-Джонс открыли своим современникам «секрет художественной восприимчивости, научив их отдаваться силе собственных впечатлений, поскольку, если считается, что искусство по определению суть освобождение от тирании чувств, то в еще большей степени оно является бегством от тирании собственной души»[224]. И наконец, он открыл для себя то, о чем уже смутно догадывался ранее: «Условием рождения подлинного произведения искусства является соединение восторга перед красотой, заключающей в себе секрет древнегреческой культуры, с жаждой созидания, заключающей в себе секрет жизни»[225]. Таким образом, он ничем не ограничивает процесс художественного созидания, необузданность страстей, несущих в себе эстетический восторг, который происходит «не от отрицания, а наоборот, от принятия всех страстей и который сродни величественному спокойствию, написанному на лицах греческих статуй: отчаяние или печаль не в силах их разрушить, но могут лишь зажечь новой страстью»[226].

В начале 1883 года «Ботния» добралась до Ливерпуля, и

легкие Оскара Уайльда вновь вобрали в себя воздух викторианской Англии.

Глава III. САЛОННАЯ СЛАВА

Мужчины женятся от усталости; женщины выходят замуж из любопытства. И тех, и других постигает разочарование.

6 января 1883 года Оскар Уайльд высадился на берег в Ливерпуле и немедленно направился в Лондон, где задержался лишь на несколько дней, чтобы успеть посетить салоны Общества изящных искусств и полюбоваться на «Аранжировку в желтом и белом» Уистлера.

15 января он был уже в Париже, где сначала остановился в отеле «Континенталь», а затем переехал в отель «Вольтер» на набережную Вольтера. Там, на втором этаже, он занял апартаменты, из окон которых можно было любоваться самым прекрасным в мире видом: у подножия гостиницы — Сена, на том берегу, прямо напротив — Лувр, а чуть левее — сады Тюильри; деревья, лавки букинистов, антикварные магазинчики, Ренессанс и Средневековье. Оскар собственноручно украсил комнату цветами, расставил пепельницы из синего фарфора, в которые беспрерывно стряхивал пепел от своих неизменных турецких сигарет. Еще до приезда в Париж он позаботился о том, чтобы послать подписанный экземпляр своих «Стихотворений» большинству великих французских писателей: Полю Бурже, Полю Верлену, Виктору Гюго, Альфонсу Доде, Жану Ришпену, Эдмону де Гонкуру, не забыв также Констана Коклена, Сару Бернар и Александра Пароди. Начало этого года в Париже было ознаменовано смертью Гамбетта[227], отголоски которой все еще не сходили с первых полос газет.

Анри Брессон и Клемансо, которых никто ни о чем не просил, рассыпались в обещаниях сделать все возможное, чтобы спасти Республику и достойно заместить усопшего. Мадам Жюдик репетировала «Мадемуазель Нитуш» в театре «Варьете». Уайльд узнал, что ее соперница Сара Бернар только что потеряла сто двадцать тысяч франков, одолжив их родственнику, который позже разорился. Однако это не мешало ей выполнять условия своих ангажементов в театре Амбигю и в театре «Модерн». Тулуз-Лотрек поселился на Монмартре. В самом разгаре был сезон костюмированных балов. «Гранд-отель» начал сотрудничество с Оперным театром и предлагал танцовщикам ужин из восьми блюд всего за десять франков:

Устрицы из Канкаль
Консоме из птицы с вареным яйцом
Бресская пулярка с кресс-салатом
Маринованная говяжья вырезка в желе
Заливное из птицы с трюфелями
Салаты
Пирамида из раков в белом вине
Мороженое с наполнителями
Фрукты, сыры и т. д.

Политическая ситуация по-прежнему оставалась напряженной. 15 января на городских стенах появилась прокламация за подписью принца Наполеона, в которой говорилось о кризисе нации, потерявшей управление, и содержались обвинения в адрес парламентской Республики и ее конституции: «Правительство на грани краха, но столь великая демократия, как наша, не может долго оставаться без сильной власти. Народ согласен с этим. Он доказал свою решимость на восьми референдумах в 1800, 1802, 1804, 1805, 1848, 1852 и 1870 годах. Наполеон»[228]. Газеты правого толка сурово клеймили дряхлость Енисейского дворца, немощь, царившую в Сенате, посредственность и бессилие, царившие в Палате представителей; жалкие телодвижения Фре-сине[229] и Ферри[230] напоминали переливание из пустого в порожнее. Явится ли новый граф де Шамбор со своим знаменем, и станет ли сигналом к восстанию арест принца Наполеона у себя дома на улице д'Антен? Но Париж не был готов к столь сильным потрясениям; принц отправился в изгнание, а народ — на Биржу, на балы в Оперу и ужины в «Гранд-отеле».

Париж устал, впрочем, как и Виктор Гюго, в гости к которому пришел Оскар Уайльд. Торжественная встреча, которая обернулась разочарованием, проходила в большом зале без мебели, уставленном лишь креслами, занятыми завсегдатаями этого дома. Кресло Мэтра располагалось слева от камина; напротив — кресло Жюльетт Друэ[231], рядом с Гюго устроился Вакери[232] и, наконец, последнее кресло было предназначено для почетных посетителей. Оскару предложили именно его. Вскоре после обмена обычными любезностями Мэтр, как всегда, быстро уснул. Так что свой блестящий рассказ об английских поэтах и, в частности, о Суинберне Уайльд вынужден был продолжать уже шепотом.

Еще менее повезло Уайльду при знакомстве с Полем

Верленом, которого ему представил элегантный испанский дипломат Гомес Карилльо. Верлен сидел за столиком у «Прокопа» с неизменной рюмкой абсента в руке. В порыве красноречия Уайльд забывал наполнять ее. Верлен слушал его парадоксы и импровизации, время от времени одобрительно похрюкивая и бросая тоскливые взгляды на пустую рюмку. Затем, внезапно посерьезнев, произнес: «Да он же просто язычник. У него уже есть беззаботность, а это половина счастья, так как она не знает раскаяния». Что до Уайльда, то он никогда больше не решится на встречу с таким некрасивым человеком.

Когда Уайльд проводил время у себя в гостинице на набережной Вольтера, он облачался в бальзаковский монашеский халат и не расставался с тростью из слоновой кости, отделанной бирюзой; на людях он экспериментировал с манто из цветного меха, в которых ежевечерне заявлялся в лучшие рестораны: «Биньон», «Кафе де Пари», «Фуайо», «Лавеню». Он быстро стал завсегдатаем парижских артистических кругов. У Анри де Ренье[233] сохранилось воспоминание о счастливом и жизнелюбивом Уайльде тех времен.

В это время он пишет «Сфинкса», «Дом блудницы», а самое главное, «Герцогиню Падуанскую», о чем 23 марта сообщает в письме Мэри Андерсон. В этом незначительном произведении будущего знаменитого писателя уже просматривается та «красная нить», которая, по выражению самого Уайльда, вплетается в основу его творчества; автор вкладывает в уста герцогини пророческие слова о том, что «бесспорно, именно виновный, как самый несчастный, больше всех нуждается в любви». Он создал ее как образ сострадания и прощения, в которых будет так нуждаться сам, снабдив откровенным комментарием: «В наше время в искусстве, как и в жизни, самые трагические слова произносятся слишком поздно»[234].

В письме Мэри Прескотт он объяснил, почему не может согласиться с купюрами в пьесе «Вера», на которых она так настаивала: «Никогда не бойтесь вызвать смех в зале, этим Вы не испортите, а наоборот, усилите трагедию. Истерический смех и слезы радости — пример драматического эффекта, который дает сама природа. Вот почему я не могу убрать из пьесы комические реплики»[235]. В постановке пьесы ему вновь было отказано. Уайльд скрывал разочарование, постигшее его при этом известии, и довольствовался лишь тем, что заявил: «Это очень обидно». Наконец он завершил работу над «Сфинксом», в котором волшебным сиянием засверкали египетские божества. Проникнуть в артистические и светские круги Парижа Уайльду помог Жак-Эмиль Бланш[236], которому он писал 5 апреля: «Я

благодарен Вам за эти три чудесных образца Вашего искусства. А маленькую девочку, читающую мои стихи, я уже обожаю, но увы! она даже на секунду не желает оторвать свой взгляд от книги».

Оскар Уайльд и Роберт Шерард, представивший его Виктору Гюго, стали неразлучны. Роберт Шерард, молодой человек двадцати двух лет от роду, внук Вордсворта[237], жил в скромном деревенском доме в Пасси. О приезде эстета, чьи позы и чудачества отнюдь не приводили его в восторг, Роберт узнал из газет. Первое время он не решался познакомиться с Уайльдом, но в конце концов принял приглашение на один из приемов у Ниттисов, где должен был появиться молодой поэт. Уайльд беседовал о живописи с Дега, Писсарро и Казеном, о литературе — с Альфонсом Доде, его супругой и Эдмоном де Гонкуром, который тотчас записал: «Этот тип сомнительного пола, с кривляющейся манерой речи и непрерывно сыплющий смешными рассказами, нарисовал нам крайне любопытную картинку одного техасского городка, населенного каторжанами, где мерилом нравственности является револьвер и где в увеселительных заведениях обязательно висит табличка: „Не стреляйте в пианиста, он играет, как может“. Он рассказал, что зрительный зал местного театра, являясь самым вместительным в городе, служит также и для заседаний суда присяжных, и после спектаклей прямо на сцене происходят повешения. Там он якобы видел, как один повешенный стал цепляться за стойки кулис, а зрители открыли по нему пальбу прямо со своих мест. Он говорил еще, что якобы в этих краях на роли преступников владельцы театров подыскивают настоящих преступников, а когда речь заходит о постановке „Макбета“, то ангажемент предлагают настоящей отравительнице, которая вот-вот выйдет из тюрьмы, и тогда на афишах можно прочесть: „Роль будет исполнена миссис Х“, и дальше в скобках — „Десять лет каторжных работ“»[238].

Роберт Шерард был сражен наповал, и все его предубеждения рассеялись от воздействия неотразимого обаяния Уайльда. На следующий день, гостя у него на набережной Вольтера, Роберт восхитился видом из окна. «Мне это совершенно безразлично, — ответил Уайльд, — этот вид интересует только хозяина гостиницы, ведь он включает его в счет. Истинный джентльмен никогда не смотрит в окно»[239]. После обеда друзья зашли в «Ля Куполь»[240], где часто бывали Джон Сарджент и Поль Бурже. Шерард был не в силах расстаться с Уайльдом и остался ужинать. Затем — прогулка по ночному городу, которая привела их к театру, где Сара Бернар приняла друзей в маленьком салоне, примыкавшем к ее гримерной. Ближе к ночи — музыкальное

кафе, в котором можно было послушать Иветт Гильбер и пропустить рюмочку с Тулуз-Лотреком. В 2 часа ночи все еще не утолившийся Уайльд потащил Шерарда по стопам Жерара де Нерваля к постоялому двору, возле которого однажды вечером тот повесился на фонарном столбе.

Шерард падал от усталости, но сердце его было покорено: «Для меня это была совершенно новая и полная веселья жизнь, — писал он, — бесконечный праздник души. С каждым днем мое восхищение этим человеком возрастало. Этот веселый кельт, склонный к меланхолии по натуре, наследственности и среде обитания, созерцающий человеческую жизнь взором подлинного кальвиниста, показал мне, что такое счастье и приоткрыл возможность неведомого доселе ликования»[241]. На следующий день оба отправились в гости к Саре Бернар на авеню де Вилье, где их встретили Жан Ришпен и Александр Пароли, слегка раздраженные при виде неожиданного посетителя; Уайльд цитировал наизусть целые отрывки из «Французской революции» Карлейля, рассказывал о Уолтере Пейтере, о своей матери, он как бы нарочно старался вызвать зависть у Ришпена, очень скоро утратившего свой блеск рядом с этой сказочной личностью, приводившей Сару в полный восторг. Шерард особенно отмечал исключительную скромность Уайльда, человека необыкновенно разностороннего, однако не позволявшего себе ни малейшего неуместного намека, ни единого невежливого слова. Это могло показаться невероятным, но воспитанный в пуританских традициях Шерард был совершенно поражен тем, насколько чистой жизнью живет его друг и насколько благопристойны его речи именно теперь, когда художники только тем и развлекаются, что стремятся наперебой шокировать нравственность среднего буржуа.

У Уайльда появился еще один новый знакомый — Морис Роллина, экстравагантный автор «Бычьей коровы», которому Уайльд писал: «Я буду иметь честь прибыть к Вам в следующий вторник в указанное время. Я только что (в 3 часа утра) еще раз перечитал „Бычью корову“: это настоящий шедевр. Со времен „О природе“ Лукреция человечество не видело ничего подобного; это самый великолепный, как и самый простой, гимн, написанный во славу Венеры полей»[242]. Уайльда приводили в восторг выходки этого поэта, способного, будучи пьяным в стельку, декламировать свою знаменитую «Балладу Топпмана» в салонах отеля «Вольтер».

Роллина беседовал с Эдмоном де Гонкуром о Суинберне: «Английский поэт Уайльд тогда вечером сказал мне, что Суинберн — единственный англичанин, прочитавший Бальзака. А еще он пытался убедить меня, что этот Суинберн только хвастает

своими пороками, он якобы делает все возможное, чтобы убедить соотечественников в том, что склонен к педерастии и скотоложеству, не будучи ни в малейшей степени ни педерастом, ни извращенцем»[243]. В 1891 году, при публикации дневника за 1883 год, Уайльд внес кое-какие коррективы в свои высказывания на этот счет.

Одним из самых известных в ту пору мест в Париже, где собирались литераторы, был салон мадам Беньер. Ее супруг, считавшийся человеком большого ума, не мог не пригласить к себе поэта, о котором судачил весь литературный Париж. В один из первых дней апреля Жак-Эмиль Бланш привел Уайльда в этот салон, где уже собрались Анри де Ренье, художники-импрессионисты и несколько политических деятелей, среди которых был Жорж Клемансо. В этот день Уайльда представили Морису Барресу, который переживал самый пик своего эстетского периода, и Анатолю Франсу, который был скорее заинтригован, чем восхищен личностью молодого поэта. Оскар Уайльд без труда покорил хозяйку дома и самого Барреса, который в течение нескольких последующих лет всячески подражал ему.

Шли недели, работа стояла, дела с «Верой» застопорились, никаких известий о «Герцогине Падуанской» не было, а денег оставалось все меньше и меньше. Оскар был вынужден отказаться от приглашения подруги своей матери Клариссы Мур, которая ждала его в Риме, объясняя свой отказ тем, что не может себе позволить покинуть рабочий кабинет, пока не закончит обе пьесы, тогда как вот уже год, как «Вера» была написана, а работа над «Герцогиней Падуанской» завершилась месяц назад. Скорее всего, речь шла о большой поэме «Сфинкс» и о пьесе «Святая блудница», которая осталась незавершенной, но явилась предвестницей «Саломеи». Денег у него едва хватило, чтобы оплатить гостиницу и купить обратный билет до Лондона; практически все, что было заработано в Соединенных Штатах, было потрачено, и у Уайльда не оставалось больше средств на пышный образ жизни, который он вел в Париже последние три месяца. Пришло время вернуться к семье и вновь окунуться в серость лондонских будней.

Его следы обнаруживаются 17 мая в меблированных комнатах дома 8 по Маунт-стрит, откуда он написал Роберту Шерарду, признаваясь в своих дружеских чувствах и используя выражения, вызывающие некоторые сомнения в их чистоте: «Ты, который столь дорог мне, дай мне веру в наше будущее и уверенность в нашей любви»[244]. И хотя сам он объясняет эту дружбу общностью художественных интересов, подобное письмо, скорее,

свидетельствует о чувствах гораздо более пламенных и глубоких.

Оскар завершил работу над первой редакцией «Сфинкса» и, чуть ли не в последний раз вспомнив о своих причудах, сделал себе прическу а ля Нерон, вдохновившись образцом (бюстом императора), который видел в Лувре. Наконец в июле, когда Уайльд жил уже исключительно за счет брата и матери, пришло долгожданное известие: в Нью-Йорке вот-вот должна была состояться премьера «Веры». Он тотчас написал Мэри Прескотт, выражая свою радость, что она согласилась исполнить главную роль. Из Нью-Йорка требовали, чтобы автор присутствовал на премьере; 2 августа 1883 года он поднялся на борт «Британии» и уже 11-го был в Нью-Йорке. Он присутствовал на репетициях, контролировал установку декораций, следил за тем, как разрабатывались костюмы. Премьера спектакля прошла на сцене Юнион Сквер 20 августа. Когда занавес опустился, на сцену вышел Уайльд: «Я постарался выразить доступными мне художественными средствами то гигантское стремление народов к свободе, которое в Европе угрожает сейчас королевским тронам и свергает целые правительства. И вместе с тем я считаю эту пьесу не политический драмой, а драмой страсти»[245]. Столь искусное выступление сорвало аплодисменты, обращенные скорее к словам о свободе народов, чем к самой пьесе, которая не задержалась на афише дольше одной недели. Кстати, газеты нашли ее несостоятельной, длинной и скучной. Одна лишь «Нью-Йорк миррор» 25 августа неожиданно опубликовала хвалебную статью: «Большой сюрприз ожидал публику, толпившуюся у входа в театр в понедельник вечером. Зрители пришли, чтобы посмеяться, однако остались, чтобы поаплодировать. Если Оскар Уайльд рассчитывал взять реванш за сарказм, презрение и насмешки, сопровождавшие его во время первой поездки по Америке, то он, несомненно, добился желаемого результата, благодаря триумфу пьесы, поставленной в наихудших условиях, с которыми когда-либо сталкивался серьезный и честный автор. Ряд газет и та часть публики, которая кичится своим невежеством и выставляет напоказ собственную вульгарность, с радостью набросились на мистера Уайльда самым низким и недостойным образом. Неспособные понять и еще менее того оценить возвышенность характера, подтолкнувшего автора отдать свой талант на службу всему, что есть прекрасного на земле, они высмеяли его усилия и переврали поставленные цели. В таком виде, как она написана, невзирая на некоторые недочеты, „Вера“ бесспорно явилась самым благородным вкладом в сокровищницу драматургии за последние несколько лет»[246]. На страницах сатирической газеты «Антракт» появилась карикатура,

изображающая Уайльда, рухнувшего в объятия Уилли, который успокаивает брата: «Брось, Оскар, и другие великие люди терпели драматические поражения!»[247]

Уайльд, без сомнения, был разочарован, в большей степени непониманием со стороны публики, нежели критикой в адрес самой пьесы. Он остался верен своей внутренней убежденности и сохранил слегка пренебрежительное отношение к этому грубому народу, для которого культ денег и материальной выгоды затмевал культ красоты. 11 сентября он занял свое место в каюте на «Аризоне» и 20 сентября вновь оказался в Англии, так и не решив своих финансовых проблем.

Отголоски недавнего пребывания во Франции, постановка «Веры», которая, несмотря на нью-йоркский провал, продолжала турне по стране, и яркое остроумие, освободившееся от эстетского лоска, с тем чтобы достичь новых глубин, сохраняли за Уайльдом славу желанного гостя в любом салоне. Автор «Сфинкса» знал, что бурные страсти, описанные в поэме, не преминут в самом скором времени изменить интимную сторону его собственной жизни:

> …но ты плыви с ним прежде,
> А я останусь пред крестом.
> Где слезы льются незаметно
> Из утомленных скорбью глаз,
> Они оплакивают нас
> И всех оплакивают тщетно[248].

В Лондоне Уайльд встретился с полковником Морсом, который предложил ему организовать турне с лекциями по Соединенному Королевству. Обстоятельства складывались так, что отказаться было невозможно, и он начал свое турне 24 сентября в Уондсворте.

В течение немногим более года в двадцати городах им были прочитаны более ста пятидесяти лекций. Темы варьировались от эстетского интерьера до американского нашествия; особенно запомнились слушателям саркастические замечания об Америке и американцах: «В Лондоне над головами американцев нависла ужасная опасность. Вопрос их выживания и сохранения репутации полностью зависит от успеха Буффало Билла и мадам Браун-Поттер. Первый из них будет пользоваться несомненным успехом, поскольку английский народ проявляет гораздо больший интерес к американской дикости, чем к американской цивилизации, да и мадам Браун-Поттер, разрекламированная как актриса, вполне в состоянии произвести впечатление на публику своей внешностью

и обаянием, так как актерское мастерство отнюдь не считается главным условием для того, чтобы добиться успеха на английской сцене»[249]. Затем шли несколько картинок из жизни городов и описания пейзажей: «Жители Бостона слишком грустно воспринимают собственное познание; культура в их понимании скорее достижение, чем атмосфера… Чикаго напоминает лавку на ярмарке, полную суматохи и назойливых посетителей. Политическая жизнь Вашингтона сродни политической жизни какого-нибудь пригорода. Балтимор может показаться даже забавным, но не более чем на неделю, зато Филадельфия — безумно провинциальный город, и если в Нью-Йорке можно позволить себе отужинать, то это ни в коем случае не означает, что там можно жить. Лично мне больше по душе Дальний Запад со своими медведями гризли, дикими ковбоями, жизнью на открытом воздухе и разухаб***и***стыми замашками, бескрайними прериями и необузданным враньем»[250].

У американцев нет недостатка в обаянии, объясняет он с легкой иронией: «Американские женщины блестящи, умны и очаровательно космополитичны. Их патриотические чувства ограничиваются восхищением при виде Ниагарского водопада и сожалением, если случается авария с фуникулером. Они одеваются в Париже и получают образование на Пиккадилли, причем и то и другое подходит им самым замечательным образом. Эти дамы постоянно требуют комплиментов, и им почти удалось обучить англичан красноречию. Они пылают восхищением от нашей аристократии; они обожают дворянские титулы и воплощают собой постоянное оскорбление республиканских принципов… Нет ничего более забавного, чем наблюдать за встречей двух молоденьких американок где-нибудь на приеме или в торговом центре. Своими пронзительными удивленными воплями и непонятными отрывистыми восклицаниями они напоминают детей; язык, на котором они изъясняются, восхитительно бессвязен и скорее похож на нечто вроде эмоционально окрашенного диалекта диких племен. По прошествии пяти минут обе начинают самым чудесным образом задыхаться и замирают, уставясь друг на друга полууважительно, полуусмехаясь. Правда, у них есть один серьезный недостаток: их матери. Хотя, конечно, нельзя ставить им это в вину, поскольку в Америке молодежь всегда готова поделиться со старшим поколением плодами своей неопытности»[251].

Что же до американских матерей, которые являются прямыми потомками первых паломников, высадившихся на берегах Америки в XVII веке, то они оказываются крайне скучными личностями, чего не скажешь об их мужьях, которых невозможно

увидеть в Лондоне, так как они проводят всю свою жизнь на Уолл-стрите и общаются с семьей раз в неделю посредством шифрованных телеграмм. Юные американки нередко выходят замуж за благородных англичан и оживляют своим присутствием хмурые ужины и утомительнейшие вечеринки, ставшие для Лондона традиционными. Беря пример с собственных мамаш, они не стремятся красиво стареть, а наоборот, делают все возможное, чтобы не стареть вовсе, что, впрочем, им нередко удается, но главное и самое загадочное их очарование заключается в том, что они способны блестяще рассуждать на любую тему, при том, что обычно не знают о предмете абсолютно ничего.

Когда Уайльд оставлял в покое американцев, он предпочитал говорить о женской моде, которая не должна доставлять женщине мучений, а напротив, должна раскрепощать ее. Кроме того, он живо интересовался натурщицами, которые позировали художникам за деньги, но которым и в голову не приходила мысль посмотреть на готовое произведение искусства; тем самым они воплощали собой теорию Уистлера о роли критиков-искусствоведов, так как никогда не выносили собственного суждения о произведениях искусства. Иногда Уайльд говорил на лекциях о «воображаемом реализме» Бальзака, об оформительском таланте Уильяма Морриса, о Уолтере Пейтере, который умеет преобразовывать свои идеи в изображения, не говоря уж о Уистлере. Вот что было написано в журнале «Панч» об одном разговоре, подслушанном в Хогарт-клубе: «Я находился в буфете, когда вдруг услышал голос мистера Оскара Уайльда, поглощенного вместе с мистером Уистлером и еще несколькими гостями обсуждением достоинств двух знаменитых актрис. Он утверждал, что Сара Бернар, подобная смешению солнца и лунного света, — исключительно волнующая, восхитительно блестящая актриса. А мисс Андерсон чиста и отважна, как полевой цветок, изменчива, как течение реки; нежна, свежа, полна сверкания и блеска, великолепна и величава»[252]. Прочтя эту статью, Уайльд послал Уистлеру телеграмму: «„Панч“ слишком глуп; когда мы с тобой оказываемся вместе, то не говорим ни о чем другом, кроме как о самих себе». На что Уистлер тотчас ответил: «Нет, Оскар, ты опять забыл; когда мы с тобой оказываемся вместе, то не говорим ни о чем другом, кроме как обо мне»[253]. Как обычно, обе телеграммы тут же появились на страницах «Уорлда» к огромной радости читателей, которые уже было отчаялись узнать что-нибудь новенькое об этой блестящей пикировке.

Время от времени, когда в перерыве между лекциями Уайльд оказывался в Лондоне, он навещал давно пришедшую в упадок

квартиру в доме 116 по Парк-стрит, где его мать все еще не прекращала попыток содержать свой салон. Одного лишь присутствия сына часто бывало достаточно, чтобы привлечь толпу гостей, как в старые добрые времена. Он всегда оказывался в центре восхищенного внимания, отовсюду слышались одобрительные возгласы то по поводу черной куртки, отороченной бархатом, то по поводу брюк в полоску или белой рубашки, оттененной одним лишь шарфом, цвет которого менялся в зависимости от настроения Уайльда. Единственное недоумение вызывала лишь зеленая гвоздика в бутоньерке.

Перед тем как прочитать лекцию для студентов Королевской академии, он обратился за советом к Уистлеру, который согласился дать ему несколько пояснений. Уайльд поблагодарил его, лишний раз подтвердив, что, по его глубокому убеждению, подлинное искусство — это искусство Уистлера, который считает, что художник «должен писать то, что видит — это главное правило, правда, еще более ценно, если он умеет видеть то, что достойно быть написанным». В Оксфорде ему вновь пришлось давать отпор насмешкам со стороны студентов, и тут на его защиту встал Джордж Керзон.

В конце ноября 1883 года Уайльд прочел две лекции в Дублине. В гостинице он получил записку, в которую была вложена визитная карточка с именем Констанс Ллойд. Уайльд припомнил, что познакомился с ней в Лондоне около двух лет назад и принял приглашение посетить ее дом, расположенный на Эли-плейс. Там он встретил прелестную двадцатишестилетнюю девушку, влюбленную в него как и прежде. Уайльду не осталось ничего иного, как закрепить свою победу. «О. У. приезжал ко мне вчера в половине шестого вечера, — написала она своему брату. — Я не могу запретить себе любить его, потому что когда он разговаривает со мной наедине, он никогда не притворяется, изъясняется проще всех на свете, только язык, который он использует, совсем не такой, как у большинства людей»[254]. Вечером они отправились в городской театр «Гэйети» послушать довольно посредственную комическую оперу «Веселая герцогиня». Констанс переполняли чувства, а Уайльд явно наслаждался обществом очаровательной девушки, которая с упоением ловила каждое его слово.

Констанс родилась 2 января 1858 года, ее родителями были адвокат с шестилетним стажем судебной практики и девица Аткинсон. Вместе с братом Ото Холландом Ллойдом они нередко чувствовали себя покинутыми в богатом доме, расположенном в буржуазном квартале Лондона. Дело в том, что родители вели

очень свободный образ жизни; деловой успех отца, Хорейса Ллойда, позволил им поселиться во внушительном доме, стоящем на самом краю Гайд-парка. Констанс с раннего детства проявляла интерес к литературе и иностранным языкам и поэтому осталась в некотором роде синим чулком, будучи тем не менее совершенной красавицей. Ей не довелось узнать о сексуальных аномалиях отца, но так же, как в свое время Оскар, однажды она вдруг ощутила, как изменилось отношение к ней со стороны ее товарищей. В 1874 году отец умер, а мать окончательно отдалилась от детей и вышла замуж за Джорджа Суинберна Кинга. Юная Констанс нашла приют в лондонском доме своего деда Ллойда, где царили суровые нравы и викторианская дисциплина. Какое-то время она жила в состоянии спокойного счастья, так не подходящего такой соблазнительной и образованной девушке, как Констанс. Она позволяла молодым людям втихомолку ухаживать за собой, а сама мечтала о замужестве.

В 1880 году она переехала в Дублин к бабушке Аткинсон; здесь до нее впервые дошли слухи о невероятном семействе, жившем когда-то на Меррион-сквер. Вскоре, будучи проездом в Лондоне, она узнала, что Оскар Уайльд живет с матерью в Челси. Она встретилась ним в доме своей землячки, которая щедро принимала всех лондонских ирландцев, и тотчас же испытала на себе обаяние остроумия, культуры и завораживающего голоса юного Оскара, свежеиспеченного выпускника Оксфордского университета. Ему и самому доставляли неизведанное ранее удовольствие похвалы этого очаровательного создания, кажущегося намного нежнее оксфордских однокурсников и чем-то неуловимо напоминающего сестру Изолу. В ее лице Оскар обрел ни с чем не сравнимую аудиторию: «Констанс Ллойд обладала замечательным умением слушать, которое подчеркивалось видимым напряжением и задумчивой неподвижностью. Годы спустя Оскар Уайльд будет задавать себе вопрос: а слушала ли она его в действительности? Скорее всего слушала, но совершенно не старалась понять»[255]. Именно эта способность к непониманию сначала заинтриговала, а затем полностью пленила блестящий ум Оскара Уайльда.

К осени 1883 года материальное положение Оскара стало почти отчаянным; его оптимистическая натура тщетно пыталась противостоять ударам судьбы, но ничто уже не в силах было отвести угрозу надвигающейся бедности. Был лишь один выход: женитьба; и раз уж на то пошло, то почему бы не на Констанс, богатой наследнице, так хорошо умеющей слушать и так мало его

понимающей? Леди Уайльд, вынужденная потихоньку распродавать свои книги, чтобы иметь возможность не прекращать приемы на Парк-стрит, неодобрительно восприняла идею Оскара: «Кто сказал, что я должна позволить женщине медленно разрушать его душу только потому, что она станет называться супругой?»[256] Она опасалась, что Оскар, чье будущее казалось ей столь многообещающим, мог увязнуть в отсталом конформизме «девицы англо-ирландского происхождения, помешанной на детях и на хозяйстве, обладающей религиозным темпераментом и неспособной поддержать умную беседу»[257].

Вместе с тем она не забывала, что, каким бы блестящим ни был ее сын, у него не было положения в обществе и он вынужден был колесить по Англии, чтобы заработать несколько несчастных фунтов, которые немедленно тратились, в то время как ей самой приходилось каждый день принимать у себя торговца книгами, разорявшего ее некогда великолепную библиотеку. В конце концов у этой юной дурочки было семьсот фунтов дохода, а Оскар был влюблен в нее, да так, что не мог ни о чем больше думать, к тому же он считал, что в жизни все нужно испытать. И леди Джейн сдалась. В перерыве между двумя выступлениями Оскар сел на корабль, добрался до Дублина, где в это время находилась Констанс, и сделал ей предложение. 26 ноября она сообщила об этом брату. Кстати, Ото Холланд Ллойд был знаком со своим однокашником по Оксфорду, который нередко захаживал в дом деда Ллойда на Ланкастер-сквер, где жили тогда оба внука. Он немедленно написал Уайльду: «Я правда очень рад. Что касается лично меня, то можешь быть уверен, что я приму тебя как брата; а если Констанс будет такой же любящей женой, какой она была мне сестрой, то вы без сомнения будете счастливы; она такая искренняя и верная»[258].

Оскар Уайльд сообщил новость Лилли Лэнгтри, которая все еще продолжала свое турне по Соединенным Штатам: «Я в восторге от Вашего огромного успеха. Вам удалось то, что не удавалось никому из современных артистов: Вы вторично отправились завоевывать Америку и одержали новые победы. Это письмо наполовину продиктовано желанием сказать Вам, как я радуюсь Вашим триумфам, а наполовину — желанием сообщить, что я женюсь на юной красавице по имени Констанс Ллойд, этакой серьезной, изящной маленькой Артемиде с глазами-фиалками, копною вьющихся каштановых волос, под тяжестью которых ее головка клонится, как цветок, и чудесными, словно точеными из слоновой кости, пальчиками, которые извлекают из рояля музыку столь нежную, что, заслушавшись, смолкают птицы. Я много работаю и обогащаюсь, хотя ужасно, что приходится

постоянно разлучаться с ней. Впрочем, мы дважды в день обмениваемся телеграммами, а бывает, что я вдруг примчусь из самого глухого угла, чтобы часок побыть с нею и предаться всем тем глупостям, которым предаются благоразумные влюбленные»[259]. Продолжая создавать вокруг Констанс чудесный ореол мечты, Уайльд с истинным ирландским воодушевлением сообщил о скорой женитьбе всем своим друзьям. Он писал из Шеффилда: «Итак, мы венчаемся в апреле, а затем едем в Париж и, может быть, в Рим. Будет ли приятен Рим в мае? Я хочу сказать, будете ли там ты и миссис Уолдо, папа римский, полотна Перуджино? Ее зовут Констанс, и это юное, чрезвычайно серьезное и загадочное создание с чудесными глазами — само совершенство, если не считать того, что она не признает Джимми единственным настоящим художником всех времен, зато твердо знает, что я — величайший поэт, так что с литературным вкусом у нее все в порядке; кроме того, я объяснил ей, что ты — величайший скульптор, завершив тем самым ее художественное образование»[260]. Констанс и в самом деле познакомилась с Уистлером, который дал обед в их честь, о чем, как и положено, было сообщено в газете «Уорлд».

Бракосочетание состоялось 29 мая 1884 года в переполненной церкви, несмотря на приглашения, которые требовалось предъявить при входе и в которых значилось: «Пропуск в собор Святого Иакова, Сассекс Гарденс, четверг, 29 мая 1884 г. в 14 час. 30 мин». Констанс Ллойд берет в мужья Оскара Уайльда в горе и в радости. О чем она думает, да и способна ли она думать вообще? — спрашивал себя Оскар. «Я опутаю тебя узами любви и преданности, — признавалась ему невеста, — так, что ты никогда не сможешь меня оставить или полюбить кого-нибудь другого, до тех пор, покуда я сама буду в состоянии любить»[261]. Стоя в церкви и слушая отдающиеся эхом слова пастора, Оскар улыбался, глядя на сверкающую красоту рядом с собой и размышляя о перспективах материального счастья. «Невеста была одета в великолепное атласное платье (сшитое по модели мужа) изысканного светло-желтого цвета. Прямой и слегка вытянутый спереди корсаж украшал высокий воротник „медичи“. А букет, который она держала в руках, представлял из себя равное сочетание двух цветов, зеленого и белого»[262]. Что же касается жениха, то единственным намеком на его эстетство осталась зеленая гвоздика в бутоньерке исключительно строгого на этот раз костюма. После церемонии был прием в доме на Ланкастер-Гейт, комплименты, объятия, пожелания счастья.

На следующий день мистер и миссис Оскар Уайльд отплыли из Дувра в Париж, единственный в мире город, достойный того, чтобы принять молодую чету. Оскар забронировал апартаменты в отеле «Ваграм» на улице Риволи, откуда Констанс писала брату: «Мне кажется, свадебная церемония прошла великолепно, а Париж восхитителен; до вчерашнего утра стояла потрясающая погода, но вдруг налетел сильный ветер и полил дождь, который продолжался до самого вечера. Мы ходили в Салон на выставку Мейссонье, потом слушали Жюдик в „Лили“, но главное, видели Сару в „Макбете“, и это была лучшая актерская игра, какую я видела в своей жизни»[263]. Вне всякого сомнения, Оскар был страстно влюблен в Констанс; при его обостренном чувстве прекрасного он испытывал восторг от изящества ее тела, элегантности и обаяния. Он оказался чрезвычайно предупредительным и внимательным к малейшим прихотям жены, столь же блестящим в роли мужа, как и в роли лектора или светского льва.

Оскар снова встретился с Робертом Шерардом, который стал любимым гостем в доме Уайльдов, как писала об этом Констанс: «Сегодня на обеде у нас был мистер Шерард, у которого лицо мечтательного юноши и который ведет романтический образ жизни; когда он неожиданно вошел в комнату, я сначала решила, что это Чаттертон. Когда мы познакомились поближе, я сказала ему об этом сходстве, и он подтвердил, что оба они действительно во многом очень схожи. Его отец миллионер (английский), а сын умирает от голода в какой-то халупе и живет, как во сне. Мы занимаем здесь трехкомнатные апартаменты за двадцать франков в день, что совсем недорого для отеля в Париже; наш номер расположен на четвертом этаже, и из окна открывается чудесный вид на сады Тюильри, однако руины дворца там, увы! уже убрали!»[264]

Уайльд разгуливал с Шерардом по Парижу; Констанс сидела в одиночестве в отеле; Уайльд рассказывал другу о радостях супружеской жизни, о своих удовольствиях, водил его полюбоваться на «Карлайл — Аранжировку в черном и сером» Уистлера. Вместе с ним Уайльд появлялся в «Кафе Лавеню» около вокзала Монпарнас, где встречал Поля Бурже и американского художника Джона Саржента, который рисовал всех троих в альбоме хозяина кафе, где собраны множество рисунков и автографов художников и писателей тех времен. Вместе с Шерардом они ходили по книжным лавкам в поисках биографии Жерара де Нерваля. «Английские писатели часто упоминают Жерара де Нерваля, — делился с другом Оскар, — но никто ничего о нем толком не знает. Он, видишь ли, стал классиком, а

классики — это те, о ком все говорят, но кого никто не читает»[265]. На площади Сент-Оноре он просил извозчика остановиться и шел за цветами для Констанс.

Однажды вечером в гости к Уайльдам пришли Джон Саржент, Поль Бурже и одна американка, знакомая Уистлера, Генриетта Рабелл, хозяйка собственного салона в доме 42 по авеню Габриель. Все гости были в восторге от Уайльда и его прелестной жены. «Мне понравилась эта женщина, — пишет Поль Бурже, — я люблю незаметных и нежных женщин»[266]. Уайльд старательно работал над собственным образом, тщательно подбирал одежду для себя и Констанс, он взял в привычку приезжать в гости с опозданием, чтобы сделаться еще более желанным или, во всяком случае, заметным. Получив приглашение к мисс Рабелл, он заставил ждать себя целый час, а когда наконец появился и хозяйка дома обратила его внимание на часы, Уайльд с изысканной вежливостью и обезоруживающей улыбкой ответил: «О мадам, ну что эти маленькие часы могут знать о деяниях огромного и золотого солнца?»[267] Когда ему задали вопрос, как он относится к самоубийству, Уайльд ответил: «Я счел бы грубым и неуместным вмешиваться. Самоубийство — это совершенно добровольный поступок, являющийся завершением научного процесса, вмешиваться в который никто не имеет никакого права»[268]. На упреки Шерарда в том, что он никак не заедет к нему, Оскар отвечал, что Пасси — просто ужасный район.

Такая едва ли не королевская жизнь, приемы, друзья, нежность Констанс делали Оскара счастливым. Но через несколько недель выяснилось, что деньги Констанс и те, что оставались от его лекций, израсходованы. Надо было смириться с необходимостью возвращаться. 15 июня молодая пара сделала остановку в Дьеппе; 25-го они были в Лондоне. После продолжительных переговоров тетка Констанс согласилась приютить их у себя на Ланкастер-Гейт, однако Констанс была сильно разочарована в Лондоне.

Пребывая в неизвестности относительно того, что ожидало их в будущем, она даже подумывала о том, чтобы устроиться на работу — в издательство, в театр?.. Ее захватил вихрь приемов леди Уайльд, и Констанс чувствовала себя слегка потерянной в обществе Браунинга, Уистлера, Бернарда Шоу, Уиды[269], Рёскина; Оскар чаще всего был в разъездах: Йорк, Илинг, Бристоль, в то время как молодая женщина продолжала жить у тетки. Он писал ей из Эдинбурга: «Дорогая и любимая, вот я тут, а ты — на другом краю земли. О гнусные факты, не дающие нашим губам целоваться, хотя наши души — одно. Воздух наполнен музыкальными звуками твоего голоса, мои душа и тело,

кажется, больше не принадлежат мне, а слиты в каком-то утонченном экстазе с твоей душой и телом»[270]. Уайльд преображал образ этой женщины, наделяя ее всевозможными качествами, которых он так жаждал.

Леди Уайльд смотрела на все это более трезвым взглядом и относилась к невестке, втайне ревнуя, без всякого снисхождения. Она принимала по субботам, так как ее главная соперница миссис Рональдс, любовница сэра Артура Салливана, назначила приемным днем пятницу. Приемы леди Уайльд были менее пышны и музыкальны, однако более интеллектуальны, особенно с тех пор, как Оскар стал появляться на них, сопровождая свою очаровательную супругу. Трудно было пробиться к средоточию всего действа, где восседали хозяйка дома и ее невестка, чья красота была бесспорна даже для свекрови, а возле них находился Оскар с гвоздикой или лилией в бутоньерке. Множество американцев, будучи проездом в Лондоне, стремились попасть в дом на Парк-стрит в надежде встретить там того, о ком не утихали споры в Соединенных Штатах; человек, который представал перед ними, ничем уже не напоминал героя достопамятной пьесы. «Оскар окончательно вышел из возраста безумных фантазий; он более не грешил чрезмерным самолюбованием, эстетская кампания завершилась; теперь он стал мужем молодой и застенчивой женщины. Однако это не мешало ему продолжать играть роль литературного денди и носить в бутоньерке гвоздику»[271], — свидетельствовали постоянные посетители салона на Парк-стрит. Оскар питал к Констанс глубокую и искреннюю любовь, свидетельством чему служит стихотворение из сборника, который он тогда преподнес ей в подарок:

Мне не найти величественных слов,
Не написать сей песне посвященья,
Осмелюсь я избраннице богов
Преподнести свое стихотворенье.

И если вдруг один из лепестков,
Что вихрем взвились, ляжет вам на локон,
То знайте, это дерзкая любовь
Вас осенит ликующим зароком.

А зимний ветер принесет из снов
На землю, где любовь уж на излете,
И шелест трав, и шепоты садов,
И нежность бытия — и вы поймете[272]…

Наступил июль, и Констанс, задыхавшаяся в доме у своей тетки и понимавшая, что у свекрови ее всего лишь терпят, вконец отчаявшись увидеть вечно отсутствующего Оскара, решилась арендовать жилище в Челси, в доме 16 по Тайт-стрит. Это был один из тех домов, которые надстроили в середине царствования королевы Виктории. Новые обитатели строили планы, как превратить свои апартаменты в нечто экстраординарное, отличное от традиционных интерьеров. Пользуясь советами Уистлера, архитектор Гудвин взялся за оформление подробно описанного самим апостолом искусства ради искусства «дома красоты», которому суждено было покорить весь артистический мир Лондона, живший именно в Челси. В ожидании, когда муж наконец устанет от лекций и приедет домой, чтобы навести последний блеск, Констанс работала не покладая рук. Результат не замедлил себя ждать: кое-кто нашел отделку интерьеров слишком крикливой и вульгарной, на что Оскар изрек: «Вульгарность — это поведение окружающих».

Дом был четырехэтажным. На первом этаже, справа от входа, была расположена библиотека, отделанная лепниной и с окнами на улицу; рабочий стол — подарок Карлейля, огромный камин, синие и красновато-коричневые с золотым отливом шторы и ковры, бюст Гермеса работы Праксителя, на стенах картины Симеона Соломона, Монтичелли, карандашный портрет актрисы Патрик Кэмпбелл работы Бёрдслея — все это должно было создавать рабочую обстановку для хозяина дома. Одна из дверей вела в столовую, отделанную в бело-серых тонах и с окнами в сад. Весь второй этаж занимала гостиная, окна которой были затянуты тяжелыми малиновыми шторами; стены были оклеены обоями цвета калужницы, расписанными фирмой Уильяма Морриса, и увешаны полотнами Уистлера, Берн-Джонса, Пеннингтона; на камине стоял портрет Сары Бернар кисти Бастьен-Лепажа. Но наиболее любопытен был полоток, весь в знаменитых павлиньих перьях, написанных Уистлером. На стене напротив камина висел портрет самого Оскара Уайльда. На третьем этаже располагались две спальни, одна из которых предназначалась для Оскара и Констанс, а также ванная комната, оборудованная по настоянию Констанс в изысканном стиле: «Я была бы счастлива, если бы в ванной комнате вдруг оказалась большая ванна все равно какой художественной формы!» На четвертом — комнаты для детей с окнами в сад и две комнаты для прислуги.

Вся эта роскошь, буйство шелков, ковров и мебели обошлись очень недешево, доходов Констанс было явно недостаточно.

Уайльд пытался сбить цены и не переставая спорил с Гудвином, предпринимателями, владельцем дома. После многочисленных споров, неоплаченных счетов, писем от Гудвина в конце 1884 года семейство Уайльдов наконец вселилось в дом 16 по Тайт-стрит. Вновь очутившись в эстетской обстановке, Уайльд почувствовал, что начинает оживать; он смотрел на Констанс полными любви и гордости глазами, еще не замечая, что она беременна. В это время Оскар закончил работу над стихотворением «Дом блудницы», которое было опубликовано 11 апреля на страницах «Драматического ревю»; уже в июне на стихотворение появилась пародия, хотя газеты и печатали на эти стихи хвалебные отзывы. Кажется знаменательным, что стихотворение заканчивается весьма двусмысленными строками:

> Но звуки скрипки были ей
> Понятнее моих речей;
> Любовь в дом похоти вошла[273][274].

С марта 1885 года «дом красоты» стал местом, куда стекалась вся лондонская богема: здесь постоянно бывали художники Сарджент, Уистлер, Берн-Джонс, актрисы Эллен Терри, Лили Ханбери, Мэрион Терри, писатели Суинберн, Рёскин, Мередит, женщины, которые были в моде, известные политические деятели. Один только Уайльд был способен оживить такие приемы; стоило ему уехать, как всех тотчас охватывала скука, и вечера превращались в бесцветное времяпрепровождение. Констанс была постоянно озабочена тем, какое производит впечатление, и опасалась малейшего неодобрительного взгляда; она старалась держаться в тени, побольше молчать, а когда супруг спрашивал ее мнение о какой-либо пьесе или стихотворении, едва осмеливалась отвечать из боязни разочаровать его. Она одевалась в экстравагантные наряды, которые еще более оттеняли ее природную застенчивость. Мэри Кларк Амор цитирует воспоминания очевидца: «Помню, как на одном из вернисажей в галерее Гросвенор я увидел ее в зелено-черном костюме, который пришелся бы в самый раз бандиту с большой дороги где-нибудь в XVIII веке. Немало посетителей были обескуражены ее появлением; вместо того чтобы любоваться картинами, многие подходили друг к другу и задавали один и тот же вопрос: „Вы видели миссис Оскар Уайльд?“ Я думаю, ей самой претила такая реклама, но вне всякого сомнения, это нужно было Оскару»[275]. Подруга семьи Лаура Трабридж также замечала скованность бедняжки Констанс: «М-р и миссис Оскар Уайльд появились к пяти часам пополудни; по этому случаю на ней было

надето совершенно бесформенное широкое платье из белого муслина, на плечи была наброшена шелковая шаль шафранного цвета, на голове — огромная шляпа а ля Гейнсборо, на ногах бледно-желтые чулки и туфли; она выглядела явно растерянной и показалась нам излишне застенчивой и скучной. Он же, естественно, был очень забавен»[276].

Английский поэт и журналист Ричард Ле Галльенн, с которым Уайльд познакомился однажды на лекции в Биркенхеде, стал одним из завсегдатаев дома на Тайт-стрит в этот странно спокойный период жизни Оскара Уайльда. Он вспоминал, что Констанс была религиозна, питала интерес к миссионерству и была начисто лишена чувства юмора, о чем свидетельствовал следующий анекдот. Как-то во время одного из обедов на Тайт-стрит речь зашла о миссионерах: «Дорогая, — обратился Уайльд к своей жене, — ты не находишь, что миссионеров можно рассматривать как пищу, ниспосланную Господом Богом голодным каннибалам? Когда они доходят до грани голодной смерти, Небо милостью своей посылает к ним доброго толстого миссионера. — Господи, Оскар! Не может быть, чтобы ты говорил это серьезно. Ты, наверное, шутишь»[277], — отвечала безгранично шокированная Констанс. Нередки были случаи, когда она могла прервать чудесную импровизацию мужа каким-нибудь совершенно пустячным бытовым замечанием, заслужив тем самым огорченную улыбку Оскара.

С начала года Уайльд регулярно сотрудничал со «Всякой всячиной» и со многими другими печатными изданиями. Ему принадлежит авторство более двухсот статей, в которых автор выразил свои художественные взгляды и высказал мнения о современниках. Его репутация укрепилась, а известность возросла отчасти и благодаря возобновленной перебранке с Уистлером.

20 февраля 1885 года Джеймс Уистлер читал в Принс-холле свою знаменитую лекцию по искусству «Десять часов», переведенную на французский язык в апреле 1888 года Стефаном Малларме и опубликованную в «Независимом обозрении» в мае 1888 года. Этот перевод привел в восторг Джорджа Мура, который принял в нем участие. Мур писал: «Я хочу, чтобы вы представили, каким замечательным уроком французского языка стала для нас эта работа». Вооружившись своими отточенными фразами, Уистлер выступил в защиту высокого искусства: «Искусство выплеснулось на улицу! Прохожий щеголь берет его за подбородок, домовладелец зазывает к себе в подъезд, все вокруг настойчиво приглашают его составить компанию в качестве залога высокой культуры и утонченности. Если фамильярность

способна породить презрение, то нет сомнения в том, что Искусство — или то, что обычно считается таковым, — достигло самого дна в своих интимных отношениях со всеми подряд… Нам говорят, к примеру, что древние греки, целая нация, поклонялись красоте и что в XV веке Искусство выплеснулось в массы… Послушайте! Никогда в истории не было художественного периода. Как не было и такого народа, который бы весь целиком посвятил себя искусству…»[278] Если вспомнить об эстетских теориях Уайльда, о его культе древнегреческого искусства, о его нарочито показном наряде, странно смотревшемся посреди Пиккадилли, то станет очевидным то, о чем Уистлер в своей статье не сказал. И Уайльд, конечно же, ответил на его выпад во «Всякой всячине» от 27 февраля.

«Вчера вечером в Принс-холле м-р Уистлер впервые выступил с публичной лекцией об искусстве и с поистине дивным красноречием более часа говорил о совершенной бесполезности всех лекций подобного рода… с обворожительной легкостью и большим изяществом манер он объяснил публике, что она должна культивировать единственно лишь безобразие и что в ее беспросветной глупости — все надежды искусства. Эта сцена была восхитительна во всех отношениях: он возвышался там как истинный Мефистофель в миниатюре, издевающийся над толпой! Отдавая, однако, должное публике, следует заметить, что она была чрезвычайно довольна тем, что ее избавили от ужасной обязанности восхищаться чем бы то ни было, и ее восторгу не было предела, когда м-р Уистлер заявил, что, невзирая на вульгарность платья и чудовищность домашнего окружения, все-таки не исключено, что какой-нибудь великий художник, ежели таковой вообще существует, смог бы, созерцая этих людей в сумерки из-под полуопущенных век, увидеть проблески настоящей живописности и создать полотно, которое им нечего и пытаться понять, а уж дерзать наслаждаться этим полотном — и подавно»[279]. Всем был очевиден здесь явный намек на знаменитые «Ноктюрны». Естественно, что мнение Уайльда оказалось диаметрально противоположным мнению Уистлера. Сам он был глубоко убежден, что художник — порождение определенной среды и что поэт, объединяя в себе все виды искусства, занимает высшую ступень среди себе подобных, «поскольку владеет чувством цвета, формы, кроме того, должен быть настоящим музыкантом, истинным господином всех форм жизни и всех искусств; таким образом, именно поэту, среди всех прочих, открыты тайны жизни: Эдгару Аллану По и Бодлеру, а не Бенджамину Уэсту и Полю Деларошу»[280].

«Уорлд» опубликовал ответ Уистлера: «Я прочитал твою

восхитительную статью во „Всякой всячине“. Если говорить о лести Поэта в адрес Художника, то тут не может быть ничего более деликатного, чем наивность самого Поэта в выборе своих художников — Бенджамина Уэста и Поля Делароша»[281].

Все с нетерпением ожидали продолжения, которое появилось в «Уорлде». «О существовании художников Бенджамина Уэста и Поля Делароша, которые нахально спорили об искусстве, я узнал из биографического словаря. Поскольку история не донесла до нас их произведений, я сделал вывод о том, что они растворились в собственных речах. Не забывай об этом, Джеймс, и оставайся, как и я, как можно более непонятным. Быть великим — значит быть непонятым»[282]. Однако последнее слово осталось за Уистлером: «Если величие заключается в том, чтобы быть непонятым, то Оскару не откажешь в смелости, когда он открывает публике источник своего вдохновения: биографический словарь»[283].

Приемы на Тайт-стрит разносили отголоски перепалки, приводившей в восторг читателей газет, которые на первых страницах публиковали высказывания Джимми и Оскара. Констанс попадала в водоворот беседы, за которой все реже успевала следить, охваченная недомоганием, связанным с беременностью. Она впервые прочла недавно опубликованный «Дом блудницы», и некоторые признания вызвали у нее удивление и тревогу, так как приоткрыли новые, доселе ей неизвестные черты мятущейся натуры ее супруга.

Месяц спустя Уайльд опубликовал в журнале «Ревю девятнадцатого века» статью «Шекспир и сценический костюм», которая позже была перепечатана в сборнике «Замыслы»[284] под заголовком «Истина о масках»; здесь он выступил защитником иллюзии, но особенно — сокрытия чувств, закончив статью утверждением, вызвавшим содрогание у благочестивой Констанс: «Поскольку искусству неведома всеобщая истина… Метафизические истины суть не более чем истины масок»[285]. Оскар обратился к Махэйффи, Уолтеру Пейтеру и Джорджу Керзону с просьбой помочь получить должность университетского инспектора и уже был озабочен тем, как повлияет его репутация на возможную карьеру: «Дорогой Керзон, я хочу быть одним из школьных инспекторов Ее Величества… Я не знаю Стэнхоупа[286] лично и боюсь, что он придерживается распространенного мнения обо мне»[287].

И вот 5 июня 1885 года на свет появился малыш Сирил, к огромной радости Уайльда, который писал своему юному другу, актеру Норману Форбс-Робертсону: «Малыш — прелесть; у него есть переносица, что, по словам кормилицы, служит

доказательством гениальности! А еще у него бесподобный голос, который он упражняет в свое удовольствие, предпочтительно в вагнерианской манере!»[288] Все вокруг задавались вопросом, будет ли ребенок достаточно эстетичен для Оскара и Констанс. Но родители не обращали на это внимания, и в течение нескольких недель в семье царили безраздельное счастье и полная идиллия. Оскар успешно продавал свои статьи газетам, он ничуть не был огорчен тем, что его кандидатура не прошла, и с восторгом играл новую для себя роль отца семейства, продолжая принимать гостей вместе с Констанс, все помыслы которой целиком были поглощены ребенком, спавшим наверху в своей красивой спальне, в то время как здесь, в столовой, а затем в салоне вовсю шло обсуждение последней театральной постановки, последних статей Оскара, блестящей игры Лилли Лэнгтри или Сары Бернар, которая недавно купила себе в лондонском зоопарке двух тигров, вероятно, для защиты от кредиторов.

Оскар получил письмо от юного Мэрильера[289], с которым познакомился накануне отъезда в Америку; молодой человек приглашал его на постановку «Эвменид» Эсхилла в королевском театре Кембриджского университета, в котором он учился. Уайльд написал ему несколько писем, дав волю собственному перу: «Напишите мне длинное письмо на Тайт-стрит, и я прочту его по возвращении. Как жаль, что Вас нет рядом со мной, Гарри. Но на каникулах приезжайте почаще, мы побеседуем о поэтах и забудем Пиккадилли! Я никогда ничему не мог научиться, кроме как у тех, кто моложе меня, а Вы так бесконечно молоды» [290]. И совсем так же, как раньше Шерарду, он написал своему новому поклоннику несколько фраз, которые не могли бы не показаться удивительными в устах отца семейства, женатого чуть более двух лет, если бы речь шла не об Оскаре Уайльде: «Наши самые пламенные мгновенья экстаза — только тени того, что мы ощущали где-то еще, или того, что мы жаждем когда-нибудь ощутить. И вот что удивительно: из всего этого возникает странная смесь страсти с безразличием. Сам я пожертвовал бы всем, чтобы приобрести новый опыт… Есть неведомая страна, полная диковинных цветов и тонких ароматов; страна, мечтать о которой — высшая из радостей; страна, где все сущее прекрасно или отвратительно»[291].

Только Констанс не прекрасна и не отвратительна. Она уже не в силах участвовать в беседах, которые ведут по вечерам вокруг хозяина гости, собравшись в изумительной гостиной на Тайт-стрит: блестящие художники, актеры, политические деятели. Констанс опять беременна; она выглядит уставшей, располневшей

и совершенно утратившей былую грацию. Скучая, она наблюдает за Оскаром, бросающим на нее время от времени ласковый взгляд, в котором уже сквозит недоумение. Она знает, что, когда муж отсутствует, он проводит время в своем клубе «Альбермэйл», либо на встречах, о которых не принято говорить открыто.

Чувствуя себя покинутой, Констанс находила утешение в религии с оттенком мистицизма. Она понимала, что не может соперничать в красноречии с супругом, и все более отходила в тень, тогда как остроумие, культура и интеллигентность Оскара превратили вечера на Тайт-стрит в настоящий фейерверк. Оскар продолжал оставаться внимательным к ней и, замечая ее усугубившуюся замкнутость, старался с нежной снисходительностью ее подбодрить: «Ты снова выглядишь усталой, Констанс, наверное, тебе надоели все эти люди». А совсем неподалеку, в доме 16 по Оукли-стрит леди Уайльд, которая с недавних пор стала получать правительственную пенсию, продолжала сверкать в собственном салоне, сохраняя вежливую дистанцию с невесткой; у себя дома Оскару Уайльду приходилось выслушивать глупую болтовню ирландских кузин, которых совершенно не к месту приглашала его жена.

В ноябре 1886 года родился второй сын, Вивиан. Оскар очень хотел дочь; он был разочарован и неожиданно принял решение переехать в отдельную спальню. Он перебрался на четвертый этаж, где и принимал теперь близких друзей. Сводный кузен Констанс Адриан Хоуп проводил там волшебные часы и так писал об этом Лауре Трабридж: «Двери и деревянные панели комнаты были выкрашены в ярко-красный цвет и отделаны лепниной с позолоченными листьями на ярко-красном фоне, что создавало потрясающий цветовой эффект. Я задержался до половины одиннадцатого, слушая необычно растолстевшего Оскара, одетого в охотничью куртку из серого бархата, который рассуждал презабавнейшим образом»[292]. Что-что, а рассказывать он умел.

В ноябре того же года Уистлер, выступая перед Выставочным комитетом, прочел следующее: «Что общего у Оскара Уайльда с искусством? разве то, что он присаживается к нашему столу и подбирает с нашей тарелки изюм из пудингов, который потом развозит по провинции. Оскар, милый, безрассудный проказник Оскар столько же смыслит в картинах, сколько в покрое платья, и смело пересказывает чужие взгляды». Через несколько дней Уайльд опубликовал ответ: «Как все это грустно, Атлас[293]! Если речь идет о нашем Джеймсе, то вульгарность зарождается дома и, по идее, там же должна и оставаться». Уистлер, в свою очередь, порадовал публику новым комментарием: «Какое невезение,

Оскар, только на этот раз я имел в виду как раз тебя»[294]. Это вам не гримасы Констанс, ее постоянная усталость и материальные проблемы, удвоившиеся с рождением второго сына.

Да, бедняжка Констанс, несмотря на все свои усилия, решительно перестала соответствовать эстетическим требованиям Оскара Уайльда. Он с ужасом наблюдал, как непоправимо изменили его жену две перенесенные беременности. Хрупкая и грациозная девушка превратилась в отяжелевшую, подурневшую женщину. Он брал в жены существо нематериальное, почти гермафродита, теперь же видел перед собой следы разрушений, причиненных временем и природой. Апостол красоты был ошеломлен всем этим, и мысли его вновь возвращались к той аркадийской картине, которую он наблюдал в Оксфорде, глядя на обнаженных подростков, небрежно развалившихся на траве или уносимых течением реки. Он думал о Мэрильере, о юном Андре Раффаловиче, о своем друге Нормане Форбс-Робертсоне. Уайльд поделился своими мыслями с Фрэнком Харрисом: «Материнство убивает желание: беременность — могила страсти… Природа оказывается чудовищем; она набрасывается на красоту и уродует ее; она обезображивает тело, которое было белее слоновой кости и которому мы поклонялись, нанося ему многочисленные шрамы материнства; она оскверняет алтарь нашей души»[295]. Уайльд начал упрекать жену в том же, в чем Дориан Грей станет упрекать Сибиллу Вэйн, когда та сделалась посмешищем в его глазах, исполнив роль Джульетты: «Вы убили мою любовь! Раньше вы волновали мое воображение, — а теперь вы не вызываете во мне никакого интереса… Я любил вас, потому что вы воплощали в жизнь мечты великих поэтов, облекали в живую, реальную форму бесплотные образы искусства… Вы испортили самое прекрасное в моей жизни»[296]. Очевидность того, что Констанс становится неинтересной, тронутой временем и материнством женщиной, сняла с семейной жизни пелену прекрасного, то есть покров мечты, которой Оскар в течение трех лет окутывал свое существование. Оставалась лишь привязанность, а любовь, влечение умерли, словно убитые действительностью, от ударов которой удалось спастись только Оскару Уайльду, сначала благодаря волшебным сказкам, которые он придумывал для своих детей, а позже благодаря ниспосланной Провидением или, может быть, напротив, фатальной встрече с Робертом Россом, который стал для него тем, кем так и не удалось стать Бози Дугласу, — «настоящей любовницей», по выражению Фрэнка Харриса.

Роберт Росс, или Робби, как будет называть его Уайльд, родился в 1869 году. Его отец, Джон Росс, был государственным

секретарем по делам юстиции в правительстве своего тестя, Роберта Болдуина, тогдашнего премьер-министра Верхней Канады. В тот же год, когда родился Роберт, отец умер, завещав перед смертью, чтобы сын получил воспитание в Англии. Мать увезла его из Канады, и они без особых проблем устроились жить в Лондоне. Роберт великолепно учился, окончил Кембридж и завязал дружбу с канадской актрисой Фрэнсис Ричардс, которую Оскар Уайльд в свое время рекомендовал Уистлеру.

Впервые он встретил Уайльда в 1886 году. На следующий год его мать отправилась в путешествие по Европе, и Роберт поселился в качестве платного постояльца в доме 16 по Тайт-стрит. Уайльд был старше Росса на пятнадцать лет, что не мешало ему испытать на себе обаяние нового молодого поклонника, оказавшегося утонченным и образованным. По возвращении в Кембридж Росс стоически противостоял издевательствам старшекурсников. Однажды, ныряя в бассейне Кингз-колледжа, он получил серьезную травму, закончившуюся кровоизлиянием в мозг. Росс был вынужден покинуть колледж и начать карьеру в качестве лондонского корреспондента журнала Хенли «Шотландский наблюдатель». Он снова встретился с Уайльдом в 1887 году и преподал ему первый урок настоящей гомосексуальной связи. Начиная с этого дня их навсегда свяжут дружба и любовь. На портрете кисти Уилли Ротенстайна он предстает как «очаровательный темноволосый молодой человек с красивыми, выразительными глазами и чувственными губами»; сам художник говорил о нем как о гении дружбы: «Он обладал восхитительным характером, был замечательным, полным юмора рассказчиком; он прежде всего умел особо выделить всех тех, кто вызывал у него восхищение; Оскар Уайльд нигде не выглядит столь блестяще, как на приемах у Росса; то же самое относилось и к Обри Бёрдслею и Максу Бирбому»[297].

Новая вспышка сифилиса, которым Оскар заразился еще в Оксфорде и который сделал невозможными дальнейшие интимные отношения с Констанс, предрасположенность к гомосексуализму, которой он был обязан слишком сильному влиянию матери и неприязни к отцу, чье имя оказалось опороченным из-за его собственных гомосексуальных приключений, непреодолимый соблазн «новых ощущений» — в чем бы ни заключалась истинная причина, фактом остается то, что после знакомства с этим человеком скрытый гомосексуализм Уайльда перевернул всю его сексуальную жизнь. Можно предположить, что именно эстетизм явился причиной того, что Оскар начал отдавать предпочтение телам молодых юношей, еще не утративших свежесть под ударами времени. Как бы то ни было,

его творческий порыв получил новый стимул, благодаря эстетическому обновлению, которое предложил ему Роберт Росс в качестве прелюдии к целому ряду других эстетических обновлений.

По правде говоря, после «Истины о масках», опубликованной в мае 1885 года, у Уайльда не вышло ни одной работы, не считая нескольких газетных статей. На оживление творческой активности повлиял и еще один фактор: дети. Так же, как в свое время он оказался замечательным мужем, сейчас Уайльд проявил свои лучшие качества как отец, о чем позже поведал Вивиан: «Он был для нас настоящим товарищем и всегда доставлял нам огромное удовольствие своими частыми появлениями в детской. Он оставался в душе настолько ребенком, что обожал принимать участие в наших играх. Он опускался на пол на четвереньки и изображал то льва, то волка, то лошадь, ничуть не заботясь о своем обычно безупречном внешнем виде. Когда же он уставал от игр, он умел заставить нас успокоиться, рассказывая сказки про добрых волшебников или какие-нибудь истории из своей неиссякаемой памяти. Он был великим почитателем Жюля Верна, Стивенсона и Киплинга. Однажды Сирил спросил, отчего у него в глазах стояли слезы, когда он читал нам „Великана-эгоиста“, и он ответил, что истинно прекрасные вещи всегда вызывают у него слезы»[298]. Кроме того, Уайльд утверждал, что «долг каждого отца — сочинять сказки для своих детей, хотя ум ребенка всегда остается великой загадкой».

В феврале 1887 года один из литературных журналов опубликовал рассказ «Кентервильское привидение». В апреле Уайльду в руки попала монография Уолтера Даудсуэлла о Уистлере, и он написал о своем «закадычном враге» эссе под заголовком «Босуэлл для бабочки»[299]: «У каждого великого человека в наше время есть ученики, и почему-то именно Иуда обычно пишет биографию учителя. Тем не менее м-ру Уистлеру повезло больше, чем большинству его собратьев, так как в лице м-ра Уолтера Даудсуэлла он нашел самого пламенного своего поклонника, которого так и хочется назвать самым усердным из секретарей»[300]. Оскар Уайльд веселился от души, расписывая жизнь американского художника в юмористическом, скорее даже сатирическом свете, чем заставил «Джимми» в бешенстве брызгать слюной: «По правде говоря, его генеалогическое древо очень глубоко уходит корнями в те самые Средние века, которые он так часто вышучивает или попросту умело игнорирует. До счастливого прибытия мистера Уистлера на наши благословенные и благочестивые берега английские художники за редким исключением скрашивали свое пропащее и унылое

существование тем, что ковырялись среди поэтов, затупляя их велеречивость своим неумелым обращением, и силились сделать видимым, то есть придать форму и цвет невидимому чуду, величие — тому, что вообще не дано видеть. Теперь же, когда на Саффолк-стрит обосновалось новое общество, а стиль Мэтра породил настоящую школу посредственности, у нас появились все основания надеяться на то, что прежний порядок вещей устарел окончательно»[301]. Статья не была подписана, зато имя автора произносили на каждом рауте — хоть и шепотом, но с нескрываемым удовольствием.

Юные друзья и завсегдатаи дома на Тайт-стрит не переставали комментировать высказывания Уайльда, который так и светился от удовольствия, в то время как Констанс, встревоженная надвигавшимися финансовыми трудностями, огорченная беспечностью мужа, уставшая от бесед, полных намеков, смысл которых от нее ускользал, уже находила несносными всех этих интеллектуалов и чувствовала себя в своей тарелке только рядом с детьми в детской, куда вместе с ней иногда заглядывали Роберт Росс и Шерард. Уайльд тоже время от времени заходил поцеловать Сирила и Вивиана и рассказать им историю про большого карпа-меланхолика из озера в Мойтуре, который поднимался на поверхность только на звуки старой ирландской мелодии. Эти минуты нежности становились для него сладостной возможностью ускользнуть от грубой повседневности. Он записывал истории, которые придумывал специально для того, чтобы развлечь или уложить спать Сирила и Вивиана. В мае 1887 года на страницах «Уорлда» появился «Сфинкс без загадки», а затем, в майском номере — «Натурщик-миллионер».

В апреле 1887 года Оскар вступил в переписку с издателем «Мира леди», который поинтересовался его мнением о журнале: «Я как никто другой понимаю значение и важность одежды в ее взаимосвязи с хорошим вкусом и хорошим здоровьем. Надо сделать „Мир леди“ признанным печатным органом для выражения женщинами своих мнений по всем вопросам литературы, искусства и современной жизни, и вместе с тем это должен быть такой журнал, который могли бы с удовольствием читать и мужчины и в котором они почли бы за честь печататься»[302]. Он взял на себя задачу заручиться поддержкой женщин из высшего общества, которых было немало среди его почитательниц и частых гостий на Тайт-стрит: принцессы Луиза и Кристина Сакс-Кобургские, леди Гревилль, Дороти Тенант, леди Розбери… 15 июня он получил в журнале место главного редактора и триста фунтов годового жалованья. Уайльд начал курсировать между Кембриджем и Оксфордом, перемещаясь от

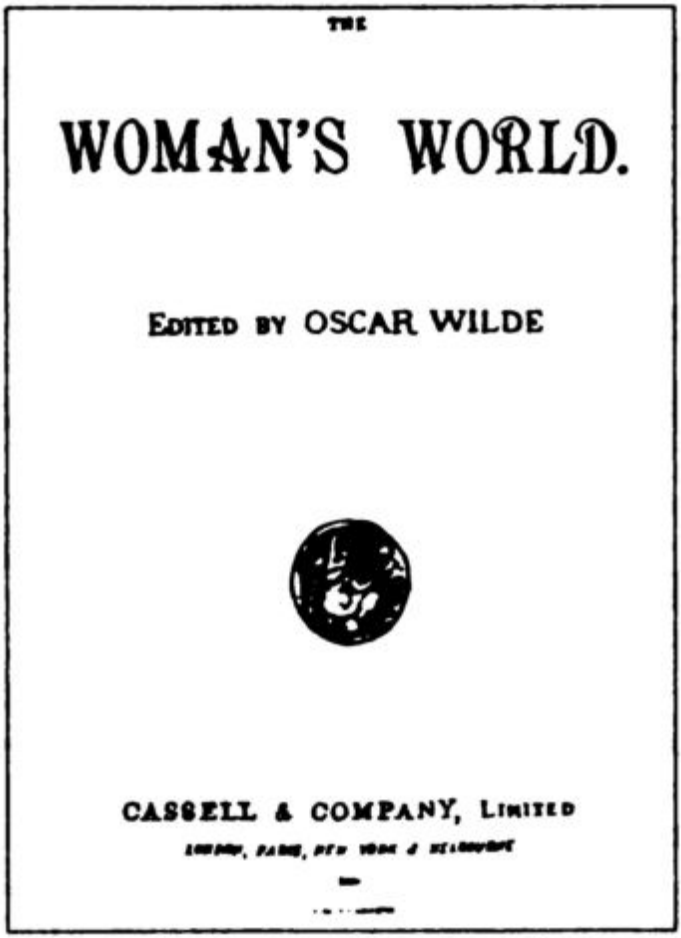
леди Гревилль к леди Солсбери, принимая одновременно несколько приглашений на чай и умудряясь побывать сразу на трех обедах; он не забывал и съездить в Париж, чтобы встретиться там с мадам Адам, чей литературный салон считался одним из самых знаменитых в восьмидесятые годы. В августе он поменял название журнала на «Мир женщины». Благодаря известности Уайльда, вечно окруженного сонмом светских дам, успех пришел мгновенно: «Шелест страниц раздавался во всех будуарах Мэйфера и Белгравии». У всех на устах только и было разговоров, что о приемах, которые давало семейство Уайльдов и на которых собирался весь цвет живописи, литературы, театра, а также представители высшего общества — под опытным взором по-прежнему импозантной леди Уайльд.

Презентация нового светского журнала мод вызвала одобрительные отклики в газетах: «Журнал „Мир женщины“, издаваемый мистером Оскаром Уайльдом, — писала „Таймс“, — и отличающийся великолепным оформлением, занял отнюдь не последнее место в ряду иллюстрированных журналов. Это издание, статьи в котором написаны женщинами для женщин и о женщинах, где вниманию читателей предлагается новый оригинальный стиль, заслуженно пользуется большим успехом. Мистер Уайльд имел счастье заручиться поддержкой большинства известнейших женщин. Среди прочих ему оказала честь сама принцесса Кристина, проявившая серьезные знания и глубокое сострадание в своей статье о помощи больным»[303].

Оскар Уайльд нашел эту роль более респектабельной, чем та, которую он исполнял на Пиккадилли, она была более забавной, чем роль мужа, влюбленного в собственную жену, но роль эта не замедлила сделаться обременительной для автора только что вышедшей в издательстве Дэвида Натта книги «Счастливый принц и другие сказки». Уайльд писал своим многочисленным корреспондентам, как обычно, объясняя смысл, который хотел вложить в свое произведение. Вот, например, что он написал своему другу Керсли: «Я счастлив, что тебе понравились мои сказки; это прозаические этюды, исполненные в романтическом стиле в жанре фантазии: они предназначены как для детей, так и для всех тех, кто сохранил детскую способность изумляться и радоваться, и могут в простоте обнаружить изощренность и своеобразие. Я отталкивался не от идеи, облекая ее в форму, а наоборот, от формы, и постарался сделать ее достаточно красивой, чтобы раскрыть множество секретов и дать множество ответов»[304].

В течение нескольких месяцев Уайльд очень серьезно

относился к работе и внес значительный вклад в успех журнала, публикуя собственные заметки, критические статьи по искусству, а в особенности статьи, посвященные концепции женской моды, написанные с присущим ему особым ирландским юмором. «Свадебное платье юной герцогини де Майи (в девичестве — мадемуазель де Вендель) являло собой образец живописной простоты. Легкий намек на средневековую грациозность как нельзя лучше подходил к брачному наряду женщины, принадлежащей к одному из древнейших дворянских родов Франции. Платье было сшито из белой кружевной ткани; завязывающийся на спине корсаж был укрыт шейным платком из малинского кружева; юбка, спадавшая широкими складками, образовывала шлейф, оригинально поддерживаемый с одной стороны пуфом в стиле Аньес Сорель… Большой букет цветов апельсинового дерева удерживал пуф на своем месте, а букет поменьше был укреплен на груди. Вечером после подписания брачного контракта невеста была одета в платье из белого фая, усеянного золотистыми пятнами листьев, обрамленных гирляндами роз. На гражданской церемонии бракосочетания молодая появилась в очень элегантном, но слишком мрачном костюме. Должен признаться, я вообще не люблю черные платья, даже если они сшиты в престижнейшем ателье Уорта. На свадебном обеде она была одета в платье черного бархата с длинным шлейфом, придававшим ей похоронное величие… Другие свадьбы, другое приданое, соперничающие друг с другом по богатству и количеству, наводят меня на мысль о том, что искусство и мода могут стать союзниками, если художника зовут Уорт, а моделями ему служат мадемуазель де Версенвилль, мадемуазель Буланже или мадемуазель де Ротшильд. А как еще можно выразиться о столь поэтичном дезабилье из крепона цвета слоновой кости, усеянного золотом и отделанного на груди вышивкой из белого шелка, из приданого мадемуазель Буланже?»[305] В другой раз Оскар объяснял, что одежда должна соответствовать обстоятельствам, не стесняя при этом движений того, кто ее носит; он полагал, что эстетическое качество одежды зависит от того, насколько составляющие элементы отвечают необходимым требованиям. Он хотел, чтобы людей одевали идеи, а не факты, и считал, что хорошо одетые мужчина или женщина способны чему-то научить окружающих.



Обложка журнала «Мир женщины».

Вплоть до июня 1889 года Оскар Уайльд вел свою эстетскую кампанию, начатую в Соединенных Штатах и продолженную затем в Англии в первые годы его семейной жизни. В течение двух лет он регулярно появлялся в своем рабочем кабинете, облаченный в куртку и котелок, правил гранки, отвечал на письма читателей и готовил собственные статьи. Вместе с тем он не оставлял и светскую жизнь и однажды обратился к самой королеве Виктории с просьбой написать статью для журнала.

В это же время он познакомился с ирландским поэтом Уильямом Батлером Йейтсом, который был на одиннадцать лет моложе Уайльда и который с 1887 года жил в Лондоне на Бедфорд-Парк в квартале Блумсбери. Впервые они встретились у Хенли, основателя «Национального наблюдателя». Йейтс так

говорил об исключительном таланте Уайльда: «Наша первая встреча с Оскаром Уайльдом явилась для меня откровением. Никогда прежде мне не доводилось слушать кого-либо, кто говорил бы такими идеальными фразами, как если бы он просидел, оттачивая их, целую ночь, а у него это получалось спонтанно. Среди гостей у Хенли в тот день был один человек, тайно терзаемый глупостью, который все время порывался прервать Оскара, чтобы намеренно сбить его с мысли или посеять в его речи беспорядок; и я заметил, как умело Уайльд расстраивал его замыслы и загонял в тупик. Мне показалось даже, что ощущение искусственности, о которой, по-моему, говорили все, кому приходилось с ним общаться, возникало из-за идеальной округлости фраз и уверенности говорящего, которая делала его речь еще более отточенной. Он умел без видимого усилия перейти от быстрой и неожиданной остроты к изысканной игре воображения»[306]. Йейтс привел несколько примеров из разговоров Оскара Уайльда:

«Что такое „Король Лир“, как не описание жизни бедняка, спотыкающегося в тумане?» И тут же, не меняя тона, он переходил к «Очеркам по истории Ренессанса» Уолтера Пейтера: «Это моя золотая книга; я беру ее в любые путешествия; но это был самый расцвет декаданса; я уверен, что в тот момент, когда автор поставил точку, раздались финальные звуки фанфар».

Подобно всем юнцам, окружавшим Уайльда в 1887–1890 годах, Йейтс был совершенно очарован: «Я думаю, что всем нам, растерянным, как и положено в столь нежном возрасте, неуверенным в себе, он казался тогда подобием триумфальной статуи, а кое-кто вообще считал его существом из другой эпохи, этаким выдающимся и дерзким итальянцем XV века»[307].

Если обстановка на Тайт-стрит не произвела на Йейтса особого впечатления, то психология хозяина дома, напротив, привлекла все его внимание: «Мне показалось, что он вел воображаемый образ жизни, ничуть не издеваясь при этом над самим собой; что он постоянно играл в какой-то пьесе, которая была полной противоположностью тому, что он видел в детстве и в ранней юности; что он не переставал удивляться каждое утро, когда открывал глаза и видел вокруг стены своего великолепного дома, когда вспоминал, что накануне ужинал в обществе герцогини, и осознавал, что может получать удовольствие от чтения Флобера и Пейтера или читать Гомера в оригинале»[308]. В доме 16 по Тайт-стрит Уайльд находил свой эстетизм и имел возможность дать волю воображению, если не в обществе Констанс, то, по крайней мере, с детьми, для которых он с огромным удовольствием организовывал балы-маскарады, где

Сирил облачался в наряд персонажа с картины Миллеса, а Вивиан изображал маленького лорда Фаунтлероя.

В декабре 1888 года Уайльд почти совсем забросил работу в журнале, сообщив об этом Хенли, который пожаловался ему на изнуряющую работу журналиста. Владельцы журнала в течение месяца пытались призвать Уайльда к порядку, но тщетно; он сдал еще несколько заметок, все чаще отдавая предпочтение светским приемам, обществу Робби и Йейтса, работе над сказками, которые он продолжал придумывать для своих детей.

В последние дни года он опубликовал в «Женском иллюстрированном журнале» «Молодого короля» с пятью иллюстрациями Бернарда Партриджа и готовил первый вариант «Портрета мистера У. Х.» для «Блэквуд мэгэзин». Он уже закончил писать «Упадок лжи» и «Перо, карандаш и отраву», которые воспевали ложь произведения искусства, с одной стороны, и преступление как разновидность изящных искусств — с другой. Этот период напряженной работы был отмечен печатью уайльдовской философии в том виде, в каком она начала вырисовываться, когда он собирался окончательно расстаться с «Миром женщины», владельцы которого направили ему уведомление об увольнении.

В марте вышел первый перевод одного из его произведений. Франсис Виеле-Гриффэн опубликовал в «Иллюстрированном Париже» «День рождения инфанты». «По стилю, — писал Уайльд, — это моя лучшая сказка. Мне она виделась в черных и серебряных тонах, а на французском языке она превратилась в розово-серебряную»[309]. Зарождающийся успех во Франции помог ему окончательно порвать с журналом, оказавшимся к тому же на грани банкротства. Он все еще продолжал пребывать в обличье неброского и уравновешенного джентльмена из Сити, которое, по мере возрастания его литературной славы, сменится экстравагантностью не только в костюме. Г. Вивиан, к мемуарам которого Уайльд написал предисловие, сообщал: «Я никогда еще не был так удивлен, как тогда, когда познакомился с ним лично; я ожидал встретить человека легкомысленного, позера и был просто очарован, увидев перед собой уравновешенного молодого человека, обладающего неоспоримым даром рассказчика и имеющего совершенно ясные политические взгляды»[310]. Модельер Грэм Робертсон (будущий автор костюмов к «Саломее») был согласен с Вивианом. В беседе с ним Оскар развивал свои эстетские теории, а в заключение сказал: «Когда-нибудь вам придется нарисовать сонет, юношу, смотрящего в чудесный кристалл, в котором отражается мир; поэзия должна походить на

кристалл; ее задача сделать жизнь более прекрасной и менее реальной».

Однажды, явившись на ужин к американскому издателю Д. Х. Стоддарту, он застал Конан Дойла, который сохранил чудесные воспоминания об Оскаре Уайльде той поры: «Он превосходил нас всех и вместе с тем обладал талантом делать вид, что живо интересуется всем, о чем говорят окружающие. Оскару была свойственна удивительная точность суждений, редкое чувство юмора и совершенно особая жестикуляция, помогавшая ему иллюстрировать свои высказывания»[311]. Во время этой встречи Конан Дойл и Оскар Уайльд договорились опубликовать свои произведения в «Липпинкоттс мэгэзин»: это будут «Знак четырех», где впервые появится Шерлок Холмс, и «Портрет Дориана Грея», в котором можно обнаружить некоторые реминисценции той беседы, которая состоялась в тот вечер между двумя литераторами.

Продолжением этой встречи было благодарственное письмо, адресованное Конан Дойлу, в котором Оскар Уайльд приоткроет завесу тайны своей жизни: «Действительность всегда видится мне сквозь дымку из слов. Я жертвую достоверностью ради удачной фразы и готов поступиться истиной ради хорошего афоризма. При всем том я искренне стремлюсь создать произведение искусства, и мне приятно, что Вы считаете мой подход тонким и художественным. Газетные рецензии, по-моему, пишут пуритане для читателей-филистеров. Не возьму в толк, как можно объявлять Дориана Грея безнравственным. Для меня трудность состояла в том, чтобы подчинить содержащуюся в романе мораль художественному и драматическому эффекту, и мне все равно кажется, что мораль слишком очевидна»[312].

В январе 1889 года Джимми Уистлер вновь вступил в словесную перепалку с Уайльдом, промолчав почти два года. Он упорно стремился обнаружить в «Упадке лжи» какие-либо авторские заимствования и откровенно злорадствовал, заявляя: «Мистер Уайльд умышленно и неосторожно, причем без малейшего объяснения, включил в свое произведение часть известного письма, в котором я, отмечая его редкую доброжелательность и удивительную память, допускаю, что Оскар не стесняется высказывать чужие взгляды!»[313] Радуясь возможности возобновить перепалку, Уайльд опубликовал статью «На базарной площади»: «Коль скоро у мистера Уистлера хватило нахальства обрушиться на меня на страницах Вашей газеты со злобными и глупыми нападками, я надеюсь, мне будет позволено заявить, что утверждения, которые содержатся в его письме, настолько же умышленно лживы, насколько умышленно

оскорбительны. Определение „ученик — это человек, имеющий смелость отстаивать убеждения своего учителя“, на самом деле слишком старо для того, чтобы даже мистер Уистлер мог претендовать на его авторство, а что касается заимствования суждений мистера Уистлера об искусстве, то единственные воистину оригинальные суждения, которые я когда-либо слышал из его уст, сводились к тому, насколько он превосходит художников более крупных, чем он сам».

Джимми был не в силах смолчать: «О, истина! Я покорен и уничтожен и признаю, что наш Оскар наконец-то обрел оригинальность. Изнемогающий и великолепный в своей агонии, на этот раз он, безусловно, обошелся без заимствований у живущих ныне авторов и выступает исключительно под собственным флагом. Ну как мне устоять под ударами его праведного гнева и безапелляционных обвинений! Мне, увы! — необразованной и невоспитанной личности, чьи досужие разглагольствования недостойны его внимания! И все же, несмотря на всю отчаянность моего положения, я позволю себе заметить, что именно меня, нахального, злобного и глупого, он прочит в свои учителя»[314]. И вновь газетные страницы пестрят высказываниями двух антагонистов, давая обильную пищу для разговоров в клубах на Сент-Джеймс-стрит и за кулисами столичных театров.

На фоне столь мощной рекламы «Блэквуд Эдинбург мэгэзин» опубликовал в июле «Портрет г-на У. Х.», который явился попыткой разгадать секрет сонетов Шекспира. Уайльд всерьез взялся доказать, что юный актер Уилли Хьюз, исполнитель женских ролей в пьесах Шекспира, был адресатом этих сонетов, то есть любовником Шекспира! Соблазнительная теория подкреплялась ловко подобранными доказательствами; какой же дерзостью надо было обладать автору, который сам обладал в этом смысле отнюдь не кристальной репутацией, чтобы осмелиться обратить внимание читателей викторианской Англии на двусмысленность отношений молодых актеров елизаветинских времен! Оскар Уайльд тем не менее не утратил осторожности, опубликовав неполную редакцию своего произведения. Он намеренно сделал акцент на художественной линии, на отношении актера к своей роли, и лишь затем на взаимоотношениях актеров между собой.

Осенью того же года Уайльд закончил работу над текстом, окончательная версия которого будет опубликована намного позднее, в 1893 году, когда он достигнет кульминации в своем эпатажном отношении к обществу. Эти добавленные пассажи являют собой откровенную апологию гомосексуализма, страстной

любви к молодости и красоте, бессознательных рефлексов, которые Уайльд открыл задолго до Фрейда; он предвосхитил тему созидательной силы памяти, которая через тридцать лет стала центральной темой всего цикла Марселя Пруста «В поисках утраченного времени»[315]. Не он ли напишет: «Глубокая дружба, связавшая нас, была в действительности узами брака, брака искренних душ»[316]. И не эти ли слова стали предзнаменованием будущих страстей, которые привели Оскара Уайльда к худшей степени разврата: «Мы вдруг начинаем отдавать себе отчет в том, что охвачены страстями, о которых никогда не задумывались, мыслями, которые страшат, удовольствиями, чей секрет остается для нас загадкой, болью, похищенной у наших слез»[317]. Уайльд писал Роберту Россу: «Теперь, когда миру открылась тайна Уилли Хьюза, нам нужна уже другая тайна»[318]. Фрэнк Харрис совершенно справедливо утверждал, что эта публикация лишь оживила разговоры о том, что все и так подозревали: «Он опубликовал текст, который причинил ему больше вреда, чем пользы, так как содержал намеки, подтверждающие и без того странные слухи о его личной жизни. Дело в том, что он согласился с общепризнанным в ту эпоху мнением о специфической нравственности Шекспира… „Портрет г-на У. Х.“ сослужил Оскару Уайльду самую плохую службу. Это произведение впервые дало в руки его врагов оружие, которого им так недоставало и которым они не замедлили воспользоваться самым настойчивым образом и без малейших угрызений совести, злорадствуя в своей ненависти». Сам же Уайльд пока ничего не замечал, кроме того, что этот скандал еще добавил ему известности. «Покуда люди судачили о нем, — пишет Фрэнк Харрис, — его нисколько не заботило, что именно они говорили, а они, безусловно, без конца говорили о том, о чем он писал»[319].

Осенью 1889 года Уайльда начала преследовать налоговая инспекция, и он составил полный юмора документ, предназначенный для инспектора: «Мне бы очень хотелось, чтобы ваши предупреждения о необходимости выполнения долговых обязательств не были столь тревожными и не содержали бы столько угроз. Штраф в пятьдесят фунтов звучит как напоминание о средневековых пытках»[320]. Домовладельцу, пришедшему требовать плату за жилье, Уайльд ответствовал: «Да, конечно, но я так плохо здесь сплю».

Неожиданно к его заботам добавилась еще одна, на этот раз более личного свойства: речь идет о знаменитом Кливлендском скандале, более известном как «дело маленьких телеграфистов». Некоторое время назад они уже заставили говорить о себе, когда двое из них предстали перед судом по обвинению в краже писем с

чеками в конвертах.

На этот раз дело обстояло много серьезнее и затмило даже подвиги Джека Потрошителя, который, переодевшись в женское платье, совершал свои ужасные преступления, терроризировавшие весь Лондон. Лорд Артур Сомерсет и граф Юстон обвинялись в том, что посещали дом свиданий для гомосексуалистов на Тоттенхэм-корт-роуд, где юные телеграфисты с центрального почтамта обеспечивали себе приличные доходы, доставляя телеграммы благородным завсегдатаям заведения и оказываясь в конечном итоге в постели адресата. Кстати, в телеграммах, которые отправляли друг другу эти господа, расхваливались прелести юных почтальонов. Предстоял скандальный процесс, в результате которого многие представители дворянства, политических кругов и мира светских салонов могли быть скомпрометированы. Можно себе представить, в какое волнение пришел автор «Портрета г-на У. Х.», друг Роберта Росса, Фрэнка Майлса, Ричарда ле Галльенна. В июле 1889 года он даже из предосторожности отправился в путешествие. Вернулся Уайльд только в августе и познакомился с молодым художником гомосексуалистом Чарльзом Рикеттсом, который стал иллюстратором его произведений, написав, в частности, портрет шекспировского Уилли Хьюза в манере Франсуа Клуэ. Уайльд аплодировал миссис Бернард Бир — преемнице Сары Бернар в «Тоске» Сарду, поздравил Ото Стюарта с блестящим исполнением роли Оберона в спектакле «Сон в летнюю ночь» и нашел время дать отпор возобновившимся нападкам Уистлера: «Я не думаю, чтобы читатели хотя бы в малейшей степени интересовались истошными воплями „Плагиат!“, испускаемыми время от времени тщеславными глупцами и бездарными посредственностями»[321].

В январе 1890 года в знаменитом «Клубе рифмоплетов» Уильям Батлер Йейтс представил ему двадцатитрехлетнего поэта, студента Оксфордского университета, известного гомосексуалиста Лайонела Джонсона. Беседуя с ним, Уайльд умело заинтриговал слушателей, походя дав определение своей жизни и творчества: «Эрнест Даусон живет в Ист-энде, так как это единственное место, где люди не закрывают лица масками; я же заявил ему, что, напротив, живу в Вест-энде именно потому, что здесь носят маски, а в жизни меня интересует только маска»[322].

Лайонел Джонсон, оказавшийся большим почитателем Уолтера Пейтера, вспоминал, как Уайльд приезжал к нему в Оксфорд: «В субботу в полдень, когда я еще валялся в постели с учебником Грина[323], меня вывела из оцепенения неожиданная и трогательная записка Оскара; он умолял зайти к нему, что я и

сделал, причем я нашел его настолько же очаровательным, насколько отвратительным казался мне Грин. Оскар говорил что-то очень остроумное, похвалил „Циферблат“[324], поиздевался над Пейтером и выкурил все мои сигареты. Я влюбился в него. Он приехал повидаться с Пейтером и посмотреть пьесу „Страффорд“»[325]. Пьеса Роберта Браунинга действительно шла в это время на сцене Оксфордского Нового театра с Г. Б. Ирвингом в главной роли; Уайльд одинаково восторженно принимал игру Ирвинга и древнегреческую атмосферу университетского городка. Вернувшись в Лондон, он писал: «Уважаемый мистер Джонсон, мне искренне жаль, что я не смог встретиться с Вами еще раз, но меня затащили в театр полюбоваться на то, что вышло из кое-каких моих соображений, и мне удалось добраться до вокзала только к отходу поезда. Я надеюсь, Вы дадите мне знать, когда объявитесь в городе. Мне так понравились Ваши стихи, по крайней мере, те, что попали мне в руки, что захотелось познакомиться и с самим поэтом. С Вашей стороны было очень любезно оторваться от дел и приехать ко мне в гости. Я очень хотел повидать Вас до отъезда из Оксфорда»[326].

Уайльд более чем когда-либо погрузился в мир гомосексуалистов, причем именно в это время он заканчивал подготовку издания своего единственного романа «Портрет Дориана Грея»: «Я только что закончил работу над своей первой длинной историей и совершенно выбился из сил. Боюсь, она явится отражением моей собственной жизни: одни лишь слова, и никакого действия»[327].

20 июня 1890 года ежемесячный журнал «Липпинкоттс мэгэзин» опубликовал первую редакцию «Портрета Дориана Грея». Тревожная атмосфера, философская основа произведения, по меньшей мере неоднозначные чувства, объединяющие персонажей, но особенно — глубокая развращенность главного героя привели к неслыханному скандалу… и обеспечили роману успех. Почти все газеты отвели ему одну или две полосы. Оскар Уайльд отвечал на статьи в «Дейли кроникл» и «Шотландском обозрении», а полемика с «Сент-Джеймс-газетг» еще более укрепила его успех, хотя и способствовала дальнейшему падению морального авторитета писателя в глазах общества. Издатель романа заметил опасность и с обезоруживающей наивностью предложил Уайльду внести кое-какие изменения: «Не могли бы Вы сделать так, чтобы Дориан пожил подольше с лицом портрета вместо своего собственного, показать, что он заканчивает свои дни в нищете, заставив его покончить с собой или прийти к раскаянию? Лорд Генри тоже рановато уходит со сцены»[328].

THE PICTURE OF DORIAN GRAY

BY

OSCAR WILDE

WARD, LOCK & CO.
LONDON, NEW YORK
& MELBOURNE.

Титульный лист первого полного издания «Портрета Дориана Грея».

Для отдельного издания, вышедшего в апреле 1891 года, Уайльд добавил шесть глав, сохраняя «очевидной» мораль, которую считал наиглавнейшей отличительной чертой своего произведения. 24 июня «Сент-Джеймс-газетт» опубликовала оскорбительную, но целомудренную статью, озаглавленную «Исследование о достаточности». Критик был возмущен аморальностью героя, легкомысленным стилем автора, который попирал моральные устои общества, двусмысленностью взаимоотношений между тремя главными персонажами романа. 25 июня Оскар Уайльд написал ответ на статью, которая под заголовком «Последняя реклама г-на Оскара Уайльда: злое дельце» была расклеена на стенах лондонских домов: «Я прочитал ваши критические замечания по поводу моего романа „Портрет Дориана Грея“ и полагаю, что мне нет нужды подчеркивать, что я ни в коем случае не намерен обсуждать достоинства его героев или их несостоятельность. Англия — свободная страна, и английская критика абсолютно свободна и вольна в своих деяниях. С другой стороны, я вынужден признать, что из-за собственного темперамента или, может быть, вкуса я совершенно не в состоянии понять, почему произведение искусства должно подвергаться критике с точки зрения морали. Сферы искусства и этики безусловно обособлены одна от другой… Однако я решительно протестую против того, что вы расклеили по городу листовки, на которых крупными буквами напечатано: „Последняя реклама г-на Оскара Уайльда: злое дельце“. Не могу сказать, к чему именно относится выражение „злое дельце“ — к моей книге или к политической позиции нашего правительства. Но самым глупым и бесполезным было использование слова „реклама“. Я со всей скромностью могу сказать, что из всех английских подданных меньше всего нуждаюсь в рекламе. Я до смерти устал от того, что меня и так без конца рекламируют»[329]. Публикация этого открытого письма сопровождалась таким оскорбительным комментарием, что Оскар Уайльд снова вынужден был взяться за перо; он подверг сомнению способность критика судить о произведении искусства вообще и открыто намекнул на его невежество в отношении отдельных истин, излагать которые довольно опасно, но которые составляют основу той самой этики, которую автор намеренно швырял в лицо напуганной, но втайне довольной публике:

«Предметами романтического искусства являются исключительность и индивидуальность личности. Каким же захватывающим может явиться, с художественной точки зрения, исследование образа отрицательных героев! Сколько в них красок, разнообразия, необычности! Положительные персонажи скорее приводят в отчаяние, а отрицательные возбуждают воображение… Наивысшее блаженство в литературе состоит в том, чтобы вдохнуть жизнь в несуществующее… „Дориан Грей“ — это история со своей моралью, а она такова: всякое излишество, равно как и всякое самоограничение, приводит к наказанию. Художник Бэзил Холлуорд, чрезмерно, как и все его собратья, влюбленный в физическую красоту, погибает от руки того, в чью душу он самолично вдохнул чудовищное и абсурдное тщеславие. Дориан Грей, посвятивший всю жизнь удовольствиям и удовлетворению собственных страстей, пытается убить свою совесть и одновременно убивает самого себя. Лорд Генри Уоттон хочет остаться в жизни лишь наблюдателем. Однако он осознает, что те, кто отказывается от боя, чаще страдают гораздо серьезнее тех, кто в нем участвует. Да, в „Дориане Грее“ заключена ужасная мораль»[330]. Немного спустя были опубликованы еще два ответа Оскара Уайльда, один из них явился откликом на статью в «Дейли кроникл», в которой говорилось: «Мрачность и непристойность — так можно охарактеризовать номер „Липпинкоттса“ за этот месяц. М-р Оскар Уайльд предлагает читателю нечто нездоровое, хотя и бесспорно занимательное… Эта история обязана своим появлением традициям потакающей нездоровым вкусам литературы французских декадентов; ядовитая книга, атмосфера которой тяжела от зловонных паров морального и духовного разложения»[331].

Вся эта шумиха вокруг автора, который не нуждался в рекламе, затмила перепалку Уайльда с Уистлером, отодвигая ее в тень, что благоприятствовало реализации его планов. Оскар Уайльд открыто выступил в качестве писателя — развратителя молодежи, наследника декадентской и ненавистной Франции. В одном из своих опубликованных ответов он взял на себя роль, которую отныне будет играть постоянно, — художника, для которого единственным материалом, используемым с целью создания произведения искусства, является эстетика. Стыдливые и испуганные цензоры, читатели, журналисты не скоро забудут такие высказывания: «И наконец, позвольте мне сказать еще вот что: эстетское движение порождает целый ряд красок, утонченных по красоте и завораживающих своими квазимистическими оттенками. Они были и остаются защитной реакцией против первобытной грубости нашей эпохи, безусловно, более

респектабельной, но бесконечно менее утонченной, чем эпохи предыдущие. Мою историю можно назвать эссе о декоративном искусстве. Она, если хотите, источает яд, но вы не можете также отрицать, что она совершенна, а именно совершенство и является для нас, художников, конечной целью». Заключительные фразы статьи вообще вызывают дрожь ужаса и удовольствия одновременно: «Каждый человек видит в Дориане Грее свои собственные грехи. В чем состоят грехи Дориана Грея, не знает никто. Тот, кто находит их, имеет в виду свои собственные»[332].

Обстановка накалилась до предела. Кое-кто перестал с ним здороваться, а завсегдатаи клубов хмурили брови при его появлении. Но Уайльд, освободившись от пут лицемерия семейной жизни, и не думал сдаваться, проявляя уже в который раз мужество, подкрепленное недюжинной физической силой. Как-то Роберт Росс пригласил его на обед в Хогарт-клуб. Как только друзья вошли в гостиную, один из членов клуба демонстративно встал и направился к выходу, не сводя глаз с Уайльда; вслед за ним еще несколько человек поднялись со своих мест. Тогда Уайльд подошел к наглецу, вознамерившемуся покинуть помещение, и совершенно спокойно попросил его извиниться перед мистером Россом. Внушительный вид и решительный тон привели поборника справедливости в оцепенение, и, смущенный и пристыженный, он поспешно вернулся на свое место, сопровождаемый теми, кто было последовал за ним. Салоны Белгравии и Сент-Джеймс-сквера продолжали гостеприимно распахивать двери перед волшебником слова, который не переставал приводить в восторг гостей на вечерних приемах, волновать хозяек будуаров и покорять немногих счастливчиков, любой ценой стремившихся оказаться за одним столом с автором изысканно мрачного «Дориана Грея»; в то же самое время публика буквально вырывала друг у друга из рук июльский 1890 года номер «Липпинкоттса», а Оскар Уайльд готовил новые тиражи романа, заказы на который поступали от многих издателей. Пусть это еще не богатство, но во всяком случае уже слава, и наплевать на то, что ее сопровождает шлейф слухов и флер скандала.

Как только у Уайльда появились средства, он немедленно уехал в Париж. В августе 1890 года он оставил Констанс, детей и бесконечные критические статьи на своего «Дориана Грея». Выход романа не намного опередил появление стихотворения Ричарда Ле Галльенна, которым поэт приветствовал публикацию перевода на французский язык «Дня рождения инфанты», вышедшего в конце предыдущего года. 10 августа Оскар остановился в гостинице «Атене», расположенной в доме 15 по улице Скриб. Он

встретился со многими французскими писателями, начиная со Стефана Малларме и заканчивая Жаном Лоррэном. Его принимали на «вторниках»[333] на Рю де Ром, он открыл для себя прелесть долгих прогулок по Булонскому лесу, ужинал с другом, а когда спускалась ночь, устраивался на открытой террасе кафе, любуясь бесконечной и шумной толпой прохожих на бульваре Сен-Жермен. Он неизменно оставался в центре: «Когда он приоткрывал полу своей венгерки зеленого сукна с обшитыми шнуром петлицами, то в бутоньерке можно было заметить орхидею. Многочисленные перстни и большой зеленый скарабей красовались у него на пальцах. Светящийся взгляд серых глаз отливал цветом небес его родной Ирландии»[334].

13 августа Уайльд вернулся в Лондон и первым делом навел справки о том, как обстоят дела с публикацией первой части «Замыслов» в журнале «Девятнадцатое столетие»: «Истинная роль и ценность критики, а также несколько замечаний о важности ничегонеделания» — таков намеренно провокационный заголовок, написанный в свойственной ему тогда манере. Уайльд провел возле «бедной дорогой Констанс» всего несколько дней и уехал погостить к сэру Джорджу Брисбэну, фермеру-джентльмену, жившему в небольшой деревушке на юго-востоке Шотландии. Вспоминая о своем госте, сэр Джордж описывал его полным радостной жажды жизни, которая столь чудесно сопровождала его литературный успех: «Вскоре после публикации „Дориана Грея“ он приехал провести со мной несколько дней. Для меня это были восхитительные дни, поскольку Оскар пребывал в совершенно гениальном и легком настроении, а его устные рассказы, которые, как я и думал, были интереснее, чем написанные, отличались блеском и подлинным совершенством. Большую часть времени мы проводили, катаясь по окрестностям в коляске и принимая приглашения моих соседей на обеды или ужины, причем он неизменно очаровывал всех вокруг»[335]. Многие писатели, поэты и художники приезжали сюда повидаться с Уайльдом и тем самым заставляли его задержаться подольше в этом краю дикой природы: «Я оказался так далеко от комфорта гостиницы „Атенеум“, а вокруг меня только пурпур папоротников да серебряный туман — какое облегчение! Кельтский темперамент сменяет здесь вечную зелень Англии. Я лишь в искусстве люблю зеленый цвет — еще одно мое святотатство»[336].

9 сентября Уайльд вернулся на Тайт-стрит, чтобы не пропустить выход долгожданного номера «Девятнадцатого столетия». Он принял у себя американского драматурга Клайда Фитча, и эта встреча снова навела его на мысль о новой пьесе; он так писал об этом Норману Форбс-Робертсону, тогдашнему

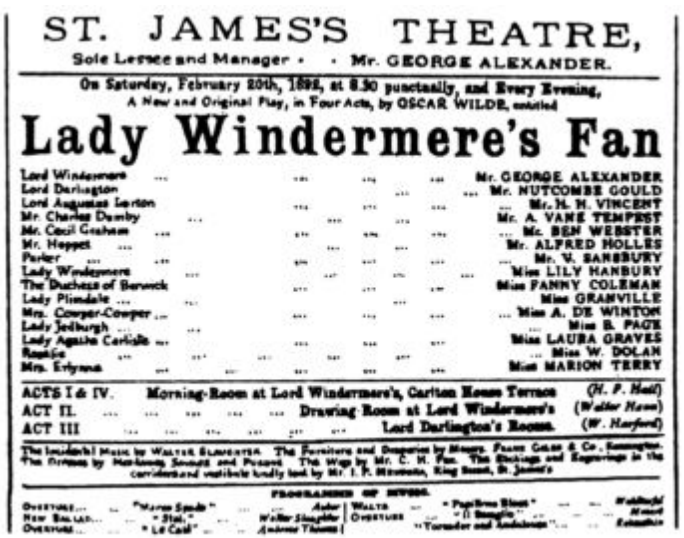
директору театра «Глоб»: «Я внимательно изучил этот вопрос и боюсь, что не смогу приступить к работе на основе одних лишь обещаний. Если Вы хотите, чтобы я написал пьесу, то должны будете уплатить сто фунтов по представлении проспекта и еще сто по представлении рукописи. А затем, как и положено, обычные процентные отчисления»[337].

Подходил к концу 1890 год; Оскар Уайльд изменился; его жизнь становилась все более вызывающей, а поведение принимало все более провокационный характер; он уже вовсе не был похож на прилизанного эстета из пьесы «Терпение», перед публикой представал солидный, быть может, чрезмерно броский мужчина, не перестававший повторять: «Я вложил свой гений в собственную жизнь, а талант — в творчество». Этот художник считал своими героями Христа, Наполеона и Люсьена де Рюбампре[338]. Под влиянием Гюстава Моро, французских символистов и эстетизма Уильяма Морриса он стремился к полному освобождению от материальной зависимости, превозносил культ юности, которая казалась ему особенно хрупкой перед лицом грядущей физической немощи; такова была философия, которую проповедовал и лорд Генри. Евангелие самого Оскара Уайльда ограничивалось двумя фразами: «На древнегреческом портале античного мира было начертано: познай самого себя. На портале современного мира будет начертано: будь самим собой». Он познакомился с Чарльзом Рикеттсом, который сделал иллюстрации к «Дориану Грею», и вместе с Ле Галльенном и другими своими корреспондентами предавался изыскам эпистолярного жанра, ничуть не заботясь о том, чтобы скрыть свои пристрастия: «Такая дружба и любовь, как наша, не нуждается во встречах, и тем не менее она восхитительна. Надеюсь, ветви лаврового венка, украшающего твой лоб, не слишком густы, чтобы помешать мне целовать твои веки»[339].

Оскар работал над пьесой «Хорошая женщина», которая в окончательном варианте превратится в «Веер леди Уиндермир». Он опять сидел без денег и поэтому работал без настроения; как признавался Уайльд директору театра «Сент-Джеймс» Джорджу Александеру, ему никак не удавалось сделать персонажей реальными и живыми. Единственное, что доставляло ему удовлетворение, — возможность объявить, что с 21 января «Герцогиня Падуанская» наконец пойдет на нью-йоркской сцене, несмотря на то, что имя автора оставалось в секрете. Бродвейский театр поставил в своей афише название «Гвидо Ферранти — Новая итальянская трагедия». Постановка собрала хорошую прессу. В частности, в «Нью-Йорк трибьюн» можно было прочесть

следующее: «Пьеса добилась благосклонного внимания, а быть может, даже успеха. Поставив ее, м-р Барретт, безусловно, совершил дальновидный поступок. Имя автора „Гвидо Ферранти“ так и не было открыто. Без малейшего колебания можно утверждать, что речь идет об опытном и высококлассном писателе. В этой пьесе легко узнать произведение, которое мы имели удовольствие читать несколько лет назад. Тогда оно называлось „Герцогиня Падуанская“, и автором его был Оскар Уайльд»[340]. Несмотря ни на что, пьеса шла на сцене около двадцати раз, что отнюдь не убавило энтузиазма автора, который с победным видом сообщил эту новость директорам лондонских театров: Чарльзу Картрайту, Генри Ирвингу, Джорджу Александеру…

Снова очутившись в Париже в феврале 1891 года, Уайльд писал Стефану Малларме: «Дорогой мэтр, не знаю, как благодарить Вас за Ваш любезный подарок — великолепную симфонию в прозе, навеянную Вам гениальными мелодиями великого поэта-кельта Эдгара Аллана По. У нас в Англии есть проза и есть поэзия, но французская проза и поэзия в руках такого мастера, как Вы, сливаются воедино. Быть знакомым с автором „Послеполуденного отдыха фавна“ в высшей степени лестно, но встретить с его стороны прием, какой Вы оказали мне, — это поистине незабываемо»[341].



ST. JAMES'S THEATRE,

Sole Lessee and Manager · · Mr. GEORGE ALEXANDER.

On Saturday, February 20th, 1892, at 8.30 punctually, and Every Evening,
A New and Original Play, in Four Acts, by OSCAR WILDE, entitled

Lady Windermere's Fan

Lord Windermere	Mr. GEORGE ALEXANDER
Lord Darlington	Mr. HUTCOMBE GOULD
Lord Augustus Lorton	Mr. H. H. VINCENT
Mr. Charles Dumby	Mr. A. VANE TEMPEST
Mr. Cecil Graham	Mr. BEN WEBSTER
Mr. Hoppet	Mr. ALFRED HOLLES
Parker	Mr. V. SANSBURY
Lady Windermere	Miss LILY HANBURY
The Duchess of Berwick	Miss FANNY COLEMAN
Lady Plumdale	Miss GRANVILLE
Mrs. Cowper-Cowper	Miss A. DE WINTON
Lady Jedburgh	Miss B. PAGE
Lady Agatha Carlisle	Miss LAURA GRAVES
Rosalie	Miss W. DOLAN
Mrs. Erlynne	Miss MARION TERRY

ACTS I & IV.	Morning-Room at Lord Windermere's, Carlton House Terrace	(H. P. Hall)
ACT II.	Drawing-Room at Lord Windermere's	(Walter Hann)
ACT III	Lord Darlington's Rooms.	(W. Hartford)

The Incidental Music by WALTER SLAUGHTER. The Furniture and Draperies by Messrs. Frank Gill & Co., Kennington. The Dresses by Mesdames Simonds and Pissaro. The Wigs by Mr. C. H. Fox. The Stockings and Fancywings in the Overture and ballets kindly lent by Mr. I. P. Hennessy, King Street, St. James's.

PROGRAMME OF MUSIC.

Overture ... "Marche Suede" ... Auber | Waltz ... "Pas Bleu Blanc" ... Waldteufel
New Ballet ... "Stol" ... Walter Slaughter | Overture ... "Il Seraglio" ... Mozart
Overture ... "Le Cadi" ... Andrew Thomas | "Turandot" and Incidental ... Eilenberg

Афиша пьесы «Веер леди Уиндермир», идущей в театре «Сент-Джеймс».

Париж по-прежнему оставался прекраснейшим городом в

мире, землей обетованной для богемы и красивых женщин, являвшихся предметом самых скабрезных историй, что не мешало им невозмутимо демонстрировать свои туалеты в Булонском лесу после полудня или на шумных празднествах в Нейи по вечерам. Ги де Мопассан отказался от ордена Почетного легиона, Эдмон де Гонкур отправился в гости к принцессе Матильде, а Анатоль Франс — к мадам де Кайавер. К радости газетных репортеров, вернулась мода на дуэли. Накануне своего возвращения в Лондон Уайльд написал Сирилу: «Я пишу тебе письмо, чтобы сказать, что мне гораздо легче. Я каждый день гуляю по красивому лесу, который называется Буа-де-Булонь, а вечером обедаю со своим другом и сижу потом за маленьким столиком, глядя на проезжающие мимо экипажи. Сегодня вечером я иду в гости к великому поэту, который подарил мне чудесную книгу про Ворона. Надеюсь, ты хорошо заботишься о дорогой маме. Передай ей от меня привет и поцелуй ее за меня; передай также привет Вивиану и поцелуй его»[342]. Оскар закончил работу над корректурой «Дориана Грея», написал к нему предисловие и решил наконец вернуться в Лондон, к Констанс и детям, с сожалением покидая парижские ужины, кафе и спектакли. Он нашел утешение в обществе Робби, Лайонела Джонсона, встретился с Ле Галльенном и Брайтоном и оказался в Лондоне в момент появления на полках книжных магазинов отдельного издания «Портрета Дориана Грея». Сразу по приезде он вновь принялся за работу над окончательной редакцией «Замыслов», которые вышли в мае 1891 года в издательстве Джеймса Р. Осгуда, Макилвэйна и К°. В этой книге были помещены значительно измененные варианты произведений, публиковавшихся ранее в разных журналах.

В течение первых шести месяцев 1891 года Оскар Уайльд опубликовал «Портрет Дориана Грея» и «Замыслы», где уточнил и углубил свои эстетические теории, которые произвели такое сильное впечатление на французских писателей, а также книгу «Преступление лорда Артура Севила и другие рассказы», в которой были собраны чудесные сказки, написанные для Сирила и Вивиана и опубликованные прежде в разных журналах. Наконец он закончил работу над пьесой «Хорошая женщина» и сообщил об этом директору театра «Лицеум» Августину Дэли. Его писательская популярность была как никогда велика, талант рассказчика оставался недостижимым, а поведение явно не соответствовало общепринятым нормам, и поэтому в Лондоне никто не удивлялся тому, что Оскар Уайльд предпочитал Париж — город всеобщей погибели! Все молодые люди, которые его

окружали, которых Констанс вынуждена была принимать у себя в доме и с которыми Уайльд подолгу беседовал у себя в комнате на четвертом этаже, были гомосексуалистами, и никто из них не скрывал своего восхищения перед снискавшим успех автором, чье имя не сходило со страниц английских газет и начинало все громче звучать во французских литературных кругах, несмотря на то, что единственным переведенным на французский произведением Уайльда все еще оставался «День рождения инфанты».

Личная известность Оскара Уайльда отодвинула на второй план творческие достижения писателя, затмевая их достоинства, остававшиеся тем не менее очевидными, в чем вскоре убедились и французские писатели, которые стали продолжателями культа собственного «я», мгновения, красоты в литературе, филигранью проходящих через все творчество английского писателя, в тот самый момент, когда Уайльд решил посвятить себя театру и оставил до поры стихи, сказки, романы и эссе. Его экстравагантная фигура обращала на себя внимание на улицах Лондона, а верный себе Уистлер не упускал возможности возмущаться, неожиданно встретив своего соперника одетым в короткое пальто с капюшоном и меховым воротником и в польской шапочке на голове: «Оскар, как ты осмелился! Что означает этот маскарад? Немедленно верни эти тряпки Натану, и чтобы я никогда больше тебя не видел у себя в Челси в костюме, позаимствованном у Кошута и мистера Мантолини[343]»[344]. Оскара Уайльда нередко можно было встретить за кулисами театров, ужинающим в обществе актеров, он по-прежнему испытывал тягу к сцене и театральным маскам.

Октябрь 1891 года Уайльд вновь провел в Париже. Вот что он писал Малларме из отеля «Нормандия»: «Дорогой мэтр, я собираюсь провести в Париже несколько недель и надеюсь иметь честь посетить Вас во вторник на будущей неделе. А пока позвольте мне вручить Вам экземпляр романа „Портрет Дориана Грея“ в качестве свидетельства моего восхищения Вашим благородным и строгим искусством. Поэзия во Франции имеет массу лакеев (sic), но только одного мэтра»[345]. Несколько дней спустя Малларме прислал ответ: «Я заканчиваю читать Вашу книгу, одну из немногих, способных вызвать подлинное волнение, так как она поднимает бурю самых сокровенных мечтаний и самых необычных душевных ароматов. С Вашим умением сделаться отточенно острым сквозь неслыханную утонченность интеллекта и гуманным в окружении атмосферы столь извращенной красоты Вы совершаете истинное чудо и

используете при этом все доступные писателю художественные средства! Все сделал именно портрет[346]. Этот волнующий, в полный рост портрет Дориана Грея будет тревожить наши сны, но, будучи написан, он сам сделался книгой»[347].

Для Оскара Уайльда не были секретом дружеские чувства, которые Малларме испытывал к Уистлеру, о котором французский поэт писал: «Редкий господин, в чем-то принц, безусловно художник», и он нисколько не был удивлен тем, что, оставаясь в Лондоне, Уистлер продолжал наблюдать за ходом событий. Уистлер даже обратился к Малларме с просьбой походатайствовать перед красавицей Мэри Лоран, любовницей богатого газетчика-американца, с тем чтобы тот помог опубликовать его мстительные статьи. Уистлер послал их Малларме, попросив отредактировать, но тот уехал в Брюссель, куда также доходили отголоски ссоры Уистлера с Джорджем Муром[348], в результате которой вспыльчивый художник пустил в ход трость, и только появление юной балерины — подруги Мура помогло утихомирить разбушевавшегося Джимми. Не разделявший приверженности к трости Малларме ответил стихами на бранные выкрики Уистлера:

Не улиц безобразный вой,
Не смерч, что для толпы буффонит,
Когда, как сор по мостовой,
Он шляпы сорванные гонит,

А вихрь, закутанный в муслин,
Плясунья, нимфа, чьи колени,
Развеивая желчный сплин,
Взметают пену просветлений.

Насмешек, остроумья шквал.
По истинам избитым выстрел,
Он целый мир очаровал,
Он и тебя задел, Уистлер,

Как шуткой колкой, но смешной,
Подолом юбки кружевной[349].

Но Уистлер так легко не сдавался. Когда он узнал, что Уайльд сделался завсегдатаем на «вторниках», то поспешил предупредить Малларме о его «домогательствах» и о необходимости сохранять осторожность во время бесед: «Лондон. Предисловие предложения. Предупредить собратьев

осторожности. Фамильярность фатальна. Спиной не поворачиваться. Приятного вечера. Уистлер».

С некоторых пор в парижском обществе объявился соперник Уайльда, и Уистлер буквально бросился ему на шею в надежде, что тому удастся потеснить ненавистного ученика. Робер де Монтескью-Фрезансак, потомок одного из самых древних и благородных родов Франции, самый настоящий эстет-декадент, блестящий рассказчик и беззастенчивый гомосексуалист, обладал всем необходимым для того, чтобы осуществить планы Уистлера. В артистический мир его привела достойная резца скульптора Жюдит Готье, и он сблизился со Стефаном Малларме, Гюставом Моро, Гюисмансом, Гонкуром и всеми остальными; будучи денди, благодаря знатному происхождению, он сделался учителем красоты для Марселя Пруста и стал объектом его постоянных восхвалений. Монтескью писал посвящения в стихах Саломе и пел дуэтом с Сарой Бернар, которая переживала с ним довольно мучительный роман. Он познакомил Францию с искусством прерафаэлитов, и в этом ему помогала баронесса Деланд, которая собирала в своем салоне всех литературных и светских знаменитостей, в том числе Монтескью и Оскара Уайльда. Чтобы понравиться Эдмону де Гонкуру, он всячески стремился подчеркнуть свое пристрастие ко всему японскому и даже нанял садовника-японца для ухода за голубыми гортензиями, о чем позднее вспоминал один из современников-мемуаристов: «Доде уже собирался уходить, как вдруг, следом за Эредиа появился Монтескью-Фрезансак, герой романа „Наоборот“[350]… в одном из своих безупречных символистских туалетов, невероятно изысканный, держа за руку какого-то странного типа»[351].

13 февраля Монтескью написал Уистлеру письмо, которое можно принять за заказ: «Нет, что могло бы привести меня к Вам, так это возможность сделать шаг к Вашей палитре. Это возможность видеть, и знать, и иметь, и наслаждаться тем, чем является то чувственное место, где, наряду с достопримечательностями народов нашей эпохи и предметами увеселения эпох будущих, висят графические корольларии, важнейшее и уникальнейшее фигуративное свидетельство, комментарий, увековечивающий то, что я собираюсь оставить от славы; и для вас, надеюсь, это представляет кое-какой интерес. По-доброму расположенные и вполне пифийские друзья оказались достаточно ясновидящими и близкими, чтобы совсем недавно обратить на этот чудесный момент мое внимание, которое теоретически уже было к нему приковано, что же до практики, до осуществления шедевра, на полотне и в раме…»[352]

Есть мнение, что Уистлер понял, о чем идет речь в этом

декадентском послании, поскольку граф встречался с ним в Лондоне. Он приехал в сопровождении Ж.-Э. Бланша, стал учеником Уолтера Пейтера и сблизился с почитателем Оскара Уайльда Генри Джеймсом. За ним трудно уследить, он умудрился словно раствориться в Лондоне, посещая места с дурной репутацией, постоянно и не к месту переодеваясь, чтобы сохранить инкогнито, которое и так не могло быть нарушено, ибо в Лондоне Монтескью никто не знал. Уистлер начал работать над его портретом, но модель очень быстро, потеряв терпение, возвратилась в Париж.

Эдмон де Гонкур вспоминал об этом портрете: «Когда я остановился перед офортом Уистлера, Монтескью сказал мне, что Уистлер как раз работает над двумя его портретами: один в черном одеянии и с меховым боа под мышкой, а другой в длинном сером пальто с поднятым воротником и с едва заметным галстуком на шее цвета… он так и не определил, какого цвета у него галстук, но по взгляду его было видно, что цвет этот идеален»[353]. Он снова встретился с Оскаром Уайльдом у Бэньеров, затем у Марселя Швоба. Его завораживала невероятная личность Уайльда, его манера вести беседу, перед юным французом приоткрылись тайные пути, на которые он уже имел возможность ступить по приезде в Лондон. Уистлер опасался, что слишком сильное влияние Уайльда могло нарушить его планы. Он писал: «Дорогой Робертус, Вы солнце и радость! Представьте себе, какая тьма египетская царит у нас здесь. Одно лишь сверкание Вашего прелестного украшения да Ваша чудесная песня сумели прорезать беспросветную ночную тьму, которая вот уже столько дней окутывает (sic) Лондон своей грустью. Дело дошло до того, что даже я был вынужден поверить в истинность тех прекрасных вещей, о которых Вы говорили. А это привело к тому, что глупые соседи стали мне невыносимы! Поэтому я немедленно дал бой Оскару Уайльду! О результатах Вы скоро узнаете»[354][355]. Монтескью пригласил его в Париж, чтобы закончить работу над портретом; он уступил Уистлеру свою однокомнатную квартирку в Ля Гайдара в доме 22 по Рю Месье-ле-Прэнс и таскал его за собой в светской круговерти парижского общества, где гость рисковал столкнуться и с Оскаром Уайльдом. В письме к своей жене, вдове архитектора Годвина, Уистлер писал: «Мы погрузились в коляски и поехали на водевиль… Я оказался сидящим за о-ча-ро-ватель-ной Греффюль, считавшейся королевой группы, рядом со мной устроились мадам де Монтебелло и русская принцесса, которая говорила со мной по-английски. Спереди сидел принц де Полиньяк, который то и дело оборачивался и говорил мне тысячу любезностей»[356].

Оскар Уайльд не обращал на эти козни ни малейшего внимания и даже не вспоминал о своем закадычном враге. Он — знаменитость парижского высшего общества, он — писатель, не обделенный славой, который продолжал работать в своем шикарном гостиничном номере над подготовкой к публикации сборника сказок «Гранатовый домик», который должен был выйти в ноябре с иллюстрациями Чарльза Рикеттса и Чарльза Х. Шеннона. Хозяйки салонов представляли его как автора «Дориана Грея» и как писателя, сделавшего попытку приобщить английскую аристократию к критическому образу мысли и одерживающего одну победу за другой. У завсегдатаев парижских салонов в памяти сохранилась статья, опубликованная в газете «Фигаро», в которой Оскар Уайльд предстает как «странный молодой человек, возникший как призрак прошлого со своими речами, произносимыми в салонах на незнакомом языке… Находясь в том возрасте, когда успех превозносит человека до уровня божества, м-р Оскар Уайльд сделался любимцем элиты, упивающейся его речами… Это по его приказу в Лондоне открылись чудесные лавочки, торгующие тканями сиреневых, смертельно-зеленых, бледно-голубых оттенков, ставшие достопримечательностью современной английской столицы, чьим маленьким филиалом на Авеню де л'Опера любуются каждый вечер парижане»[357].

В холле своей гостиницы Уайльд встречался с журналистом газеты «Эко де Пари» Жаком Дорелем, во время беседы с которым вспоминал о своих предыдущих поездках в Париж, о посещении притона в Шато-Руж, об остановках в «Кафе Англэ» или встречах с Верленом у «Прокопа». Он выражал свое восхищение от посещения лекций по любовной науке в Средние века, которые оказали сильное влияние на Данте Россетти, Суинберна и на него самого. Беседу часто прерывали другие посетители или посыльные с записками. Уайльд улыбался, коротко извинялся и продолжал излагать свои взгляды на искусство: «По своей сути искусство — это ложь, но ложь представляет собой идеальную истину; художник черпает вдохновение не в природе, а в используемом материале; на самом деле природа подражает искусству в гораздо большей степени, чем искусство имитирует природу»[358]. «Возьмите, к примеру, лондонские туманы, — объяснял он потерявшему дар речи журналисту, — они никогда не были такими густыми, пока не появился Тернер». Оскар Уайльд говорил тихим голосом, растягивая слова и сопровождая свою речь медленными жестами. Он считал, что художник должен разрушать память, интересуясь лишь настоящим, тем, что происходит сию минуту. Он улыбался при воспоминании о

небылицах, которые о нем рассказывали, которые составляли оправу для его личности, являлись декорациями, на фоне которых этот великий артист каждый день выходил играть свою роль в новой пьесе. В модном ресторане «Вуазин» Морис Баррес дал в честь Уайльда прием, на котором собрались Ж.-Э. Бланш, Франсуа Шевассю, Жан Лоррен, Марсель Швоб. На следующий день великий проповедник символизма Жан Мореас пригласил его на обед в «Кафе д'Ор». Там опять появились Марсель Швоб, который как раз переводил «Великана-эгоиста», Жан Лоррен, который посвятил Оскару Уайльду одну из своих сказок — «Волшебный фонарь»; он слушал, как Адольф Ретте читал стихи Мореаса, в то время как Шарль Моррас пытался охладить пыл поэтов, осуждавших романтическую поэзию и называвших Поля Верлена «Марселиной Деборд-Вальмор в штанах», а Артюра Рембо «умственно отсталым романтиком». Уайльда раздражали бесцеремонность и неряшливая одежда этих поэтов. Извинившись, юн вернулся в гостиницу в сопровождении франко-американского поэта Стюарта Меррилла.

На следующий день Уайльд встретил на бульваре Капуцинов Эрнеста Рено и поделился с ним своими соображениями: «Я согласен с Мореасом и его последователями в том, что они вновь обращаются к древнегреческой гармонии и пытаются вернуть в нашу жизнь дух Сен-Дени. Мир так жаждет веселья. Вы когда-нибудь замечали, насколько острее воспринимает душа небесную голубизну именно в городе и насколько волнительнее кажутся здесь цветы? Я обожаю такую суматошную жизнь, толкотню, украдкой брошенные взгляды, соседство лихорадки и страстей. Я только тогда чувствую себя самим собой, когда меня окружает элегантная толпа, серость столичных городов, когда я оказываюсь в сердце богатых кварталов или нахожусь в дорогих интерьерах палас-отелей»[359]. Попадая в Латинский квартал, он подолгу задерживался в обществе Поля Арена, Жана де Тинана, Жана Ришпена — артистической богемы, которую невозможно найти в Лондоне. Оскар ужинал в «Кляридже» в компании монакской принцессы Алисы, которой посвятил одну из сказок «Гранатового домика»; он близко сошелся с Маргарет де Виндт, супругой махараджи Саравакского, и посвятил ей «Молодого короля», сблизился с вдовой Жоржа Бизе мадам Стросс, урожденной Алеви, которая принимала по пятницам, у нее Уайльд познакомился с Эмилем Золя; однако встреча двух писателей, исповедующих радикально противоположные художественные концепции, не имела никакого продолжения. Оскар покорял, забавлял, удивлял своей высокой культурой, умом; его излишне броский внешний вид, атлетическое телосложение, чрезмерная

манерность отступали на второй план, заслоняемые невероятным обаянием его речей и глубочайшим вниманием, с которым он умел слушать, подчеркивая свой интерес одобрительной улыбкой, обращенной к тому или иному собеседнику. Газета «Эко де Пари» посвятила ему целую колонку в своем номере от 19 декабря: «Один из величайших представителей современной английской литературы, эстет Оскар Уайльд, который гостит в настоящее время у нас и является Великим событием[360] парижских литературных салонов». В этом же номере газета опубликовала ответ Оскара Уайльда Эдмону де Гонкуру по поводу поэта Суинберна, о котором, как известно, между ними шла речь во время предыдущего пребывания Уайльда во Франции: «Дорогой мсье де Гонкур, хотя интеллектуальной основой моей эстетики является философия нереального, а может быть, именно поэтому, прошу Вас позволить мне внести одно маленькое исправление в Ваши заметки о беседе, в ходе которой я рассказывал Вам о нашем любимом и благородном поэте Алджерноне Суинберне… Вечера, когда я имел счастье провести с таким великим писателем, как Вы, незабываемы, — вот почему они сохранились у меня в памяти в мельчайших подробностях. Я удивлен, что Вам те беседы запомнились совсем иначе…

Вы утверждали, что я обрисовал Суинберна как фанфарона, рисующегося своей порочностью. Это весьма удивило бы поэта, который ведет в своем деревенском доме аскетическую жизнь, полностью посвятив себя искусству и литературе…

У Шекспира и его современников — Уэбстера и Форда — звучит в творчестве голос человеческого естества. В творчестве же Суинберна впервые прозвучал голос плоти, терзаемой желанием и памятью, наслаждением и угрызениями совести, плодовитостью и бесплодием. Английская читающая публика с ее обычным лицемерием, ханжеством и филистерством не увидела в произведении искусства самого искусства — она искала там человека. Так как она всегда путает человека с его созданиями, ей кажется, что для того чтобы создать Гамлета, надо быть немного меланхоликом, а для того чтобы изобразить короля Лира — полным безумцем. Вот так и сложили о Суинберне легенду как о чудище, пожирающем детей»[361].

Уайльд аплодировал Муне-Сюлли, наведывался к Констану Коклену, появлялся в салонах, где вовсю обсуждались последние сплетни: самоубийство генерала Буланже на могиле любовницы, нищенская смерть Артюра Рембо, русская экзотика Тургенева, мужеподобная женщина мадам Дьелафуа. Возвращаясь к себе в гостиницу, он заканчивал править «Саломею», идею написания которой подсказала ему картина Гюстава Моро «Явление».

Уайльд работал над пьесой с начала октября, уединяясь в тиши гостиничного номера или, если верить легенде, наоборот, погружаясь в суматоху «Гранд кафе», где, как рассказывают, он как-то за ужином попросил дирижера цыганского оркестра: «Я сочиняю пьесу о женщине, которая танцует босиком в крови только что убитого по ее приказу мужчины. Я бы хотел, чтобы вы сыграли что-нибудь, что гармонировало бы с моими мыслями»[362]. И оркестр грянул дикую и ужасную музыку, нагоняя страх на посетителей.

В июне 1891 года Оскар Уайльд послал экземпляр «Портрета Дориана Грея» молодому французскому поэту со следующим посвящением: «В подарок Пьеру Луису от его друга Оскара Уайльда». Теперь он вновь встретился с ним в Париже и принял его приглашение отужинать вместе: «Дорогой мсье Луис, я с огромным удовольствием принимаю любезное и дивное приглашение, которое Вы, вместе с г-ном Жидом, были так добры направить мне. Надеюсь, что Вы вскоре уточните время и место встречи. У меня сохранилось восхитительное воспоминание о том времени, что мы провели вместе тогда за завтраком, и о чудесном приеме, который Вы мне оказали. Я надеюсь, что когда-нибудь молодые французские поэты полюбят меня так же, как я люблю их сейчас. Французская поэзия всегда была для меня одной из самых обожаемых любовниц, и я был бы счастлив надеяться, что сумею найти настоящих друзей среди поэтов Франции. Прошу передать г-ну Жиду мои самые теплые приветствия. Прошу и Вас, дорогой мсье Луис, также принять их[363]»[364]. Луис прислал ответ: «Дорогой мсье, если Вы не возражаете, мы предлагаем встретиться в кафе „Аркур“ на Пляс де ля Сорбонн около восьми часов вечера. Позвольте поблагодарить Вас за честь и удовольствие, которые вы нам оказываете…»

Пьеру Луису в то время было всего двадцать лет. Он подружился с Андре Жидом в Эльзасском училище и считал себя эстетом. Он основал литературный журнал «Ушная раковина», с которым сотрудничали Леконт де Лиль, Суинберн, Эредиа, Малларме и Оскар Уайльд. Став близким другом Хозе-Марии де Эредиа, Пьер Луис женился на его младшей дочери Луизе. Он уже более двух лет был знаком с Сарой Бернар; так же как и Оскар Уайльд, он восхищался красотой во всех ее проявлениях, однако остерегался древнегреческих форм, в которые облекались страсти Оскара, говорившего о юном поэте: «Он слишком красив для мужчины. Ему следует остерегаться богов», — добавляя, быть может, не без горечи: — «Он не боялся богов и любил богинь»[365]. Молодые люди познакомились в начале года у

Малларме, а 1 мая в третьем выпуске «Ушной раковины» можно было прочесть стихотворение Луиса «Танцующая женщина», посвященное Уайльду; в окончательном варианте оно будет называться «Танцовщица».

Она юна и, обнаженная, танцует,
Качая бедрами, в восторге сладострастном.
Алеет рот под стать пионам красным,
А взор из-под ресниц любого околдует.

О, нежный трепет полушарий белых.
Что тянутся с мольбой к невидимым устам,
И золотистых плеч земная красота
Уносит ввысь, в небесные пределы.

Но вот, откинув стан, она явила
Волшебной прелести живот, что от дыханья
Подрагивает словно бы в томленье.

И хрупких лилий двух призывные движенья
Над паутинкой платья в ожиданье
Как будто шепчут: «Где же ты, мой милый?»[366][367]

Легендарный образ Уайльда — зеленая гвоздика, входившая в моду в Париже с его легкой руки, а также его утонченный эстетизм произвели на юного Луиса огромное впечатление, и он поблагодарил Поля Валери за стихотворение, в котором тот воспел близкий обоим культ красоты, написав чудесные строки, как бы напоминающие о Уайльде 80-х годов:

В молчанье благостном вас за руку возьму
И вместе двинемся неведомой тропой.
Я понесу подсолнух — свет земной,
Вы — лилию, жемчужную луну[368].

Итак, оба писателя сидели в кафе «Аркур» и ожидали появления Оскара Уайльда во всем блеске его парижской славы. Андре Жиду было двадцать два года, и он только что покинул суровое лоно семьи, где половой акт считался опасным и запретным деянием. Детские и юношеские его годы прошли в окружении трех женщин крайне строгого нрава, которые всячески скрывали от него жизненные реалии и приучили в ужасе спасаться бегством от любых соблазнов. Пьер Луис вытащил

Жида из этого затворничества, привел его к Малларме, познакомил с Марселем Прустом, Полем Валери и, наконец, теперь — с Оскаром Уайльдом. А вот и он: богатая шуба наброшена на бархатную куртку, украшенную гвоздикой, руки унизаны перстнями, на губах улыбка. Молодые люди коротко представились, и Оскар Уайльд сразу начал рассказывать о «Саломее», работа над которой как раз близилась к концу. Андре Жид был очарован: «Уайльд не просто говорил, он повествовал; повествовал не переставая на протяжении всего ужина. Он повествовал негромко и неторопливо; уже один его голос сам по себе был чудом. Он прекрасно говорил по-французски, но нарочно делал вид, что подбирает то или иное слово, когда хотел обратить на него внимание слушателей. У него почти не было никакого акцента, он проявлялся лишь в той мере, в которой этого хотел сам Оскар, придавая иногда отдельным словам новое и незнакомое звучание»[369]. Когда ужин заканчивался, Оскар Уайльд взял Андре Жида под руку, и колдовство продолжалось.

«Вы слушаете глазами, — внезапно сказал он мне, — поэтому я хочу рассказать вам вот какую историю: когда умер Нарцисс, полевые цветы опечалились и попросили у ручья дать им несколько капель воды, чтобы оплакать его смерть. О! — воскликнул ручей, — если бы даже все мои капли были слезами, мне все равно не хватило бы их, чтобы самому оплакать Нарцисса; я так любил его. — Мы не дивимся твоей печали о Нарциссе, — ответили полевые цветы, — так прекрасен он был. — Разве Нарцисс был прекрасен? — спросил ручей. — Кто может знать это лучше тебя? Каждый день он лежал на твоих берегах и смотрел на тебя, и в зеркале твоих вод видел отражение своей красоты…»

Уайльд на мгновение остановился…

«Нарцисс любим был мною за то, — отвечал ручей, — что лежал на моих берегах и смотрел на меня, и зеркало его очей было отражением моей красоты»[370].

Застенчивый Жид, безусловно, был очарован. Настала его очередь открыть для себя новые и неизведанные горизонты, о которых рассказывал ему волшебник. Он поделился своим восторгом с Полем Валери: «Вот несколько строчек от одного балбеса, который больше не читает, не спит, не пишет, не ест, не думает, а только носится один или вдвоем с Луисом по кафе или по салонам, пожимает чьи-то руки и раздает улыбки. Эредиа, Ренье, Меррилл, эстет Оскар Уайльд, о, восхитительный, восхитительный Уайльд!» Поль Валери не разделяет экстаза своего друга и пытается предостеречь его: «Откуда в городе такая суета в погоне за жужжащим пленом какой-то бабочки

необычного цвета, такие прыжки с одной ноги на другую и беготня по кафе и салонам? Толкаться среди привидевшихся во сне Оскаров Уайльдов, чей мимолетный облик мог показаться способным открыть твоим пальцам секреты новой красоты, и требовать у меня в этот час длинной поэмы — это же безумие!»[371] Если говорить о безумии, то Жид, похоже, и в самом деле был близок к помешательству: в своем настольном календаре на числах 11 и 12 декабря он через всю страницу крупно написал фиолетовыми чернилами: «Уайльд, Уайльд»[372].

Начиная с этого дня и до самого отъезда Уайльда Жид ежедневно встречался с ним, испытывая при этом тайный ужас, в котором признавался Валери: «Уайльд благоговейно старается убить во мне остаток души, так как говорит, что для того, чтобы познать суть, необходимо ее уничтожить: он хочет, чтобы я испытывал угрызения совести по собственной душе. Ее глубина измеряется величиной усилия, прилагаемого для ее разрушения. Каждый предмет состоит только из собственной пустоты… Уайльд, которого я готов принять за Бодлера или за Вилье, когда он начинает рассказывать в конце застолья, во время которого заставил меня выпить; застолья, которое тянется часа три в обществе Меррилла или П. Л. или же на Монмартре у Аристида Брюйана с Марселем Швобом и еще каким-то сутенером». Рассуждения и предостережения Поля Валери оказались тщетны, истина была такова, что Жид влюбился в Уайльда, полностью отдавая себе отчет в том, что мчится навстречу собственной погибели; именно об этом он и написал в письме к Валери накануне Рождества 1891 года: «Прости мне мое молчание; с тех пор, как в моей жизни появился Уайльд, я почти не существую. Я обо всем тебе расскажу»[373]. В то же время Жид отмечал в своем дневнике: «Я утратил истинные ценности; гонка за тщеславием, к которому я относился так серьезно, поскольку видел, что другие верят в него. Необходимо вернуть истинные ценности… Мне кажется, что Уайльд причинил мне только зло. В его обществе я разучился думать. Мои чувства стали разнообразнее, но я потерял умение упорядочивать их… Иногда возникали отдельные мысли, но неловкость, с которой я обращался с ними, заставляла в конечном счете от них отказываться»[374].

Там, в Париже, Уайльд получал критические отзывы на свой «Гранатовый домик», который только что появился на прилавках книжных лавок и на котором стояло посвящение: «Констанс Мэри Уайльд».

В газете «Спикер» от 28 ноября приведены довольно сдержанные отзывы об иллюстрациях к книге. Уайльд писал в ответ из своей гостиницы на бульваре Капуцинов: «Я только что

приобрел — по цене, которую счел бы непомерно высокой, будь это любая другая ежедневная английская газета, — номер „Спикера“. Купил я его в одном из прелестных киосков, которые служат украшением Парижа и которые, по-моему, мы должны немедленно ввести в Лондоне. Киоск являет собой восхитительное зрелище, а ночью, освещенный изнутри, он очарователен, как волшебный китайский фонарик, особенно если его украшают прозрачные афиши, созданные таким умелым рисовальщиком, как г-н Шере[375]… Впрочем, я собирался написать Вам вовсе не об установке в Лондоне таких киосков… Цель моего письма — исправить неточность в заметке, помещенной в Вашей интересной газете… Автор упомянутой заметки заявляет, что ему не нравится обложка… Мне кажется, что это свидетельствует об отсутствии у него художественного чувства…»[376]

В одном из откликов на очередную газетную глупость он изложил, какими, по его мнению, должны быть детские сказки:

«…Придать форму своим мечтам, сделать реальными химеры, воплотить в картины свои мысли, самовыражаться, используя такой материал, который становится красивее только тогда, когда мастер находит ему применение, материализовать эфемерный идеал красоты — таково удовольствие художника. Это самое чувственное и самое интеллектуальное удовольствие в мире. Любые другие нормы теряют свое значение, а делать предположение, что я построил свой „Гранатовый домик“ лишь для той части общества, которая, даже если и умеет читать, то наверняка не умеет писать, настолько же разумно, насколько разумно думать, что Коро написал свои сумерки в зелени и серебре, как наставление президенту Франции, а Бетховен создал „Аппассионату“ с целью заинтересовать биржевых маклеров… Любой художник не признает никаких других правил, кроме правил собственной индивидуальности, а стандарты крестьянина, биржевого маклера, слепого или ребенка ни в коем случае не должны стать мерилом творчества художника. Они не имеют к художнику никакого отношения». Свое длинное послание, имеющее огромное значение для понимания того эстетизма, о котором часто судили слишком поверхностно, он закончил следующими словами: «Ганс Андерсен писал для собственного удовольствия, для того, чтобы реализовать свое собственное видение красоты, а так как он намеренно избрал доступные стиль и конструкцию, явившиеся результатом тонкого художественного осознания, вышло так, что огромное число детей получили удовольствие от чтения его сказок; тем не менее его истинных почитателей, сумевших оценить величие этого художника, можно

встретить не в детском саду, а на Парнасе»[377].

Таким образом, «Молодой король», «День рождения инфанты», «Рыбак и его душа», «Звездный мальчик» предстают в совершенно новом свете, дающем возможность понять некоторые его откровения и почувствовать тот гуманизм, который целиком раскроется в «De Profundis» и заставит задуматься Жюля Ренара.

Андре Жид в последний раз поужинал с Уайльдом в «Миньоне» в обществе Пьера Луиса и Поля Фора и испытал одновременно облегчение и печаль, когда Уайльд возвратился в Лондон; на какое-то время очарование исчезло, однако Жид смущенно сознавал, что Оскар Уайльд открыл ему далеко не все свои секреты.

Обложка пьесы «Саломея», иллюстрированной О. Бёрдслеем.

20 декабря 1891 года Уайльд вернулся домой на Тайт-стрит. Он провел в Париже два месяца, покорил Андре Жида, монакскую

принцессу Алису, мадам Стросс. Уже вышли отдельными изданиями «Портрет Дориана Грея» и «Гранатовый домик». К этому времени Оскар Уайльд закончил писать «Саломею», рукопись которой отправил Пьеру Луису буквально накануне отъезда из Парижа: «Мой дорогой друг, вот драма „Саломея“. Она еще не закончена и даже не выправлена, но то, что есть, дает представление о конструкции, о мотиве и драматическом движении. Кое-где есть пробелы, но идея драмы достаточно ясна»[378].

Текст «Саломеи» стал предметом многочисленных споров, поскольку некоторые критики подвергали сомнению тот факт, что она была написана на французском языке. Подробное изучение рукописей не оставляет ни малейшего сомнения. Существуют три рукописных экземпляра, и все написаны рукой самого Уайльда по-французски. Третий экземпляр, считающийся окончательным вариантом пьесы, находится в музее Розенбаха в Филадельфии; он был приобретен на аукционе рукописей Пьера Луиса в 1926 году за четыреста восемьдесят тысяч франков Фрэнком Альтшулем для художественных книготорговцев и коллекционеров компании Розенбах и К°. Вот как звучит описание рукописи в каталоге Матарассо по продаже рукописей Пьера Луиса: «Саломея», драма в одном акте. Мс. автогр., подп. две тетради петит ин-4˚, мягкий картон, футляр. Основная рукопись Уайльда, самая значительная из всех, когда-либо выставлявшихся на публичные торги. Рукопись принадлежит целиком руке Оскара Уайльда и включает многочисленные и интересные исправления и дополнения, позволяющие проследить за ходом его работы. В рукописи можно обнаружить ряд грамматических и орфографических исправлений, сделанных другим почерком, принадлежащим, вероятно, французским друзьям автора, которые, как известно, оказали ему помощь в публикации шедевра. Исправления, сделанные пером, не были одобрены Пьером Луисом, который восстановил оригинальный текст, зачеркнув карандашом указанные исправления; в то же время есть основания предполагать, что некоторые исправления принадлежат перу самого мэтра; именно это подчеркнул Пьер Луис, указав карандашом два основных исправления в плане сцены в самом начале рукописи. Манускрипт был помещен Пьером Луисом в конверт из плотной желтой бумаги, на котором рукой владельца было написано: «„Саломея“, Мс. автограф Уайльда 1891 год». Пьеса «Саломея», посвященная Пьеру Луису, впервые вышла в 1893 году в «Книгоиздательстве Независимого Искусства».

Существует множество свидетельств, подтверждающих, что в

оригинале «Саломея» действительно была написана по-французски, — прежде всего поэта-символиста 90-х годов прошлого столетия Адольфа Ретге: «Ко мне обратились с просьбой удалить наиболее явные англицизмы… Я сделал несколько пометок на полях текста, а также настоял, чтобы Уайльд убрал слишком длинное перечисление драгоценностей в одной из реплик Ирода. Меррилл, со своей стороны, предложил ему несколько редакционных поправок. Затем рукопись оказалась в руках у Пьера Луиса, который тоже внес изменения в некоторые фразы. Именно этот текст и попал в печать»[379].

В свою очередь Меррилл вспоминал об этом так: «Я хочу, кстати, подтвердить то, что рассказывает Ретте по поводу написания „Саломеи“. Как-то Оскар Уайльд вручил мне свою драму, которая была написана им очень быстро, на одном дыхании и по-французски, попросив при этом исправить явные ошибки. Не думайте, что было очень просто заставить Уайльда согласиться со всеми моими исправлениями. Он писал на французском языке так же, как и говорил, то есть очень образно, однако эта образность, столь пикантная во время беседы, могла произвести со сцены довольно жалкое впечатление… Однако я довольно быстро убедился, что наш добрый Уайльд не питал особого доверия к моему вкусу, и порекомендовал ему обратиться к Ретге, который и продолжил редакционно-корректурную работу, начатую мной. Но вскоре Уайльд пришел к тому, что начал остерегаться Ретте так же, как и меня, и в конечном счете последнюю шлифовку текста „Саломеи“ осуществил Пьер Луис»[380].

И наконец, Уилфрид Блант так писал в своем дневнике 27 октября 1891 года: «Я обедал вместе с ним [с Джорджем Керзоном], Оскаром Уайльдом и Уилли Пилом, и Оскар рассказал нам по этому случаю, что работал над пьесой на французском языке, которая предназначалась для того, чтобы быть сыгранной для французского зрителя. Он поделился своими далеко идущими планами стать членом Французской Академии. Мы пообещали прийти на премьеру вместе с Джорджем Керзоном — к тому времени уже премьер-министром»[381].

Так же как Сару Бернар, «Саломею» Оскара Уайльда можно назвать принцессой декаданса. С тех пор как Гюстав Моро показал ее, прекрасную и сверкающую драгоценностями, сначала в «Явлении» в 1876 году, а затем в 1878 году в картине «Саломея в саду», этот образ стал навязчивой идеей в литературе 90-х годов XIX века.

В Евангелии от Марка говорится, что Ирод заточил в тюрьму Иоанна Крестителя за то, что тот ставил ему в упрек женитьбу на

вдове собственного брата Иродиаде, которая замыслила погубить пророка. Ирод же почитал его за святого. Когда Саломея танцевала для него на празднике по случаю дня его рождения, он сказал ей: «Проси у меня, чего хочешь, и я дам тебе».

По настоянию матери Саломея попросила у него голову пророка, которую ей и принесли и которую она передала матери. Позднее «ученики его, услышав, пришли и взяли тело его, и положили его во гробе»[382].

Оскар Уайльд сделал Саломею центральным персонажем драмы, а «танцу семи покрывал» придал эротический, чувственный и экстатический характер. Его перо превратило ее в страстную, чувственную женщину, которая испытывала к Иоанну Крестителю физическое влечение, оказавшееся сильнее смерти, которую она преодолела, запечатлев поцелуй на губах отрубленной головы. Символизируя собой борьбу добра и зла, Саломея Уайльда является также примером противостояния языческого сознания и зарождающейся христианской мысли. Уайльд прекрасно знал о существовании всех предыдущих Саломей, однако, написав свою пьесу на французском языке, сумел при помощи частых повторов создать атмосферу суеверного ужаса и показать тем самым странную, навязчивую идею смерти, которой одержимы действующие лица и которая бродит вокруг, выбирая, на ком ей остановить свой выбор. «Общее впечатление, которое оставляет „Саломея“, оригинально и необычно… зритель отчетливо видит перст судьбы, простирающийся надо всеми действующими лицами и их поступками, и это судьба не по Метерлинку, а по Эсхиллу»[383].

Глава IV. ВСТРЕЧА С ДОРИАНОМ ГРЕЕМ

У меня возникло странное ощущение, будто мне навстречу шла моя судьба, неся изысканные радости и изысканную боль.

Январь 1892 года. Оскар Уайльд приехал в Лондон, привезя с собой отредактированную корректуру «Саломеи». Любовь к театру зародилась у него еще во времена учебы в Оксфорде, когда он был очень дружен с театральными актрисами и актерами. И теперь ему казалось, что «театральное искусство подразумевает публичное признание, непосредственную и немедленную похвалу, которая более сродни явному обожанию и аплодисментам, получаемым во время беседы, чем безмолвному одобрению читателя»[384]. Он только что закончил работу над своей четвертой пьесой — «Веер леди Уиндермир». Джордж Александер[385] узнал об этом и немедленно загорелся желанием поставить у себя в театре пьесу, написанную автором «Дориана Грея», любимца лондонских салонов, героя литературных кругов Парижа, которому только что посвятила свою первую полосу парижская «Голуа». Однажды после полудня он заявился в дом 16 по Тайт-стрит. Уайльд принял его в своем рабочем кабинете на первом этаже.

— Когда же я увижу эту пьесу?

— Дорогой Алек, — ответил Уайльд, — вы можете увидеть пьесу, когда пожелаете. Вам достаточно пойти в театр, где она идет, и я уверен, что вам достанутся лучшие места.

— Вы прекрасно знаете, о какой пьесе я говорю.

— Откуда же мне знать, если вы говорите загадками?

— Речь идет о пьесе, которую вы сейчас пишете для меня.

— Ах, это! Мой дорогой Алек, она еще не написана, так что увидеть ее невозможно!

— Тогда я хочу спросить, начали ли вы ее писать?

— Если вы о пере и чернилах, то нет. Но все уже написано у меня в голове, и я думаю, что следовало бы еще ненадолго оставить ее там же.

— Но разве вам не хочется заработать?

— Я предпочел бы, чтобы деньги зарабатывали меня. Ах! Я совсем забыл, я, кажется, должен вам сто фунтов.

— О, пусть вас это не волнует!

— А я об этом и не волнуюсь[386].

Тем не менее спустя несколько дней Уайльд послал Джорджу

Александеру свою рукопись. Тот тотчас же предложил Уайльду тысячу фунтов за права на ее постановку. Однако, несмотря на серьезные денежные затруднения, Уайльд отказался от щедрого предложения и попросил внести в контракт хорошие процентные отчисления. Пьесу немедленно начали репетировать в театре «Сент-Джеймс»[387] с Джорджем Александером в роли лорда Уиндермира, Мэрион Терри в роли миссис Эрлин и очаровательной Лили Хэнбери в роли леди Уиндермир.

Накануне премьеры «Дейли телеграф» поместила ответ Уайльда на статью, в которой ему, не без злого умысла, ставили в вину то, что он как-то назвал сцену «рамкой, заполненной марионетками». После всех его критических высказываний на репетициях и непосредственно перед премьерой такая статья могла быть плохо воспринята актерами. Поэтому Уайльд уточнил, что имел в виду личность актера, которая порой должна уступить место персонажу, но ему и в голову не приходило сравнивать актера с марионеткой, и тут же, не в силах удержаться, выразил свое восхищение куклами: «У марионеток масса преимуществ. Они никогда не спорят. У них напрочь отсутствует какой-либо изначальный взгляд на искусство. Недавно в Париже я побывал на представлении шекспировской „Бури“ в театре кукол в постановке г-на Мориса Бушора. Миранда была именно Мирандой, поскольку такой ее создал художник; и Ариэль был самым настоящим Ариэлем, так как был сделан таковым. Жесты их были достаточны, а слова, которые, казалось, вылетают из их маленьких ротиков, произносили истинные поэты с чудесными голосами. Это был восхитительный спектакль, и я до сих пор с удовольствием вспоминаю о нем, несмотря на то, что Миранда не обратила никакого внимания на цветы, которые я послал ей после того, как упал занавес… И тем не менее для постановки современных пьес лучше иметь дело с живыми актерами, поскольку реализм в них играет первостепенную роль. В данном случае мы лишены, причем лишены совершенно справедливо, несказанного обаяния нереальности»[388].

В субботу 20 февраля 1892 года зрительный зал заполнился элегантной толпой завсегдатаев театральных премьер. Возбуждение зрителей достигло апогея: известность автора, талант актера и красота исполнительницы главной женской роли слились воедино, так что спектакль стал главным событием сезона. Оскар Уайльд пригласил на премьеру Ричарда Ле Галльенна с супругой, Джона Грея, Андре Раффаловича, Пьера Луиса; рядом с ним он поместил человека, которого считал несколько надоедливым: Эдуарда Шелли. Этот сотрудник

издательства «Элкин Мэтьюз и Джон Лэйн» не так давно познакомился с Уайльдом и немедленно присоединился к когорте его юных поклонников. Зрительный зал был полон. В одной из лож сидели Оскар и Констанс; рядом с ними расположился молодой человек, столь стройный и прекрасный, что Уайльд по сравнению с ним казался тучным и обрюзгшим от излишеств, которые и определили его дальнейшую судьбу.

Погас свет, поднялся занавес, открывая рабочий кабинет лорда Уиндермира, в котором, спиной к террасе, выходящей в сад, стояла леди Уиндермир. Все актеры были одеты в вечерние платья. После первых же реплик в зале послышался смех. По мере того как раскручивалась интрига, простая, но превосходно разыгранная, зрители с трудом сдерживали аплодисменты, которыми наконец, на последней реплике актеров, зал буквально взорвался. Публика желала удостовериться, что литературный талант вполне соответствовал ораторскому искусству Уайльда; сомнения были развеяны, и зрители неистово вызывали автора. Оскар Уайльд встал, поднялся на сцену и склонил голову перед зрительным залом, который стоя приветствовал ею… Сидевшая в первом ряду Лилли Лэнгтри оставила описание, как он был одет в тот вечер: «Черная бархатная куртка, брюки цвета лаванды, вышитый жилет и рука в перчатке жемчужно-серого цвета, не выпускающая сигареты»[389]. В зале мгновенно установилась тишина, и Уайльд произнес несколько слов: «Дамы и господа, я в восторге от нынешнего вечера. Актеры блестяще сыграли для нас восхитительную пьесу, а ваше одобрение явилось высочайшим проявлением вашего ума. Я поздравляю вас с вашим огромным успехом, который убедил меня, что вы такого же высокого мнения об этой пьесе, как и я сам»[390]. Затем он пригласил всю труппу на ужин к «Уиллису». Все поздравляли его как с удачным выступлением, так и с успехом пьесы; со всех сторон были слышны одобрительный шепот и возгласы под звуки открываемого шампанского. Ни зрители, ни критики, ни его собственный маленький двор не могли даже предполагать, насколько пророческими окажутся слова, вложенные автором в уста леди Уиндермир: «Вы не знаете, что значит попасться в эту ловушку — терпеть презрение, насмешки, издевательства… оказаться покинутой, всеми отверженной! Убедиться, что в дверь тебя больше не пустят, что нужно вползать неприглядными, окольными путями, каждую минуту опасаясь, что с тебя сорвут маску… и все время слышать смех, безжалостный смех толпы — смех более горестный, чем все слезы, которые видит мир»[391].

Пока все видели только праздник, деньги (Уайльд получил семь тысяч фунтов за авторские права) и с любопытством гадали

о том, кем ему доводился тот молодой человек, который не отходил от Уайльда ни на шаг и о котором никто ничего не знал.

Предыдущим летом Лайонел Джонсон рассказывал Уайльду об одном из своих друзей-студентов — лорде Альфреде Дугласе. Уайльд сразу влюбился в это имя, ведь он был снобом, каким может быть только английский аристократ, а имя Дуглас носят представители знатнейшего рода, покрытого сверкающим ореолом романтики.

В действительности первые достоверные сведения о предках Альфреда Дугласа относятся к 1358 году, а своими корнями род уходит во тьму времен, к эпохе до правления Вильгельма Завоевателя, вероятнее всего, к 800-м годам после Рождества Христова. Род насчитывает четыре герцогских титула, один графский и три титула маркизов, причем как в Шотландии, так и в Англии и Франции. В 1287 году сэр Уильям Дуглас защищал один из своих замков и был очень серьезно ранен, едва не лишившись головы. Тем не менее ему посчастливилось остаться в живых, и с тех пор он вел жизнь, полную приключений: сражения, насилия, похищение воспитанницы короля Эдуарда I Английского. В конце концов, за тягчайшее предательство, совершенное вопреки данному слову, он был заточен в Тауэр, где и скончался в 1298 году.

Вся история потомства Уильяма Дугласа была отмечена постоянными восстаниями, предательствами, сражениями и тюремными заключениями. В 1455 году прямая линия рода угасла, и на смену ей, вплоть до 1725 года, пришла боковая ветвь. Титул Куинсберри был пожалован роду королем Карлом I Английским во время поездки в Шотландию, где король останавливался в одном из замков Дугласов в Драмланриге.

Прямой предок юного Альфреда Дугласа, «Старый Кью», родился в 1725 году и являл собой пример типичного дворянина, обожавшего роскошь, расточительного и образованного. Он увлекался боксом, скачками, а главное, играл, делая сумасшедшие ставки. Он умер в 1810 году; сначала ему унаследовал двоюродный брат, затем настал черед Джона Шолто Дугласа, девятого маркиза Куинсберри, отца того самого юного Альфреда, который так заинтриговал окружение Оскара Уайльда в тот вечер, когда состоялась премьера пьесы «Веер леди Уиндермир».

Отец Альфреда Дугласа, которого прозвали «багровым маркизом», наследовал не только титул Куинсберри, но вместе с ним и все пороки рода Дугласов. «Он заключал в себе синтез качеств породы, представители которой в течение восьми

предыдущих веков правили как регенты, заменяли королей, брали в жены принцесс королевской крови; они были воинами, дворянами, достаточно богатыми землевладельцами, чтобы бросать вызов королевской власти… В них проявился буйный и безумно мстительный темперамент, подкрепленный уверенностью в том, что они стоят выше любых законов и условностей»[392].

В 1858 году Джон Дуглас поступил на флот, затем два года провел в колледже Св. Магдалины в Кембридже. В возрасте двадцати двух лет он женился на очаровательной дочери Альфреда Монтгомери, семья которого имела столь же древние корни, как и его собственная. Он был молод, несказанно богат, являясь владельцем более ста тысяч гектаров земель, и имел годовой доход порядка двадцати — тридцати тысяч фунтов стерлингов. Будучи крайне необразованным, он жил только ради псовой охоты, скачек, женщин и профессионального бокса, для которого разработал «правила Куинсберри», действующие и по сей день. К тому времени он был на самом взлете, несмотря на то, что непомерные расходы уже начали пробивать брешь в огромном состоянии, пополнявшемся за счет доходов от боксерских поединков, которые он организовывал повсюду, вплоть до Соединенных Штатов. В 1880 году он отказался принять присягу, обязательную для каждого пэра королевства, заявив, что это не более чем «религиозный фарс». На этом его политическая карьера была завершена.

И началась карьера семейного тирана. Он полностью пренебрегал женой, предпочитая ей собак или любовниц; когда же он возвращался домой, семейная жизнь представляла из себя постоянные ссоры, побои и ужасающие вспышки гнева. Лорд Альфред Дуглас вспоминал о нем как о грубом животном, который преследовал жену, плевал на собственных детей и издевался над ними. Бернард Шоу счел соответствующим действительному такое экстравагантное его описание: «То был шотландский маркиз, граф, виконт и барон, наделенный высокомерным презрением к общественному мнению, неуправляемым темпераментом и воспылавший после развода болезненной ненавистью к членам своей семьи… Когда он бывал в гневе, он становился настолько груб, что довел своего сына Перси до того, что тот прилюдно ударил его однажды днем на Бонд-стрит»[393]. Джон Дуглас был невысокого роста, коренастым и крепким, чаще всего он появлялся в сопровождении одного из своих боксеров, а из-за до безумия вспыльчивого характера его не раз исключали из различных лондонских клубов. Что касается его старшего сына, виконта Драмланрига, то он стал личным

секретарем будущего премьер-министра лорда Роузбери.

В 1870 году на свет появился третий сын семейства Куинсберри, Альфред, и с самого рождения ребенок попал в обстановку, которую сотрясали экстравагантные поступки маркиза, и в мир, противостоявший ударам Франко-прусской войны, рабочим восстаниям, мир, в котором тридцать три года правила королева Виктория и где модницы предпочитали прихрамывать с тех пор, как принцесса Уэльская сломала ногу.

С юных лет маленький мальчик получил прозвище «Бози» от собственной матери, которая не могла сдержать своего восторга перед красотой и грациозностью ребенка. В те годы семья жила в доме 18 на Кадоган-плейс, причем уже без маркиза, который уделял домашнему очагу минимум своего внимания. Бози совершенно справедливо считал свою мать самой красивой женщиной в мире и жестоко страдал от гнева отца, взрывы которого становились неизбежными при каждом его появлении. В январе 1887 года родители развелись после того, как Куинсберри начал появляться дома с любовницами. Развод принес облегчение, омраченное ожиданием неминуемых скандалов. Тогда-то и зародилась удивительная ненависть сына к собственному отцу. Начиная с 1889 года Альфред писал стихи и предавался самолюбованию: «Нет никаких причин утверждать, что я не был исключительно красив, будучи еще очень молодым, — напишет он, — и фактом является то, что я сохранил свою внешность и юный вид самым замечательным образом вплоть до сорокалетнего возраста»[394]. Какое волнующее совпадение с героем «Портрета Дориана Грея», написанного до знакомства Оскара Уайльда с Бози!

Альфред поступил в Оксфорд; его вполне устраивали студенческие нравы колледжа Св. Магдалины, где главными развлечениями считались спорт и любовные приключения. Он продолжал писать стихи и основал вместе с Лайонелом Джонсоном и Д. А. Саймондсом поэтический журнал «Спирит Лэмп». В один прекрасный июньский день 1891 года Лайонел Джонсон привел его в дом 16 по Тайт-стрит. Оскар Уайльд был в ореоле своего успеха после выхода «Портрета Дориана Грея»; перед взволнованным Дугласом предстал элегантный мужчина крепкого телосложения, который, войдя в свой рабочий кабинет, застал двух молодых людей, с любопытством озирающихся по сторонам и разглядывающих убранство кабинета, в котором Мэтр заканчивал править свой «Гранатовый домик». Бози надолго запомнил эту первую встречу: «Как и многие до него, Бози отметил, что первое впечатление от знакомства с Уайльдом было

скорее комичным, но оно рассеялось, едва Оскар начал говорить. Опытному актеру, прекрасно владеющему интонациями своего богатого голоса, не потребовалось много времени, чтобы околдовать студента»[395]. Уайльд улыбался красивому, стройному, необычному молодому человеку, скорее похожему на ребенка с почти идеальными чертами лица. В доме накрывали к чаю, и Дугласа представили Констанс, которая на себе ощутила силу его обаяния и вскоре подружилась с матерью молодого человека.

Несколько дней спустя Оскар Уайльд пригласил его поужинать в клуб «Альбермэйл», где появление юного лорда вызвало неподдельное восхищение. Уайльд постарался быть еще более соблазнительным, блестящим, достойным физической красоты Альфреда Дугласа. Ему показалось, что между ними произошли несколько сцен, которые имели место между лордом Генри и Дорианом Греем, что как нельзя лучше подтверждает, что «природа имитирует искусство в гораздо большей степени, нежели искусство подражает природе». И Уайльд прошептал эти слова на ухо Бози.

Этот первый проведенный вместе вечер, который произвел на обоих такое сильное впечатление, остался без продолжения, поскольку Бози Дуглас вернулся в Оксфорд, а Оскар Уайльд уехал в Париж.

Повторная встреча произошла в день премьеры. Именно тогда между ними зародились эфемерные гомосексуальные отношения; старший безумно влюбился в юного студента, безоглядно устремившись навстречу неистовой страсти и новым для себя опасным экспериментам. Дуглас сочетал в себе культуру и образованность Робби с аристократической изысканностью и красотой молодости. Оскар Уайльд ввел лорда Альфреда Дугласа в новое для него литературное общество: Миллес, Рёскин, Уистлер, Латур, Легро, Мане, Луис. Бози, в свою очередь, распахнул для него двери самых закрытых салонов, ему удалось показать Оскара Уайльда в несколько ином свете: из салонной диковинки Уайльд превратился в почетного гостя на любом приеме. Подобную встречу таланта и красоты нельзя не назвать судьбоносной. Однако создается впечатление, что при этом высокомерие Уайльда еще более возросло, что он стремился зайти все дальше, чтобы вызвать безоговорочное восхищение Бози. Дошло до того, что он начал безо всякого стыда афишировать свой гомосексуализм и посещать самые запретные места, где его с удивлением встретил Фрэнк Харрис: «Я обнаружил Оскара сидящим на возвышении в одном из углов зала в окружении двух подростков, походивших на грумов. Несмотря

на вульгарную внешность, один из них был по-детски довольно красив; другой же выглядел прежде всего развратным. К своему большому удивлению, я услышал, что Оскар беседовал с ними как с какой-нибудь избранной аудиторией; он, представьте себе, разглагольствовал об Олимпийских играх!»[396] Со своей стороны, Бози Дуглас, которого Уайльд всегда старался держать в стороне от своих распутных знакомых, прекрасно осознавал, с кем имеет дело. Какое-то время спустя после премьеры «Леди Уиндермир» он писал: «Я отнюдь не претендую на звание театрального критика; я всего лишь поэт и не считаю, что вполне могу оценить достоинства пьесы. Я видел „Веер Леди Уиндермир“ по меньшей мере раз двадцать и каждый раз был в восторге от каждого слова»[397].

Если провокационное выступление автора пьесы вечером 20 февраля порадовало зрителей и его немногочисленное окружение, то пресса восприняла его несколько иначе и окрестила «Леди Уиндермир» «буффонадой в форме гвоздики в бутоньерке», задаваясь вопросом, какие же именно изменения внес автор в результате ряда неких критических замечаний. Уайльд не мог оставить эти инсинуации без ответа. 27 февраля 1892 года он писал в «Сент-Джеймс-газетт»: «Позвольте мне опровергнуть сделанное в сегодняшнем вечернем номере Вашей газеты утверждение, будто я внес в свою пьесу изменения, прислушавшись к критическим замечаниям неких журналистов, которые весьма безрассудно и глупо пишут в газетах о драматическом искусстве. Утверждение это — полнейшая неправда и вопиющая нелепица». А правда заключалась в том, что он прислушался к советам своих юных гостей, которые были в тот вечер на премьере, «ведь суждения стариков по вопросам Искусства не стоят, конечно же, ломаного гроша. Художественные наклонности молодежи неизменно пленительны»[398].

Решив на какое-то время свои материальные проблемы, Дуглас вернулся в Оксфорд к концу учебного года. Уайльд уехал в Париж. В апреле 1892 года в витринах цветочных магазинов расцвели зеленые гвоздики, а имя Оскара Уайльда опять попало на первые страницы газет: «Известный английский писатель г-н Оскар Уайльд находится сейчас в Париже. Парижане с любопытством готовятся выслушать эстетические теории этого литератора, который, будучи наделенным чудесным остроумием, обладает к тому же достоинством быть светским человеком с утонченным вкусом и поклонником изысканных манер»[399]. Иллюстрированные журналы не отставали; Теодор де Визева представлял его как эстета-прерафаэлита; он подверг желчной

критике «Замыслы», но сделал это скорее для того, чтобы показать себя противником недавно появившейся англомании, делающей автора «Саломеи» судьей элегантности и героем парижских литературных обществ.

По возвращении в Англию Оскар Уайльд провел уик-энд в Оксфорде, в квартире, где Бози жил с лордом Энкомбом. Он взял его с собой, когда пошел проведать ректора университета Уолтера Пейтера; они вместе гуляли по парку вдоль реки, задерживаясь под деревьями, откуда лет пятнадцать назад Уайльд и Пейтер наблюдали за купающимися студентами; сейчас один из таких юношей, лорд, сидел возле Уайльда.

Уайльду было известно о гомосексуальных наклонностях Дугласа, несмотря на то, что их взаимоотношения в этом плане оставались фривольными, не доходя до той степени близости, какая была у Уайльда с Россом, Швобом, Аткинсом. Поэтому он нисколько не удивился, когда в мае получил письмо (очаровательное и трогательное) от Дугласа, который оказался замешанным в скандал на гомосексуальной почве. Оскар Уайльд обратился к одному из своих друзей, известному адвокату Джорджу Льюису, который вмешался в это дело и передал сто фунтов шантажисту, угрожавшему открыть правду о связях Бози с некоторыми из своих товарищей. Позднее Уайльд будет вспоминать об этом в «De Profundis»: «Наша дружба, в сущности, началась с того, что ты в трогательном и милом письме попросил меня помочь тебе выпутаться из неприятной истории, скверной для любого человека и вдвойне ужасной для молодого оксфордского студента. Я все сделал, и это кончилось тем, что ты назвал меня своим другом в разговоре с сэром Джорджем Льюисом, из-за чего я стал терять его уважение и дружбу»[400]. Сам ужасный маркиз был вынужден признать вину своего сына в этом деле, о чем он написал какое-то время спустя своей невестке: «Я вынужден признать ряд очевидных вещей, касающихся характера Альфреда, и хочу рассказать Вам нечто, о чем всегда знал, но о чем до сего дня хранил молчание. Речь идет об одной ужасной истории, не имеющей ничего общего с Оскаром Уайльдом, и поскольку мне рассказал ее один близкий друг, известнейший адвокат, который сам уплатил эти сто фунтов, чтобы избежать скандала, можно не сомневаться в ее подлинности»[401].

Начиная с того момента отношения Уайльда и Бози приняли совершенно иной характер. Уайльд перестал скрывать от Росса и остальных свою страсть к юному лорду, словно сексуальные отношения не имели с этих пор особого значения для их взаимного чувства, как об этом свидетельствует сам лорд

Альфред Дуглас. Уехав в путешествие с Бози, Уайльд писал Россу: «Дорогой мой Робби, по настоянию Бози мы остановились тут из-за сандвичей. Он очень похож на нарцисс — такой же белый и золотой. Приду к тебе вечером в среду или четверг. Черкни мне пару строк. Бози так утомлен: он лежит на диване, как гиацинт, и я поклоняюсь ему»[402]. Сам же Бози опубликовал в это время несколько стихотворений в журнале «Спирит Лэмп», из которых видна двойственность этого персонажа, до предела развращенного задолго до знакомства с Уайльдом.

Когда Оскар Уайльд вернулся в Лондон, где его ожидали дела, связанные с выходом ограниченного и эксклюзивного тиража сборника «Стихотворений» в издательстве Элкина Мэтьюза и Джона Лэйна с иллюстрациями, выполненными в сиреневых и золотых тонах в стиле Берн-Джонса и Чарльза Рикеттса, оба любовника стали появляться во всех самых дорогих ресторанах — «Кафе Рояль», «У Кеттнера», «Савой», где Уайльд оставил столько фунтов, сколько шиллингов тратил в свое время в маленьких кафе в Сохо, куда ходил вместе с Робби. Бози не уставая поглощал черепаховый суп, садовых овсянок, запеченных в виноградных листьях, гусиную печень из Страсбурга, запивая все это «Перье-Жуэ». Из-за него вокруг Уайльда создавался вакуум, а по салонам и издательствам начали ходить скандальные слухи. Первым, кто заметил, как пошатнулась репутация Уайльда, стал Фрэнк Харрис. Он решил устроить обед в его честь и уточнил на приглашениях: «Для того чтобы встретиться с г-ном Оскаром Уайльдом и послушать его новую историю». Семеро из двенадцати отказались прийти, остальные ответили, что предпочли бы вообще не встречаться с Оскаром Уайльдом.

Нет ничего удивительного в том, что маркиз Куинсберри, который и без того пришел в ярость от известия о приеме старшего сына Драмланрига в члены Палаты лордов, начал задумываться об отношениях между своим младшим сыном и его старшим другом; он приказал сыну прекратить встречаться с Уайльдом, угрожая отказать в противном случае в ежегодной ренте в размере трехсот пятидесяти фунтов. Бози ответил письмом, полным иронии, попросив не вмешиваться не в свое дело. К этому времени Куинсберри уже успел разругаться с Гладстоном и Роузбери, за которым ему пришлось поехать в Гамбург, где он компрометировал среднего сына, публично угрожая отстегать его хлыстом, что до его отношений с Альфредом, то какое-то время они оставались на том же уровне. Однако страсти продолжали накаляться, и скоро Уайльд оказался

в самом эпицентре взаимной ненависти отца и сына.

Кроме того, его отношения с Пьером Луисом, тоже весьма неоднозначные, начинали портиться. Уайльд писал ему в начале июня: «Ты самый очаровательный из всех моих друзей, но ты всегда забываешь писать на письмах обратный адрес. Всегда твой». Луис ответил молчанием. Уайльд сделал еще одну попытку: «Мой дорогой враг, почему ты опять не указал на карточке свой адрес? Я ищу тебя уже два дня! Ты что, отказываешься поужинать сегодня со мной? Встречаемся в „Кафе Рояль“ на Риджент-стрит в 7 час. 45 мин. в утренней одежде. Я буду в восторге, если тебя будет сопровождать Мадам, а я приглашу Джона Грея. Ты ведь знаешь последние новости, не так ли? Сара будет играть Саломею! Мы сегодня репетируем. Немедленно ответь мне телеграммой в „Лирик Клаб“ на Ковентри-стрит. А с часу до двух пополудни я буду обедать в „Кафе Рояль“. Приходи. Оскар»[403].

Сара Бернар и в самом деле начала репетировать в лондонском театре «Пэлес» в костюмах Грэма Робертсона. Но буквально через восемь дней, в конце июня королевский лорд-гофмейстер объявил запрет на постановку пьесы под предлогом того, что в ней показаны библейские персонажи. Сара Бернар пришла в бешенство — ей так и не довелось сыграть в этой пьесе — и заказала своему маленькому придворному поэту Пьеру Луису, который, несмотря на свое молчание и недовольство, все еще оставался очень близок к Оскару Уайльду, написать пьесу, которую она хотела немедленно начать репетировать. Этому проекту не суждено было сбыться, так как на следующий день переменчивая Сара уехала из Лондона, однако именно из-за него появилась на свет «Афродита», которую Луис опубликовал в 1896 году.

Оскар Уайльд воспринял такой поворот событий с сарказмом, объявив о том, что собирается принять французское гражданство — на что в «Панче» сразу появились забавные карикатуры, — и раздавал интервью. «Лично я считаю, — заявил он, — что премьера моей пьесы в Париже, а не в Лондоне, будет для меня большой честью, и я очень ценю это. Огромную радость и гордость доставил мне во всем этом деле тот факт, что мадам Сара Бернар, которая, бесспорно, является величайшей актрисой, была очарована и пришла в восторг от моей пьесы, выразив желание играть в ней. Каждая репетиция была для меня огромным источником наслаждений. Самым большим удовольствием для меня как для художника явилась возможность слышать мои собственные слова, произносимые самым прекрасным в мире голосом… Я никогда не соглашусь считаться

гражданином страны, которая проявила такую скудость художественного взгляда. Я не англичанин, я ирландец, а это далеко не одно и то же». «Тартюф, взгромоздившийся за стойкой в своем магазине, — вот что такое типичный британец!»[404] Две эти фразы, вызванные разочарованием, ему никогда не могли простить.

Англичанам было уже не до смеха; Уайльд затронул две деликатные темы: в это время в Ирландии вновь начались восстания против владычества английской короны; кроме того, не стоит забывать, что викторианская эпоха отличалась показными добродетелями, за которыми скрывалось множество темных историй, становившихся достоянием общественности.

Пьер Луис был все еще в Лондоне. Уайльд послал ему вырезку из газеты, касающуюся запрета «Саломеи», и несколько черновых страниц «Стихотворений в прозе», о которых Луис писал: «Я не знаю более ничего, что до такой степени заслуживало бы звания шедевра. Для меня эти стихи — само совершенство. Они прекрасны, как Евангелие от Иоанна»[405]. А месяцем ранее он получил оригинальное издание «Гранатового домика» с посвящением, которое, будучи, на его вкус, излишне точным, указывало на нечто большее, чем просто дружеские отношения:

> Юноше, который обожает красоту.
> Юноше, которого обожает красота.
> Юноше, которого обожаю я.

Уставший от шумихи вокруг «Саломеи», раздраженный поведением Луиса, Уайльд уехал к Бози, который гостил у своего деда по материнской линии в Бад-Хомбурге. Констанс осталась в Лондоне и 7 июля 1892 года написала своему брату, сообщив, чем занимается Оскар во время этой поездки: «Оскар в Хомбурге и на строгом режиме; он поднимается в половине восьмого утра, а ложится в половине одиннадцатого; он выкуривает лишь несколько сигарет в день, делает массаж и, конечно же, пьет только воду. Как жаль, что меня там нет, чтобы посмотреть на эту картину»[406]. Режим действительно суров, но явно необходим, поскольку его здоровье сильно подорвано разного рода излишествами, которым Оскар предается уже несколько лет, а также глупостью цензоров, отголосок мнений которых доходит даже до парижских газет: «Именно совокупность подобных обстоятельств создает единство редких по своей силе психологических исследований и способствует написанию столь нервного диалога, как это получилось у автора, что и явилось

причиной запрета „Саломеи“»[407]. Генри Бауэр, присутствовавший на репетициях, сожалел: «Увы! Я едва смог увидеть, как Сара Бернар начала репетировать „танец семи покрывал“, отрабатывая торжественные движения и сладострастные позы под покровом игривых прозрачных тканей, которые натягивали у нее над головой балерины из кордебалета; вместе с тем я внимательно слушал текст, написанный дебютантом французской прозы. Оскар Уайльд безусловно знаком с Метерлинком, и он использовал в своем диалоге прием повторов, как в „Принцессе Мален“… однако несмотря на подражания его проза сохраняет свой оригинальный оттенок»[408]. Свет продолжал обсуждать перепалку Уистлера — Уайльда, не уставая повторять остроумные изречения того, кто больше был похож на француза. Общество упивалось шаржами Ретифа де ля Бретона (он же Жан Лоррэн) на английских декадентов, Уистлера и декадентских леди с лилией в руках. Появлялись карикатуры на нежного Алджернона Филда, читающего гонкуровский «Дневник» и принимающего французское гражданство. Монтескью показывал всем письмо, которое только что получил из Лондона от баронессы Аннетт де Пуалли, восторженной почитательницы эстетизма, вошедшего в моду благодаря автору «Саломеи»: «Как я благодарна Вам, мой друг, за то, что вы прислали мне такое интересное исследование. Недаром я называла Вас эстетом! Я наконец узнала, в чем заключается совокупность эстетизма. В поиске абсолютной поэзии и гармонии во всем, что нас окружает. В макияже, одежде, обстановке. На Риджент-стрит есть один эстетский магазин, в котором царит полная гармония цветов и тканей, радующих взгляд. Итак, Вы говорите, что выбор одежды в том, что касается цвета, тесно связан с окружающей меблировкой — и это не шутка (?) — Бодлер сказал: цвет содержит в себе и гармонию, и мелодию, и контрапункт. Ну что еще можно добавить, чтобы точнее отобразить дух этого движения, которое обосновалось здесь у нас? Как я хотела бы познакомиться с его вдохновителем, Оскаром Уайльдом, но его здесь нет. Мне это было бы так интересно… Эстеты и японисты… Тюльпан по-прежнему считается эстетским цветком. С гармоничным к Вам уважением»[409]. Уайльдовская мода на эстетизм, которая, кстати, искажала идеи самого Уайльда, встречала все больше приверженцев во Франции и сопровождалась внедрением в обиход целого словаря англицизмов: ростбиф, сленг, лаун-теннис, митинг, ланч, сквер, рекорд… которыми так и сыпали почитательницы Оскара Уайльда, Монтескью, Жана Лоррэна, Мориса Барреса, Пьера Луиса… к неописуемому гневу борцов за

чистоту языка, таких, как Гонкур или Франс.

Несмотря на все эти забавные сплетни, Уайльд скучал в Бад-Хомбурге; он писал об этом Пьеру Луису, который продолжал хранить странное молчание: «Почему от тебя до сих пор нет письма? Напиши мне хоть несколько слов. Я ужасно скучаю, а пять докторов запретили мне курить! Я чувствую себя хорошо и очень грущу». Он вновь обсуждал запрещение пьесы в письме к Ротенстайну: «Номинально театральным цензором является лорд-гофмейстер, но реально — заурядный чиновник, в данном случае некий мистер Пиготт, который в угоду вульгарности и лицемерию англичан разрешает постановку любого низкого фарса, любой пошлой мелодрамы. Он даже позволяет использовать подмостки для изображения в карикатурном виде известных людей искусства, и в то же время, когда он запретил „Саломею“, он разрешил представлять на сцене пародию на „Веер леди Уиндермир“, в которой актер наряжался, как я, и имитировал мою речь и манеру держаться!!!.. В Англии свободны все виды искусства, кроме сценического; цензор утверждает, что театр принижает и что актеры профанируют высокие сюжеты, а посему он запрещает не публикацию „Саломеи“, но ее постановку. И однако же ни один актер не выразил протеста против такого оскорбления театра — даже Ирвинг, который все время разглагольствует об Актерском Искусстве. Это показывает, как мало среди актеров художников»[410].

Таким образом теперь, когда Уайльд уже бросил вызов критикам, журналистам, публике, он принялся еще и за английских актеров, как бы стараясь создать совершенно беспросветную ситуацию в тот самый момент, когда он оказался наиболее уязвимым. В Англии одна только газета «Уорлд» осмелилась встать на его защиту и открыто выступить против цензуры в письме, опубликованном на ее страницах 1 июля: «Настоящее произведение искусства, утвержденное, изученное и уже репетируемое величайшей актрисой нашего времени, неожиданно попадает под авторитарный запрет в тот самый момент, когда личность самого автора подвергается постоянному, ежевечернему и публичному осмеянию»[411].

Наконец в начале августа Уайльд вернулся в Лондон к своей прежней жизни и, в частности, к своим друзьям — Джону Грею и Фрэнку Харрису, которые всем назло продолжали устраивать в его честь приемы. Он восстановил связь с Пьером Луисом — тот вновь начал отвечать на его приглашения, несмотря на довольно странные предосторожности, которые он принял, пытаясь объяснить возобновление этих отношений; вот что он писал своему брату Жоржу Луису: «Я говорил тебе, что близко

познакомился с Сарой Бернар? Она уже две недели репетировала французскую пьесу Оскара Уайльда, когда все было внезапно прервано по приказу королевского лорд-гофмейстера, который счел пьесу святотатством. Уайльд очень расстроился из-за этой смехотворной цензуры… Я трачу все больше и больше денег. Здесь я живу практически за счет Оскара Уайльда, и поэтому из чистой вежливости ежедневно обязан отвечать ему (ему или его друзьям) аналогичными приглашениями»[412]. Луис ухаживал за Эллен Терри, что не мешало ему следовать за Уайльдом из ресторана в ресторан, из салона в салон. В октябре 1892 года его призвали на военную службу, которую он проходил в Аббевилле, и там Андре Жид поставил его в известность о нравах Уайльда. Как позже поведал Луис Полю Валери, он предложил Жиду написать ужасное письмо, однако тот, конечно же, ничего не написал, зато по окончании службы помчался в Лондон!

В то же самое время Уайльд арендовал ферму Гроув недалеко от курортного местечка Кромер на берегу Северного моря, к северо-востоку от Лондона. Он перевез туда Констанс с детьми и пригласил к себе Бози. Уайльд развлекался тем, что строил песочные замки с Сирилом и Вивианом, которым было уже, соответственно, семь и пять лет, или играл с Бози в гольф. Здесь же он написал б*о*льшую часть своей пьесы «Женщина, не стоящая внимания» и объявил об этом в следующих выражениях директору театра «Хеймаркет» Герберту Бирбому Три: «Что же касается пьесы, я написал уже два акта и отдал перепечатать машинистке; третий и четвертый акты закончены, и я надеюсь, что все будет готово дней через десять — пятнадцать, самое позднее. Своей работой я пока очень доволен»[413]… Одним словом, пребывание у моря превратилось в идиллию, особенно для Констанс, вновь обретшей на какое-то время прежнюю роль в обществе мужа, детей и Бози, которого она ценила больше, чем остальных друзей Уайльда; она даже не догадывалась о любовных отношениях, которые существовали между ним и Бози, и была счастлива при виде спокойствия мужа, который много работал, заканчивая большую поэму «Сфинкс», готовил очередное издание «Саломеи» и вносил последнюю правку в рукопись «Женщины, не стоящей внимания».

Тем не менее спокойствие оказалось зыбким. Альфред Дуглас быстро пресытился семейными радостями и вернулся в Лондон; Уайльд оставил семью, бросил работу и тоже сорвался с места. Он снял номер в гостинице «Альбермейл» и вернулся к прежнему образу жизни, влюбившись в молодого актера Сидни Барраклафа, которому писал бредовые письма, характерные для Уайльда, когда он обращался к юношам: «Вы действительно прекрасно

исполнили роль Фердинанда в „Герцогине Амальфи“. Вам блестяще удались и редкий стиль, и изысканность в сочетании с силой и страстью. Когда Вы выходите на сцену, Вы привносите атмосферу романтизма, в которой гордая и жестокая Италия эпохи Ренессанса предстает во всем своем великолепии, в чудовищном безумии своего дерзкого греха и внезапном ужасе от содеянного»[414]. Он пригласил актера вместе пообедать. Не в силах противиться своим желаниям, Уайльд принялся восхвалять таланты молодого актера, которых ему в действительности явно недоставало, если верить прессе, посвятившей положительные статьи пьесе Уэбстера[415], но написавшей о Барраклафе так: «Высокомерие Фердинанда и его порывистость были нивелированы отсутствием собранности у актера». Однако такова была натура Уайльда, которому было свойственно возвеличивание предмета своей страсти, вплоть до вознесения оного в сферу искусства; подобно многим другим, Сидни стал темой разговоров в среде эстетов.

А затем произошла более знаменательная встреча: Оскар познакомился с Альфредом Тейлором и представил его Бози. Эта встреча стала началом его погружения в ад. К тому времени Тейлору, сыну богатого торговца, исполнилось тридцать. Его связывала крепкая дружба с одним из близких приятелей Уайльда, Морисом Швабом. В восемнадцатилетнем возрасте он поступил на службу в 4-й полк королевских стрелков в Лондоне, рассчитывая сделать там карьеру, но после смерти дяди он наследовал огромную сумму — сорок пять тысяч фунтов, которую бездумно растратил и к октябрю 1892 года разорился. Этому образованному и обворожительному мужчине пришла идея собирать у себя на чашку чая определенного рода мужчин с тем, чтобы предоставить им возможность знакомиться с юными бездельниками, готовыми на все ради нескольких шиллингов. Это он при посредничестве Мориса Шваба познакомил Уайльда с юным Сидни Мейвором. И Уайльд отправился в «Кеттнерс» на встречу с Бози в сопровождении Тейлора и Мейвора. Стремясь окончательно покорить юного сообщника, который был и без того счастлив, Уайльд буквально искрился от возбуждения, когда друзья остались в отдельном кабинете ресторана, где им накрыли стол. В конце концов он оставил Бози в обществе Тейлора и вернулся в гостиницу с Сидни, чтобы завершить вечер вдвоем. На следующий день молодой актер получил по почте портсигар, на котором была выгравирована надпись «Сидни от О. У.». Неизвестно, сколько юных счастливцев с Литтл Колледж-стрит (именно по этому адресу располагалось логово Тейлора) получили в подарок портсигары, но частые визиты Уайльда к

Тейлору всегда заканчивались ужином, совместно проведенным вечером и обещаниями новой встречи.

Однако Уайльд не бросал своего «сердечного возлюбленного» Бози, к которому продолжал пылать страстной платонической любовью. Он чуть ли не каждый день обедал вместе с ним. Как-то раз, устроившись за столиком в «Кафе Рояль», друзья заметили «багрового маркиза». Взаимная ненависть отца и сына, главная причина которой заключалась в привязанности Бози к матери, подвергавшейся чудовищным оскорблениям со стороны мужа, еще не выплескивалась тогда на всеобщее обозрение. Поэтому Бози спокойно направился к столику Куинсберри, чтобы пригласить его присоединиться к ним. Уайльд пустил в ход все свое обаяние и остроумие, и через десять минут маркиз хохотал во все горло, жадно прислушиваясь к уайльдовскому монологу. Тем временем Дуглас потихоньку исчез; Куинсберри и Уайльд остались в обществе друг друга до самого вечера и расстались лучшими друзьями. Сам Куинсберри в письме, написанном сыну на следующий день, подтверждал, что изменил свое отношение к Уайльду. Он даже хотел взять назад все, что говорил ранее: оказалось, что Уайльд совершенно очарователен и бесконечно остроумен; Куинсберри уже не удивлялся тому, что Бози от него без ума. Кроме того, Уайльд, как оказалось, был близко знаком с его друзьями — лордом и леди Грей: для сноба-маркиза это известие стоило любых рекомендаций. Бози пришел от письма в полный восторг.

Тем не менее мать Бози, которая принимала у себя Оскара Уайльда и его жену только для того, чтобы доставить удовольствие сыну, не разделяла этого мнения. Однажды, когда Уайльд с супругой приехали на уик-энд в ее родовое поместье в Бракнелле, она пригласила его прогуляться по осеннему парку и завела разговор о том, насколько тщеславен и экстравагантен бывает порой в своих поступках Бози, давая тем самым понять собеседнику, что столь близкие отношения между известным обществу человеком и юношей неизбежно дадут почву для различных сплетен. Она не понимала, что Уайльд влюблен и что жизнь его протекала в возбужденном и неистовом ритме, не оставлявшем места для материнских тревог. Этот человек, готовый пренебречь собственной женой и транжирить время и деньги вместе с Бози в обществе Тейлора, человека крайне сомнительной репутации, не считал важным, чтобы Бози прислушивался к мнению матери.

Вместе с тем Уайльд чувствовал, что ему не удастся закончить пьесу в лихорадочной и полной страстей атмосфере Лондона. В конце октября он арендовал у леди Маунт Темпл ее

имение Баббакумб Клифф, расположенное близ Торбэй. В своем письме к ней, отправленном из Бурнмаут, он писал: «Уважаемая и любезная графиня, с детьми богов не принято спорить, поэтому я подчиняюсь Вашему решению без малейшего звука, за исключением слов признательности и благодарности… Я собираюсь поработать над двумя пьесами, одна из которых будет написана белым стихом, и знаю, что покой и красота Вашего дома смогут создать для меня такую обстановку, когда я услышу неслышное и увижу невидимое»[416]. Маленький рыбачий поселок, расположенный на западном берегу бухты Торбэй на самой вершине отвесной скалы, спускающейся прямо к воде, как нельзя лучше подходил для спокойной жизни, к которой стремился писатель. Поселок представлял собой нагромождение старомодных и полуразрушенных домишек, приютившихся у подножия скалы, основание которой омывалось приливом. В порту, будто врезавшемся в землю, тесно жалась друг к дружке целая флотилия рыбацких лодок; причал, окутанный смешанным запахом озона и гудрона, был завален грудами порванных сетей и обломками весел.

Дом в Баббакумб Клиффе представлял собой живописную усадьбу XVI века, окна которой выходили в чудесный парк, полный деревьев и расположенный в некотором отдалении от моря. Внутреннее убранство было выдержано в прерафаэлитском стиле: гобелены Уильяма Морриса, полотна Берн-Джонса. Устроив Констанс и детей, Уайльд тем не менее вернулся в Лондон, не в силах противиться своей тяге к группе молодых гомосексуалистов, к которым не так давно присоединились Макс Бирбом и Регги Тернер; центром этой группы был он сам. Морис Шваб регулярно посылал к нему все новых «пантер», соблазнявших его так же, если не больше, чем Бози; к последним относился Фред Аткинс, и Уайльд вновь погрузился в мир мужской проституции, который возбуждающе действовал как на чувства, так и на воображение, создававшее образы неких «двусмысленных личностей, вытянувшихся в пестрый кортеж». Постоянные наскоки Бирбома Три, который ждал пьесы, волнения по поводу издания «Саломеи», выход которой ожидался в «Книгоиздательстве Независимого Искусства» с фронтисписом Фелисьена Ропса и посвящением Пьеру Луису. Уайльд разрывался между Баббакумб Клиффом, где ждала его работа, Лондоном с его развлечениями и своей второй родиной — Парижем.

Бози опять вернулся в Оксфорд и погрузился в работу над журналом «Спирит Лэмп», где он публиковал стихотворения Уайльда, Джонсона, Саймондса, а также собственные стихи, удостоенные меланхолической похвалы Оскара, страдавшего от

долгой разлуки: «Любимый мой мальчик, твой сонет прелестен, и просто чудо, что эти твои алые, как лепестки розы, губы созданы для музыки пения в не меньшей степени, чем для безумия поцелуев. Твоя стройная золотистая душа живет между страстью и поэзией. Я знаю: в эпоху греков ты был Гиацинтом, которого так безумно любил Аполлон. Почему ты один в Лондоне и когда собираешься в Солсбери? Съезди туда, чтобы охладить свои руки в сером сумраке готики, и приезжай, когда захочешь, сюда. Это дивное местечко — здесь недостает только тебя; но сначала поезжай в Солсбери»[417]. Таково это полное страсти письмо, или стихотворение в прозе, чья судьба будет не менее экстравагантна, чем содержание, поскольку оно окажется в руках у некоего Альфреда Вуда, вместе с которым Дуглас будет замешан в очередном скандале в Оксфорде, и в конечном счете обернется против своего автора во время судебного разбирательства. Кроме того, Пьер Луис, к которому тоже неизвестно каким образом попадет это письмо, опубликует именно в «Спирит Лэмп» его рифмованное переложение, выполненное никому не известным поэтом; это лишний раз доказывает его подозрительную близость с уайльдовским окружением:

Гиацинт, о мое сердце, белокурый, шаловливый,
Чьи глаза морскою синью светозарно горят,
Рот же пурпуром объят, словно дней моих закат,
Я люблю тебя, дитя, Феба баловень счастливый.

Голос твой нежней, чем лиры сладостны переливы,
Что, в ветвях играя с ветром, тихим шелестом звучат,
Стоит лишь рукою тронуть кудрей шелковый каскад,
Венчанный душистым хмелем и акантом прихотливым.

Ты ныне прочь спешишь, влеком разгадкой тайны
К Геракловым столпам, где в сумраке печальном
Спит Древности душа. Что ж, там омой персты

И возвращайся вновь, мне слишком нужен ты,
О Гиацинт! Твой облик идеальный
Мне грезится средь роз в садах моей мечты [418].

Если относительно связи Луиса с этой группой остается теряться в догадках, то можно в очередной раз констатировать, что, каким бы беззаботным ни казался Уайльд, в своих письмах к Бози и к остальным он идеализирует опасную для себя реальность, в которую сам бросается без оглядки и которая

хранит его тайну, так скоро и даже преждевременно переставшую быть таковой. В этом и заключался смысл фразы, которая прозвучала как взрыв посреди пустых дел, отвлекавших его внимание: «Только легкомысленные люди не судят по наружности. Тайна мира заключена в том, что мы видим, а не в том, чего не видим»[419].

Конец 1892 года; Бози приехал к Уайльду в Баббакумб Клифф вместе со своим учителем Кемпбеллом Доджсоном. Уайльд наконец-то закончил «Женщину, не стоящую внимания» и внимательно следил за репетициями «Веера леди Уиндермир», премьера которой была назначена на 2 января 1893 года в театре «Торкуэй». В обществе Бози его жизнь вновь стала экстравагантной и полной веселья. Уайльд увлек сурового Доджсона в смутную атмосферу, которую тот не без удовольствия описывал в письме к Лайонелу Джонсону, воспылавшему к Уайльду неудержимой ненавистью с тех пор, как началась его связь с Дугласом: «Наша жизнь отличается ленью и праздностью; все моральные принципы отодвинуты в сторону. Мы можем в течение долгих часов дискутировать о различных интерпретациях платонизма. Оскар заклинает меня, скрестив руки на груди и со слезами на глазах, чтобы я оставил свою душу там, где она сейчас пребывает, и посвятил не менее шести недель своему телу. Бози необыкновенно красив и обаятелен, но в глубине души очень испорчен. Он в восторге от идей Платона относительно демократии, и никакие мои аргументы не в силах заставить его возыметь веру в какие-либо этические правила или во что бы то ни было другое. Мы не занимаемся ни логикой, ни историей, а вместо этого играем с голубями и детьми или гуляем вдоль берега моря. Оскар живет в самой артистической комнате в доме, которую называет Заколдованная страна, и размышляет о своей будущей пьесе. Я нахожу его совершенно восхитительным, хотя в душе считаю, что его моральный облик отвратен. Он заявляет, что мой моральный облик также нехорош… Скорее всего, я потеряю здесь последние оставшиеся у меня крупицы религии и морали»[420]. Он уехал из этого пропащего места одновременно с Констанс, которую вместе с детьми пригласили во Флоренцию. Уайльд и Бози остались одни. Они продолжали проводить свой медовый месяц у моря, в саду, в обществе поэтов и писателей: Диккенса, Мередита… О гомосексуальных отношениях больше было разговоров. Чувства Уайльда крепли в своем платонизме, что он неоднократно подчеркивал, однако никто не возьмется утверждать это с полной уверенностью, так как именно в платонизме и заключается истинная тайна этой связи, которую

трудно осмелиться назвать невинной.

Тем временем совместная жизнь омрачилась первой ссорой, возникшей между любовниками из-за сущего пустяка, но продемонстрировавшей тем не менее вспыльчивость потомка рода Дугласов. Альфред подарил Уайльду брошь из бирюзы, усыпанную бриллиантами, которую тот носил на манишке. Дуглас счел это вульгарным, а близость с Уайльдом позволила ему сказать об этом с меньшим почтением, чем того был достоин знаменитый писатель. Первый разрыв: Бози хлопнул дверью, остановился в Бристоле, начал размышлять о последствиях и испытал угрызения совести, может быть, даже сожаление. Он телеграфировал Уайльду, который помчался в Бристоль и увез Бози в лондонский «Савой». Через несколько дней Бози снова вспылил, когда Уайльд упрекнул его в неосторожности, из-за которой его знаменитое письмо «Гиацинт» оказалось в руках у Вуда. Бози пришел в бешенство и тотчас уехал к матери в Солсбери. Оттуда он снова попытался примириться, и Уайльд написал ему еще одно безумное письмо: «Самый дорогой из всех мальчиков, твое письмо было для меня так сладостно, как красный или светлый нектар виноградной грозди. Но я все еще грустен и угнетен. Бози, не делай мне больше сцен. Это меня убивает, это разрушает красоту жизни. Я не могу видеть, как гнев безобразит тебя, такого прелестного, такого схожего с юным греком. Я не могу слышать, как твои губы, столь совершенные в своих очертаниях, бросают мне в лицо всяческие мерзости. Предпочитаю стать жертвой шантажа всех лондонских сутенеров, чем видеть тебя огорченным, несправедливым, ненавидящим. Я должен срочно тебя увидеть. Ты — божественное существо, которого я жажду, ты — гений изящества и красоты… Приеду ли я в Солсбери? А почему ты не здесь, мой дорогой, мой чудесный мальчик? Боюсь, что скоро буду вынужден уехать; ни денег, ни кредита, и свинцовая тяжесть на сердце»[421].

В феврале 1893 года Уайльд действительно уехал в Париж. Он отправился туда, чтобы аплодировать Лои Фюллер, увековеченной на полотнах Тулуз-Лотрека, попытаться разобраться в причинах ареста Шарля де Лессепса, оказавшегося замешанным в панамском скандале, а главное, опять стать центром вечеринок в литературных и светских салонах, где не смолкали дифирамбы в честь его таланта романиста, драматурга и эстета. В одном из первых февральских номеров «Ле Голуа» можно было прочесть: «На этой неделе только и было разговоров, что о сиреневом обеде, который принцесса Урусофф устроила в честь Оскара Уайльда. Поскольку прием пищи должен был смениться литературным чтением, принцесса пожелала, дабы

привести гостей в состояние, наиболее подходящее для прослушивания новой пьесы английского символиста, чтобы вся обстановка и аксессуары на этом приеме носили мягкий и нежный оттенок, соответствующий тонкой меланхолии, которую должно было навеять произведение искусства»[422]. Среди тщательно отобранных гостей — Морис Баррес, Эдмон де Гонкур, Марсель Швоб и Анатоль Франс в сопровождении Арманды де Канаве. Франс не был участником попоек в обществе завсегдатаев Латинского квартала и имел еще меньше отношения к группе символистов-декадентов, однако ему была известна репутация Уайльда по дошедшим до него легендам, окружавшим образ гениального рассказчика. Картина артистической жизни Древней Греции, которую нарисовал в тот вечер оратор, покорила его. Несколько позже он писал: «Я не знаю, какого цвета этот отрывок, но на вкус он восхитителен»[423].

К тому времени мало кто во Франции был знаком с творчеством Оскара Уайльда, если не считать поэтов, писателей и журналистов, вращавшихся вокруг Стефана Малларме, который был другом Уайльда, и Жана Мореаса, духовного отца символистов, автора знаменитого манифеста, обозначившего в 1886 году доктрину символизма. Другие, как, например, Марсель Швоб, приветствовали культ декаданса, чьим идеальным воплощением стал Дориан Грей. А те, кто не посвящал ему своих произведений, как, например, Марсель Швоб, Пьер Луис, Ж.-Э. Бланш, писали о нем статьи, которые печатали многочисленные небольшие журналы, старавшиеся выглядеть проповедниками новой декадентской доктрины, порождения символизма, чьей живой моделью выступал «волшебник изящных манер» Оскар Уайльд. Эти статьи рисуют подробнейшую картину пребывания Уайльда во Франции в начале 90-х годов прошлого столетия, подчеркивая, насколько изображенный персонаж может оказать отрицательное влияние на образ автора «Дориана Грея» и «Замыслов», того самого критического произведения, на которое как раз ссылался Анатоль Франс. И уже в который раз крылатые слова Уайльда: «Я вложил свой гений в собственную жизнь, а талант — только в творчество» — оказались на удивление пророческими.

Гастон Рутье, корреспондент газеты «Эко де Пари», вспоминал, как встречал когда-то в Стратфорде Уайльда, одетого в редингот из светлого сукна, украшенного гвоздикой и широким галстуком из фуляра кремового цвета: «Сияло солнце, и все складывалось удачно для этого чудесного рассказчика, который прибыл в карете с гербами в обществе двух восхитительных девушек и очаровательного молодого человека»[424]. Какое же

разочарование испытал журналист при виде Уайльда теперь! Он отметил, что Уайльд погрузнел, начал краситься, что возле него находился молодой человек, чьи манеры мало соответствовали его прежнему образу. Этим молодым человеком был юный посетитель заведения Тейлора Фред Аткинс, который сопровождал Уайльда в качестве секретаря.

Марсель Швоб, относившийся к Уайльду с неизменным восхищением, втайне ревнуя, не мог удержаться от того, чтобы не нарисовать его портрет в стиле Гонкура: «Крупный, с большим лицом, лишенным растительности, и щеками кровавого цвета, ироничный взгляд, плохие зубы, выступающие вперед, порочный детский рот с пухлыми губами, словно сохранившими следы молока, но готовыми присосаться вновь. Ось надбровных дуг и очертание губ выглядят обманчиво и подчеркнуто надменно. На нем длинный коричневый редингот и необычный жилет, в руках трость с золотым набалдашником»[425].

Жюль Ренар как-то обедал в обществе Уайльда, Адольфа Ретте и Стюарта Меррилла; сначала беседа зашла об Андре Жиде, после чего сидевшие за столом мужчины принялись слушать, как тот, чьим талантом рассказчика, вернее, мастера монологов, все так восхищались, излагал философию гедонизма. «Оскар Уайльд сидит во время обеда рядом со мной. Он оригинален, как всякий англичанин. Он угощает вас сигаретой, но сам выбирает ее. Он не обходит вокруг стола, а предпочитает побеспокоить всех, кто за ним сидит. У него помятое лицо с маленькими красными прожилками и длинные зубы, изъеденные кариесом. Он огромен и носит огромную трость»[426]. Однако все это забывается, стоит ему начать говорить, и Жюль Ренар, затаив дыхание, слушал рассказы Уайльда о войне в Тонкине, о мадам Баррес, которую он не видел, так как не мог видеть то, что некрасиво, о политике, об истории, обо всем; в конце концов Ренар пришел к мысли, что этот англичанин был в действительности гораздо интереснее, чем даже хотел казаться.

Камиль Моклер, который познакомился с Уайльдом у Пьера Луиса, был поражен еще больше; первая встреча разочаровала: «Однажды, зайдя домой к Пьеру Луису, я познакомился с Оскаром Уайльдом. Луис неизменно отзывался о нем с таинственным почтением и, видимо, решил, что оказал мне большую честь, пригласив, в компании с несколькими тщательно отобранными символистами, полюбоваться на августейшую персону, прибывшую из Лондона и пользовавшуюся репутацией гения и неподражаемого денди». Уайльд заметил, какое произвел впечатление, и решил его исправить. Он встретился с Моклером еще раз у Швоба: «Я принял приглашение, и на этот раз Уайльд

мне очень понравился, так как оставил свой снобизм и говорил очень просто, мило, грациозно, со знанием дела, оригинально и блестяще»[427].

Еще один современник, Эрнест Рено, наблюдавший со стороны за жаркими спорами символистов, не мог пройти мимо и не познакомиться с любимцем Парижа Оскаром Уайльдом, который, будучи снобом и вместе с тем человеком безудержного темперамента, свободным от кошмаров анархизма и далеким от политических и финансовых скандалов, искал забвения в праздности и сумасбродстве. Во время одного из очередных банкетов у Мореаса Уайльд изложил ему свои философские принципы, и Рено, покоренный настолько же, насколько и согласный с собеседником, записал: «Идея Оскара Уайльда заключалась в том, что каждый человек имеет право на счастье и, как сказал Гёте, на философию, которая не разрушала бы его личность, и он заявил, что считает законными любые средства, которыми человек стремится этого добиться»[428].

Анри де Ренье с удовольствием встречался с Уайльдом каждый раз, когда тот приезжал в Париж, либо у монакской принцессы Алисы, либо у мадам Беньер; его восхищали уайльдовские наряды, белые и пухлые руки, «на безымянном пальце одной из них красовался перстень со скарабеем из зеленого камня. Высокий рост этого человека позволял ему носить нараспашку широкие и длинные рединготы, открывая при этом яркие жилеты из гладкого бархата или из вышитого атласа». Ренье ужинал у принцессы Монакской в обществе героя дня: «На скатерти посреди стола стояло огромное блюдо, к которому вела дорожка из пахучих фиалок. В бокалах пенилось шампанское, а для фруктов подали золотые ножи. Г-н Уайльд говорил»[429].

Некоторое время спустя после приема у Барреса, чей дом обязан был своей славой «Портрету Дориана Грея» и «Саломее», еще один завсегдатай литературных салонов Жан-Жак Рено попал на ужин к родственникам Констанс: «Когда, опоздав на час, г-н Уайльд появился в гостиной, своим внешним видом — высокий и слишком полный с гладко выбритым лицом — он отличался от какого-нибудь букмекера из Отей лишь одеждой, подобранной с большим вкусом, исключительно музыкальным голосом и чисто-голубым, немного детским светом, лучившимся во взгляде». Цинизм и вульгарность всеобщего идола привели Ж.-Ж. Рено в ужас. Но вот публика переместилась в гостиную, и Уайльд, прислонившись спиной к камину и окинув взором аудиторию, начал говорить. Волшебные звуки мгновенно околдовали всех присутствовавших: «Его чудесный голос пел, жаловался, звучал подобно виоле среди всеобщего взволнованного молчания. Он

исходил из самых глубин души этого англичанина, казавшегося столь комичным буквально несколько минут назад, поражал своей простотой, он превосходил по своей выразительности все самые прекрасные оды человечества. Многие из нас прослезились. Невозможно представить, чтобы человеческая речь могла быть столь великолепной, при том, что все это происходило в обычной гостиной и говорилось в духе обычной салонной беседы»[430].

Начиная с 1883 года Жак-Эмиль Бланш вводил Уайльда в литературные и светские круги. По настоянию Мориса Барреса, он даже выставлял небольшую картину, которая называлась «Стихотворения Оскара Уайльда», за что, как известно, заслужил благодарность Уайльда. Теперь же, уподобившись прочим, он делал вид, что обо всем забыл, и описывал Уайльда с преувеличенным натурализмом, в полном соответствии с тем, как это принято сегодня: «Лицо Оскара сделалось мягким, наподобие маленьких резиновых головок, которые выглядывают в круглую дырочку, проделанную посередине каждой страницы в детских книжках… тонкий рот, слегка рыхловатый, особенно в уголках, которому не чуждо выражение надменного презрения, но, как мне показалось, на манер того, как это бывает у старой женщины»[431]. Тем не менее Ж.-Э. Бланш одним из первых заметил ту глубину мысли, которая скрывалась за виртуозностью рассказчика: «Уайльд был необыкновенно остроумным и гениальным рассказчиком. Его беседа полностью затмевала критический талант Жида… А что до лжи, до этой маски Оскара Уайльда… Ложь как произведение искусства. Это ужасно, ужасно — но какая глубина!»[432]

Можно было сколько угодно обвинять Уайльда в плагиате, цитировать вперемешку Метерлинка, Гюисманса, Флобера, Сарду, Дюма-сына, разоблачать его культ зеленой гвоздики, его высокомерие — все это не мешало его имени не сходить с первых страниц французских и английских газет, а его творчеству закладывать основы целого литературного движения, которое вдохновляло и наполняло содержанием целый ряд маленьких журналов конца прошлого века. Так, например, Стюарт Меррилл в экстазе восклицал на страницах «Ла Плюм»: «Музой Оскара Уайльда можно было бы назвать Галатею, чрезмерно украшенную огромным числом браслетов, колец и подвесок, которая распахивает навстречу залитой солнцем жизни свои объятья, еще хранящие холод мрамора, из которого она создана… Быть может, Оскар Уайльд является одним из последних, кого Святой Дух одарил таинственным даром творца иллюзий»[433].

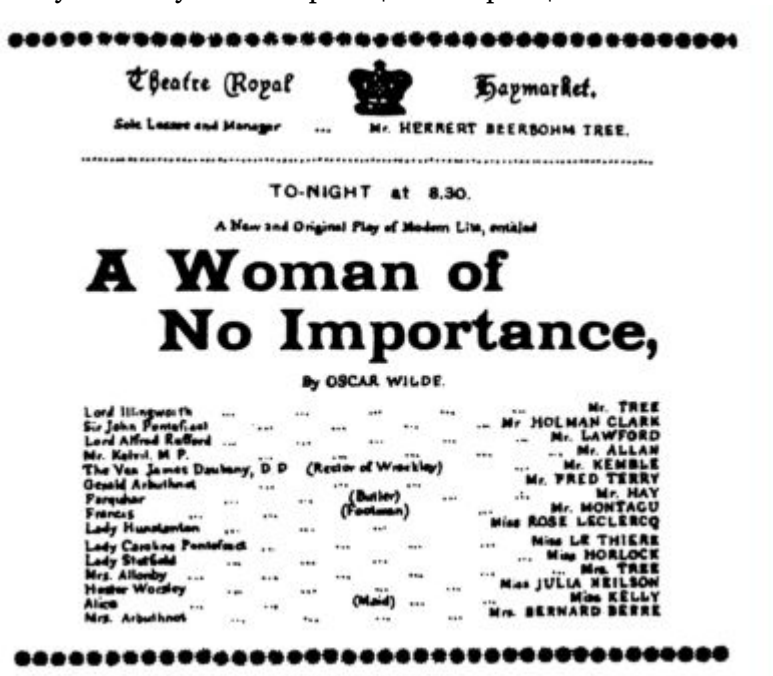
Несколько позже Анри Боер так обобщил бытовавшее в ту эпоху мнение: «Его необычный внешний вид, высокий рост,

изысканность эстетского туалета подчеркивали некрасивость крупного и одутловатого лица, усыпанного веснушками и озаряемого светом умных и насмешливых глаз. Стоило ему начать говорить, как слушателей покоряло его остроумие и необычные повороты мысли, и никто уже не обращал внимания на скверный рот, откуда изливались волшебные слова»[434].

Уже в течение нескольких лет Париж считал Уайльда великим проповедником декаданса, в котором главенствовали искусственность, надуманность, преувеличение и мрачность; всеобщее восхищение вызывала дикая музыка Вагнера, удушающая атмосфера пьес Ибсена, и в то же время музы оставались живыми, выряженными в модную мишуру или раздетые стараниями Уорта, Поля Пуаре или Жака Дусе, которых прозвали «маленькими Боттичелли»: гашиш и эфир, рединготс бархатным воротником и цветастый жилет дополняли общую картину, в которой обязательными атрибутами стали лилия и павлин. А посреди этих декораций возвышалась отяжелевшая фигура автора «Саломеи», оставлявшего то тут, то там отпечаток своего насмешливого взгляда и скандальных нравов.

На одном из вечерних приемов у мадам Стросс Оскар Уайльд ответил на вопрос Люси Делярю-Мардрюс, которая имела глупость спросить, почему он не разрешает ставить «Саломею»: «Чтобы сыграть Саломею, нужна женщина с синими волосами. Я не хочу, чтобы она была в парике. Я хочу, чтобы ее волосы от природы были синего цвета. Найдите мне женщину с синими волосами… Я хочу, чтобы все персонажи были одеты в желтое. Желтый цвет — цвет королей. Небо будет фиолетовое, а вместо инструментов в оркестровой яме будут установлены курительницы для благовоний. Придумайте новый запах для каждого нового чувства»[435]. А в беседе с испанским дипломатом Гомесом Карильо, который представил его Полю Верлену, Уайльд говорил о том, каким, по его мнению, должен быть костюм Сары Бернар в роли Саломеи: «Да, она будет совершенно обнаженной. Только украшения, множество украшений, настоящий плетеный узор из драгоценных камней; все камни будут сверкать, создавая подлинную музыкальную ткань на ее бедрах, запястьях, руках, вокруг шеи и на груди, а их сверканье еще больше оттенит бесстыдство ее смуглой кожи. Дело в том, что я не могу представить себе Саломею, творящую свои деяния неосознанно, Саломею, которая была бы всего лишь пассивным инструментом… Ее желание должно стать бездной, а испорченность океаном. Даже жемчужины должны умирать от страсти у нее на груди»[436].

Французское издание «Саломеи» вышло в Париже 22 февраля 1893 года, в то время как Уайльд уехал сначала в Лондон, затем в Баббакумб Клифф, где наконец закончил «Женщину, не стоящую внимания». Вскоре Уайльд снова был в Лондоне, где правил гранки «Сфинкса» в издательстве Элкина Мэтьюза и Джона Лэйна. Он не забывал и о «Саломее», которая пользовалась большим успехом у книготорговцев во Франции.



Theatre Royal Haymarket.

Sole Lessee and Manager ... Mr. HERBERT BEERBOHM TREE.

TO-NIGHT at 8.30.

A New and Original Play of Modern Life, entitled

A Woman of No Importance,

By OSCAR WILDE.

Lord Illingworth		Mr. TREE
Sir John Pontefract		Mr HOLMAN CLARK
Lord Alfred Rufford		Mr. LAWFORD
Mr. Kelvil, M.P.		Mr. ALLAN
The Ven. James Daubeny, D.D.	(Rector of Wrockley)	Mr. KEMBLE
Gerald Arbuthnot		Mr. FRED TERRY
Farquhar	(Butler)	Mr. HAY
Francis	(Footman)	Mr. MONTAGU
Lady Hunstanton		Miss ROSE LECLERCQ
Lady Caroline Pontefract		Miss LE THIERE
Lady Stutfield		Miss HORLOCK
Mrs. Allonby		Mrs. TREE
Hester Worsley		Miss JULIA NEILSON
Alice	(Maid)	Miss KELLY
Mrs. Arbuthnot		Mrs. BERNARD BEERE

Афиша пьесы «Женщина, не стоящая внимания».

Уайльд написал известному критику Эдмунду Госсу: «Позвольте преподнести Вам экземпляр „Саломеи“, которая стала моей первой попыткой использования в художественных целях тончайшего музыкального инструмента, каковым является французский язык»[437]. Еще один экземпляр он отправил по почте Бернарду Шоу, который писал: «Саломея все еще продолжает искать меня, блуждая в своем пурпурном одеянии, и я ожидаю скорого прибытия этой идеальной грешницы со следами почтовых марок и отметинами грубых рук, которые обрекли ее на заточение в красных почтовых тюрьмах, удушливых и кишащих нечистотами»[438]. Несмотря на то, что Оскар, которому успех «Саломеи» принес, кстати, семьсот фунтов, заявлял, что снова сидит без денег, он поселился в гостинице «Савой», где принимал новых «пантер» — братьев Паркер.

Оставаясь по-прежнему исключительно внимательным к критике, он дал очень важное пояснение в ответ на статью в «Таймс», в которой утверждалось, что пьеса якобы написана специально для Сары Бернар: «Я жажду получить удовольствие и увидеть мадам Сару Бернар в постановке моей пьесы в Париже, в этом восхитительном центре искусств, где часто ставят драмы на религиозные сюжеты. Но моя пьеса ни в коем случае не была написана специально для этой великой актрисы… Я никогда не писал пьес для какого-нибудь определенного актера или актрисы и никогда не буду этого делать. Такая работа подошла бы, скорее, ремесленнику от искусства, а не художнику»[439].

В марте 1893 года Герберт Бирбом Три начал репетировать в театре «Хеймаркет»[440] «Женщину, не стоящую внимания».

В это же время случилась и первая неприятность, ставшая предвестником будущих трагедий. Герберт Бирбом Три получил по почте копии безумных писем Оскара к Бози, и в частности письмо «Гиацинт». Он не скрыл своего удивления и попросил у Уайльда объяснений; тот небрежно ответил, что речь идет о стихотворениях в прозе. Несколько дней спустя, у выхода из театра Уайльда поджидал незнакомый молодой человек по имени Аллен, который предложил Уайльду оригиналы его писем за десять фунтов; Уайльд воскликнул: «Десять фунтов! вы ничего не смыслите в литературе. Если бы вы попросили у меня пятьдесят, тогда я, может быть, и заплатил бы вам. С другой стороны, у меня есть копии этих писем, и мне совершенно не нужен оригинал. До свидания». Аллен не отступал и на следующий день звонил в дверь дома 16 по Тайт-стрит. Уайльд, по-прежнему уверенный в себе и беззаботный, торговался, соглашаясь оплатить расходы шантажиста, который хотел уехать в Соединенные Штаты, иронизируя при этом: «Колумб уже подумал об этом раньше вас. Я надеюсь, вам повезет больше, чем ему, и вы проплывете мимо американского континента!» Однако Аллен на этом не успокоился и продолжал преследовать Уайльда с письмом «Гиацинт», которое он Уайльду не вернул. Его угрозы принимали все более отчетливые очертания:

— Это письмо можно понять довольно странным образом.

— Для рабочих искусство редко бывает доступным, — отвечал Уайльд.

— Один человек предложил мне за него шестьдесят фунтов, — не унимался Аллен.

— Если хотите моего совета, то немедленно разыщите этого человека и продайте ему письмо. Даже мне никогда не предлагали столько денег за столь короткое произведение в прозе!

Бедняга Аллен, окончательно сбитый с толку, принялся хныкать; Уайльд выставил его за дверь и дал на прощанье десять шиллингов.

На какое-то время скандал утих, и Уайльд не испытывал по этому поводу ни малейшего волнения. Напротив, он заявил еще одному молодому человеку, пришедшему к нему с той же целью: «Сдается мне, что вы ведете чудесную жизнь маленького развратника».

Анна де Бремонт первой заметила трещины в его светской маске. Она встретилась с Уайльдом непосредственно перед премьерой на банкете, состоявшемся в писательском обществе — обществе взаимного восхищения, — и записала: «Блуждающий взгляд, осунувшееся лицо, на котором написано не поддающееся определению выражение то ли усталости, то ли странной тревоги. Да, он, как обычно, был безупречно одет, и его поведение, как никогда, отличалось легкостью и высокомерием истинного денди… Мне показалось, что передо мной стоит мертвец — я не могла ни увидеть, ни почувствовать его душу в затуманенном и лишенном выражения взгляде, прячущемся за отяжелевшими от усталости и скуки веками»[441].

В среду, 19 апреля 1893 года, состоялась премьера «Женщины, не стоящей внимания» с Бирбомом Три, миссис Бернард Бир, Фредом Терри… Рядом с Уайльдом в ложе сидели Бози, Махэффи и вновь появившийся Пьер Луис. Пьеса стала очередным триумфом, и зрительный зал приветствовал ее громом аплодисментов, хотя кое-кто из зрителей пытался свистеть. Уайльд проявил осторожность, и когда публика в зале начала требовать автора, он поднялся в своей ложе и объявил: «Уважаемые дамы и господа, я должен с грустью сообщить вам, что господина Оскара Уайльда нет в зале». И хотя ему удалось вновь вызвать смех и аплодисменты, этой выходкой он отнюдь не смягчил раздражения критиков, а «Панч» в очередной раз разразился язвительной статьей. В целом пресса, скрепя сердце, вынуждена была признать заслуги автора. Общий тон задавал «Уорлд» от 23 апреля: «Отнюдь не остроумие Оскара Уайльда и еще менее умение ловко манипулировать парадоксами заставляют меня требовать, чтобы ему было отведено особое место среди современных драматургов. Прежде всего я имею в виду его ум, оригинальность взглядов, совершенство стиля, а главное, драматическую силу его вдохновения. Я без малейшего колебания заявляю, что сцена между лордом Иллингуортом и миссис Арбетнот в конце второго акта может считаться самой сильной и самой умной сценой современного английского театрального искусства»[442]. Договор с Бирбомом Три

предусматривал отчисление автору 8 % от чистой суммы средних сборов; поскольку «Хеймаркет» ежевечерне объявлял аншлаг, можно предположить, что, поздравив актеров, Уайльд не преминул выразить досаду в адрес Три, отказавшегося ангажировать его юного протеже Сидни Барраклафа. После премьеры вся компания с «чудо-мальчиком» во главе отправилась на ужин к «Уиллису». Даже Пьер Луис, излечившийся, по всей видимости, от своих предубеждений, а может, махнувший на них рукой, принял участие в этом празднестве, во время которого Уайльд блистал, как никогда. Решив свои дела, связанные с военной службой, Луис тут же приехал в Лондон и вновь принимал все приглашения Уайльда. К примеру, 21 апреля за ужином он сидел рядом с Джоном Греем, которому позже посвятил свое стихотворение «Прерия». И тем не менее в письме к брату он вновь вспоминал прежние тревоги: «Мне не жаль уезжать из Лондона, я лишь немного сожалею о пьесе „Женщина, не стоящая внимания“. Я написал о ней много хорошего в одной плохой статье, которая должна выйти в субботу, если редакция согласится ее поместить, в чем я сильно сомневаюсь. Я отложил на день свой отъезд, чтобы увидеться сегодня или завтра с одной очень интересной актрисой, миссис Бернард Бир, о которой я расскажу тебе поподробнее и которая играет заглавную роль в пьесе Уайльда. Лондон чудесен, но я оказался в обществе, которое несколько смущает меня, и я обязательно расскажу тебе, чем именно»[443].

С другой стороны, он подтверждал свою близость с Уайльдом, по крайней мере в области эстетики, оставив автограф на листке розовой бумаги, на котором рукой Уайльда было написано: «Нельзя смотреть ни на предметы, ни на людей. Надо смотреть только в зеркало, поскольку зеркало показывает нам одни лишь маски»; дальше добавлено рукой Луиса: «Людям необходимо показывать красоту»[444]. К тому же не следует забывать и о стихотворении «Гиацинт», которое он опубликовал в апреле в журнале Дугласа. Тем не менее создается впечатление, что размолвка, возникшая между ними в феврале по поводу посвящения «Саломеи», была забыта. Уайльд послал тогда Луису письмо, причем на этот раз оно было написано по-английски: «Мой дорогой Пьер, неужели это все, что ты можешь мне сказать в ответ на то, что я выбрал именно тебя среди всех моих друзей и посвятил тебе „Саломею“? Я не в силах выразить, насколько мне горько. Все, кому я просто послал экземпляр своей пьесы, прислали мне прелестные письма, украшенные деликатными похвалами. И только от тебя — того, чье имя я начертал золотыми и алыми буквами, — ни звука… Раньше я не

задумывался над тем, что дружба может быть более хрупкой, нежели любовь»[445].

И все же, если не принимать во внимание развязное и вызывающе поведение Уайльда, позы, свойственные ему в этот период, все разрастающиеся скандальные слухи по поводу его отношений с Бози, которому он только что подарил запонки — четыре селенита в виде сердечек, украшенных бриллиантами и рубинами, некоторые фразы из пьесы, которая значилась теперь на театральной афише, обретали гораздо более глубокое звучание, чем это могло показаться на первый взгляд. Прежде всего это касается лорда Иллингуорта (точной копии лорда Генри Уоттона), явившегося выразителем ироничных, а где-то и горьких чувств автора:

«Надо сочувствовать радости, красоте, живой жизни… Молодость Америки — самая старая из ее традиций… Хорошо известно, что такое распространенное в публике представление о здоровье; это английский помещик, во весь опор скачущий за лисицей. Невыразимое, преследующее неудобоваримое… Ничто не имеет значения, кроме страсти… Двадцать лет любви делают из женщины развалину. Зато двадцать лет брака превращают ее в нечто подобное общественному зданию».

Что же касается героини, миссис Арбетнот, этой женщины, не стоящей внимания, соблазненной и покинутой, жалкой матери незаконнорожденного сына, то именно она выражает тревогу, которая уже начинает проступать у Уайльда сквозь маску благополучия:

«Только любовь может сохранить человеку жизнь… Мое прошлое было всегда со мной… Ведь это мой позор соединил нас так неразрывно. Это мой позор сделал тебя для меня еще дороже… Ты плод моего позора, так останься же им навсегда!»[446]

Эти слова появляются, как вспышки, которым, быть может, и сам Уайльд не придавал большого значения, однако и ему предстояло произнести точно такие же слова, когда, присмотревшись к Бози, он смутно почувствовал приближение надвигающейся катастрофы, в которую его беспощадно затягивали его «пантеры», его бесчестье и причина его будущей катастрофы.

Оставив Уайльда наслаждаться триумфом своей пьесы, Бози вернулся в Оксфорд, чтобы закончить последний учебный год. Здесь он уделил большое внимание эстетизму и любовным отношениям. Стараясь как можно чаще бывать в Лондоне, он уже не оставлял Уайльда. Их можно было встретить всюду, где имело смысл бывать: в тильбюри на Аскоте, в вечерних костюмах у

Керзонов, в охотничьих нарядах в загородном имении у какого-нибудь богатого бизнесмена. Несмотря на сомнительную репутацию, Дугласу нигде не отказывали в приеме; его юность, красота, чувство прекрасного и дружба с Уайльдом создали вокруг него некий ореол. Выросший в богатой семье, он оставался рабом своих прихотей, которые удовлетворял теперь Уайльд, при этом он становился все более требовательным, нетерпимым и жадным до роскоши. Известный художественный критик, историк и почетный профессор Оксфорда Д.-А. Саймонс влюбился в Дугласа и начал ревновать его к Уайльду, чей «Портрет Дориана Грея» ему никогда не нравился. Он писал Дугласу полные чувств письма, на которые тот отвечал с подчеркнутой небрежностью; Бози предпочитал золоченый шлейф Уайльда, разбогатевшего благодаря доходам от своих комедий. Все, кто имел хоть какой-то вес в обществе, с восторгом повторяли блестящие фразы из его пьес, считая своим долгом послать ему приглашение на очередной прием. Сам же Уайльд, подобно Нерону, превратился в своего рода монарха, которого постоянно сопровождала свита, распевая ему хвалебные гимны, восхищаясь его афоризмами и не стесняясь жить за его счет.

Дом Тейлора на Литтл Колледж-стрит стал одним из наиболее частых ночных прибежищ Уайльда, который испытывал сладострастную дрожь от опасных соприкосновений с юными постояльцами этого заведения. Сие не прошло мимо внимания Фрэнка Харриса, Бернарда Шоу и… маркиза, который ждал своего часа: «По мере того, как росло его состояние, он становился все более высокомерным, и та ненависть, которая обнаружилась весной 1895 года и сопровождала его до конца жизни, стала, в известном смысле, результатом трехлетнего периода, отделяющего „Веер леди Уиндермир“ от пьесы „Как важно быть серьезным“, в течение которого общество валялось у его ног и втайне завидовало его успеху, будучи не в силах простить Оскару стремительный взлет и вместе с тем вызывающую независимость духа и поведения»[447]. Его доходы стали значительными — примерно восемь тысяч фунтов в год — и он проводил большую часть времени в «Савое» или «Альбермэйле»; при этом он постоянно ездил то в Париж с Бози или с кем-нибудь другим, то в Лондон.

Он все еще продолжал покорять своих слушателей, в частности, это относится к супруге богатого торговца бриллиантами Аде Леверсон, которой Уайльд дал прозвище «Сфинкс». Он познакомился с ней на вечере у Освальда Кроуфорда. «Когда я познакомилась с ним, — вспоминала она, — старые легенды, относящиеся еще к его ученическим годам,

продолжали окутывать Оскара Уайльда своей дымкой, и я была немало удивлена, встретив его не бледным и томным юношей в коротких штанах и с лилией в руке, о которой говорили, будто ее запах придавал ему жизненные силы. Он уже давно оставил свои эстетские позы 80-х годов… той волшебной эпохи подсолнухов и павлиньих перьев, художественных гобеленов и японских вееров»[448].

Оскар встречался с Адой всякий раз, когда оказывался в Лондоне, и у него никогда не было и уже не будет более верного друга. Он появлялся с ней у князя Пьера Трубецкого, где познакомился с актером Уиллардом, а главное, с удивительной Иветт Гильбер. Вошедшая в историю как исполнительница народных песен и увековеченная кистью Тулуз-Лотрека, эта женщина экстравагантного внешнего вида с рыжими волосами и бледным лицом отличалась изрядным чувством юмора. Все гости в доме у принца с нетерпением ожидали этой встречи. Уайльд приехал с опозданием; вперед с ироничной улыбкой на губах вышла Иветт Гильбер, прекрасно понимая, насколько эффектно она выглядит:

— Не правда ли, мсье Уайльд, я самая уродливая женщина Франции?

На какую-то долю секунды Уайльд озадаченно замер, склонившись над протянутой рукой, и ответил с неизменной обходительностью: «Всего мира, мадам, всего мира!» — вызвав шепот восхищения у окружающих и мгновенно завоевав симпатию Иветт Гильбер[449].

На лето Оскар снимал дачу в Горинге на берегу Темзы. Он занимался тем, что готовил издание «Веера леди Уиндермир», придумывая сюжет для новой пьесы и отдавшись во власть своей природной лени.

Он совершил короткую поездку в Джерси на представление «Женщины, не стоящей внимания» и ожидал приезда Бози, который покинул Оксфорд, не получив диплома. После приезда Бози Констанс немедленно увезла из Горинга обоих сыновей; оставшись вдвоем, любовники решили провести время с пользой для дела. Уайльд попросил Бози перевести «Саломею» на английский, а сам принялся за наброски «Идеального мужа». Они наняли молодого слугу, правда очень некрасивого. Между тем тучи начинали сгущаться, несмотря на идиллические декорации, купания и солнечные ванны, которые Дуглас принимал обнаженным, шокируя деревенского пастора, в ужасе спасавшегося бегством при виде подобного зрелища и не желавшего слушать объяснения, о сценах из греческой древности. Вскоре опять начались ссоры. Бози обвинял Уайльда в том, что

тот зачастил в заведение Тейлора, Уайльд был не в силах больше выносить приступы ярости, которые становились у Бози все сильнее. Бози бросил работу над переводом, вернулся в Лондон и отказался возвращаться в Горинг. Крайне огорченный Уайльд написал ему: «Я остаюсь в Горинге, чтобы попытаться навести порядок. Даже не знаю, что мне делать с этим домом — остаться тут или уехать — да еще и слуги доставляют немало забот. Я постарался связаться с Лэйном, но он в Париже с Ротенстайном. Я надеюсь, что ты очень скоро получишь пробные оттиски»[450]. На самом деле изданием перевода Бози с иллюстрациями Обри Бёрдслея должен был заниматься Джон Лэйн, о котором Уайльд был не слишком высокого мнения. Создавалось впечатление, что судьба определенно ополчилась против принцессы Саломеи. Издатель бесследно исчез, перевод Дугласа не нравился Уайльду, а кроме того, он терпеть не мог Обри Бёрдслея, чьи рисунки казались ему неприличными, «жестокими и злыми, так похожими на самого любезного беднягу Обри, чье лицо напоминает серебряный топорик с волосами цвета зеленой травы». Тем не менее Уайльд предложил ему отредактировать перевод Дугласа, чем вызвал такую вспышку ярости Бози, жившего на полном содержании у Росса, что Уайльд вынужден был прибегнуть к крайним мерам и написать леди Куинсберри: «Вы неоднократно задавали мне вопросы по поводу Бози. Позвольте дать Вам сегодня несколько ответов. Мне кажется, что нынешнее состояние здоровья Бози внушает явные опасения. Он страдает бессонницей, расстройством нервной системы, почти истерией… В городе он не занимается абсолютно ничем. В августе он сделал перевод моей французской пьесы и с тех пор не занимался никаким интеллектуальным трудом… Его жизнь кажется мне бесцельной, несчастной и абсурдной… По-моему, Вам следовало бы принять меры к тому, чтобы отправить его на четыре-пять месяцев за границу»[451]. Бози отправили в Каир к генеральному консулу лорду Кромеру. Сам Уайльд уехал с Фредом Аткинсом в Динард; публикация «Саломеи» застопорилась, и Бёрдслей писал Робби: «Я надеюсь, Вы слышали обо всей этой шумихе вокруг „Саломеи“. Могу только сказать Вам, что я был буквально завален перепиской с Лэйном, а также Оскаром и К°. В течение целой недели число почтальонов и различных посыльных, звонивших в мою дверь, достигло просто скандальных размеров. Я совершенно ничего не знаю о том, как в действительности обстоят дела… Кстати, Бози уезжает в Египет; понятия не имею, в каком качестве; думаю, что-то связанное с дипломатией. А какие у Вас новости от Оскара? Они оба совершенно ужасные люди»[452].

Вернувшись из Динарда, Уайльд узнал, что в письме,

адресованном одному своему старому товарищу по Оксфорду, Бози Дуглас встал на его защиту: «Вместе с тем, я считаю, что он обладает удивительным воображением, счастливым даром экспрессии, врожденным чувством фразы и огромным драматическим инстинктом (я имею в виду не его пьесы, а „Дориана Грея“ и „Гранатовый домик“)… Он самый благородный в мире друг, он единственный из всех моих знакомых, кому достанет смелости положить руку на плечо бывшего заключенного и пройтись с ним так по Пиккадилли»[453]. Этого было достаточно для того, чтобы Уайльд, который страдал в разлуке, написал Бози: «Я рад узнать, что мы снова друзья и что наша любовь прошла сквозь тень и сумрак безразличия и печали и вышла увенчанная розами, как это было прежде. Давай же будем бесконечно дорожить друг другом, как мы всегда делали это»[454].

Вместе с тем у Уайльда накопилось немало причин для беспокойства и тревог. Заведение Тейлора попало под наблюдение, полиция проводила обыски во всех помещениях и внимательно следила за передвижениями жильцов и гостей. Из предосторожности Уайльд покинул отель «Альбермэйл», где его слишком хорошо знали, и снял однокомнатную квартиру в доме 10/11 на Сент-Джеймс-плейс, где рассчитывал поработать над пьесой «Идеальный муж», а также вновь вернуться к корректуре «Сфинкса», произведения, которое, безусловно, доставило ему больше всего хлопот, так как его издание все продолжало откладываться. Здесь он узнал, что Бози, который бежал во Францию, а затем в Бельгию в обществе галантного дружка, подвергся угрозам шантажа со стороны своего юного приятеля. Уайльд в очередной раз вынужден был вмешаться и срочно выехал на континент, забыв о работе и подвергнув очередному испытанию свою и без того небезоблачную репутацию. Он привез Бози в Лондон, в то время как того ждали в Константинополе после остановки в Париже. Теперь, когда Бози поселился в квартире Уайльда, о спокойствии снова можно было забыть, и Уайльд писал: «Каждое утро ровно в половине двенадцатого я приезжал на Сент-Джеймс-плейс, чтобы иметь возможность думать и писать без помех, хотя семья моя была на редкость тихой и спокойной. Но я напрасно старался. В двенадцать часов подъезжал твой экипаж, и ты сидел до половины второго, болтая и беспрерывно куря, пока не подходило время везти тебя обедать в „Кафе Рояль“ или в „Беркли“. Ленч с обычными возлияниями затягивался, как правило, до половины четвертого. Ты уезжал на час в „Уайтс-клуб“. К чаю ты являлся снова и сидел, пока не наступало время одеваться к ужину. Ты ужинал со мной либо в

„Савое“, либо на Тайт-стрит. И расставались мы обычно далеко за полночь — полагалось завершить столь увлекательный день поздним ужином у „Уиллиса“»[455]. Таким образом, требовательность Бози, которой Уайльд был не в силах сопротивляться, начинала стеснять драматурга, а это приводило к неизбежным размолвкам между мужчинами, которые тем не менее не могли обойтись один без другого. Бози компрометировал себя с другими «пантерами», демонстративно появлялся повсюду вместе с Уайльдом, дразнил отца, доставлял волнения матери; он потерял должность в Константинополе еще до того, как занял ее, и стал тем самым «плодом моего позора», которого Оскар вывел в «Женщине, не стоящей внимания», как прежде стал Дорианом Греем, которого Уайльд создал еще до знакомства с ним.

После серьезного внушения, полученного от матери, Бози вернулся в Каир, устроив Оскару очередную сцену. Здесь он снова компрометировал Уайльда, откровенничая с Робертом Хиченсом, который позже использовал рассказы Дугласа в «Зеленой гвоздике», литературной шутке, которую почему-то приписали Уайльду.

Лорд Альфред Дуглас, как всегда непредсказуемый, импульсивный, более всего влюбленный во время разлуки, написал предлинное письмо матери, которая мечтала о его окончательном разрыве с Уайльдом: «Прежде всего, в тот вечер вы сказали мне, что я даже не сделал попытки убедить вас в том, что Оскар достойный человек. В ответ я спросил вас, а помните ли вы, чтобы я когда-нибудь пытался убедить вас, что кто-либо из моих друзей является достойным человеком; мне кажется, я всегда был тверд в своем нежелании делить людей на плохих и хороших. В предисловии к „Дориану Грею“ Оскар пишет: нет книг нравственных или безнравственных, а есть книги хорошо или плохо написанные. А теперь, если вы перенесете это правило на людей, оно сохранит свой смысл, и мой подход к людям именно таков. Человек не может быть нравственным или безнравственным, человек бывает хорошо или плохо скроен, вот и все. Это означает, что у него либо есть характер, стиль, изысканность, свое лицо, либо эти качества отсутствуют… Вы сами прекрасно знаете, что не судите людей по этим критериям, так что вы не можете требовать этого и от меня… Вы считаете, что именно Оскар разрушил мою душу. Так вот, я могу ответить, что до знакомства с ним у меня вообще не было души; он научил меня оценивать веши в зависимости от их значимости, научил отличать прекрасное от уродливого и вульгарного… А теперь позвольте задать вам вопрос: а что вы можете предложить мне

взамен этого человека, куда я, по-вашему, должен отправиться во имя духовного обогащения моей личности? Кто станет питать мою душу сладкой горечью меда? Кто вновь сделает меня счастливым в минуты грусти, отчаяния или плохого самочувствия? Кто иной сумеет унести меня одной лишь силой своего сияющего золотом слова далеко от угрюмого мира в воображаемую страну чудес, остроумия, парадоксов и красоты? Я безумно влюблен в него, а он в меня».

Это и следующие за ним письма проливают совершенно особый свет на отношения Бози и Уайльда и демонстрируют непреодолимое влечение, которое испытывал юный лорд к знаменитому литератору, подтверждая вместе с тем, что узы, объединявшие двух мужчин, носили прежде всего интеллектуальный характер. В еще одном письме, которое он через несколько дней снова написал матери, продолжавшей упорствовать в своем мнении о вредном влиянии Уайльда, Бози сделал интересный анализ «Дориана Грея», который стоит процитировать даже в большей мере, чем предыдущее письмо, поскольку здесь содержится откровенное признание в любви, которое под новым углом зрения высвечивает неоднозначную личность юного лорда Дугласа: «Лорд Генри учит Дориана Грея, что он должен осуществить все, что в его силах, и придать форму любой страсти, любой идее, приходящей на ум, с тем чтобы превратить свою жизнь в произведение искусства. Он как-то говорит ему: Я так счастлив, что в своей жизни вы занимались только тем, что жили, я так счастлив, что вас никогда не посещала мысль написать книгу или сочинить песню, вы сделали свою жизнь произведением искусства… Теперь же, если вы остаетесь все еще настолько слепы и чудовищно несправедливы, чтобы искать аналогию между поведением О. У. в отношении меня и поведением лорда Г. в отношении Дориана Грея, то, думаю, любые слова, которые я мог бы вам сказать, были бы абсолютно бесполезны. Оба случая не имеют ни малейшего сходства… Если рассматривать этот вопрос наиболее искренне и правдиво, наверное, можно было бы сказать, что лорд Генри — восковое изображение того, кем мог бы стать Оскар, не будь у него столько энтузиазма, гуманности, щедрости и очаровательной мягкости характера… Что касается того, что вы называете чудачествами и особой моралью, то я настолько же далек от мысли о том, что меня самого наделяют исключительно такими характеристиками, насколько знаю, что эти качества были присущи почти всем великим умам, перед которыми я преклоняюсь, как прошлого, так и нашего времени»[456]. Такова была сила страсти, соединившей Оскара и Бози, и даже почтение,

которое Дуглас испытывал по отношению к собственной матери, не в силах было умерить ее безумия.

В феврале 1894 года вышел перевод «Саломеи» с посвящением лорду Альфреду Дугласу. Обложка выглядела ужасно, и Уайльд пришел в отчаяние от того, что роковая судьба все не оставляла в покое его принцессу. Он вновь был разлучен с Бози, у него снова не было денег, «Саломея» принесла сплошные разочарования, а последнюю, с таким трудом законченную пьесу отказались ставить два режиссера. Все разъяснилось внезапно, с прибытием по-прежнему вызывающе яркого Бози, которого Уайльд поехал встречать в Брайтон, где друзья провели вдвоем несколько счастливых дней. Вернувшись в Лондон, Уайльд загорелся страстью к молодой актрисе Эме Лаутер, которой он писал: «Эме, Эме, если бы Вы были мальчиком. Вы разбили бы мое сердце». Дальше уже идут стихи:

> Ваши зеленые глаза, как темные озера,
> По которым прокатилось солнце,
> Оставив в них свое золотое отражение.

В нем ощущалось какое-то разочарование, которым Уайльд поделился с совсем юным актером Филиппом Хьютоном, новым завсегдатаем дома на Сент-Джеймс-плейс: «В обществе я абсолютно намеренно стараюсь казаться только дилетантом или денди — я считаю неразумным демонстрировать свои чувства окружающим, а прятаться за строгими манерами пытаются одни лишь неосторожные люди; мудрец изберет для этого безумие изысканной фривольности фантазий и беспечности. В столь вульгарном мире, как наш, каждому необходимо носить маску»[457].

Ему самому это было необходимо более, чем кому-либо другому: опасные связи Уайльда с «пантерами» с Литтл Колледж-стрит, вызывающие отношения с Дугласом давали пищу для постоянных пересудов и скандалов. Возмущенная до крайности мать Бози решила рассказать обо всем Констанс, которая и без того уже начала задаваться вопросами по поводу продолжительных отлучек Оскара, его таинственных поездок в Париж, Брайтон, Брюссель, по поводу этой безумной дружбы, о которой поведала ей леди Куинсберри.

Даже маркиз, увязший в скандале вокруг своего второго развода, тем не менее решил вмешаться. Он в очередной раз встретился с Уайльдом и Бози в «Кафе Рояль». Маркиз уселся за их столик и разделил с ними трапезу, хотя его не переставало ужасать их обращение друг с другом и он не в силах был

выбросить из головы нелицеприятные намеки на их взаимоотношения, которые делали ему люди его круга. Непревзойденное обаяние Уайльда на этот раз оказалось бессильным. Какое-то время маркиз оставался в нерешительности, опасаясь новых неприятностей; ему на память пришел недавний скандал, в котором оказались замешаны его старший сын и лорд Роузбери, к тому же он не мог сбросить со счетов и экстравагантность собственной жизни.

В конце концов 1 апреля 1894 года он написал пролог той пьесы, которая ровно через год была разыграна в зале английского суда:

«Альфред. Мне исключительно больно от того, что я вынужден писать тебе в такой жесткой форме… Во-первых, правильно ли я понимаю, что после того, как ты, к своему стыду, покинул Оксфорд подобным образом, как мне это объяснил твой воспитатель, ты собираешься теперь наслаждаться бездельем и праздностью? Во-вторых — тут я касаюсь самого болезненного пункта моего письма — речь пойдет о твоей близости с этим типом, Уайльдом. Это нужно прекратить, иначе я от тебя отрекусь и лишу средств к существованию. Я не собираюсь анализировать эту близость и ни в чем тебя не обвиняю; но, на мой взгляд, даже делать вид, что ты ненормален, столь же непристойно, сколь и быть таковым на самом деле. Я своими собственными глазами видел вас вдвоем — как бесстыдно и отталкивающе вы выказывали свою близость! В жизни не видел ничего более мерзкого, чем выражение ваших лиц. Неудивительно, что о вас столько говорят. Кроме того, мне стало известно из надежного источника — что, впрочем, может быть, и неверно, — будто его жена добивается развода, обвиняя его в содомии и прочем разврате… Если это подозрение имеет какие-то основания и если о нем пойдет молва, я буду вправе пристрелить его при первой же встрече».

После этого письма Бози буквально прорвало: он отправил отцу ответную телеграмму, в которой специально подобрал выражения («Как же вы похожи на жалкого старикашку!») с таким расчетом, чтобы довести маркиза до бешенства. Таким образом, совершенно намеренно и не сказав ни слова Уайльду, он спровоцировал отца, чей дикий нрав был ему прекрасно известен, подвергнув как себя, так и Уайльда ярости, которая теперь не знала границ, о чем свидетельствует второе письмо отца к сыну: «…Твоим единственным извинением может быть только то, что ты сошел с ума. Кое-кто из Оксфорда сообщил мне, что там тебя считали ненормальным. Если я еще хоть раз застану тебя с этим человеком, я устрою такой скандал, какого ты даже и представить

себе не можешь»[458]. Бози, безусловно, был не в себе, так как даже теперь он оказался не в состоянии оценить серьезность угроз, нацеленных против того, кого называл своим самым дорогим другом; он был безумен потому, что провоцировал все еще окруженного боксерами «багрового маркиза», который без колебания угрожал кнутом лорду Роузбери, оскорбил Гладстона и подрался с Перси Дугласом; наконец, он был безумен потому, что повлек за собой к неизбежной катастрофе человека, который пылал к нему столь же абсолютной, сколь и странной любовью.

В ситуацию снова вмешалась мать Бози, которая умоляла расстаться с Уайльдом и уехать во Флоренцию, где, как она понимала, Уайльд, оставшийся без денег и продолжавший искать театр для постановки пьесы, не смог бы к нему присоединиться. Ей удалось убедить Дугласа, и в апреле 1894 года он отбыл в Италию.

Уайльд остался в Лондоне, неотступно думая о Бози; он писал полные бреда письма «драгоценному золотому мальчику», чьи светлые волосы оставались единственным талисманом, который мог помешать ему сгинуть в «пурпурных долинах отчаяния». Известие от друга только усиливало его тоску: «Дорогой мой мальчик, только что пришла телеграмма от тебя; было радостью получить ее, но я так скучаю по тебе. Веселый, золотистый и грациозный юноша уехал…»[459]. Целую неделю Уайльд боролся с собой и с поэтическими воспоминаниями о Бози, заставлявшими его забыть о гневе, ссорах, о безумии совместного существования, после чего все же помчался к нему.

За несколько месяцев до этого Андре Жид сел на корабль, отправлявшийся в Африку, сохраняя в памяти ослепительное воспоминание о Уайльде, о чьих нравах он поведал Пьеру Луису, сдерживая дрожь тайных желаний, которые с детства смутно беспокоили его и которые влекли его теперь к берегам той самой Африки, где так девственна и чиста природа. «Когда в октябре 1893 года я отправился в Алжир, я вовсе не стремился к новым землям, меня манило это, то самое золотое руно возбудило мой порыв»[460]. Этим было стремление развить собственную индивидуальность, уникальность, осуществить то, чему какие-то два года тому назад учил его Уайльд, когда сказал Жиду: «Я хочу научить вас лгать, чтобы ваши губы стали прекрасными и одновременно искривленными, как у античной маски»[461]. На обратном пути он проезжал через Флоренцию, весь во власти тревоги и разочарования, которые оставили в его душе отношения с юным алжирцем Мериемом. Здесь он встретил Уайльда и Дугласа и испытал чувство вины с оттенком

возрождающегося восхищения. «Как ты думаешь, кого я здесь встретил? — писал он матери. — Оскара Уайльда. Он постарел и подурнел, но остался все таким же блестящим рассказчиком, наверное, немного, как мне кажется, похожим на Бодлера, только менее острым и более обаятельным. Ему оставалось провести здесь только один день, а так как он уезжал из квартиры, которую снял на месяц, а пробыл в ней только две недели, он любезно предложил мне поселиться здесь вместо него»[462]. Позже, уже в июле Андре Жид более подробно написал об этом из Фьезоле Полю Валери: «Кстати, по поводу Лондона, как раз во Флоренции я встретил одного из редких знакомых мне англичан: Оскара Уайльда, который, как мне показалось, был не очень-то рад встрече, так как считал, что находится там инкогнито. Рядом с ним был другой улыбающийся поэт более молодого поколения. Я выпил с ними две рюмки вермута и услышал четыре истории. Он уезжал на следующий день, а было это четыре недели тому назад». Стремясь, как и Уайльд, сохранить эти события в тайне, он добавил: «Я не говорил тебе об этом раньше, потому что ты был в Париже и наверняка пересказал бы эту историю всем остальным! Но даже сейчас, когда тебе будет легче хранить молчание, я все же прошу тебя никому не рассказывать об этом»[463].

Таким образом, в июне Оскар Уайльд снова вернулся в Лондон; он вновь был на Тайт-стрит, где его ждали дети, уютный дом, за которым следила Констанс, унаследовавшая от тетушек восемь с половиной тысяч фунтов. Уайльд поселился здесь, так как у него не было денег, чтобы отправиться в гостиницу или сохранить за собой квартирку на Сент-Джеймс-плейс, но еще также и потому, что он был рад возможности поработать вдали от Бози и соблазнов Литтл Колледж-стрит. 11 июня в издательстве Элкина Мэтьюза и Джона Лэйна вышел «Сфинкс» с иллюстрациями Чарльза Рикеттса и с посвящением Марселю Швобу: «дружески и восхищенно». Книга получила хвалебную критику, а обзор во «Всякой всячине» великолепно отразил чувство величия и приобщения к таинству, которое возникает при чтении этой длинной поэмы, на которую у Уайльда ушло десять лет: «Все чудовища зала Древнего Египта Британского Музея воскресают в этих волнующих, порой оскорбительных, но несмотря ни на что величественных и удивительных строках… Будет справедливым добавить, что язык поэта не поддается сравнению, а стиль его по-прежнему блистателен»[464]. Эта красивая поэма содержит множество откровений о фантазиях, которые тревожили существование поэта, становившееся с

каждым днем все более опасным. Когда он спрашивал загадочного Сфинкса:

> Твои любовники… за счастье
> Владеть тобой дрались они?
> Кто проводил с тобой все дни?
> Кто был сосудом сладострастья?[465],

то знал ответ, отправляясь на тайные встречи с молодыми людьми, составлявшими его свиту и являвшимися объектом «тайных и постыдных желаний», в которых он признался в поэме. Только Уайльд периода 1890–1894 годов способен написать: «Ты побуждаешь с жаждой чуда все мысли скотские мои. Ты называешь веру нищей, ты вносишь чувственность в мой дом»[466].

Какие же картины проходили, сменяя друг друга, перед растерянным взором автора «Саломеи» и «Сфинкса»? Он думал о Бози, о своей жизни, полной возбуждения, опасностей и побед, а главное, катастроф. Сидя в задумчивости за рабочим столом, он никак не мог написать слово «Конец» на последней странице «Идеального мужа», хоть и был погружен в мысли о новой пьесе и новых победах.

Из задумчивости его вывел звонок, раздавшийся в прихожей дома 16 по Тайт-стрит. Слуга объявил: «Маркиз Куинсберри!» Он пришел потребовать немедленного прекращения отношений между Уайльдом и Бози. Глазам перепуганного слуги предстал поединок храбрости буржуа, присущей Уайльду, и свирепой грубости благородного потомка клана Дугласов. Куинсберри поставил Уайльду в вину его поведение, бесстыдство и слухи о предстоящем разводе. Он вопил, что знает, как их обоих, то есть Дугласа и Уайльда, выставили из ресторана. Что он снял на Пиккадилли меблированную комнату для Альфреда. Что Бози стал объектом шантажа из-за письма, написанного Оскаром. Что везде, где бы ни появлялись, они вызывают скандал… Обвинения следовали одно за другим, бешенство маркиза достигло апогея. Уайльд бесстрастно выслушал его, затем без особых церемоний выпроводил за дверь и попросил никогда больше не переступать порог его дома. Так прошло первое столкновение между двумя соперниками, которое завершилось не обострением отношений между развратным и сумасшедшим маркизом и модным писателем, а усилением напряженности между отцом и сыном, которая достигла пароксизма безумия, вплоть до покушения на убийство, ибо Бози даже раздобыл пистолет, чтобы расстрелять отца или его боксеров, которые будто бы собирались на него

напасть.

В действительности после дерзкого ответа, полученного Куинсберри в апреле, маркиз пригрозил сыну кнутом (по старой барской привычке) и пустил по его следам своих «телохранителей». Он потребовал у хозяев кафе и ресторанов, где часто бывали Уайльд и Бози, чтобы те не смели больше пускать их в свои заведения. 6 июля он написал своему бывшему тестю Альфреду Монтгомери: «Ваша дочь сама подстрекает моего сына к тому, чтобы бросить мне вызов». Он постарался заручиться свидетельством директора гостиницы «Савой» о том, что оба мужчины останавливались здесь вдвоем, и заявил во всеуслышание, что Уайльд трус и что он будет стрелять по нему, «как по видимой цели», что Бози не сын ему больше и что вся эта канитель напоминает ему историю с Роузбери. Бешеная злоба заставила его произнести крайне опрометчивые слова в адрес министра иностранных дел Роузбери, премьер-министра Гладстона и даже самой королевы: «Когда-нибудь мир узнает, что дело не в том, что Роузбери оскорбил меня, солгав королеве, а в том, что это делает ее такой же мошенницей, как Гладстон и он сам»[467].

Теперь уже не выдержал Бози: «Я совершеннолетний и сам себе хозяин. Вы унизили меня по меньшей мере дюжину раз… Если бы О. У. решил подать на вас в суд за диффамацию, вы получили бы семь лет каторжных работ». Фрэнк Харрис, к которому Уайльд обратился за советом, понял, что Бози искал способ отомстить отцу, которого люто ненавидел, толкая Уайльда к тому, чтобы подать на него в суд. Поскольку, благодаря откровениям портье из «Савоя», ему стали известны детали любовных похождений Уайльда, он отдавал себе отчет в опасности затевать такую процедуру. И наконец, поскольку Харрис нашел пугающими письма Куинсберри, чей нрав ему был хорошо известен, он, в свою очередь, тоже стал настаивать на прекращении этих отношений.

Тем не менее в июле ссора несколько утихла, поскольку маркиз, кажется, испугался намерений сына, так как знал, что тот способен на все. Жизнь вернулась в прежнее русло: приемы у Леверсонов, ужины в «Кеттнерс» или у «Уиллиса». Уайльд отправился в театр на пьесу Дюма-сына «Жена Клода», главным образом чтобы поцеловать Сару Бернар и пожать руку исполнителю главной мужской роли Люсьену Гитри. Он попросил у Александера аванс в размере ста пятидесяти фунтов за свою новую пьесу «Как важно быть серьезным» и написал Дугласу, который вновь уехал в Оксфорд, несколько безутешных писем: «Я не могу без тебя жить. Ты мне так дорог, ты такой чудесный.

Думаю только о тебе целыми днями, мне так не хватает твоего изящества, твоей молодости, ослепительного фехтования остротами, нежной фантазии твоего таланта, удивительного своим внезапным взлетом… и прежде всего тебя самого»[468]. Уайльд обратился к модной гадалке, чьи предсказания («дальняя дорога, блестящий успех, затем стена, а за стеной — пустота!») дали ему повод написать Бози: «Мне кажется, что Смерть и Любовь тянут ко мне свои руки по мере того, как я шагаю по жизни вперед: я все время размышляю только об этих двух вещах, а их крылья угрожают мне своей тенью»[469]. Он получил сто пятьдесят фунтов, и, дабы поработать и одновременно скрыться от кредиторов, поехал в Уортинг, где Констанс арендовала дом на берегу моря. Бегство оказалось недостаточно поспешным, так как всего через несколько недель маркиз вновь напал на след своего сына и Уайльда.

Сразу по прибытии в курортный городок на юге Англии, где он с удовольствием вернулся к радостям семейной жизни, Уайльд принялся за работу: он начал писать свою последнюю пьесу «Как важно быть серьезным», правил корректуру «Женщины, не стоящей внимания», которая в октябре вышла с посвящением графине де Грей. Он был раздосадован осложнениями, которыми грозило ему разделение Джона Лэйна и Элкина Мэтьюза, бывших до сих пор издателями всех его произведений; такое разделение рисковало поставить под угрозу уже объявленную публикацию «Портрета мистера У. Х.».

Тем не менее он наслаждался пляжем, играл с детьми и не переставал тосковать по Бози. Несмотря на угрозы Куинсберри, Уайльд пригласил его приехать. В начале августа Бози приехал и привез тревожное известие: арест Тейлора и его восемнадцати «воспитанников», в числе которых двое травести. Тучи начинали стремительно сгущаться, однако Уайльда это, похоже, ничуть не заботило. Он устраивал продолжительные морские прогулки вместе с Бози и его дружком Альфонсо, в то время как дети оставались играть на пляже. Бози был очарователен, Альфонсо красив, а погода великолепна. Констанс только что собрала в один том и издала «Оскариану», заработав тем самым пятьдесят фунтов! Одна лишь тень омрачала картину: отвратительного вида няня-швейцарка, которая занималась детьми и портила застолье.

В сентябре Констанс с детьми уехали, и Оскар остался с Бози, Альфонсо и новеньким — «малышом» Стивеном. Джордж Александер приобрел права на постановку пьесы «Как важно быть серьезным», а «Хеймаркет» принял, наконец, «Идеального мужа», и скоро должны были начаться репетиции.

Тем временем дело Тейлора закрыли, а Ч. Паркер записался

добровольцем в армию. Все складывалось наилучшим образом; Уайльд увез Бози в Брайтон, чтобы провести конец сентября в «Гранд Отеле». Однако воцарившееся спокойствие оказалось недолгим. Бози заболел, начал осыпать Уайльда упреками, устраивал ужасные сцены и в конце концов добился того, что измученный Уайльд тоже заболел. Тогда Бози бросил его и вернулся в Лондон, взбешенный тем, что Уайльд всерьез ожидал, что он возьмет на себя роль сиделки.

Дуглас вконец потерял разум, осторожность и вел себя вызывающе, появляясь всюду с красивым гомосексуалистом Джоном Фрэнсисом Блоксомом, который создал новый журнал «Хамелеон». Он опубликовал в нем стихотворение «Две Любви», которое заканчивается словами: «Я — любовь, которая не осмеливается назвать свое имя», потребовав, чтобы Уайльд передал в журнал для публикации свои «Заветы и философию для молодого поколения», где говорится о его все возрастающей любви к красоте и молодости. Одновременно журнал опубликовал очень смелый текст «Священник и служка», который молва немедленно приписала Уайльду. Парадокс заключается в том, что именно ему, столько раз обвинявшемуся в заимствованиях, приписали авторство скандальных произведений: «Священник и служка», «Зеленая гвоздика», «Шэмрок».

И словно всего этого было недостаточно для подкрепления становившихся все более явными обвинений Уайльда и Бози в особых пристрастиях, пришло известие о внезапной смерти вследствие несчастного случая старшего брата Бози лорда Драмланрига. Поговаривали, что это было самоубийство, совершенное якобы из боязни скандала, в который грозило вылиться обнародование его очень личных отношений с лордом Роузбери. Уайльд тщетно пытался откреститься от авторства «Шэмрока»: «Мне едва ли стоит заявлять, что я не имею ничего общего с этой посредственной и низкопробной книгой, которая не по праву имеет такое красивое и странное название. Цветок[470] сам по себе — произведение искусства, а книга — нет»[471], — или от других пьес, которые ему приписывали, — его все равно продолжали подозревать в том, что он был центром беспрецедентной по масштабам истории о греческом разврате, имевшей место в викторианскую эпоху, в которую, впрочем, подобные нравы были довольно широко распространены среди аристократии. Уайльд являл собой личность, чья слава не знала границ, чей успех казался ошеломительным и чья ирония не знала пощады. Кроме того, он неоднократно заявлял о своих проирландских политических симпатиях; а тут еще все вдруг

вспомнили о политической активности его матери и скандальной жизни отца. Стало ясно, что появилась возможность смягчить впечатление о странных нравах внутри достойного общества, если начать показывать пальцем на того, кто якобы является причиной скандала.

Конец октября застал Уайльда в Лондоне, он был болен и скучал в разлуке с Бози. Его можно было встретить в театре в обществе королевского лорда-гофмейстера и графа Эскуита, будущего премьер-министра Англии. Сидя в королевской ложе, он делал вид, что не слышит шепот и язвительные замечания, которыми отныне встречали Уайльда повсюду, куда бы он ни пришел, что, впрочем, ничуть не мешало ему участвовать в традиционных поздних ужинах, воспринимавшихся как вызов, брошенный обществу, которое все еще продолжало превозносить его и которое он презирал за то, что слишком хорошо знал!

В декабре он присутствовал на репетициях «Идеального мужа» и в это же время подписал договор с Джорджем Александером на постановку пьесы «Как важно быть серьезным», которую уже начали репетировать в театре «Сент-Джеймс».

3 января 1895 года Оскар Уайльд вновь поднялся на вершину славы. В этот день на сцене давали премьеру пьесы «Идеальный муж», в которой мастерство автора достигло такой силы, что поразило всех, в том числе и Бернарда Шоу: «В какой-то мере для меня мистер Уайльд является нашим единственным драматургом; он играет буквально со всем: с остроумием, с философией, с драмой, с актерами и публикой, со всем театром»[472]… а также с собственной жизнью! Вечер обернулся подлинным триумфом. Редкая привилегия — сам принц Уэльский, который знал и любил Оскара Уайльда, присутствовал на спектакле и горячо поздравил автора. Публика упивалась тем, с какой дерзостью этот ирландец позволял себе нападать на святая святых светских условностей. Критики не могли прийти в себя от обилия остроумных изречений, а Уайльд, сидя между Бози Дугласом и совсем юным сыном полковника Кенниона Томом, не думал ни о Куинсберри, ни о своих кредиторах, ни о предсказаниях «пифии с Мортимер-стрит». После спектакля компания отправилась к «Уиллису», беззаботно комментируя номер «Хамелеона», где только что было напечатано стихотворение Бози «Две Любви».

На следующий день Уайльд взял с собой юного Тома («сына одного очень старого приятеля») на ужин к «Сфинксу», которой предварительно написал. Он встретился за завтраком в «Альбермэйле» с Джорджем Александером, чтобы обсудить детали, связанные с пьесой «Как важно быть серьезным»,

согласившись сократить одну сцену, поскольку пьесу сочли слишком длинной. Он поблагодарил Аду Леверсон за статью об «Идеальном муже» и вновь заверил ее в своем восхищении и дружеских чувствах.

16 января 1895 года Уайльд вышел навстречу своей судьбе. Из гостиницы «Альбермэйл» он написал: «Дорогая Сфинкс, да, завтра я уезжаю с Бози в Алжир. Я умолял его позволить мне остаться на репетициях, но у него такой ангельский характер, что он не преминул мне отказать»[473]. Накануне отъезда он дал интервью «Сент-Джеймс-газетт», как бы бросив на прощанье свою последнюю дерзость: «Было бы несправедливым путать французскую театральную критику с английской. Французский критик всегда образованный человек, чаще всего литератор. Во Франции театральными критиками были такие поэты, как Готье. Что же касается Англии, то здесь критики происходят из значительно менее благородных сословий. У них нет ни таких же качеств, ни таких же возможностей. Все они обладают моральными качествами, но не имеют никакой художественной квалификации. Критика столь сложного выразительного средства, каким является драматическое искусство, требует высочайшей культуры. Человек, не разбирающийся в других видах искусства, не может называться театральным критиком. У английских критиков нет ни прошлого, ни будущего, они неспособны разобрать оттенки мгновения, в которое погружает их театральная постановка»[474]. 17 января 1895 года Уайльд и Бози отплыли в Алжир. Они достигли алжирских берегов 25 января, и Уайльд написал Робби уже из гостиницы: «Здесь столько красоты. Юные кабилы очаровательны. В самом начале нам пришлось нелегко, прежде чем удалось найти более или менее цивилизованного гида. Но сейчас все в полном порядке, и мы с Бози пристрастились к гашишу: это просто восхитительно; три глотка дыма, а затем покой и любовь. От самого лучшего гашиша Бози просыпается по ночам и плачет, точно ребенок. Мы проехали с экскурсией по горным районам Кабилии — там полно деревень, населенных фавнами. Многие пастухи играли в нашу честь на своих дудочках. Удивительные черноволосые существа неотступно следовали за нами из леса в лес. Даже нищие выглядят здесь очень неплохо, решая таким образом проблему бедности… А самый красивый юноша Алжира, по словам нашего гида, скорее всего, разочарует нас; как грустно, не правда ли? Мы с Бози очень расстроены»[475]. Окружающие уже обращали внимание на то, что в последнее время Уайльд прилагал все меньше и меньше усилий для того, чтобы сохранить свою маску; здесь он сбросил с себя мишуру притворной добропорядочности и

предстал в облике развратителя, безумно рвущегося к новым удовольствиям под жарким африканским солнцем, пособником его фантазий.

Вернувшись из Африки, Андре Жид удалился в Швейцарию и написал там «Топи», не переставая при этом мечтать: «Сидя на срубленном дереве, я снова мысленно возвращался в сады Бискры, именно в этот час Садрек Бубукар молча подсаживался к моему костру и закуривал свою сигарету с коноплей. Поль возвращался с работы в сопровождении Атмана и Башира. Хватит ли мне терпения дождаться здесь весны?»[476]

19 января 1895 года он сел в Марселе на пароход, направлявшийся в Алжир, куда и прибыл 22 января. А 24-го он уже ехал из Алжира в Блиду. 26-го Жид встретился с Уайльдом и Бози: «Встреча с Уайльдом в Блиде! Ужасная эволюция в сторону зла, добровольный отказ от собственной воли… Он вернулся сегодня вечером, этот жуткий человек, самый опасный продукт современной цивилизации… Впрочем, ему не откажешь в обаянии — он несносен и вместе с тем величайшая личность». Жид пришел в смятение от бесстыдства, от философии и величия волшебника, который вновь околдовал его. Испытывая одновременно притяжение и страх, он писал: «Вечером, когда я уже собирался уезжать из гостиницы, я вдруг заметил табличку с его именем и именем его vademecum[477], прикрепленную к доске постояльцев-иностранцев. Моим первым побуждением было снять оттуда табличку с моим именем; то был порыв трусости, в котором я тотчас раскаялся. Я велел поднять мои чемоданы обратно в номер и остался поужинать вместе с ними»[478]. Более того, он сопровождал их в какое-то подозрительное кафе, где вся компания с восторгом наблюдала за потасовкой между молодыми арабами. В этот день он прислушивался к разглагольствованиям Дугласа, что не могло укрыться от понимающего взгляда Уайльда: «Какие глупые эти гиды: сколько им ни объясняй, они все равно приведут тебя в кафе, где полно женщин. Я надеюсь, вы такой же, как и я, а я ненавижу женщин. Я люблю только мальчиков»[479]. Уайльд добавил, что ему хотелось бы повстречать арабов, прекрасных, как бронзовые статуи. На следующий же день Жид «почти тайком» уехал в Алжир, где снова встретил Уайльда, о чем в полном отчаянии сообщил матери: «Помнишь, я писал тебе, что был вынужден поспешно уехать из Блиды из-за этого ужасного Уайльда, который полностью оккупировал город? Я вновь встретил его здесь. В первый же день мы поужинали и провели вечер вместе. Юный Дуглас задержался еще на один день в Блиде. Чудеса! Чудеса! Эти два существа… и

этот молодой лорд, которого я уже начинаю видеть насквозь, этот будущий маркиз, сын короля, этот шотландец двадцати пяти лет от роду, уже увядший, разоренный, пожираемый болезненной жаждой подлости, ищущий бесчестья и находящий его, но исполненный вместе с тем смутного достоинства… Такой типаж можно встретить в исторических трагедиях Шекспира. А Уайльд! Уайльд!! Что может быть трагичнее, чем его жизнь!! — если бы он был благоразумнее, если бы он был способен на благоразумие, то стал бы гением, великим гением. Но он сам говорит, он сам это признает: „Я вложил свой гений в собственную жизнь, а талант — только в творчество. Я знаю, что в этом самая большая трагедия моей жизни“. Вот почему все те, кто будет иметь возможность посмотреть на него вблизи, содрогнутся от ужаса, как это всегда бывает со мной — и от чего-то великого и прекрасного… Если бы пьесы Уайльда не шли в Лондоне по триста спектаклей за сезон и если бы принц Уэльский не присутствовал на всех его премьерах, он оказался бы в тюрьме, и лорд Дуглас тоже»[480].

В присутствии Уайльда Андре Жид буквально потерял голову, пребывая в смутном ожидании того, чего одновременно боялся и на что надеялся с тех пор, как его отношения с Мериемом закончились неудачей. Когда они остались наедине, Уайльд так объяснил ему причины своего присутствия в Алжире: «Видите ли, я бежал от искусства. Отныне я хочу чтить только солнце… Вы замечали, что солнце ненавидит мысль; оно всегда заставляет ее отступать и прятаться в тени. Сначала она жила в Египте; солнце завоевало Египет. Она долго жила в Греции; солнце завоевало Грецию; затем Италию, а затем Францию. Теперь мысль перебралась в Норвегию и Россию, туда, куда никогда не доходит солнце. Солнце ревниво относится к произведению искусства». Жид прекрасно чувствовал трагическую одержимость Уайльда, и его охватила дрожь, когда Уайльд наклонился к нему и прошептал: «Речь идет не о счастье. О наслаждении! Необходимо всегда желать только самого трагичного»[481]. Спустилась ночь, в такую же ночь Жиду не довелось отведать трагического наслаждения с Мериемом. И что же? Он позволил Уайльду увлечь себя в глубину темных улочек в мавританское кафе, где их дожидались два «чудесных подростка», один из которых принялся играть на тростниковой дудочке. Выпив чаю с мятой, они вышли на улицу, и Уайльд предложил Жиду маленького музыканта. «О! как же темно было на улице! Я вдруг ощутил, что у меня остановилось сердце; и сколько же мне понадобилось мужества, чтобы ответить: да, и каким глухим был мой голос!» В ответ раздался сатанинский хохот Уайльда, и он подал гиду знак. Через несколько минут они были в гостинице:

«Уайльд достал из кармана ключ и пригласил меня в крошечный номер, состоящий из двух комнатушек, где через несколько мгновений к нам присоединился наш отвратительный гид. Следом за ним вошли оба подростка, укутанные в бурнусы, закрывавшие им лица. Гид оставил нас. Уайльд предложил мне и малышу Мохаммеду пройти в дальнюю комнату, а сам заперся в передней комнате вдвоем с игроком на дарбуке[482]. С тех пор всякий раз, когда я стремился к удовольствию, я неизменно возвращался в мыслях к этой ночи»[483]. Что может быть яснее, чем этот рассказ; не стоит лишь забывать, что откровения Жида появились с большим опозданием и были опубликованы в эпоху, когда признания такого рода были гораздо менее компрометирующими.

На следующий день Уайльд завел разговор о возвращении в Лондон, и Жид, который был прекрасно осведомлен обо всех скандальных слухах и угрозах, окружавших жизнь Уайльда, попытался предостеречь его, говоря о риске, которому он подвергал себя по возвращении, и умоляя его быть благоразумным. Тогда Уайльд сделал признание, которое объясняет смысл всех его дальнейших самоубийственных поступков: «Странные люди мои друзья: советуют мне быть благоразумным. Благоразумие! Могу ли я быть благоразумным? Это было бы отступничеством. А мне надо идти вперед как можно дальше… Я уже не могу идти дальше… Скоро должно что-то случиться… что-то иное»[484].

Жид проводил его в порт и здесь, прощаясь, Уайльд вернулся к своему разрыву с Пьером Луисом и исправил фразу, которую кто-то коварно передал в свое время Жиду: «Вы думали, у меня есть друзья. У меня есть только любовники. Прощайте»; на самом деле фраза звучала так: «Я хотел иметь друга; отныне у меня будут только любовники». В соответствии со своим собственным, неоднократно высказанным желанием, он сознательно покинул волшебные сады удовольствий, чтобы отправиться в растерзанную долину страдания. Его облик надолго остался в памяти Жида: «Скажи! в каких морях будет плыть твой корабль, смутивший белизну волн? Почему же, Меналк, ты не хочешь вернуться сейчас, полный дерзкого удовольствия, счастливый от возможности вновь утолить мои желания?»[485]

3 февраля Оскар Уайльд вернулся в Лондон, в то время как Бози задержался в Бискре, готовя похищение очередного юного араба. Уже месяц как «Идеальный муж» с огромным успехом шел на сцене в «Хеймаркете». Пьесу «Как важно быть серьезным» репетировали в театре «Сент-Джеймс». 12 февраля прошла репетиция в костюмах этой легкомысленной пьесы для серьезных

людей с Джорджем Александером в главной роли. Премьера должна была состояться 14 февраля; Джордж Александер и Уайльд узнали, что маркиз собирается прийти и устроить скандал. Куинсберри и в самом деле планировал появиться на премьере с букетом свежих овощей, чтобы выставить своего врага посмешищем и спровоцировать скандал, о чем Уайльд поспешил сообщить Бози: «Да! „багровый маркиз“ замышлял обратиться к публике на премьере моей пьесы! Алджи Берк раскрыл его заговор, и он не был впущен в театр. Он оставил для меня нелепый букет из овощей! Это, разумеется, идиотская и недостойная выходка. Явился он туда с боксером-профессионалом. Я призвал на охрану театра весь Скотленд-Ярд — двадцать полицейских. Он рыскал вокруг театра три часа, после чего удалился, вереща, как некая чудовищная обезьяна»[486].

Вечер закончился триумфом, Уайльд окончательно покорил Лондон, публику и критиков — всех вместе. Отвечая на вопросы при выходе из театра, он сказал: «Первый акт искусен, второй очень красив, а третий чертовски удачен»[487]. Театральные режиссеры в один голос умоляли его написать пьесу для них. У Уайльда появилась возможность расплатиться с кредиторами и снять номер для себя и Бози в Кале, куда он поехал встречать юного лорда. Он сделал вид, что забыл о маркизе, который был в курсе, что его сын снова встречается с Уайльдом, и который был унижен провалом своей акции в театре и пребывал в бешенстве, слушая хвалебные песнопения во славу триумфального успеха величайшего драматурга.

18 февраля 1895 года маркиз Куинсберри появился в обществе одного свидетеля перед домом 14/15 по Альбермэйл-стрит и вручил портье клуба карточку, на которой было написано: «Оскару Уайльду, позирующему в качестве сомдомита (sic)»[488].

Портье, который не понимал значения этого слова, поместил карточку в конверт и положил ее для Уайльда. На следующий день Уайльд вышел из гостиницы «Авондэйл» на Пиккадилли, где он принимал Бози и юного Тома, и направился в свой клуб. Он взял в руки карточку, прочел и побледнел. Никто, кроме него, не видел этой карточки и не мог прочитать, что на ней было написано. Оскар сам сообщил об этом Робби. Верный Робби немедленно помчался на Тайт-стрит и нашел там Констанс и Дугласа. Он счел происшествие малозначительным, так как никто не видел оскорбительной карточки, а у Куинсберри не было никаких доказательств для того, чтобы подать жалобу в суд; Робби рекомендовал сохранять осторожность, несмотря на гневные взгляды Бози, который ревновал Уайльда к Робби Россу.

Несколько дней спустя Фрэнк Харрис предпринял попытку помешать Уайльду совершить безумный поступок, на который его толкала ненависть Бози к отцу, а именно: подать на маркиза в суд за клевету: «Я абсолютно не уверен в том, что английский суд способен вынести справедливое решение; я, напротив, убежден в том, что английский суд из всех судов на свете наименее пригоден для решения вопросов искусства и морали… Не забывайте, что все косвенные доказательства будут против вас. Люди скажут так: вот отец, который пытается защитить своего сына. И если он допустил ошибку, то лишь потому, что переусердствовал…»[489] Но Уайльд лишь покачал головой, признавшись в своей слабости: «Вы же знаете, что это Бози Дуглас хочет, чтобы я полез в драку». На следующий день, выяснив как можно больше деталей, касающихся поведения своего друга, и прийдя к выводу, что такой процесс — полная бессмыслица, Фрэнк Харрис встретился с Уайльдом в «Кафе Рояль». Его сопровождал Бернард Шоу, и они оба заклинали Уайльда уехать из Англии, забрав Констанс и детей и оставив Куинсберри на растерзание друг другу. Уайльд уже почти согласился, но в этот момент вмешался Дуглас. Он попросил Харриса повторить свои слова, к которым до этого прислушивался с видом обиженного ребенка. Затем, внезапно придя в бешенство, гневно бросил: «По этому совету видно, что вы Оскару не друг!», после чего направился к выходу, увлекая за собой Уайльда, который поплелся за ним, повторяя, словно в каком-то отупении: «Это не дружеский совет, Фрэнк. Нет, друг так не скажет».

Так Уайльд оказался готовым к тому, чтобы в одиночку — так как он не желал впутывать Бози в эту ссору — ввязаться в заведомо проигранную драку против маркиза Куинсберри. Он понимал, что тем самым будут обнародованы его пристрастия, о которых до сих пор по молчаливому согласию все говорили лишь шепотом; он знал о необузданности нравов рода Куинсберри, о своей собственной слабости и о риске, которому подвергался в момент своего наивысшего триумфа. Харрис советовал ему уехать, Бернард Шоу взывал к его разуму, Констанс собиралась бросить его в преддверии скандала, Робби умолял быть благоразумным. Все бесполезно; Бози настаивал, и Оскар Уайльд должен был идти до конца, став орудием мести лорда Альфреда Дугласа.

Кроме того, Уайльд начинал испытывать чуть ли не восторг от этой новой роли, от неминуемого скандала, который должен был стать последним штрихом шедевра, в который он всегда мечтал превратить свою жизнь. А на сцене «Хеймаркета» можно было ежевечерне слышать, как герой «Идеального мужа»,

которому грозили разоблачения его постыдного прошлого, восклицал: «Все мы созданы из плоти и крови, и женщины, и мужчины; но мужчина любит женщину, зная все ее слабости, все ее причуды и несовершенства, — и, может быть, за них-то он ее больше всего и любит… Потому что не тот нуждается в любви, кто силен, а тот, кто слаб. Вот когда мы раним себя или когда другие нас ранят, тогда должна прийти любовь и исцелить наши раны. А иначе зачем любовь? Истинная любовь прощает все преступления, кроме преступления против любви… Грех моей юности, который я считал похороненным, вдруг встал передо мной — страшный, омерзительный — и схватил меня за горло…»[490] Именно такие слова в скором времени сможет произнести сам Уайльд, когда Констанс с ужасом откроет для себя подробности скандального прошлого отца ее детей, ощутит выплеснувшийся на нее позор и будет вынуждена, сменив имя, покинуть Англию. Пока же, покорный Дугласу и охваченный соблазном примерить эту новую маску, говорящую правду, подталкиваемый плебейской гордостью, сын Сперанцы намеревался выступить против маркиза — тирана собственной семьи — и его аристократического высокомерия.

В пятницу 1 марта 1895 года Оскар Уайльд и Робби Росс явились к адвокату Хамфрису, который ничего не знал о непристойных склонностях своего клиента, и рассказали ему о ситуации, сложившейся в связи с угрозами Куинсберри, его выходкой на премьере и той самой карточкой, которую он оставил в клубе «Альбермэйл». После того как Уайльд в присутствии адвоката торжественно поклялся, что выдвинутое против него обвинение в содомии ложно (что, безусловно, так и было), Хамфрис отправился с ними в полицейский участок, чтобы оформить постановление об аресте. 2 марта маркиза взяли под стражу в гостинице, где он проживал. Ему предъявили официальное обвинение в судебном участке на Марлборо-стрит, после чего судебное слушание было отложено на неделю, а маркиза выпустили под залог в пятьсот фунтов. Одновременно с поднятием занавеса на сцене «Сент-Джеймса» и «Хеймаркета», игравших последнюю пьесу Оскара Уайльда, автор стал исполнителем главной роли в пьесе, которая будет разыграна в зале суда Олд-Бейли.

В один из вечеров, после очередных оваций в «Сент-Джеймсе», он ужинал у леди Рэндольф Черчилль, матери сэра Уинстона. Оскар Уайльд, наэлектризованный предчувствием приближающейся развязки, был как никогда великолепен. Он утверждал, что готов импровизировать без подготовки на любую тему. Один из гостей тотчас же поднял бокал и предложил:

королева; ответ прозвучал, как удар хлыста: «Она не может быть темой». На глупую просьбу назвать сотню лучших, по его мнению, книг он иронизирует: «Я вряд ли смогу ответить, так как у меня их пока только пять». Его речь была подобна фейерверку, который высвечивал талант собеседника, его остроумие и желание взбудоражить викторианское общество. «Он заставлял агонизирующее викторианское общество смеяться над самим собой, — писал Ле Галльенн, который присутствовал там в этот вечер, — и того, над чем в течение стольких лет упорно трудились суровые реформаторы, он достигал мгновенно при помощи одной лишь эпиграммы, используя в качестве орудий лишь собственное остроумие и чувство юмора»[491].

Оскар Уайльд достиг такой точки собственной жизни, где все его качества оказались бесполезными, а сам он был не в силах предотвратить последнее предсказание гадалки: «…Блестящий успех, затем стена, а за стеной — пустота!»

Глава V. ДОЛГИЙ ПРОЦЕСС

Боги непостижимы. Они не только используют наши пороки, чтобы сделать из них орудия для нашего же наказания. Они приводят нас к гибели, используя все, что есть в нас от добра, нежности, человечности, любви.

9 марта перед зданием суда на Грейт Марлборо-стрит остановилась дорогая карета, запряженная двойкой лошадей. Из нее вышли Оскар Уайльд, Перси и Бози Дуглас. Процесс, на котором известный писатель противостоял представителю высшей аристократии, до такой степени привлекал толпу, что Уайльду и его спутникам с трудом удавалось сквозь нее пробиться. Однако как только председатель Ньютон заметил Альфреда Дугласа, он приказал ему немедленно покинуть зал. Адвокатом Куинсберри выступал однокашник Уайльда по Оксфорду Эдвард Карсон. Он согласился участвовать в процессе только после того, как узнал, что частные детективы, которых нанял Куинсберри, занимались поисками свидетелей, готовых дать показания о связях Уайльда с молодыми людьми; кроме прочих в их числе оказался и портье из гостиницы «Савой», который навел детективов на след Чарли Паркера и Чарльза Брукфилда. Оскара Уайльда вызвали для ответа на вопросы адвоката Хамфриса. Он чувствовал себя так же уверенно, как в каком-нибудь лондонском салоне или зале театра, где его встречали овацией; он безупречно выглядел, хотя на этот раз в его бутоньерке не было никаких цветов. Первая же реплика Уайльда вызвала замечание судьи:

— Вы являетесь драматургом и писателем?

— Мне кажется, я достаточно известен в этой среде.

— Я прошу вас точно отвечать на поставленный вопрос.

Уайльд перешел к объяснению своих отношений с разными членами семейства Куинсберри, и именно в этот момент случилась первая серьезная заминка. Хамфрис хотел представить суду другие письма Куинсберри к сыну; однако в них упоминались имена лорда Роузбери и лорда Солсбери, и судья запретил чтение этих писем перед судом. Таким образом, адвокат Уайльда был лишен возможности раскрыть подлинный характер лорда Куинсберри по причине политической, не имевшей к существу дела никакого отношения. Наконец заседание

завершилось, и судья постановил, что дело будет слушаться через три недели.

Кольцо сжималось. Насколько Уайльд был уверен в исходе процесса, учитывая незначительность обвинений, выдвинутых против него и построенных на одних только подозрениях, без доказательств содомии, настолько же маркиз лез из кожи вон, чтобы нанятые детективы раздобыли недостающие доказательства. Его подручные обнаружили заведение Тейлора и собрали показания консьержки и местных проституток, которых приводила в бешенство «нечестная конкуренция» тейлорских юношей. Им помогал Чарльз Брукфилд, который с начала января исполнял в театре роль Мейсона, слуги сэра Роберта Чилтерна в «Идеальном муже». Он возненавидел Уайльда лишь за то, что ему досталась в пьесе роль второго плана. Начиная с 4 марта он с готовностью отдал себя в распоряжение Куинсберри, помогая напасть на след многих «сообщников» Уайльда, а также раздобыть безумные письма Уайльда к Бози.

10 марта Оскар Уайльд пришел к известному адвокату сэру Эдуарду Кларку, единственному, кому было по силам успешно противостоять опаснейшему Карсону. Кларк согласился на защиту только при условии, что Уайльд поклянется, что невиновен в деяниях, в которых его обвиняют. И Уайльд поклялся.

13 марта он уехал с Бози на неделю в Монте-Карло, где беззаботно сорил деньгами в то время, как судьба уже затягивала его петлю. Вернувшись в Лондон, он остановился в отеле «Кэдогэн» и занял пятьсот фунтов на судебные расходы у Эрнеста Леверсона, только что бездумно спустив целую сотню во время своего сумасшедшего путешествия. Затем он отправился к ясновидящей Робинсон, которая предсказала ему победу. В гостинице, куда он вернулся чуть позже, его ожидало письмо адвоката, в котором перечислялись свидетели, которых намерена была пригласить на слушание противная сторона: Альфред Вуд, Эдвард Шелли, Альфонс Конвэй, Сидни Мейвор, Фред Аткинс, Морис Шваб, Чарльз Паркер, Эрнест Скарф, Уолтер Грэйнджер и мальчик-посыльный из «Савоя» Танкард… Каждого из них он приглашал в отдельный кабинет на ужин, за которым следовало более или менее продолжительное совместное пребывание в «Савое» или в «Альбермэйле». К этому добавлялись «Хамелеон», «Портрет Дориана Грея», письма к Дугласу. Фрэнк Харрис умолял его забрать жалобу, пока не поздно. Бози, тоже очень озабоченный, молчал. Бернард Шоу считал, что только ирландская гордыня не позволила ему в тот момент признать свое поражение. Уайльд ничего не слышал и никого не слушал.

Он витал в облаках, словно зачарованный приближением опасности, того «иного», чего он так ждал после Алжира.

3 апреля 1895 года Джон Шолто Дуглас, маркиз Куинсберри предстал перед судом по обвинению в том, что написал и обнародовал не соответствующий действительности текст клеветнического и оскорбительного характера по отношению к г-ну Оскару Уайльду в виде адресованной ему визитной карточки. Зал суда Олд-Бейли был переполнен, и судье Джастису Коллинзу с большим трудом удалось успокоить публику. Защита в липе Эдварда Карсона заявила о невиновности маркиза, подтверждая это тем, что указанный текст был написан обоснованно и в интересах общественного блага.

Сэр Эдуард Кларк первым взял слово и напомнил суду уже известные факты. Он обратил внимание на значение нанесенного оскорбления, ведь обращено оно было против художника, достигшего огромной известности; хотя написанное не было обвинением «в самом тяжком преступлении против личности», данный текст тем не менее давал основания предполагать, что ответчик считал истца виновным в таком оскорблении. Данная ситуация усугублялась тем, что защита маркиза утверждала, что текст написан обоснованно, то есть что мистер Уайльд виновен не в том, что принимал некую позу, а в том, что на самом деле вел антиобщественный образ жизни. Доводы защиты не были оглашены, однако они содержали ряд конкретных обвинений, а также имена тех, кого мистер Уайльд якобы склонил к тому, чтобы совершить вместе с ним «тяжкое оскорбление личности».

Теперь ответчик должен был доказать справедливость своих заявлений при помощи свидетельских показаний. Адвокат Уайльда рассказал о его блестящей карьере, начиная с Тринити-колледжа и заканчивая созданием пьесы «Как важно быть серьезным», подробно остановившись на его знакомстве с Дугласом, с маркизом Куинсберри, а также упомянув о «Хамелеоне» и о «Спирит Лэмп». По поводу стихотворения «Гиацинт» он дал такие объяснения: «Слова, использованные здесь, могут показаться необычными членам суда, которые привыкли иметь дело с более прозаическими и общепринятыми оборотами речи, но мистер Уайльд, будучи поэтом, считал это письмо стихотворением в прозе, выражением истинного поэтического чувства, не имеющего ничего общего с омерзительными и отвратительными намеками, высказанными защитой в своем заключении…»[492] Сэр Эдуард Кларк напомнил о том, что маркиз, который намеревался устроить скандал на премьере спектакля «Как важно быть серьезным», уже был однажды уличен в аналогичном проступке, когда выкрикивал

оскорбительные реплики на премьере пьесы Теннисона «Предвестие мая».

Таким образом, суду предстояло решить, является ли признаком безумия факт появления на спектакле с целью учинить скандал путем оскорбительных выкриков или путем оставления букета из овощей. Получив унизительную карточку, мистер Уайльд, который, из уважения к семье Дугласов, оставлял без ответа предыдущие выходки, не мог стерпеть подобное оскорбление. В качестве оправдания защита маркиза настаивала на аморальности «Дориана Грея» и публикаций в «Хамелеоне»; однако указанные факты не могли быть вменены в вину Уайльду, поскольку «Дориан Грей» не содержит ничего, что не соответствовало бы нормам морали, а что касается «Хамелеона», то сам мистер Уайльд публично осудил это издание.

Затем адвокат ответчика вызвал истца, который сообщил свой возраст: тридцать девять лет — при этом Карсон чуть не вскочил с места, — рассказал о своих встречах с маркизом, о шантаже со стороны Вуда и Аллена, о вторжении Куинсберри в его дом на Тайт-стрит и завершил свою речь словами: «В доводах защиты нет ни слова правды». Слово вновь взял адвокат Карсон:

— Вам не тридцать девять, а сорок один год[493], поскольку, согласно вашему свидетельству о рождении, которое находится у меня в руках, вы родились 16 октября 1854 года.

— Поздравляю, вы очень сильны в арифметике.

— Являетесь ли вы автором новеллы «Священник и служка»?

— Нет.

— Считаете ли вы ее безнравственной?

— Хуже того, она скверно написана.

— Вы полагаете, что ваши собственные произведения способствуют повышению нравственности?

— Я не стремлюсь быть ни нравственным, ни безнравственным, я стремлюсь только к красоте. Вдохновение исключает понятие нравственности или безнравственности.

В течение всего допроса смех и одобрительный шепот неизменно сопровождали реплики Уайльда, который чувствовал себя в своей роли очень уверенно, излагая с некоторой долей иронии Карсону и публике принципы своей философии:

— Первейшей целью жизни является реализация самого себя, а добиваться этого посредством удовольствия гораздо элегантнее, чем через несчастье. Я продолжаю утверждать, что истина прекращает быть таковой, когда в нее начинают верить более одного человека; в этом и заключается мое метафизическое определение истины — это нечто настолько личное, чего не в силах постичь два разума одновременно. И наконец, ни одно

произведение искусства никогда не выражает ни малейшего мнения, так как само понятие о мнении принадлежит людям, которые не являются художниками, поскольку их точка зрения никого не интересует…

Карсон улыбался, публика перешептывалась, присяжные переглядывались. Во время допроса по поводу текста «Дориана Грея» Уайльд напрочь отрицал, что делал намеки на некое обожание со стороны лорда Генри, и добавлял под одобрение публики, «что никогда никого не обожал, кроме самого себя». Карсон осознал, что совершил ошибку, когда попытался играть на поле Уайльда; здесь он был недостаточно силен, зато противник чувствовал себя все увереннее по мере того, как поединок оборачивался в его пользу. Защитник поменял тактику и зачитал двусмысленные пассажи из «Дориана Грея», а затем перешел к знаменитым письмам, в которых Оскар Уайльд говорил о своих чувствах к Бози. Как только речь зашла о Бози, ответы Уайльда сразу стали менее уверенными, и он почувствовал явное облегчение, когда судья Коллинз объявил перерыв.

4 апреля 1895 года Карсон продолжал допрос. Он заявил, что исчерпал литературные темы и считает, что присяжные уже убеждены в том, что маркиз Куинсберри был прав, встав на защиту собственного сына. «Я буду вынужден повиноваться своему долгу и вызвать сюда одного за другим нескольких юных мальчиков для того, чтобы они рассказали свою историю. Безусловно, даже для адвоката это неприятная обязанность. Но пусть те, кто будет склонен осудить этих молодых людей за то, что они позволили мистеру Оскару Уайльду совратить, развратить себя и помыкать собой, не забывают о положении каждой из сторон и о том, что они явились скорее жертвами, чем грешниками»[494]. Ловкое предисловие, за которым последовала прямая атака: близкие отношения Уайльда и Тейлора, знакомство с Сидни Мейвором, с братьями Паркер, ужины в отдельных кабинетах с каждым из названных молодых людей, в низком происхождении которых присяжные могли легко удостовериться; побледневший от страха во время этого ужасного чередования имен Уайльд совершил первую ошибку. Карсон спросил его о юном слуге Дугласа в Оксфорде:

— Вы когда-либо целовали его?

— Ах, боже мой! Конечно нет! Он чрезвычайно некрасив.

Можно представить себе, что было дальше, растерянность Уайльда, который увидел, как весь его мир рушится в пропасть. А Карсон неумолимо продолжал. Мистер Уайльд заявил, что находит в юности нечто восхитительное и очаровательное. Присяжные заседатели смогут по достоинству оценить

абсурдность этого заявления, когда через какое-то время увидят перед своими глазами одного за другим Вуда, Паркера, Скарфа, Конвэя, все они одного возраста, при этом один из них конюх, другой грум, третий — слуга у Тейлора, содержателя дома свиданий, которого Уайльд тоже приглашал поужинать. Адвокат маркиза настаивал: Тейлор поставлял Уайльду молодых людей; присяжные выслушали трогательную историю юного Паркера, который рассказал, как был беден, как не имел работы и как стал жертвой мистера Уайльда. И со всеми этими грумами, слугами и безработными юношами мистер Уайльд ужинал в самых шикарных ресторанах, обращаясь к каждому из них по имени, а затем принимал их в номерах «Савоя». «Можно лишь удивляться, — заявил в заключение Карсон, — не тому, что об этих фактах стало известно маркизу Куинсберри, а тому, почему господина Уайльда так долго терпели в лондонских салонах». В наступившей мертвой тишине председатель объявил, что заседание переносится на следующий день. Уайльд был подавлен и ожидал самого худшего: допроса маленьких «пантер» и вынесения обвинения Тейлору.

5 апреля заседание должно было начаться с допроса свидетелей, первым из которых значился Тейлор. Сэр Эдуард Кларк, который в начале заседания покинул здание суда, вернулся и попросил разрешить ему переговорить с Карсоном. После недолгого совещания он сделал заявление: «Господин Председатель, мы пришли к убеждению, что после вчерашнего заслушивания литературных доказательств защиты и допроса свидетелей, назначенного на сегодня, вы придете к заключению, что лорд Куинсберри имел все основания использовать слова, которые были написаны на карточке. Поэтому, с целью избежать продолжительных обсуждений, длинного допроса свидетелей и изложения фактов частного характера, мы приняли решение забрать наше обращение в суд и заявить о своем согласии с признанием обвиняемого „невиновным“». Такое заявление подразумевало признание виновности Уайльда, что и подчеркнул судья Коллинз, вынося приговор маркизу «невиновен» и добавив при этом: «Я хочу сказать суду, что нами установлены две вещи: то, что истец позировал, и то, что подзащитный действовал в интересах общественного блага». Оглашение приговора было встречено аплодисментами, которые и не пытался унять председатель суда. Публика единодушно приветствовала лорда Куинсберри, который под овации покинул зал суда.

Таким образом, Уайльд был признан виновным. Он вышел из Олд Бейли под улюлюканье толпы, убежденный в том, что его карьера кончена, а жизнь разбита. В этот миг он еще не

подозревал, с каким ожесточением бросится преследовать его викторианское общество, то самое, над которым он так долго властвовал. Он отправился к адвокату Хамфрису и вручил Россу чек на двести фунтов, который тот отвез в банк, чтобы обменять на наличные. Затем Уайльд заехал к себе в гостиницу, откуда написал Констанс: «Никому не разрешайте входить ко мне в спальню и в гостиную. Ни с кем, кроме Ваших друзей, не встречайтесь». Отдавая себе отчет в том, что ожидает его в будущем, он написал в газету «Ивнинг Ньюс»: «У меня не было бы никакой возможности доказать мою правоту на суде, не привлекая лорда Альфреда Дугласа в качестве свидетеля против своего отца. Лорд Альфред Дуглас стремился выступить свидетелем, но я не хотел позволить ему сделать это. Чтобы не ставить его в столь неловкое положение, я решил закончить это дело и принять на свои собственные плечи позор и бесчестье, которые могли бы стать следствием моего привлечения к суду лорда Куинсберри»[495]. Затем он отправился на Слоун-стрит в отель «Кэдогэн», где уже несколько недель жил Бози и, поджидая его, с жадностью поглощал рейнское вино, разбавленное сельтерской водой, в то время как Росс, Тернер и Харрис умоляли его немедленно покинуть Англию; все напрасно. Около пяти часов в гостиницу заявился репортер газеты «Дейли Мэйл» м-р Марлоу, который принес известие о том, что уже подписан ордер на его арест. При этом известии Оскар Уайльд сильно побледнел, но быстро взял себя в руки, приняв решение достойно встретить свою судьбу. Он нацарапал записку Бози, который поехал в палату общин повидаться с родственником, депутатом Уиндхемом, и выяснить, есть ли намерения дать этому делу дальнейший ход:. «Мой дорогой Бози, сегодня я буду ночевать в полицейском участке на Боу-стрит; мне сказали, что освобождение под залог невозможно. Попроси Перси, Джорджа Александера и Уоллера из „Хеймаркета“ похлопотать о поручительстве. Отправь также, пожалуйста, телеграмму Хамфрису с просьбой представлять мои интересы в суде… И приходи повидаться со мною»[496].

В шесть часов слуга постучал, пропустив вперед двух полицейских: «У нас ордер на ваш арест, мистер Уайльд, по обвинению в безнравственных действиях».

Уайльд с трудом поднялся, взял в руки экземпляр «Желтой книги», тем самым сделав ее запретной и предосудительной, и спокойно направился к выходу.

Такая поспешность объяснялась действиями маркиза; его адвокаты передали досье прокурору и добились немедленного постановления об аресте Уайльда.

Перед самым появлением Уайльда инспектор Скотленд-Ярда Брокуэлл доставил в участок двух молодых людей из списка свидетелей, которые должны были предстать перед судом, и это дает основание предположить, что обоих принудили предстать перед судом для обвинения Уайльда с помощью угроз. Кстати, сразу после возвращения в гостиницу он получил предупреждение от Куинсберри: «Если наша страна позволит Вам сбежать, тем лучше для страны. Но если Вы заберете с собою моего сына, я буду преследовать Вас повсюду и убью Вас». Имя Оскара Уайльда исчезло с афиш «Сент-Джеймса» и «Хеймаркета», однако «Идеальный муж» продолжал идти до 8 апреля, а «Как важно быть серьезным» оставался в репертуаре до 8 мая.

6 апреля 1895 года Оскару Уайльду было предъявлено обвинение в покушении на нарушение 11-го раздела закона от 1885 года. Его поместили в тюрьму Холлоуэй. С самого начала правосудие продемонстрировало свою безжалостность: судья отказал в освобождении под залог, запретил передать ему сменное белье, а в тюрьме ему отвели самую худшую камеру. Имя Оскар стало оскорблением; кучеры фиакров презрительно называли так молоденьких посыльных и мальчиков-телеграфистов. Английская пресса пришла в неистовство. Поверенный Куинсберри уточнял, что обвинения, которые в окончательном виде предъявят Уайльду, будут зависеть от свидетельских показаний, которые, среди прочих, должны будут дать в суде братья Паркер, Альфред Тейлор, Шелли, которых Уайльд приглашал в отдельные кабинеты в ресторане «Кеттнерс». Не желая предвосхищать ход судебных заседаний, газеты уточняли: «Исключительно важная задача заключается в том, чтобы показать, что люди, совершающие подобного рода правонарушения, рано или поздно предстанут перед правосудием».

Начиная с 5 апреля, французская пресса, публика, сообщества интеллектуалов и светские круги, которые прежде приветствовали каждый приезд Уайльда в Париж, принялись жадно следить за развитием этого дела, которое резко высветило нравы викторианской Англии. Генри Бауэр писал: «Знаменитый гуманист Оскар Уайльд, признанный во многих столицах мира, разыгрывает сегодня комедию для своей неблагодарной родины Англии и для всей пристально следящей за ним Европы»[497]. В печати появилось краткое сообщение о причинах ссоры и характеристики противников: «Оскар Уайльд, эстет с зеленой гвоздикой, самый известный современный английский драматург, желанный гость лондонских и парижских салонов, наконец, тот самый, кому мы обязаны модой на лилии и подсолнухи; маркиз

Куинсберри, взрывной, как порох, заядлый боксер, представляющий опасность как для политических противников, так и для членов собственной семьи». Очевидно, что бой вышел неравным, но этим фактом воспользовались для того, чтобы с удовольствием подчеркнуть мелочность английского правосудия и выразить восхищение тем, как Уайльд, подобно Байрону, бросил вызов всей Англии.

На следующий день после ареста волнение усилилось; возникло опасение, что Уайльду грозит пожизненное тюремное заключение. Журналисты во главе с Анри Фукье не уставали восторгаться «шумным скандалом, разразившимся в Англии», сочувствуя «доброму мистеру Оскару Уайльду», которому предстояло одному расплачиваться за всех и чья расплата должна была быть тем более суровой, что «английское общество, то самое общество, которое отравило жизнь лорду Байрону (…), является, вероятнее всего, самым развращенным во всей Европе». Можно понять, почему Франция, которой едва удалось погасить панамский скандал, замять шумиху с наградами и которая только что выслала капитана Дрейфуса на остров Дьявола, испытывала потребность высечь викторианскую Англию, кичащуюся своей респектабельностью и колониальной мощью! Пресса публиковала трактаты на тему гомосексуализма, вспомнив, что адвокат Уайльда сэр Эдуард Кларк участвовал в бракоразводном процессе леди Расселл, чей муж обвинялся в том же преступлении, что и Оскар Уайльд. Газета «Ле Голуа» так описывала атмосферу, царившую в Лондоне: «Лондон пребывает в невыразимом смятении в результате судебного разбирательства по делу об обвинении в клевете, которое предпринял известный писатель мистер Оскар Уайльд против маркиза Куинсберри», не забывая при этом напомнить о наклонностях Уайльда, аналогичных наклонностям лорда Роузбери. Скандал затронул все слои лондонского общества, начиная со знати и заканчивая содержателями публичных домов. Кроме того, как было не обратить внимание на то, насколько изменилась Англия за шестидесятилетний период правления целомудренной королевы Виктории, если маркиз мог позволить себе письменно оскорбить премьер-министра, а известный писатель — проводить время в отдельных кабинетах «Савоя» и публичных домах для гомосексуалистов.

В то время как Франция всячески изобличала низость своей ненавистной соперницы, Оскар Уайльд, сменивший апартаменты в «Савое» на мрачную тюремную камеру, написал отчаянное письмо Леверсонам: «Дорогие Сфинкс и Эрнест, я пишу Вам из тюрьмы, куда дошли до меня Ваши добрые слова; они утешили

меня, хотя и вызвали, в моем одиночестве, слезы. По-настоящему-то я здесь не одинок. Рядом со мной всегда стоит некий стройный и золотоволосый ангел. Его присутствие погружает меня в тень, Он движется в мрачном сумраке, словно белый цветок. С каким грохотом все рухнуло! Зачем сивилла напророчила хороший исход? Я думал только о том, чтобы защитить его от отца; ни о чем другом и не помышлял, а теперь…»[498]. Мору Эйди и Робби, которым он написал, чтобы они поблагодарили от его имени всех, кто продолжал интересоваться его судьбой, Уайльд вновь подтвердил свою безумную страсть: «Бози — такое чудо! Он занимает все мои мысли. Я виделся с ним вчера. Тут ко мне по-своему добры, но у меня нет книг, сигарет, и я очень плохо сплю»[499]. Он попросил Робби сходить на Тайт-стрит и забрать оттуда рукопись «Святой блудницы». Робби передаст ее Аде Леверсон, которая будет хранить рукопись до 1897 года и вернет Уайльду, зато Уайльд тотчас же оставит рукопись в фиакре: «Лучше места для нее и не придумать!» Но самые глубокие чувства, которые охватили его, когда он наконец отдал себе отчет в том, что находится в тюрьме и что его ожидает суд, Оскар доверил актрисе миссис Бернард Бир: «Я леденею от ужаса. Жизнь, наконец, стала для меня такой же реальной, как сон. Я не знаю, какие еще мерзкие существа приползут ко мне, чтобы уличить меня»[500].

Первое заседание суда началось 6 апреля. Первым свидетелем был Чарльз Паркер. Пока он давал показания, в зал привели Альфреда Тейлора, обвиняемого в соучастии, и посадили рядом с Уайльдом на скамью подсудимых. Свидетель подтвердил факты: «Савой», шампанское, цыпленок. Хозяйка дома 13 по Литтл Колледж-стрит заявила, что Тейлор снимал у нее квартиру, в которой принимал многочисленных гостей; тем не менее сама она хоть и слышала о Уайльде, никогда его там не видела. Это заявление явно произвело впечатление на присяжных. Альфред Вуд поведал о своих отношениях с Уайльдом и объяснил, что уехал в Соединенные Штаты, чтобы скрыться от завсегдатаев заведения на Литтл Колледж-стрит. Он ни слова не сказал о том, как неоднократно шантажировал обвиняемого. Заседание было объявлено закрытым в тот момент, когда начал давать показания Сидни Мейвор. Следующее заседание должно было состояться через две недели, а обвиняемому вновь было отказано в освобождении под залог, что совершенно противоречило существующей практике и ставило под угрозу полноценность подготовки защиты. Судья сэр Джон Бридж оказался столь же пристрастным, как публика и пресса, которые с удовольствием смаковали известие о предъявлении обвинения Оскару Уайльду.

Вот как одна из вечерних газет описывала настрой общественного мнения в день открытия судебного разбирательства: «Лорд Куинсберри празднует свой триумф, а мистер Оскар Уайльд окончательно пропал. Теперь ему впору поменяться местами с лордом Куинсберри и самому сесть на скамью подсудимых. Создается впечатление, что он проиллюстрировал собственной жизнью красоту и подлинность своих воззрений (…) Адвокаты обвинения, судья и присяжные заседатели заслуживают благодарности публики за то, что так быстро закончили судебное разбирательство и избежали тем самым обнародования несомненно возмутительных подробностей»[501]. Речь шла о первом процессе, который завершился тем, что Уайльд забрал свое заявление. Трудно сказать, явилось ли это следствием развернувшихся событий или простым совпадением, но в апреле 1895 года большая часть представителей лондонского высшего общества внезапно решила предпочесть солнечную погоду средиземноморского побережья гибельному климату Лондона. Известен даже случай, когда один знаменитый актер просто съездил из Лондона в Париж — с единственной целью не отстать от других.

Нет ничего удивительного в том, что чрезвычайная суровость судьи привела к мгновенному истощению средств Уайльда, усилив тем самым нападки кредиторов. Фрэнк Харрис, навестивший его в тюрьме Холлоуэй, нашел Уайльда убитым и пребывающим в смертельной тревоге по поводу дальнейшего развития событий. Вместе с тем его несколько успокаивало понимание, выказываемое директором тюрьмы, который разрешал ему писать бесчисленные письма, а также доброжелательность охранников, проявлявших гораздо больше сочувствия, чем судьи или журналисты, которым только дай растоптать знаменитого писателя, любимца салонов, внезапно превратившегося в растлителя молодежи, осужденного еще до суда на основании текстов, которых он не писал, на основании произведений искусства, заключавших в себе определенную эстетику, которую сочли аморальной те самые филистеры, которые встречали аплодисментами постановки «Идеального мужа» и «Как важно быть серьезным».

Лондонский скандал привел к самым неожиданным последствиям в Париже. Жюль Юре выступил 13 апреля на страницах газеты «Фигаро литтерэр»: «Со всех сторон нас спрашивают, с кем же встречался мистер Оскар Уайльд, когда приезжал в Париж?» Далее он очень тенденциозно дал понять, что может предоставить информацию только о литературных знакомствах Уайльда, и среди его самых близких друзей назвал

Жана Лоррэна, Катюля Мендеса, Марселя Швоба… и «других утонченных писателей». Катюль Мендес потребовал опровержения, на что Жюль Юре ответил 18 апреля в «Эко де Пари»: «В моей скромной рубрике субботних писем я, кажется, говорил только о литературных отношениях, которые установились между м-ром Оскаром Уайльдом и Вами. Если же Вам нравится воспринимать их в более широком смысле, то я не стану опровергать общепринятое мнение, обоснованность которого известна Вам гораздо более, чем мне». Дуэль стала неизбежной. Она состоялась 19 апреля, и Катюль Мендес был на ней ранен.

В тот же самый день Уайльду предстояла другая дуэль. В ожидании ее он написал Шерарду, поблагодарив его за сочувственные приветы от Сары Бернар, Гонкура, Луиса, Мореаса… и попросил предложить Саре Бернар выкупить у него за четыреста фунтов (десять тысяч французских франков) права на «Саломею». Шерард дважды предложил это Саре Бернар, и оба раза она отвечала вежливым отказом. «Что до меня, то я болен — страдаю апатией. Мало-помалу из меня уходит жизнь. И ничто, кроме ежедневных визитов Альфреда Дугласа, не возвращает меня к жизни, но даже его я вижу в унизительных и трагических обстоятельствах (…) На Сару, наверное, надежды нет, но твоя рыцарская дружба дороже всех денег на свете»[502]. Оскар продолжал верить в дружбу Леверсонов, которые делали все возможное, чтобы добиться его освобождения под залог, и вместе с тем приходил в растерянность от действий собственного брата, который писал ему чудовищные письма: «Мой бедный брат пишет мне, что защищает меня перед всем Лондоном; мой бедный, дорогой брат, он способен скомпрометировать даже паровую машину»[503].

19 апреля 1895 года на заседании суда председательствовал Джон Бридж. Один за другим давали показания свидетели, суду были представлены копии счетов Уайльда и Тейлора. Затем было оглашено ужасное обвинительное заключение против Оскара Уайльда и его сообщника Тейлора. По завершении этой процедуры Уайльд произнес изменившимся до неузнаваемости голосом, что на данный момент у него нет никаких заявлений. Адвокат Тейлора м-р Ньютон потребовал, чтобы суд тщательно изучил личности свидетелей; в его требовании было отказано, так же как и в очередной просьбе адвоката Уайльда об освобождении под залог. 24 апреля 1895 года судебные исполнители заставили открыть двери дома 16 по Тайт-стрит. По настоянию кредиторов, которые знали, что Уайльд остался без средств, суд вынес

постановление об аресте его имущества. Арест имущества превратился в грабеж: портрет Сары Бернар кисти Бастьен-Лепажа, полотна Уистлера, портрет Пеннингтона — к счастью, спасенный Леверсоном — оригинальные издания с авторскими посвящениями, фарфоровая посуда, мебель, — за все едва удалось выручить четыреста фунтов! Дуглас даже не приехал на торги, чтобы попытаться хоть что-то спасти.

Заседание возобновилось 26 апреля под председательством судьи Чарльза; зал был набит до отказа. Уайльда защищали м-р Хамфрис и сэр Эдуард Кларк. Обвинительное заключение содержало перечень, включавший двадцать пять правонарушений плюс преступное сообщничество с Тейлором. Обвиняемые не признавали себя виновными, а их защита строила свою тактику на отводе свидетелей обвинения по причине их общеизвестной сомнительной нравственности, не говоря уж о пособничестве полиции. По иронии судьбы — в то время, как Уайльд уже в течение более чем двух недель подвергался остракизму со стороны общественного мнения и прессы, обвинение обратилось к присяжным с призывом «изгнать из своих мыслей все, что они могли ранее услышать или прочесть по данному делу, и подойти к вынесению вердикта с мыслями, исполненными чувства справедливости и непредвзятости»[504]. С тем же успехом их можно было просить оставаться глухими и слепыми, как об этом смело написал Бози в письме, опубликованном в одной из вечерних газет: «Я утверждаю, что газеты вынесли приговор Оскару Уайльду еще до того, как суд присяжных огласил свое решение, что его дело было изначально бесповоротно проиграно в глазах публики, которая выделила из своей среды присяжных заседателей для участия в этом судилище, что он был практически брошен на растерзание трусливой и злобной толпы». Затем мистер Гилл вновь взял слово и уточнил, что прокуратура сочла необходимым вмешаться, потому что установленные факты касаются совсем молодых юношей, которых Уайльду поставлял Тейлор, содействуя тем самым совершению «чрезвычайно непристойных» действий.

В зал вновь вызвали свидетелей. Чарльз Паркер признал, что шантажировал Уайльда и получил за это от Вуда и Аллена тридцать фунтов. Уильям Паркер заявил, что лишь однажды встречался с Уайльдом в ресторане. Все свидетели, посещавшие Литтл Колледж-стрит, утверждали, что никогда не встречались там с Уайльдом. Заседание вновь было перенесено на другой день; на лицах присяжных можно было прочесть озадаченность: они видели, как обвинение рушилось прямо на глазах; разочарованная публика бесшумно покидала зал суда.

На следующий день вопросы Альфреду Вуду задавал сэр Эдуард Кларк. Вуд подтвердил, что получил от Уайльда тридцать фунтов для того, чтобы уехать в Америку, и признал, что шантажировал другого «клиента», разделив с Алленом полученные от него триста фунтов. Затем наступил черед Фреда Аткинса, который рассказал, что ездил с Уайльдом в Париж в качестве личного секретаря, но что они не совершали никаких непристойных действий. Эдуард Шелли, единственный заслуживающий уважения свидетель, подтвердил, что познакомился с Уайльдом у издателя Джона Лэйна и только ужинал с ним в «Альбермэйле». И наконец, Сидни Мейвор изменил свои предыдущие показания, заявив, что они с Уайльдом никогда не совершали никаких непристойных действий. Надо признать, что за несколько дней до этого заседания Мейвор встречался с Дугласом, который попросил его изменить показания под предлогом того, что он, как и другие свидетели, давал их под угрозой полиции: «Как ты можешь свидетельствовать против Оскара?» Мейвор испуганно оглянулся по сторонам и прошептал: «Но что же я могу сделать? Я не осмелюсь отказаться теперь от моих показаний после того, как полиция вырвала их у меня…», — так написал потом Бози в своих мемуарах. И все же Мейвор, изменив показания, заявил, что не имел с Уайльдом ничего, кроме дружеских отношений.

30 апреля прокурор снял обвинение в преступном сообщничестве Тейлора и Уайльда, а сэр Эдуард Кларк настаивал на немедленном вынесении постановления о невиновности последнего по этому пункту обвинения. Затем он обрушился на прессу за то, что своим отношением к процессу она способна спровоцировать вынесение предвзятого решения суда и нанести вред интересам его клиента. Он настаивал на снятии обвинения в сговоре и поселил сомнения в умах присяжных заседателей, которые своими ушами слышали, как Шелли, Мейвор, Уильям Паркер утверждали, что не совершали никаких непристойных действий, и которые поняли, что остальные свидетели являются шантажистами, так что их свидетельские показания сами по себе более чем подозрительны. И наконец, адвокат потребовал вынесения оправдательного приговора для «одного из наших самых знаменитых литературных деятелей». Он обернулся к своему клиенту с победным видом, как бы говоря: никаких доказательств, гнусная кампания в прессе, политические последствия, угроза возникновения необходимости заминать множество скандалов, перемена настроения публики — следует ожидать оправдания.

Накануне оглашения приговора Оскар Уайльд уверял Бози в

своей вечной любви, которая одна помогала ему противостой ять ужасам тюремного заключения и неминуемого бесчестья. Он умолял его покинуть Англию и уехать в Италию, чтобы спастись от подобной судьбы. По совету адвокатов, которые считали, что его присутствие может оказаться компрометирующим, Бози к этому времени действительно уехал. «Я пишу тебе письмо, испытывая страшные страдания; этот бесконечный день, проведенный в суде, оставил меня совершенно без сил»[505]. Это письмо вызывает тем более острую жалость, что написано в тюрьме Холлоуэй, где Уайльд находился уже две недели, думая только о том, чтобы спасти человека, который толкнул его на этот безумный процесс.

Неожиданно доселе безучастный к этой трагедии Париж начал над ней потешаться. Появились водевили, высмеивающие известный всем персонаж, и публика хохотала над постановками, вроде «Закат Оскара» или «Оскар, или Опасности свиданий тет-а-тет с эстетом», которые шли в мюзик-холлах на бульварах. Один лишь Анри Боэр оставался верен автору «Саломеи» и возмущался клеветой, которая обрушилась на голову того, кому всего несколько месяцев назад курили фимиам все парижские литературные салоны и газеты. Затем он перешел к теме гомосексуализма в Англии — которого, по его мнению, не было во Франции! — и так объяснил причины его возникновения: «В стыдливом Альбионе каждая незаконная связь считается пороком, а в течение последних пятнадцати лет двое самых уважаемых политических деятелей, сэр Чарльз Дилк и Парнелл, были удалены с политической арены по обвинению в адюльтере (…) Откровенно говоря, лично я предпочитаю компанию содержательного и умного собеседника обществу глупца, будь он хоть самым добродетельным в мире»[506].

Шерард предпринял тщетные попытки заручиться рядом подписей, в том числе подписью Эдмона де Гонкура под петицией к королеве Виктории в защиту несчастного друга. В семействе Доде веселились; Леон, считавший себя литератором, смешил окружающих шуткой, в которой грубость соперничала с глупостью: «Ах, этот! Наверное, его мать, еще глядя на свое дитя в люльке, подумывала: Уж этот-то сумеет перевернуться!»[507] Однако забавляясь, он как будто забывал о том, что в Лондоне произведениям Уайльда устроили аутодафе, что его фотографии, выставленные в витринах книжных лавок, рвали на части, а его мебель разбазаривали за гроши.

Правда, французская пресса не оставила без внимания политическую сторону процесса, отмечая, что уже начато расследование по делу лорда Роузбери, выдано два ордера на

арест известных деятелей, оказавшихся замешанными в этом скандале, и что в действительности Оскар Уайльд оказался в центре заговора гомосексуалистов, который разворошил маркиз Куинсберри, кстати, сам ведущий распутный образ жизни, впрочем, как и все его сыновья, младшего из которых обвиняли в помрачении рассудка, поскольку он хотел жениться на Лоретте Аддис, официантке из бара! Постепенно сарказм уступал место жалости, особенно когда стало известно, как осунувшегося и изнуренного Уайльда мучили скабрезными деталями к неописуемому удовлетворению публики и маркиза, не пропускавшего ни одного заседания.

В последний раз суд собрался 1 мая 1895 года. Председатель подвел итог состоявшимся слушаниям. Он подтвердил снятие обвинения в преступном сообщничестве и зашел настолько далеко, что обратил внимание присяжных, что свидетели обвинения «сами оказались не только сообщниками (…), но (…) и профессиональными шантажистами». Замешательство присяжных стало тем более очевидным, что Фред Аткинс был уличен в клятвопреступлении и лжесвидетельстве, и судья недвусмысленно указал на необходимость проверки показаний сообщников, а также на то, что присяжным следует учитывать, что личности всех этих молодых людей более чем сомнительны. Наконец в заключение судья, речь которого была дословно процитирована в газете «Таймс», попросил присяжных не принимать во внимание при вынесении решения произведения и письма Уайльда, которые сам автор с готовностью передал суду. В 13 часов 35 минут поколебленные в своей уверенности присяжные удалились для совещания. Они вернулись в зал суда только в 17 часов 15 минут и вынуждены были констатировать, что их мнения по основному корпусу обвинений разделились; по обвинению в заговоре присяжные вынесли вердикт «невиновен».

Куинсберри пришел в бешенство и с угрозами покинул здание суда. Оскар Уайльд, похоже, уже не отдавал себе отчет в том, что дело идет к оправдательному приговору. Он вернулся в камеру. Его адвокат подал еще одну просьбу об освобождении под залог, и ему вновь отказали. Наконец, 7 мая было получено разрешение на освобождение под залог в размере пяти тысяч фунтов, которые внесли лорд Дуглас Хоуик, чем вызвал непередаваемый гнев маркиза, и преподобный Стюарт Хедлэм, восхищенный мужеством Уайльда во время процесса и возмущенный бесстыдной кампанией в прессе. Однако пристрастность толпы достигла таких пределов, что этот великодушный поступок стоил преподобному угроз быть забросанным камнями со стороны банды одержимых молодчиков,

собравшихся перед его домом в Блумсбери.

Сразу же после освобождения из-под стражи Уайльд, преследуемый боксерами Куинсберри, тщетно попытался найти гостиницу, чтобы переночевать, и получил отказ у нескольких владельцев гостиниц, которые сочли его нежелательным постояльцем; он вынужден попросить приюта у своего брата, но в конце концов нашел прибежище у Леверсонов в доме 2 по Кортфилд-гарденз, где к нему вернулся вкус к жизни. На другой день Фрэнк Харрис повез его обедать. Уайльд опасался быть узнанным в привычных ему ресторанах и предпочел более отдаленное от центра города заведение на Грейт Портланд-стрит. Здесь он признался Фрэнку Харрису в том, что свидетельство прислуги из «Савоя» о том, что его якобы видели лежащим в постели вместе с молодым человеком, не имеет к нему никакого отношения: «Свидетельство горничной ошибочно. Они ошиблись, Фрэнк. Тогда в „Савое“ был вовсе не я. Это был Бози Дуглас. Я никогда бы не осмелился»[508]. Ошеломленный Харрис умолял его сообщить об этом адвокату, так как эти сведения могли полностью разрушить обвинение и переложить вину на Бози Дугласа. Но Уайльд в очередной раз отказался скомпрометировать Бози и, несмотря на настоятельные уговоры друзей и Констанс, отверг идею покинуть Англию, прежде чем возобновится его судебный процесс. Он знал, что Бози находился в Париже; он получил от него письмо, написанное в «Отель де дё Монд», расположенном на авеню Опера, где Дуглас жил из милости владельца гостиницы, причем делил свой номер с Чарльзом Хики!

А процесс тем временем продолжался, и на этот раз главным обвинителем должен был выступить сэр Френсис Локвуд. Даже Карсон, возмущенный настойчивостью правосудия, которое, несмотря на крайнюю сдержанность присяжных, стремилось любой ценой добиться вынесения максимально строгого приговора, счел своим долгом вмешаться. Он обратился к прокурору Локвуду:

— Неужели вы не можете отпустить его? Он и так настрадался.

— Я бы рад, но мы не в силах этого сделать, поскольку как в Англии, так и за границей немедленно скажут, что мы были вынуждены отказаться от дальнейшего разбирательства по этому делу из-за имен тех лиц, которых обвиняет в своих письмах Куинсберри.

При этом он умолчал о том, что поставщик Тейлора Морис Шваб приходился ему сводным племянником.

Тем временем Оскар, словно забыв об ожидающей его участи,

продолжал из своей комнаты в доме Леверсонов кричать о любви к Бози и всячески превозносить его, делая особое ударение на чистоте их взаимной страсти, помогающей ему переживать те ужасные мгновения, которые выпали теперь на его долю. Во время этого антракта он не прекращал засыпать его письмами, сравнивая со всей земною красотой, и петь гимны их вечной и бесцельной любви. Бози — и нежный цветок, и луч солнца, и прелестнейший из всех мальчиков. К счастью, ни одно из этих многочисленных писем, написанных с конца апреля и до вынесения приговора, не попало в чьи-либо посторонние руки. Можно представить, какой разразился бы скандал, если бы в зале суда зачитали отрывки, в которых Уайльд доходил почти до безумия: «Сейчас я думаю о тебе, как о мальчике с золотыми волосами и сердцем Христа в груди (…) Моя прелестная роза, моя лилейная лилия (…) Ты будешь со мною в моем одиночестве (…) Для меня ты весь, от шелковистых волос до изящных ступней, — воплощенное совершенство…»

Процесс возобновился 21 мая, когда на сцене театра «Сент-Джеймс» шел «Триумф обывателей». Альфреду Паркеру было предъявлено обвинение в «грубой непристойности» и сводничестве. Вместе с тем присяжные признали его «невиновным» по обвинению в поставке партнеров для Уайльда. Затем было объявлено, что суд не располагает доказательствами непристойных действий, совершенных Уайльдом и Ч. Паркером. Адвокат Уайльда немедленно констатировал, что это уже второй случай, когда присяжные разошлись во мнениях по вопросу о виновности его клиента. Но даже это не помешало тому, что 22 мая Оскар Уайльд вновь предстал перед уголовным судом и вновь — вопреки всякой логике — был обвинен в совершении непристойных действий с Вудом, Шелли, Паркером… тогда как за все время предыдущего разбирательства суду не удалось получить ни единого доказательства. Тем не менее на этом заседании Альфреду Тейлору был вынесен обвинительный приговор; вся пресса сделала вывод о виновности Уайльда, в то время как его процесс еще даже не начался. Сразу после оглашения приговора Тейлору Куинсберри, который не простил своему сыну Дугласу участие в уплате залога, написал его матери: «Должен поздравить самого себя, если уж не с появлением Перси, то с вердиктом присяжных. Перси похож на свежевырытый труп. Опасаюсь безумия поцелуев. Тейлор виновен. Завтра наступит очередь Уайльда»[509].

Во время заседания 22 мая свидетельские показания Шелли не позволили доказать обвинение в содомии; показания же Вуда, напротив, подтвердили факт шантажа, в котором он участвовал

вместе с Алленом и Паркером.

Во Франции, где никто не сомневался в том, что окончательный приговор будет оправдательным, вовсю комментировали перипетии этого бесконечного процесса, на котором лично присутствовал Альфонс Доде, смешавшись с толпой, до отказа заполнившей зал суда, подобно тому, как раньше она заполняла зрительные залы театров, где шли пьесы обвиняемого. «Громкий процесс Оскара Уайльда, — писал Е. Лепеллетье, — еще не закончен. Необходимо, чтобы обвиняемый сидел в тюрьме и дожидался, пока присяжные придут к единогласному решению. Целомудренная Англия в своем стремлении доказать его чудовищность, равно как и его исключительность, — забывая при этом своих телеграфистов, а также множество аристократических имен, которые на процессе были обойдены молчанием, — так неистово набросилась на этого эстета, что рискует в конце концов вызвать нашу к нему снисходительность»[510]. Неожиданно на суде случился эпизод, который привел к последнему вдохновенному публичному выступлению Оскара Уайльда. Локвуд, невзирая на предыдущие замечания судьи о том, что для принятия решения не следует принимать во внимание ссылки на литературные произведения, начал допрос обвиняемого по стихотворению «Две Любви», опубликованному Дугласом в конце 1892 года, зачитав последние строки:

> …Я — истинная Любовь, я наполняю
> Сердца юношей и девушек взаимной страстью.
> На что другая Любовь во вздохом отвечает: Да свершится воля твоя. Я — Любовь, не смеющая назвать себя вслух.

Оживившись при этом неожиданном напоминании о Бози, Уайльд, сбросив оцепенение, поднялся и победно ответил: «Любовь, не смеющая назвать себя вслух, — речь идет, разумеется, о нашем веке, — это глубокое чувство мужчины, старшего годами, к младшему, чувство Давида к Ионафану, чувство, составляющее основу философии Платона, заключенное в сонетах Микеланджело и Шекспира. Это глубокое духовное чувство, столь же чистое, сколь совершенное. Оно порождает великие произведения искусства, такие, как творения Микеланджело и Шекспира; и эти два мои письма — произведения искусства, до такой степени непонятые в наше время, что вот я стою теперь перед судом. Это прекрасное чувство, чувство возвышенное, благороднейшее. Это чувство интеллектуальное, и возникает оно тогда, когда старший наделен

интеллектом, а младшему еще присуща радость и лучезарная надежда жизни. Мир этого не понимает, мир бесчестит и пригвождает к позорному столбу все, что с этим связано».

Умиротворенный, он вновь опустился на скамью. С этого момента поведение Уайльда изменилось, как если бы выступление позволило ему осознать всю глубину роли покаянной жертвы, которую ему осталось сыграть. На какое-то мгновение публика, словно охваченная магией слова, безмолвно замерла, затем раздались аплодисменты. Судье с трудом удалось восстановить тишину, и в конце концов он прервал заседание.

23 мая судья сделал заявление о том, что не видит ничего, что не соответствовало бы достойным отношениям между Шелли и Уайльдом. Таким образом, к этому моменту, после полуторамесячного разбирательства, в ходе которого предыдущий состав присяжных не смог прийти к единодушному решению, подсудимый был оправдан по обвинению в преступном сообщничестве с Тейлором, оправдан по единственному, остававшемуся против него обвинению — связь с Шелли, — и, кроме того, его адвокат доказал, что все свидетели обвинения, выступавшие в суде, часть из которых отказалась от предыдущих показаний, являются известными шантажистами. Таков был смысл заключительной речи сэра Эдуарда Кларка, которую он произнес 24 мая, завершив ее проникновенным призывом оправдать «достойного литератора и блестящего ирландца, способного еще более обогатить нашу литературу и театральное искусство». Публика встретила речь защитника аплодисментами. Но происшествие, случившееся на следующий день, повлекло за собой окончательное поражение Уайльда.

Глава присяжных попросил слова:

— Разве не был отдан приказ об аресте лорда Альфреда Дугласа по обвинению в интимных отношениях с мистером Уайльдом?

— Не думаю, мне об этом ничего не известно. Чтобы был отдан приказ об аресте, нужны доказательства совершения наказуемых действий. Писем, говорящих об отношениях такого рода, недостаточно.

— Но если из этих писем можно сделать вывод о какой-либо вине, — настаивал глава присяжных, — ее в равной мере должен разделить лорд Альфред Дуглас.

Этот вывод напрашивался сам собой. Судья почувствовал опасность такого поворота, который мог повлечь за собой вызов в суд Бози и оглашение текста писем, содержание которых окажется компрометирующим для немалого числа высокопоставленных особ. Он заявил, что это к делу не относится

и что присяжным остается вынести вердикт о виновности подсудимого. В этот момент прокурор Локвуд, который, со своей стороны, опасался признаний, которые мог сделать Бози о своих отношениях с его племянником Швабом, поспешно попросил слова и произнес ужасную обвинительную речь, в которой обвинил Уайльда в связях со сбродом, которому платил Тейлор, затем вернулся к эпизоду, связанному с гостиницей «Савой» и заявлениям дежурных по этажу, и заклеймил подсудимого за скандальное поведение в ресторанах и в доме у Тейлора. В течение всего этого времени Уайльд сидел как зачарованный, каковым в действительности и был, в преддверии невероятной судьбы, выставленной на всеобщее обозрение и ставшей с этого момента для него очевидной. Позже в «De Profundis» он написал: «Вспоминаю, как, сидя на скамье подсудимых во время последнего заседания суда, я слушал ужасные обвинения, которые бросал мне Локвуд — в этом было нечто тацитовское, это было похоже на строки из Данте, на обличительную речь Савонаролы против папства в Риме, — и вдруг мне пришло в голову: как было бы прекрасно, если бы я сам говорил это о себе!»[511]

В половине четвертого присяжные удались на совещание и вернулись через два часа, чтобы задать судье один вопрос, затем вновь на несколько минут ушли и наконец огласили вердикт: Оскар Уайльд признан виновным по всем пунктам обвинения, за исключением того, который касается его отношений с Эдуардом Шелли. Часть публики встретила это решение криками: «Как вам не стыдно!», однако эти отдельные голоса быстро утонули в шумных восклицаниях сторонников Куинсберри. Председатель суда взял слово: «Никогда раньше мне не доводилось быть судьей на столь отвратительном деле. Мне трудно подавить чувства, которые пробуждаются в душе каждого уважающего себя человека перед лицом фактов, обнаруженных в ходе этих двух ужасных процессов. В этих условиях все ждут от меня самого сурового приговора, допускаемого нашим правосудием. И приговор этот, по моему мнению, будет слишком мягким». Приговор гласил: два года исправительных работ. Охранники вынуждены были подхватить Уайльда, который чуть не упал в обморок; он покинул скамью подсудимых под улюлюканье толпы; на улице ликовали проститутки, давшие полиции показания о темных делах, творившихся в доме 13 по Литтл Колледж-стрит. С интервалом всего в несколько месяцев правосудие осудило, не имея доказательств, во имя некой высокой идеи, капитана Альфреда Дрейфуса и писателя Оскара Уайльда. На следующий день французские газеты сообщили о вынесении обвинительного

приговора, а несколько дней спустя опубликовали фотографии острова Дьявола и «хижины Дрейфуса». Газетчики не забывали подчеркнуть, что этот процесс представлялся логическим завершением судебных разбирательств, прошедших в Англии одно за другим в течение всего XIX века: дело епископа Глогера, маркиза Лондондерри, лорда Артура Сомерсета… Лондон — Вавилон XIX века?

Развязка процесса не могла оставить безучастным Андре Жида. Начиная с 17 мая он просил свою мать посылать ему все вырезки из газет, имевшие отношение к этому делу: он даже отказался от плана похищения юного Атмана и сделал несколько осторожных шагов к своей кузине Мадлен, которая писала ему: «Ты слышал о приговоре, который вынесли этим двум англичанам? Я посылаю тебе статью из газеты на эту тему. Если детали соответствуют действительности, то наказание в виде исправительных работ было бы уместным добавить к ужасам „Мертвого дома“[512]. Не правда ли, это ужасно?» Жид попытался навести справки о Дугласе… и 8 октября 1895 года женился на Мадлен.

Глава VI.ИЗ ОДНОЙ ТЮРЬМЫ В ДРУГУЮ

Кто знает, прав или не прав
Земных Законов Свод,
Мы знали только, что в тюрьме
Кирпичный свод гнетет И каждый день ползет, как год, Как бесконечный год[513].

27 мая 1895 года Оскар Уайльд, закованный в наручники, сел в тюремный фургон, который доставил его в тюрьму Пентонвилль, расположенную в северной части Лондона. Жизнь для него остановилась.

А в Лондоне она продолжалась, и публика по-прежнему спешила в театр посмотреть на Сару Бернар, которая играла в паре с Люсьеном Гитри в «Гризмонде» Викторьена Сарду, а Дузе по-прежнему околдовывала Армана в «Даме с камелиями». Лорд Куинсберри пригласил Чарльза Брукфилда и кое-кого из своих боксеров на ужин в «Кафе Рояль» отпраздновать победу. Трудно сказать, повлиял ли скандал на политическую ситуацию, но позиция правительства лорда Роузбери стала более уязвимой; 15 июня он оказался в меньшинстве, а 23 июня подал королеве Виктории прошение об отставке.

Что же до Пентонвилля, то предполагалось, что внутреннее обустройство этой тюрьмы, а также строгость ее дисциплинарного режима будут служить образцом для других исправительных заведений. Пятьсот двадцать камер вытянулись вдоль четырех коридоров, сходящихся в центре зала, наподобие спиц у колеса. Лестницы, парапеты, железный пол, огромная металлическая сеть, натянутая между этажами для того, чтобы воспрепятствовать потенциальным самоубийцам, — вот каков был этот пугающий мир. В то время в английских тюрьмах были в ходу телесные наказания, например кнутом, хотя существовали инструкции, направленные на искоренение подобной практики; было здесь и знаменитое колесо[514], которое не просто использовалось, но и являлось неотъемлемой частью исправительных работ. Но самым тяжелым, безусловно, оставались изоляция и монотонность, царившие в этом мире, однообразие в одежде, пище, работе, жизнь по расписанию. Такой строгий тюремный распорядок, выступления против которого начались еще в 1895 году, был отменен только в 1898-м. А до этого решение вопросов о наказании относилось к компетенции очень недалекого начальника тюрьмы, чья глупость, как заключил Уайльд,

объяснялась полным отсутствием воображения. Вот как описал свои впечатления Бернард Шоу: «Одеждой считаются лохмотья, надеваемые по очереди заключенными (…) камера, пища, койка намеренно делаются настолько неудобными, что превращаются скорее в орудия пытки, а из вентиляции и от отхожих мест несет блевотиной»[515].

И хотя современные тюрьмы уже не представляли собой кромешный ад, как это описано у доктора Джонсона, такой эстет, завсегдатай салонов и гранд-отелей, каким был Уайльд, не мог спокойно созерцать эти зловещие помещения, которые надолго стали его прибежищем; известный мемуарист предыдущего века описал тиранию охранников, вонь, стоящую в воздухе, недостаток питания и кошмарную изощренность распорядка дня. К примеру, знаменитое колесо, появление которого относится к 1779 году, было изобретено специально для того, чтобы заставить заключенных выполнять самую тяжелую, самую унизительную работу, максимально иллюстрировавшую чудовищную несвободу заключенного, так что он не мог даже ничего испортить, а орудия труда невозможно было украсть или сломать; и в самом деле, чтобы добиться именно этой цели, проще всего заставить осужденного вышагивать внутри колеса, совершая настолько же бесконечное, насколько и бесполезное восхождение! По воле начальника тюрьмы такое наказание могло продолжаться от одного до восьми часов в день, чего вполне хватало, чтобы сломить волю самых непокорных. Однако еще тяжелее переносилась абсолютная изоляция в одиночной камере — эта практика существовала с 1835 года, несмотря на тяжкое испытание для психики, которому подвергались заключенные, обрекаемые таким образом на молчание и одиночество, нарушаемое лишь молитвами тюремного капеллана. Единственное преимущество одиночного заключения состояло в том, что оно позволяло избежать отвратительных вещей, которые случались всякий раз, когда заключенных одного или разных полов набивали в тюремные повозки или камеры, расположенные в полицейских участках. С 1846 года в Пентонвилле существовало одно изощренное развлечение. Речь идет о некоем подобии цилиндра, находившегося под давлением большей или меньшей силы, который узник, содержащийся в одиночной камере, должен был вращать в течение долгих часов с риском остаться без рук. Количество оборотов контролировалось при помощи специального счетчика, а распорядок был следующим: 1800 оборотов на завтрак; 4500 оборотов на обед и 5400 оборотов на ужин.

Несмотря на усилия членов парламента, направленные на

изменение регламента по применению этих видов наказания, начальники тюрем продолжали чинить произвол, обрекая заключенных на всяческие мучения. Начиная с 1865 года рост преступности повлек за собой ужесточение обращения с осужденными, против чего уже не могли выступить ни Палата общин, ни Палата лордов. Тюремное заключение принимало все более строгие формы, дело дошло до того, что узников заставляли носить маски, чтобы помешать им узнавать друг друга и обмениваться знаками.

После того как за спиной Оскара Уайльда раздался глухой звук закрывающейся двери, с него сняли мерки, его взвесили и заставили раздеться. Затем голого его втолкнули в нишу с мокрыми от влаги стенами, за которой начинался коридор, ведший в смрадную баню. Он облачился в грубый тюремный костюм, и его заперли в камере. Ужас своего положения он так описывал в письме к Фрэнку Харрису: «Сначала все казалось ужасным кошмаром, самым жутким, который только можно себе представить; камера наводила на меня страх, я едва мог в ней дышать, а пища сразу вызывала приступ тошноты; в течение многих дней я не съел ни кусочка, я не мог заснуть, и меня преследовали ужасающие галлюцинации; но хуже всего была бесчеловечность. Какими же демонами могут быть люди. Я никогда и помыслить не мог о таких жестокостях»[516].

3 июня в «Нью-Йорк геральд» появилась такая статья: «Нам удалось выяснить, что Оскар Уайльд очень тяжело переносит тюремное заключение. Он был крайне угнетен, когда ему зачитали тюремный распорядок, и страстно протестовал, когда ему сбрили волосы и заставили одеться в отвратительную тюремную робу. Поскольку в последний день судебного разбирательства он выглядел очень больным, все надеялись, что его сразу направят в лазарет, однако ничего подобного не произошло. Его сразу же поставили к „колесу“, то есть к самому тяжелому виду работ, уготованному узникам Пентонвилля». Через день та же самая газета сообщила, что Уайльд сошел с ума: «Он пришел в бешенство, когда оказался в руках у цирюльника, затем последовали и другие тревожные симптомы; мы узнали, что в настоящий момент его содержат в специальной палате для буйных (…) Сэр Эдуард Кларк намеревается подать апелляцию». Доказательством тому служит то, что тогдашний государственный секретарь внутренних дел Эскуит, который не забыл, как несколько лет тому назад восхищался остроумием и красноречием своего гостя, отдал 5 июня указание о проведении проверки. После беглого осмотра, проведенного через окошко

камеры, доктора заявили, что заключенный пребывает в полном рассудке и добром здравии.

Находясь в одиночной камере — 4 метра в длину, 2 метра в ширину и 3 в высоту, — Уайльд старался побороть чувство отвращения и стыда и учился дышать зловонным тюремным воздухом, кишащим всякой заразой, что характерно для конца XIX века, когда в тюрьмах не соблюдались абсолютно никакие правила гигиены. Ни одной книги, ни единого личного предмета, ничего, что прикрывало бы голые стены, маячившие перед его взором двадцать три часа в сутки. День начинался с подъема в 6 часов утра и уборки камеры. В 7 часов был завтрак, затем — прогулка в течение часа в полной тишине, вместе с другими заключенными. По возвращении в камеру надо было безостановочно вращать цилиндр с риском вырвать себе руки или поломать ногти, раздирая пеньковые веревки на паклю; завтрак состоял из куска сала с фасолью, плававших в миске с баландой. В час дня работа возобновлялась и продолжалась до шести. А уже в семь, после кружки так называемого чая с куском хлеба, в камерах гасили свет — и так день за днем в течение шести месяцев в Пентонвилле, затем в Уондсворте. Непрекращающаяся пытка, отголоски которой слышны в «Балладе Редингской тюрьмы»:

Там сумерки в любой душе
И в камере любой,
Там режут жесть и шьют мешки,
Свой ад неся с собой,
Там тишина порой страшней,
Чем барабанный бой.

Глядит в глазок чужой зрачок,
Безжалостный, как плеть.
Там, позабытые людьми,
Должны мы околеть,
Там суждено нам вечно гнить,
Чтоб заживо истлеть[517][518].

Раз в неделю в тюремной часовне проходило богослужение, и тогда можно было наблюдать, как заключенные, словно призраки, бредут по металлическим коридорам, направляясь к храму, где их поджидает «тюремный Бог». Изо дня в день сердце Уайльда превращалось в камень.

Во Франции изумление приговором и всем, что за ним

последовало, сменилось возмущением. Альфонс Доде отбросил привычную осторожность и засыпал вопросами Шерарда, выразив пожелание увидеться с ним, чтобы выяснить последние новости. А. Батай сокрушался по поводу трагической судьбы «несчастного Оскара Уайльда», которого извращенные чувства довели до исправительных работ, не оставаясь безучастным к выдвинутому узником Пентонвилля требованию особого к себе отношения. В тюрьму удалось проникнуть журналисту из газеты «Голуа», который встретился с Уайльдом 13 июня: «Сбритые волосы, одежда из грубой ткани, узкая камера, кусок дерева вместо подушки, работа по изготовлению пакли, перетаскивание с места на место пушечных ядер и колесо, огромное колесо, внутрь которого помещается узник, обязанный ритмично его вращать, если он не хочет переломать себе ноги; никаких разговоров, ни чтения, ни письма и отвратительное питание. Моральные страдания доведены до уровня страданий физических, а судья говорил еще, что это наказание кажется ему недостаточно тяжелым». Октав Мирбо возмущался жестокостью английского суда, содрогаясь при упоминании об условиях, в которых содержатся несчастные узники мрачных английских тюрем. Когда из Лондона, где она следила за ходом процесса, вернулась Иветт Гильбер, ей запретили исполнять песенку «Символист», полную намеков на эстетов, зато все на «ура» приняли ее исполнение «Усталого героя» Мориса Доннэ. Один из бывших узников Пентонвилля подтверждал, что заключенных содержали там поистине в ужасных условиях: «Внутреннее помещение камеры нагоняет смертельную тоску, вся обстановка состоит из стола, привинченного к полу под газовым рожком, двух книжных полок, нескольких туалетных принадлежностей из цинка и кровати — кошмарной доски, на которую нельзя смотреть без ужаса».

Первым, кто получил разрешение на свидание с Уайльдом, оказался член парламента, адвокат Р. П. Халдэйн, который обещал похлопотать за него и сообщил Уайльду о том, как хорошо была воспринята читателями «Душа человека при социализме», вышедшая 30 мая в издательстве Артура Л. Хамфриза. Однако вскоре другой визит лишь усилил его отчаяние: судебный исполнитель доставил платежное распоряжение Куинсберри на шестьсот семьдесят семь фунтов и повестку на 24 сентября в суд по делу о банкротстве. Гораздо больнее, чем безжалостное упорство маркиза, ударило Уайльда известие о предательстве Альфреда Дугласа и его брата, которые вначале обязались уплатить сумму, соответствовавшую размеру судебных издержек. Позднее, в переписке и в «De Profundis» Уайльд не раз возвращался к этой измене.

4 июля Уайльда перевели в тюрьму Уондсворт, которая, из-за жестокости охранников и материальной неустроенности, показалась ему хуже Пентонвилля. «Я думал, — скажет он позже, — что в Уондсворте сойду с ума. Пища была еще более отвратительной, чем в Пентонвилле. Она даже плохо пахла»[519]. Именно в этот момент Уайльду стала приходить в голову мысль о самоубийстве; по его словам, от этого шага его удерживало лишь сострадание, которое он испытывал к другим заключенным, один из которых говорил ему: «Мне очень жаль вас; таким, как вы, здесь гораздо труднее, чем нам». Эти слова тронули Уайльда до слез, и он поблагодарил товарища по несчастью; но поскольку он еще не научился разговаривать, не разжимая губ, за это его вызвали к начальнику и на три дня посадили в карцер. После выхода из карцера стало очевидно, что Уайльд достиг предела своих моральных и физических возможностей. На это обратил внимание журналист из газеты «Эко де Пари» Гастон Рутье: «В десять часов из огромной черной дыры появилась тень; медленно выйдя из темноты, она бесшумно достигла освещенного участка. Человек был в одних чулках, держа в левой руке сабо; это был Уайльд, которого едва можно было узнать, обритый наголо Уайльд, который, усевшись на скамью, тут же заснул. Бедолага!»[520] Ему так и не скостили срок наказания; он должен был выдержать все моральные и физические страдания, отмеренные ему его безжалостной родиной, которую в приступе англофобии проклинала вся французская пресса. Тем временем, безусловно в противовес этому благородному возмущению, пришло сообщение о скором освобождении Дрейфуса, который был признан наконец невиновным.

Едва вернувшись в свою угрюмую камеру, Уайльд узнал, что суд признал его банкротом и что Констанс собирается возбудить дело о разводе. В соответствии с тюремным уставом, по истечении трех месяцев, проведенных в тюрьме, заключенный имел право написать одно письмо. Он написал его жене, находившейся в то время с детьми в Италии. Глубоко тронутая его отчаянием, Констанс попросила разрешения на свидание. Приехав в Лондон 19 сентября, она через день отправилась в Уондсворт. Встреча проходила в самых унизительных условиях; жена едва узнала собственного мужа, представшего перед ней с обритой головой, с неопрятной бороденкой, одетым в тюремную робу и с глазами, в которых сквозила безысходность. «Это было просто чудовищно, — написала она Шерарду, — хуже, чем то, что я могла вообразить (…) Оскар, который последние три года вел себя, как безумный, вдруг заявил, что если бы встретил теперь Альфреда Дугласа, то убил бы его»[521]. Уайльд, со своей стороны,

так описывал нечеловеческие условия, в которых проходили эти посещения: «Заключенного запирают либо в широкой металлической клетке, либо в деревянном ящике с небольшим отверстием в стене, через которое разрешается бросить взгляд. Друзья помещаются в такую же клетку (…) неподалеку находятся два охранника, которые слушают, о чем идет разговор. Какое бесполезное и жестокое унижение — быть выставленным, наподобие обезьяны, в клетке перед людьми, которые тебя любят и которых любишь ты»[522].

Безжалостные кредиторы вытащили его из тюрьмы, чтобы он смог присутствовать на процессе по делу о банкротстве, в результате которого за ним был признан долг: три тысячи пятьсот девяносто один фунт стерлингов. 24 сентября в окружении двух охранников Оскар Уайльд предстал перед судом. К счастью, охранники оградили его от любопытной толпы, пока он в смежной с залом комнате ожидал решения суда, в то время как многие из его друзей внесли часть долга и на восемьдесят процентов удовлетворили требования кредиторов. Он вышел в наручниках из зала суда и, благодаря неизменному Робби Россу, впервые за свою бытность тюремным узником испытал радость: «Перед лицом всей этой толпы, которую мгновенно заставил умолкнуть его простой и обыденный жест, он торжественно приподнял свою шляпу, когда я прошел мимо него в наручниках и с опущенной головой. Одного этого более чем достаточно, чтобы я мог спокойно отправиться на Небо»[523].

Вернувшись в камеру, Уайльд, однако, погрузился в глубокое отчаяние. Несколько дней спустя он потерял сознание в часовне и, падая, поранил себе ухо. Очнулся он в лазарете или, вернее сказать, в раю. Он лежал на чистом белье, с удовольствием ощущая его мягкость. Охранник подал ему ломоть белого хлеба с маслом, и Уайльд съел все до последней крошки, упавшей на пол. Он испытывал такую благодарность и так ослабел, что его душили слезы. В течение нескольких недель он наслаждался этой передышкой, и именно в это время его навестил еще один журналист, Эдуард Конт: «В понедельник я встретился с ним в лазарете Уондсворта. Он похож на жалкую развалину, и сам говорит, что скоро умрет». Состояние Уайльда было таково, что 22 октября его в первый раз осмотрели два психиатра; их заключение было более чем снисходительно: они рекомендовали сменить тюрьму, предоставить заключенному побольше книг, полноценное питание и работу в саду. Они признали нежелательной его изоляцию и вместе с тем сочли необходимым внимательно контролировать его взаимоотношения с другими заключенными.

В конце октября 1895 года Уайльда посетила жена брата, Лили Уайльд, подтвердив его опасения за жизнь леди Уайльд, которая была не в силах вынести осуждение сына и отсутствие всяких известий о нем. После того как его признали достаточно окрепшим, Уайльда привезли в суд на Кэри-стрит для подробного допроса, касающегося его расходов, жизни, связей, прежде чем судья мог вынести окончательное решение о банкротстве. Уайльд покинул здание суда обессиленный, разоренный, опустошенный душой и телом. 20 ноября Уайльда перевели в Рединг, где ему подыскали более подходящую работу. В Рединге его даже посетит вдохновение; там он напишет «De Profundis» и огласит тюремные своды первыми строфами «Баллады Редингской тюрьмы».

Во время переезда из одной тюрьмы в другую, на платформе Клэпхем Джанкшн, он подвергся насмешкам и оскорблениям толпы — это происшествие навсегда вошло в историю, ибо было описано им на страницах «De Profundis»: «С двух часов до половины третьего я был выставлен на всеобщее обозрение на центральной платформе Клэпхемской пересадочной станции в наручниках и платье каторжника (…) Я представлял собой самое нелепое зрелище»[524]. Поезда, постоянно привозившие все новых пассажиров, добавляли столпотворения и всеобщего веселья. Один из зевак даже подошел поближе, чтобы плюнуть ему в лицо.

Тюрьма, рассчитанная на сто девяносто двух заключенных, была построена неподалеку от Рединга, города, расположенного на юге Англии в месте слияния Темзы и Кеннета. Уайльда поместили в камеру номер три на третьем этаже галереи С, откуда и произошел псевдоним С3З, под которым будет опубликована «Баллада Редингской тюрьмы». Несмотря на добрые намерения врачей, начальник тюрьмы майор Айзексон, поддерживавший в своем заведении железную дисциплину, применил к новому заключенному все строгости внутреннего распорядка. Оскар Уайльд вновь оказался изолированным в одиночной камере, лишенным книг, остро переживая испытанное на Клэпхем Джанкшн.

Стюарт Меррилл и Мор Эйди написали петицию королеве с просьбой об освобождении Уайльда. Они заполучили под петицией подпись Бернарда Шоу, однако другие, как, например, Генри Джеймс, своих подписей не поставили. Тогда Меррилл обратился к французским писателям, которые в один голос отказались подписать петицию, проявив возмутительный цинизм.

Викторьен Сарду: «Это слишком непристойная грязь, чтобы я хоть каким-либо образом оказался в ней замешан».

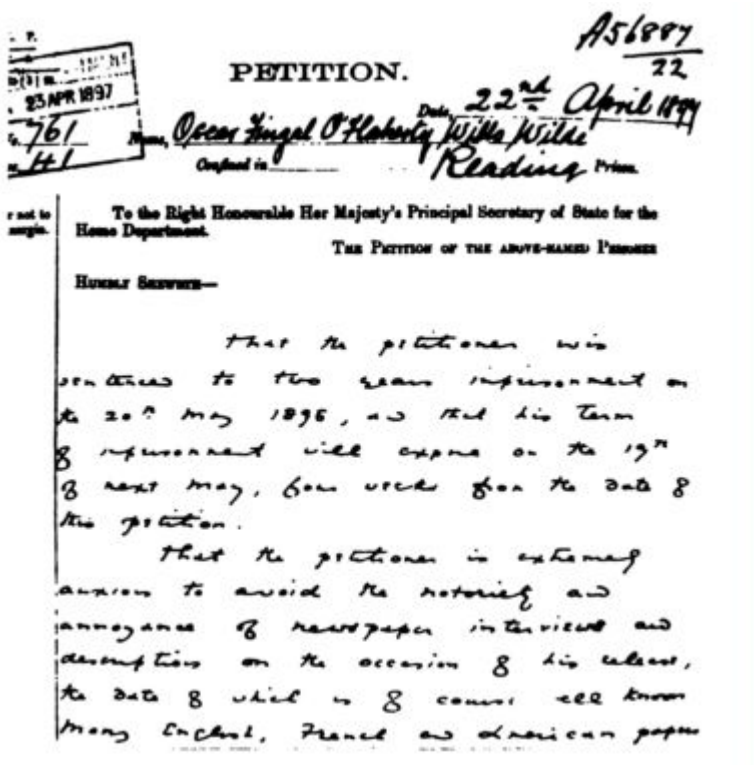
ЖЮЛЬ Ренар: «Я согласен подписать петицию для Оскара Уайльда при условии, что он даст слово чести… никогда больше

не браться за перо».

Франсуа Коппе: «Я готов поставить свою подпись в качестве члена Общества охраны животных».

Альфонс Доде: «Как отец семейства, я могу выразить только свое отвращение и возмущение».

Эмиль Золя, Эдмон де Гонкур, Анатоль Франс, Морис Баррес, Марсель Швоб, Пьер Луис… все под тем или иным предлогом отказались, что вдохновило Дугласа на «Сонет, посвященный тем французским литераторам — Золя, Коппе, Сарду и другим, — которые отказались пожертвовать своей незапятнанной репутацией или поставить под угрозу свои литературные привилегии, подписывая петицию с прошением о помиловании Оскара Уайльда». Среди немногих, поставивших свою подпись, был Анри Боер, возмущенный затянувшимися страданиями и пыткой на Клэпхем Джанкшн; он писал на страницах «Эко де Пари»: «Речь ведь шла не о том, чтобы признать автора „Дориана Грея“ видным писателем (…) А о том, чтобы великодушие честных литераторов помогло Оскару Уайльду, уличенному в пороке Сократа, не погибнуть на каторге, под пытками, доведенным до изнеможения»[525]. А Орельен Шолль привел письмо атташе турецкого посольства, который от имени четырех миллионов мусульман, для которых гомосексуализм не является грехом, выразил протест против всего происшедшего и пригласил Уайльда искать убежища на Востоке.



PETITION.

A56887
22

23 APR 1897

761
H1

Date 22nd April 1897

Name, Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde

Confined in Reading Prison.

To the Right Honourable Her Majesty's Principal Secretary of State for the Home Department.

THE PETITION OF THE ABOVE-NAMED PRISONER

HUMBLY SHEWETH—

that the petitioner was sentenced to two years imprisonment on the 20th May 1895, and that his term of imprisonment will expire on the 19th of next May, four weeks from the date of this petition.

That the petitioner is extremely anxious to avoid the notoriety and annoyance of newspaper interviews and description on the occasion of his release, the date of which is of course well known many Englishe, French and American papers

Петиция, написанная О. Уайльдом в Редингской тюрьме.

Казалось бы, большей боли он уже не сможет испытать; 3 февраля 1896 года он вдруг увидел у себя в камере собственную мать; Уайльд предложил ей сесть, но она исчезла. Он понял, что она умерла, но у него уже не было ни сил, чтобы заплакать, ни слов, чтобы выразить свое отчаяние, несколько скрашенное посещением Констанс, которая 19 февраля специально приехала из Генуи, чтобы подтвердить, что сон оказался вещим. И хотя теперь она носила имя Констанс Холланд[526], она все равно осталась «заботливой и нежной», как отметил сам Уайльд. Это свидание стало его последней встречей с той, которую он любил так недолго и подле которой познал счастье, ему не предназначенное. Констанс умерла 7 апреля 1898 года в Генуе, где и была похоронена. Во время этого последнего свидания она рассказала Уайльду об успехе «Саломеи», который дал ему возможность значительно улучшить условия пребывания в тюрьме.

Одновременно с известием о кончине леди Уайльд французские газеты с удовлетворением сообщали о скорой

премьере «Саломеи». При содействии Стюарта Меррилла режиссер театра «Эвр» Люнье-По решил поставить эту пьесу, несмотря на возможное появление судебных исполнителей, стоявших на стражах интересов кредиторов Уайльда. Репетиции проводились очень тщательно, дирекция театра даже обратилась в музей Гревэн с просьбой предоставить голову Иоканаана, которую нечаянно разбили на одной из репетиций и склеили к премьере, намеченной на 11 февраля 1896 года. На премьере за кулисами внезапно начался пожар, и Сюзанна Депрэ в одиночку пыталась его погасить. «Публика, аплодировавшая произведению бедного Уайльда, так ничего и не узнала об этом пожаре; то был невероятный вечер, и какое счастье, что Тулуз-Лотрек (sic) запечатлел его на известной литографии, где на одной странице рядом с Ромэном Коолю изображен такой великий волшебник, каким был Уайльд», — записал в своем дневнике Люнье-По. Сам он исполнил роль Ирода, а Лина Мюнте сыграла ту самую Саломею, которой так и не довелось стать Саре Бернар.

Пьесу называли «инсценировкой романтической литературы», на взгляд критики она была «неплохо поставлена, но несколько скучна». И в то же время ряд критиков, в том числе Катюль Мендес, признали, что в пьесе обнаруживается «такое безумное влечение к возвышенному искусству, такая сильная, щедрая страсть к красоте, такая величественная схватка любви со смертью, что искренне начинаешь восхищаться подобием и совершенно забываешь печалиться о сходствах»[527].

В массе своей французская критика указывала на «заимствования» из Леконта де Лиля, Флобера, Банвилля, Вилье де Лиль-Адана… но вместе с тем все признавали, что положение, в котором находился Уайльд, чье имя стало чуть ли не запрещенным в Англии, придавало этому произведению особое значение. Необычным и поразительным в пьесе было обилие символов, которыми она была оснащена: принцесса Иудеи стала в некотором смысле жрицей декаданса, который скоро захлестнет европейскую мысль. Жан Лоррэн рассказывал о «Саломее», вспоминая Уайльда, который настаивал на смутной таинственности героини: «Эта загадочная и сказочная личность была словно создана одна из многих для того, чтобы покорить и заворожить английского писателя. Саломея была воплощением изящества и испорченности древнего мира, она стала ностальгией и порочным раскаянием мира современного»[528].

Парижанки мгновенно подхватили новую моду и, стремясь походить на героиню пьесы, «разоблачались в наипрозрачнейшие, усыпанные по плечам камеями туники, пошитые из золотой сетки, сквозь которую просвечивала грудь». Книги, которые было

принято держать в будуарах, прекрасно отражают чувственную атмосферу, царившую в конце прошлого века: тут и «Саломея», и «Афродита», и «Голубые гортензии», и «Превратности любви» и недавно переведенный на французский язык «Портрет Дориана Грея». Явно под влиянием этого интереса лорд Альфред Дуглас опубликовал в «Белом журнале» — одном из многочисленных литературных журнальчиков того времени — введение к сборнику своих стихотворений, а также свои соображения по делу Уайльда, где попытался представить себя иначе, нежели в образе «ребенка, которого любил Оскар Уайльд». Он принял на свой счет речь Уайльда в защиту «любви, не смеющей назвать себя вслух», и утверждал, что гомосексуалисты являются «солью земли» (sic), а также что его отношения с Уайльдом всегда оставались платоническими, и, наконец, открыл истинную причину процесса, который явился политическим маневром мистера Эскуита, направленным против лорда Роузбери. Эта публикация вызвала бурю; все начали высказывать опасения, что столь откровенное признание рискует ухудшить положение редингского узника. Франсиск Сарсей не упустил возможности вновь обрушиться на английское лицемерие. «И все же юный Дуглас оказал нам немалую услугу, пролив неожиданный свет на эту сторону высокой английской морали, той самой морали, которой так кичатся эти господа, безнаказанно подсовывая ее нам (…) Может статься, что новым Вавилоном является вовсе не Париж, а Лондон, где аристократия, похоже, еще более подвержена гниению, чем средние классы», — писал он на страницах газеты «Эко де Пари». В то же время французские газеты целомудренным молчанием обходили дело Дрейфуса, которое начинало вызывать все более едкие комментарии на другом берегу Ла-Манша, в то время как полным ходом шла подготовка экспедиции Маршана[529] в Африку, которая вызвала бурю страстей по обе стороны пролива.

Месяц спустя после постановки «Саломеи» Оскар Уайльд, к которому охрана Рединга воспылала дружескими чувствами, благодаря чему у него наконец появились книги и ему перестали сбривать волосы на голове, попросил Роберта Росса поблагодарить Стюарта Меррилла и Люнье-По: «Для меня очень важно, что в дни бесчестья и позора меня все еще считают художником. Я бы хотел испытывать по этому поводу более сильные чувства, но я абсолютно мертв для каких бы то ни было ощущений, кроме боли и отчаяния»[530]. При этом он посетовал по поводу ренты, которую должна была выплачивать ему жена по условиям брачного контракта, денежных сумм, доверенных Эрнесту Леверсону, и особенно — намерения Дугласа посвятить

ему сборник стихотворений, что могло иметь крайне негативные последствия.

Его мнение о Бози изменилось; он потребовал, чтобы тот вернул его письма и подарки. Во внезапном приступе ненависти, порожденном долгими страданиями, которые ему довелось перенести, Уайльд зашел чрезвычайно далеко: «Меня ужасает сама мысль о том, что он носит что-либо или просто владеет чем-либо из подаренного мной. Невозможно, конечно, избавиться от мерзких воспоминаний о двух годах, в течение которых я, к моему несчастью, держал его подле себя, и о том, как он вверг меня в пучину страданий и позора, утоляя свою ненависть к отцу и прочие низменные страсти»[531]. Уайльду понадобился год тюремного заключения, чтобы вновь обрести ясность мысли, которая теперь никогда его не оставляла, несмотря даже на то, что он все-таки еще раз поддался соблазну этой любви, горечь которой обратилась в горечь нарушенной жизни.

Наступил май 1896 года; уже год Уайльд отбывал наказание, на которое был обречен за свою безумную страсть. Начальник тюрьмы Айзексон перевел его на должность садовника, что было огромным облегчением для этого необычного заключенного.

Летом 1896 года солдат королевской конной гвардии Чарльз Томас Вулдридж попал в камеру для приговоренных к смертной казни. В понедельник, 6 июля, в Рединг прибыл палач, чтобы осмотреть эшафот и сделать необходимые приготовления к предстоящей казни через повешение.

На следующий день, во вторник, 7 июля 1896 года в семь часов утра раздался звон колокола тюремной часовни, а ровно в восемь грустная процессия вышла из камеры смертника и направилась во двор, где была установлена виселица. Палач связал приговоренному ноги, надел на голову колпак, накинул на его шею веревку и открыл люк. Чарльз Томас Вулдридж умер безропотно, умер за то, что убил свою жену, которую очень любил. Это происшествие и стало отправной точкой к написанию «Баллады Редингской тюрьмы».

Июль 1896 года; к этому времени Уайльд провел в тюрьме уже больше года и страдал от воспаления уха, полученного в результате давнего падения. Он написал министру внутренних дел первую петицию с просьбой сократить срок наказания. Он признал себя виновным, подчеркивая, что гомосексуализм — болезнь, а не преступление, и что длительное тюремное заключение способно превратить его в безумца: «Нет ничего удивительного в том, что, живя в безмолвии, в одиночестве, в полной отрешенности от любых человеческих проявлений, в склепе, где замурованы живые, податель петиции ежедневно и

еженощно, в каждый час бодрствования испытывает чудовищный страх перед полным и окончательным безумием»[532]. Короче говоря, петиция Уайльда как бы предвосхитила его исповедь, которая буквально через несколько месяцев вылилась в «De Profundis», где он подвел итог двум месяцам, проведенным в лазарете Уондсворта после голодовки и бессонницы. Петиция, проливающая яркий свет на глубоко скрытую тревогу узника Редингской тюрьмы, была передана через Айзексона, который приложил к ней медицинское заключение, свидетельствующее об удовлетворительном состоянии здоровья автора. Вскоре в Рединг наведались четыре посетителя, которые в результате представили отчет, аналогичный заключению тюремного врача. Досье передали доктору Николсону, который обследовал Уайльда в Уондсворте, и он вновь рекомендовал облегчить режим заключенного: перья, бумага, книги. Уайльду разрешили встречу с адвокатом, во время которой речь шла об опеке над детьми, все о той же ренте, предусмотренной брачным контрактом, и о других вопросах личного характера.

Обложка книги «De Profundis», издание 1905 года.

В конце июля вместо Айзексона на место начальника тюрьмы был назначен майор Нельсон, который благоволил к Уайльду и старался облегчить страдания узника; охрана тюрьмы становилась все более предупредительной, всегда готовой смягчить строгость внутреннего распорядка. Еще одна петиция также не дала результатов. «Я надеюсь, что моя просьба будет услышана, — писал Уайльд. — Но мне кажется, что милосердие

напрасно стучится в дверь к представителям власти; власть ничуть не меньше, чем любая кара, убивает в человеке все, что было в нем любезного». Артур Клифтон, который встречался с ним в это время по поводу детей Констанс, так описал его: «Можете себе представить, как тяжело мне было встретиться с ним; сам он находился в сильном смятении и много плакал; он показался мне окончательно сломленным и не переставал говорить о дикости наказания (…) Он был очень угнетен и часто повторял, что не в силах дольше выносить этой кары»[533]. То же самое писал Уайльд Мору Эйди: «Тишина, полное одиночество, изоляция убивают мысль (…) Ужас тюрьмы — ужас абсолютной жестокости; перед нами постоянно находится бездна, она день изо дня отпечатывается на наших лицах и лицах тех, кого мы здесь видим»[534]. Оскар обрадовался успеху «Афродиты» и вновь вспомнил о своей дружбе с Луисом: «Три года назад он требовал, чтобы я сделал выбор между его дружбой и катастрофическими отношениями с А. Д. Едва ли стоит говорить, что я сделал выбор в пользу наиболее низкой натуры и посредственного ума. В какой же трясине безумия я увяз!» Очередная петиция также ничего не изменила в его судьбе. Должно быть, он был обречен до конца испить чашу страдания, и это начинало уже утомлять его друзей, которые находили, что представление слишком затянулось. В своей камере он размышлял о Дугласе, Чарли Паркере, трагедии всей своей жизни и о том месте, которое он занимал «между Жилем де Рэ и маркизом де Садом». Муки воспоминаний усиливались от известий о Констанс, которая неосознанно усугубляла его страдания. Но Констанс была так же несчастна, как и он, она разрывалась между воспоминаниями о нескольких годах счастья и ужасом перед той ситуацией, в которой теперь оказалась, и ужас этот усиливался от беспокойства за будущее детей.

В январе 1897 года Оскара Уайльда освободили от всех видов работ и назначили старшим по тюремной библиотеке. Нельсону даже удалось раздобыть для него синюю бумагу с выбитым на ней гербом министерства. Четыре небольших странички в день. Когда заключенные расходились на ночь по камерам, ему оставляли на какое-то время немного света. В одиночестве и тишине, используя в качестве стола доску, служившую кроватью, Оскар Уайльд писал: «Дорогой Бози, после долгого и бесплодного ожидания я решил написать тебе сам, и ради тебя и ради меня не хочу вспоминать, что за два долгих года, проведенных в заключении, я не получил от тебя ни строчки, до меня не доходили ни передачи, ни вести о тебе, кроме тех, что причиняли мне боль…»[535]

Каждый вечер в течение трех месяцев он исписывал своим

убористым почерком синие страницы; всего их набралось восемьдесят; то была его новая книга — «De Profundis». В этом возвышенном любовном послании автор покинул волшебный мир снов и погрузился в причиняющую боль действительность. Продиктованное бессонными ночами, полными мучений, оно вызывает сострадание, то самое сострадание, которое оставило глубокий след в творчестве Андре Жида, написавшего: «„De Profundis“ едва ли можно считать книгой; это рыдания пытающегося выстоять раненого, перемежаемые пустыми и правдоподобными с виду теориями. Я не мог слушать его без слез; вместе с тем я хотел бы говорить о нем без дрожи в голосе»[536]. Начинаясь с обвинений против лорда Альфреда Дугласа, письмо заканчивается надеждой на скорую встречу, выраженную как-то по-новому, так что становится очевидно: Уайльд преодолел страдания, обратив их в новую философию, в некую «Vita nuova»[537], заимствованную у Данте: «Ты пришел ко мне, чтобы узнать наслаждения жизни и наслаждения искусства. Может быть, я избран, чтобы научить тебя тому, что намного прекраснее, — смыслу страдания и его красоте», — именно так заканчивается это длинное письмо. Боль вновь вернулась к Уайльду в феврале, когда он узнал, что у него навсегда отобрали детей. «Я всегда был хорошим отцом для своих сыновей. Я нежно любил их и был любим ими, а с Сирилом мы были друзья. И для них будет лучше, если им придется думать обо мне не как о грешнике, а скорее как о человеке, которому довелось много страдать»[538].

Во французских литературных кругах его не забыли. В конце предыдущего года, когда весь Париж готовился принимать Николая II, в канун приезда которого вся русская колония оккупировала «Максим», «Мэр», «Казино де Пари», Ж. Ванор в Новом театре дал представление, посвященное Оскару Уайльду, в которое вошли «Саломея» и «Прохожая», переделка «Веера леди Уиндермир». Вечер вышел мрачным, и все были даже рады тому, что на нем не было самого Уайльда. Однако о нем напомнил Анри де Ренье: «Мистер Оскар Уайльд считал, что живет в Италии эпохи Ренессанса или в Греции времен Сократа. Он был наказан за ошибку в хронологии, причем наказан сурово, учитывая, что в действительности он жил в Лондоне, где такой анахронизм встречается отнюдь не редко»[539]. Жорж Элкуд, со своей стороны, посвятил ему свой «Цикл висельника», используя при этом недвусмысленные выражения, обретающие особое значение в период напряженности отношений между двумя странами, когда борьба за влияние в Африке принимала довольно опасный

оборот:

> Господину Оскару Уайльду,
> Поэту и мученику-язычнику,
> Принявшему пытки во имя
> Протестантского правосудия и протестантской добродетели.

В конце марта Констанс написала брату: «На меня снова оказывали давление, чтобы я вернулась к Оскару, но я уверена, что ты согласишься со мной в том, что это невозможно»[540]. Что же касается Уайльда, то он не мог забыть ее нежного присутствия, ее печали и ее заблуждений на счет мужа. Он примирился с неизбежностью развода. «Я и вправду очень привязан к моей жене и очень ее жалею… Она не понимала меня, а мне до смерти наскучила семейная жизнь», — признавался он. Далее Уайльд высказал мнение о переписке Россетти, Стивенсона, а также забавное суждение о Гюисмансе и о Ж. Оне: «Оне хочет быть банальным, и у него получается. А Гюисманс не хочет, и тем не менее он именно таков!». Все эти письма свидетельствуют о серьезном смягчении тюремного режима, которое стало возможным благодаря майору Нельсону.

С приближением окончания срока заключения — до освобождения оставался всего месяц — к нему приходили новые тревоги, связанные с выходом на свободу и с необходимостью раздобыть средства к существованию. Он обратился с этим вопросом к Мору Эйди, попросив последнего обеспечить ему достойное окончание жизни при содействии друзей. Несколько позже он попросил перенести дату освобождения, дабы избежать встречи с журналистами, которые стремились встретить его у тюремных ворот, чтобы засыпать вопросами. Но английское правосудие оставалось безжалостным даже тогда, когда стало известно, что маркиз Куинсберри готовился учинить скандал в день освобождения Уайльда. От приступа безумия парализованного страхом Оскара Уайльда спасло прибытие в тюрьму нового охранника, бывшего солдата, тридцатилетнего Тома Мартина. Он проникся к Уайльду глубоким уважением и, вопреки тюремным порядкам, умудрялся доставлять ему газеты, печенье, а главное, дарить свою улыбку — неоценимые благодеяния для несчастного, томящегося в тюрьме. Оскар Уайльд попросил адвокатов как можно скорее уладить вопрос с рентой, так как со времени последнего свидания Констанс вновь попала под влияние людей, настроенных по отношению к нему крайне враждебно. «Я очень нервничаю и буквально не нахожу

себе места, когда думаю о том, что ожидает меня по возвращении в мир, — говорил Уайльд адвокату, — единственно с точки зрения состояния моего рассудка и душевного равновесия; я бы очень хотел, чтобы все было решено заранее»[541].

1 мая он все еще ожидал ответа на просьбу о досрочном освобождении, а журналисты уже начали кружить вокруг тюрьмы. Уайльд понимал, что его ждет новое испытание: неопределенность, страх перед будущим. Перспектива возвращения к реальной жизни, будто остановившейся для него в течение этих двух ужасных, но приучающих к смирению лет, проведенных в камере С33, неумолимо вставала перед Уайльдом, и он знал, что ему никуда не скрыться от новых и тяжких проблем. Принц парадокса и эстетов превратился в жалкую марионетку, послушную воле того, кто осмелится первым потянуть за нити: Фрэнка Харриса, Роберта Росса или же человека, который вызывал такие смутные чувства в его душе, лорда Альфреда Дугласа. Болезненная настойчивость, с которой он требовал ренты, денег, доверенных Леверсону, какой-то смехотворной шубы и огромных сумм, потраченных на Дугласа, свидетельствует о явном беспорядке в уме этого «мастера изящной словесности», сломленного ударами судьбы. Верхом издевательств стало условие, лишающее его ренты в случае, если он будет замечен в связях с подозрительными личностями. «Поскольку люди достойные, в том смешном смысле, как это принято считать, сами не захотят меня знать, а с людьми недостойными мне будет запрещено встречаться, моя будущая жизнь, насколько я могу судить, пройдет в относительном одиночестве»[542], — с иронией писал он Мору Эйди.

12 мая Уайльд был ошеломлен известием о том, что обещания друзей обеспечить его содержание в течение полутора лет ограничились ссудой в пятьдесят фунтов! Одновременно он заметил, что Росс, Эйди и Тернер испытывают зависть к Харрису, поступки которого были великодушны и исполнены практической пользы, в то время как вся его «свита» лишь попусту баламутила воду. Навязчивые мысли Уайльда о деньгах спровоцировали его на несправедливые высказывания в адрес Леверсона, которого он обвинил в присвоении тысячи фунтов, доверенных Уайльдом. Лихорадочное состояние заставило Уайльда забыть о преданности Росса, привязанности Рикеттса, обо всем, что они для него сделали. Он начал осыпать несчастного Робби незаслуженными упреками; хуже того, он довел его огорчение до предела, восхваляя — с вопиющей несправедливостью — верность Бози, того самого Бози, которого в течение двух лет в каждом письме он называл причиной своих несчастий. Можно вообразить,

сколько слез пролил Робби, читая эти упреки. В то время когда выносилось решение о разводе с Констанс, а Бози продолжал находиться в «ссылке» в Неаполе или на Капри, Оскар относился к ним лишь как к отражению своего прошлого.

Безусловно, он был на грани безумия; он дошел до того, что предложил опубликовать письма Росса и Мора Эйди под заголовком «Письма двух идиотов к одному сумасшедшему»; он заявил, что по их вине договоренность с Констанс по поводу выплаты ему ежегодной ренты в размере двухсот фунтов была снижена до ста пятидесяти. А некий юный двадцатидвухлетний жулик, недавно освободившийся из Рединга, вернул Оскару толику спокойствия, предложив ему свои услуги.

18 мая 1898 года — последний день пребывания Уайльда в Рединге. Если верить записям Нельсона, Уайльд был в неописуемом возбуждении и боялся абсолютно всего: «С каждым днем у заключенного возрастает состояние возбуждения и страха перед неудобствами, которые могут произойти из-за бесцеремонности представителей прессы»[543]. Он хотел, чтобы Реджинальд Тернер и «малыш Чарли» приехали в Пентонвилль, где должно было состояться освобождение из-под стражи, несмотря на его отвращение при мысли вновь оказаться в Лондоне и ужас перед еще одним переездом, грозящим повторением ужасной сцены на Клэпхем Джанкшн. Тернер не мог удовлетворить эту просьбу: родственники угрожали лишить его средств к существованию, если он возобновит отношения с Уайльдом, а кроме того, Мор Эйди и благородный пастор Хедлэм решили обставить все по-иному. Тернер вместе с Россом отправились в Дьепп, чтобы подготовить там все для приезда Уайльда, которого это известие в восторг не привело: город Дьепп, где его хорошо знали и где жило много англичан, его не устраивал, и он написал об этом Россу с решительным неудовольствием: «Если по прибытии в Дьепп вы сможете найти какое-нибудь местечко, расположенное километрах в пятнадцати от города, куда можно добраться на поезде, какой-нибудь тихий уголок, то не надо колебаться. Я слишком хорошо известен во всех гостиницах Дьеппа, и конечно же о моем приезде тотчас станет известно в Лондоне»[544].

В 8 часов утра охранник Мартин открыл камеру С33 и вручил заключенному одежду, которая была на нем в день, когда ему был зачитан приговор. Уайльда привели в зал, где его ожидал Нельсон, держа в руках пакет с рукописью «De Profundis». В сопровождении двух охранников Оскар сел в повозку, и перед ним, все еще пребывающим в сильном волнении, распахнулись тюремные ворота. Его поджидали всего два журналиста, и очень

скоро повозка скрылась из виду. Она подкатила к вокзалу Твайфорд, где, оказавшись в зале ожидания, Уайльд наконец осознал, что кошмар закончился. Он вновь мог стать самим собой, как об этом написал журналист из «Морнинг Пост», один из двух, поджидавших его на выходе из тюрьмы: «Мне представилась возможность наблюдать за мистером Уайльдом в зале ожидания в Твайфорде. Он выглядел очень неплохо. Его фигура и весь внешний облик были, как и прежде, элегантны и обаятельны. Короче говоря, сегодняшний Оскар Уайльд — это Оскар Уайльд, по крайней мере он выглядит таковым»[545]. По прибытии в Лондон его доставили в кэбе в Пентонвилльскую тюрьму, где он провел ночь.

На следующий день, 19 мая, в четверть седьмого утра он покинул Пентонвилль в сопровождении пастора Хедлэма и Мора Эйди. После двадцати пяти месяцев, проведенных в тюрьме, Оскар Уайльд оказался на свободе. Он поехал прямо к пастору, который жил в доме 31 на Аппер-Бедфорд-плейс, где его ожидали сорочки, туфли, перчатки, купленные Мором Эйди. О его освобождении написали все газеты. «Сфинкс» с мужем приехали к пастору, когда Уайльд переодевался после завтрака. При его появлении в гостиной всякая неловкость, предшествовавшая встрече, сразу рассеялась. Он был великолепно одет; с гвоздикой в бутоньерке и сигаретой в руке Уайльд напоминал короля, вернувшегося из изгнания. Стройный, жизнерадостный, казавшийся моложе, чем два года назад, он тут же задал тон разговору:

«Сфинкс, это просто чудо, что вы так верно выбрали шляпку, чтобы в семь часов утра встретить друга после долгой разлуки».

Затем он удалился, чтобы написать письмо в католический приют, в котором попросил на полгода убежища. Вернувшись к гостям, он начал рассказывать о тюрьме с легкостью, которая, однако, не могла скрыть пережитую драму: «Этот милый начальник был таким любезным, а его супруга просто очаровательна. Я провел массу приятнейших часов в их саду, и они даже попросили меня остаться у них на все лето. Они принимали меня за садовника!»

Вскоре пришел ответ из приюта. Отказ вернул Уайльда к действительности, к жизни за пределами тюремных стен, к опасному соприкосновению с той публикой, чьего внимания он прежде так добивался.

Его речь была остроумна, аудитория совершенно покорена, а приготовления бесконечны. Он опоздал на поезд до Нью-Хейвена и выехал лишь во второй половине дня, чтобы успеть на ночной пароход. Уайльд навсегда покинул Англию, оставив о себе яркое

воспоминание, о котором написал пастор Хедлэм: «Я люблю вспоминать его таким, каким видел в течение шести часов в то весеннее утро, и надеяться, что где-нибудь и как-нибудь сохранится красота его образа и забудутся его слабости и безумства»[546].

Добравшись наконец до Нью-Хейвена, он телеграфировал о своем прибытии и попросил, чтобы ему заказали номер в гостинице «Сэндвич». В половине пятого утра 20 мая Росс и Тернер приехали на пристань дьеппского порта и увидели высокую фигуру Уайльда, возвышавшуюся на носу корабля.

Теперь его звали Себастьян Мельмот.

Глава VII. РЕДИНГСКАЯ БАЛЛАДА

Свое творчество, как и свой грех, необходимо выстрадать.

К кому, как не к Уайльду, более всего относятся эти слова?

Позор оборачивается славой, когда в результате рождается «De Profundis»[546].

Сойдя на берег, он первым делом вручил Россу рукопись «De Profundis» и отправился в отель «Сэндвич», где его ожидал завтрак. Устроившись в гостинице, он написал «Сфинксу» о том, какую радость доставили ему несколько часов, проведенные в ее обществе; он сообщил ей свое новое имя, заимствованное из фантастического романа прадядюшки Чарлза Мэтьюрина: «Я записался в отеле как Себастьян Мельмот — не эсквайр, а мсье Себастьян Мельмот. И еще я решил, что будет лучше, если Робби назовется Реджинальдом Тернером, а Реджи — Р. Б. Россом. Пусть уж все живут под чужими именами»[547].

Затем он отправился на прогулку в обществе своих верных друзей, и они дошли до местечка Арк-ля-Батай, находящегося в шести километрах от Дьеппа. Уайльд жадно наслаждался видами живой природы, любовался стенами старого замка и говорил лишь о Редингской тюрьме и своей жизни заключенного. Тюрьма в его рассказе превратилась в волшебный замок, эльфом-хранителем которого был майор Нельсон. Весь охваченный радостью свободы, солнца и жизни, он словно забыл свои страдания: «Пишу коротко, потому что пошаливают нервы — чудо вновь открывшегося мира ошеломило меня. Я чувствую себя восставшим из мертвых. Солнце и море кажутся мне чем-то небывалым»[548]. 24 мая он пригласил Люнье-По, этого «Тетрарха иудейского», оказать ему честь и приехать к нему назавтра отобедать. Люнье-По с восторгом принял приглашение, и Уайльд поспешил поделиться рассказом об этой исторической встрече с Мором Эйди: «Люнье-По обедал сегодня вместе с нами, и я был покорен. Я и предположить не мог, что он так молод и так красив. Я ожидал увидеть болезненную копию великого поэта, которого Америка приговорила к смерти за то, что все его стихи состоят исключительно из этих трех чудесных элементов: Любви, Музыки и Боли. Я твердо дал ему понять, что он ни в коем случае не должен давать никаких интервью и разглашать касающиеся меня детали: мое новое имя, место проживания, изменения во внешнем

облике и так далее»[549].

Во французской прессе прошло сообщение об освобождении Оскара Уайльда. «Фигаро» наградила его титулом сэра и сообщила, что Уайльд находится в Париже, в то время как другие предполагают, что он отдыхает в Дьеппе. Дуглас же, живший в Париже, принимал журналистов, которые не могли удержаться от иронии по поводу его наряда: «Лорд Альфред Дуглас все же позволяет себя побеспокоить. Он выходит к нам одетым в богато расшитую шелковую майку и в такие же шелковые панталоны нежного цвета». Это не помешало ему встать на защиту Уайльда, заметив, что в Люксембургском саду скоро будет установлен бюст Верлена, а в Англии все молодые литераторы стараются походить на автора «Портрета Дориана Грея». Он опроверг слухи о якобы имевшей место дуэли и с иронией заметил, что журналистам, видимо, придется довольствоваться слухами о сражениях Монтескью против Анри де Ренье и Люнье-По против Катюля Мендеса.

В понедельник 24 мая 1897 года «Дейли кроникл» опубликовала статью, озаглавленную «Тюремный охранник наказан за гуманный поступок». В газете публиковалось письмо Томаса Мартина, уволенного из Рединга за то, что он угостил печеньем двенадцатилетнего ребенка: «Пожалев несчастного маленького мальчика — к которому в любом случае никак нельзя было относиться как к преступнику, — я дал ему печенья». Мартин уверял, что впервые передал еду заключенному и что только отчаяние ребенка побудило его нарушить тюремный порядок. Конечно, Мартин ни словом не обмолвился о том, что оказывал Уайльду аналогичные услуги. Из того же номера газеты можно узнать, что в Англии тогда не существовало закона, запрещающего двенадцатичасовой и более продолжительный рабочий день на угольных шахтах. И даже после гибели двух молодых шахтеров, которым было по семнадцать, Палата общин сочла, что замечания инспектора по труду достаточно, чтобы покончить с подобным злоупотреблением! Приведенный пример произвола и бесчеловечности помогает лучше понять, какие мучения приходилось терпеть заключенным, в частности Уайльду, в английской тюрьме. Прочитав эту статью, Уайльд, исполненный решимости изменить свою жизнь и проникшийся верой в очищение через страдание, написал в «Дейли кроникл» письмо.

Письмо это было опубликовано 28 мая на трех полосах газеты; в нем внимание читателей было обращено на ужасную участь, уготованную в тюрьмах детям: «Жестокость, которой день и ночь подвергаются дети в английских тюрьмах, просто

невероятна». Уайльд вернулся к случаю с добрым охранником Мартином и выразил резкий протест против правил, требующих изоляции ребенка в одиночной камере в течение двадцати трех часов в сутки, учитывая, что ребенок и так без ума от страха оттого, что оказался в темноте, к тому же он не в состоянии понять суть наказания, наложенного на него обществом. Через несколько дней, 31 мая, в той же газете было напечатано следующее письмо: «Прекрасная статья, появившаяся сегодня утром на ваших страницах, нарушила молчание, которым окружен сегодня вопрос поддержания дисциплины в тюрьмах». Автор привел леденящий душу случай, когда на заключенного надели смирительную рубашку, заставив его предварительно заглотить приличную дозу рицинового масла, а затем заперли на двадцать четыре часа в камеру для буйнопомешанных! Это не говоря о случаях наказания кнутом. Как и Уайльд, автор статьи заключал ее словами: «Я выступаю не против конкретных людей, а против системы».

Не прошло и недели после прибытия Уайльда в Дьепп, как его опасения подтвердились. Оказалось, что в Дьеппе проживал Ж.-Э. Бланш; будучи другом Мура, Сиккерта, Уистлера, которые считались врагами Уайльда и которые рады были продлить его изоляцию, он толком не понимал, как ему вести себя в присутствии человека, с которым в свое время он был близко знаком. Ч. Кондер также настаивал на том, чтобы он не встречался с Уайльдом, то есть Себастьяном Мельмотом. После долгих колебаний Ж.-Э. Бланш выбрал самый трусливый стиль поведения: он делал вид, что не замечает Уайльда, даже когда тот махал ему рукой с террасы «Кафе де Трибюно».

Что же до молодых парижских поэтов и студентов, то они, напротив, гурьбой помчались в Дьепп, чтобы поприветствовать изгнанника, ставшего жертвой лицемерия и варварства ненавистной им Англии. Так продолжалось вплоть до того дня, когда после слишком оживленной пирушки в «Кафе де Трибюно» супрефект сделал Уайльду предупреждение; бывшие здесь на отдыхе англичане перестали ходить в те кафе и рестораны, где выступал Уайльд, а это не устраивало их владельцев, которые предпочли запретить Уайльду появляться в своих заведениях. К счастью, он нашел дружеский приют у Фрица Таулова на вилле Орхидей. Этот норвежский художник открыто выступил в защиту Уайльда, подвергшегося оскорблениям со стороны англичан; он с возмущенным видом подошел к столу, за которым сидел побледневший от очередных выпадов Уайльд, и громко произнес: «Мистер Уайльд, вы окажете мне и моей жене большую честь, если согласитесь прийти поужинать к нам сегодня вечером в

семейном кругу». То же самое можно сказать и о миссис Стеннард, которая сохранила глубокое уважение к Уайльду и всегда оказывала ему теплый прием. Так что Уайльд нередко завтракал или обедал то у одного, то у другой, вдали от разгневанных туристов или жителей Дьеппа.

Тем не менее атмосфера, царившая в Дьеппе, очень скоро стала для него невыносимой, и Уайльд нашел убежище в Берневале, маленькой рыбацкой деревушке, расположенной на обрывистом берегу, прямо над морем. Истратив все деньги на духи и другие туалетные принадлежности на дьеппском рынке, Уайльд поселился вместе с Россом в «Отеле де ля Пляж». Но очень скоро Росс уехал. Уайльд страдал от одиночества и пытался отвлечься, посещая деревенскую часовню, украшенную «диковинными и чрезвычайно готическими в своем безобразии» статуями, гуляя по обрыву, а главное, он начал работать над «Балладой Редингской тюрьмы», на которую его подвигла внезапно его захватившая теория искупления через страдание, а также образ Христа как предтечи романтического течения в жизни; это была для Уайльда новая философия, рожденная во время заключения вследствие перенесенных страданий. Нет сомнения в том, что в Берневале, а особенно в маленьком шале Буржа, который он снимал, начиная со второй недели июня, Уайльд действительно мог начать свою жизнь заново, о чем так мечтал еще в тюрьме. У него было достаточно денег, он вел здоровый и даже спортивный образ жизни, чуть ли не каждый день купался, а по вечерам вел беседы с хозяином отеля мсье Бонне, у которого ежедневно завтракал, обедал и ужинал. Из окон шале Буржа открывался великолепный вид на море, а сам дом состоял из большого рабочего кабинета, столовой и трех спален. Здесь он мог позволить себе забыть Дьепп и нападки, которым там подвергался, писать «Балладу» и придумывать новую пьесу. Кроме того, письмо, опубликованное в газете, и то, которое он послал сразу же вслед за первым ирландскому социалисту Майклу Дэвитту, отсидевшему в тюрьме четырнадцать лет и обратившемуся к правительству с вопросом, касающимся охранника Мартина, о котором писали газеты, не остались без последствий: Оскар Уайльд получил предложение о сотрудничестве по тюремной тематике от газеты «Журналь». Он даже совершал паломничества до Нотр-Дам-де-Льесс, деревенской часовни, находившейся в двадцати метрах от отеля, где подолгу беседовал со старым кюре Троарди, находя его по-детски наивным: «Он знает, что я атеист, и верит, что Пьюзи все еще жив. Он утверждает, что Бог обратит Англию в свою веру, потому что англичане очень любезно обошлись со священниками,

находившимися там в изгнании во времена Революции»[550].

Но внезапно этот покой, это хрупкое равновесие были нарушены: от Дугласа пришло письмо, которое Уайльд счел возмутительным. Он немедленно решил никогда больше не видеться с ним: «Оказаться вместе с ним будет равносильно возвращению в ад, от которого я, кажется, освободился»[551]. По крайней мере, именно так он написал Россу, который словно олицетворял для него свет, в то время как Бози олицетворял скорее силы тьмы. Однако именно тьма бывает так привлекательна! Отметая одним взмахом все обиды, Уайльд вдруг пишет Альфреду Дугласу письмо. Он просит Бози переговорить с Люнье-По относительно пьесы, замысел которой он сейчас вынашивает, полагая, что такой разговор принесет ему больше пользы, чем беззаботные заявления, появившиеся во французских газетах. На самом деле он пытается лишь скрыть свою слабость, поскольку не нуждается в помощи, чтобы отстаивать свои интересы перед человеком, которого недавно принимал у себя и который ему предан. Но Уайльд словно зачарованный вновь оказался во власти своей любви к Бози, любви, которая выдержала столько испытаний. Правда, он не сразу сдался, цепляясь за свое прошлое, связанное с семейной жизнью; он даже расставил на камине фотографии сыновей в школьной форме, присланные Констанс; он попросил привезти их к нему в Дьепп и оставить на несколько дней. Знал ли он, что надежды его напрасны, что она не может на это согласиться, несмотря на врожденное благородство, позволившее все ему простить; понимал ли, что сам всего лишь пытается избежать погибельной любви, которая вновь поманила его?

Ничто не могло препятствовать его неумолимому движению к пропасти, хотя сам Уайльд всеми силами старался замедлить это движение, например, с головой погружаясь в литературу. На него произвел глубокое впечатление «Наполеон» Ла Женесса[553] — Оскар всегда питал слабость к трагедиям, предвосхитившим его собственную; он дал весьма строгую оценку книге «Яства земные»: «Книга Андре Жида меня разочаровала. Я всегда считал и теперь считаю, что эгоизм — это альфа и омега современного искусства, но чтобы быть эгоистом, надобно иметь „эго“. Отнюдь не всякому, кто громко кричит: „Я! Я!“, позволено войти в Царство Искусства. Лично к Андре я испытываю огромную любовь, и я часто вспоминал его в тюрьме»[554]. И вот как раз в один из вечеров, когда Уайльд вернулся из Дьеппа после ужина у Стеннардов, он нашел у себя поджидающего его Жида. Стояла хмурая ночь, небо было покрыто тучами, и Жид заметил, что Уайльд очень изменился, это был уже не тот «одержимый лирик из Алжира, а

спокойный Уайльд, каким он был до кризиса»[555]. Андре Жид любовался уютом его жилища, радовался его желанию вновь стать художником, начать жизнь заново. Уайльд развернул перед восхищенным взглядом Жида причудливый ковер своих мечтаний, говорил о Достоевском, о русских писателях. «Милосердие — это та сторона, откуда открывается вид на творчество, откуда оно кажется бесконечным (…) Знаете ли вы, дорогой мой, что именно милосердие помешало мне убить себя?» И тут же добавил: «Ведь я попал в тюрьму с каменным сердцем, не помышляя ни о чем другом, кроме собственного удовольствия, а теперь мое сердце совершенно разбито: в нем поселилось милосердие»[556]. Он ничего не рассказал о «Балладе», над которой уже работал, а говорил о будущих пьесах — «Ахав и Иезавель», снова «Фараон», все те же химеры, но этим планам уже не суждено было сбыться. На следующий день Жид покинул Уайльда и по возвращении в Париж поделился последними новостями с лордом Дугласом.

22 июня 1897 года город Дьепп был расцвечен флагами в честь юбилея королевы Виктории, которую от имени правительства Французской Республики поехал поздравлять герцог Ауэрштадтский. Дьеппские торговцы украшали флагами свои лавки; вечером все высыпали на демонстрацию, проходившую под окнами домов, в которых жили англичане и в которых по столь торжественному случаю горел яркий свет. Из казино доносилось «Боже, храни королеву», а в парках были устроены гулянья, то и дело освещаемые вспышками фейерверков. В этот день по традиции открывался курортный сезон, и по такому случаю все городское население пришло поглазеть на прибытие победителя авторалли Париж — Дьепп, проходившего под патронажем газеты «Фигаро» и Автомобильного клуба Франции. М. Жамэн проехал расстояние в сто семьдесят километров за четыре часа тринадцать минут. 17 июня, за несколько дней до этого события, муниципалитет торжественно открыл площадь Камий-Сен-Санс; после церемонии открытия состоялся банкет, на котором председательствовал музыкант, а с заключительной речью выступил Фриц Таулов. Английская колония в Париже также отмечала знаменательную дату, а самые влиятельные люди Франции, несмотря на скрытую англофобию, собрались на «вечеринку в саду» в английском посольстве.

Будучи нежеланным гостем в Дьеппе, Уайльд собирался отметить шестидесятилетие царствования королевы на свой манер. Он пригласил пятнадцать мальчишек, детей

берневальских рыбаков, и угостил их огромным тортом, надпись на котором гласила: «Юбилей королевы Виктории». Стояла великолепная погода, и в половине пятого в «Кафе де ля Пэ», убранном английскими и французскими флагами, началось празднество, а потом — раздача подарков, музыкальных инструментов: аккордеонов, труб и рожков. Вслед за этим вся компания, возглавляемая Оскаром Уайльдом и кюре Троарди, маршировала по Берневалю под звуки «Марсельезы» и «Боже, храни королеву», а также под возгласы: «Да здравствует президент Республики и мсье Мельмот!» С тех пор всякий раз, когда Уайльд проходил по деревне, юные школьники неизменно приветствовали его криками: «Да здравствует мсье Мельмот и английская королева!» под веселый смех прохожих.

В одночасье он стал самым знаменитым человеком в деревне. Уайльд принимал у себя Эрнеста Даусона[557], Чарльза Кондера[558], который был вновь очарован им, Делхаузи Янга[559]; поэзия, живопись и музыка «Сиреневой декады» опять соединились в шале Буржа вокруг Уайльда, к которому словно вернулись прежнее вдохновение и радость жизни. Тем не менее его изрядно тревожили статьи Дугласа, так как из-за них Уайльд мог быть обнаруженным в этой тихой гавани, где он начал ощущать душевный подъем. Уютно устроившись в окружении верных друзей, раздираемых ревностью друг к другу, он работал над «Балладой», сознавая, что под его пером рождается шедевр. Он ясным взором оглядывался на годы, проведенные в тюрьме, о чем свидетельствуют письма, написанные в ту пору: «Это, безусловно, была ужасная трагедия, и тем не менее, я не храню в сердце ни капли горечи против общества. Я принимаю все, как есть (…) В действительности я не стыжусь того, что оказался в тюрьме. Но я глубоко стыжусь того, что вел жизнь, недостойную художника»[560]. Он все еще продолжал верить в окончательный разрыв с Бози, несмотря на то, что любовь продолжала трепетать в каждой строчке писем, которые он писал лорду Дугласу с начала июня.

Так и текла спокойная жизнь, заполненная прогулками пешком или в коляске, обедами в Дьеппе, выходами в море с деревенскими рыбаками, долгими беседами со своей «свитой» или жителями деревни, в обществе которых Уайльд нередко засиживался в кафе. Уайльд полностью полагался на Росса во всем, что касалось материальных вопросов, которые продолжали заботить его, но уже не доставляли больших волнений. Он даже подумывал о том, чтобы построить себе шале на клочке земли, расположенном у самого берега моря, чтобы закончить свои дни в окружении этого идиллического пейзажа. Ему, наверное, никогда

так хорошо не мечталось. Вновь обретя чувство юмора, Уайльд объяснял своему «банкиру» Россу эту новую прихоть тем, что жизнь в гостинице обходится гораздо дороже, чем в собственном доме: «Стоимость твоей спальни составит два с половиной франка за ночь, но множество услуг пойдут за дополнительную плату, такие, как свечи, ванная и горячая вода; сигареты, выкуренные в спальне, также пойдут за дополнительную плату; стирка — за дополнительную плату; а если кто-нибудь откажется от дополнительных услуг, то ему, само собой, это просто будет включено в счет: ванна — 25 сантимов, отказ от ванны — 50 сантимов, сигареты в спальне — 10 сантимов за каждую, отказ от сигарет в спальне — 20 сантимов за каждую»[561].

Робби все больше и больше терялся от чудачеств Уайльда, которому вдруг пришла мысль арендовать пароход; кроме того, он все сильнее ревновал его к Кондеру и Даусону, которые, как он считал, жили в Берневале за счет Уайльда, а следовательно, и за его. При этом он еще не знал, что Уайльд ежедневно под самыми разными предлогами, но с все возрастающей нежностью писал Бози. Что уж говорить о деньгах, которые он отправлял бывшим товарищам по тюремному заключению, пригласив одного из них на целую неделю в шале Буржа, естественно, за счет своих друзей? Оказываясь в Дьеппе, он допоздна засиживался в «Кафе Сюис», хотя по-прежнему опасался услышать замечание какого-нибудь заезжего англичанина; там Уайльд погружался в чтение английских или французских газет, со страхом ожидая увидеть свое имя. Книги, которые из Лондона и Парижа присылали друзья, выстраивались стопками на столе и на полу в рабочем кабинете: «Ничина» Хьюза Ребелла, стихотворения Тристана Клингзора. Эти книги были последними ниточками, связывавшими его с миром литературы, единственным, на его взгляд, настоящим миром; работа над «Балладой» затягивалась; задуманные пьесы были отложены на потом, на время, когда будут улажены финансовые проблемы, если они вообще когда-нибудь будут улажены.

К несчастью, торжества по случаю юбилея английской королевы, состоявшиеся в конце июня, привели к последствиям, которых Уайльд не мог себе даже вообразить. Во-первых, кто-то обратил внимание на то, что он приглашал к себе одних мальчиков. Затем до окружающих дошло, что Себастьян Мельмот странным образом напоминает того самого Оскара Уайльда, который только что отсидел два года в тюрьме за свою безнравственность. Переполошившиеся и заподозрившие неладное отцы семейств начали запирать перед ним двери своих

домов. В Берневале, как и в Дьеппе, он начал ощущать враждебность со стороны окружающих; как напишет позже один из маленьких школьников Алэн Кайас: «Закончились партии в домино с таможенниками, закончились и дружеские беседы с аббатом Троарди или с отцом Бонне»[562]. Тогда он стал чаще бывать в Дьеппе, где встречался с Уилли Ротенстайном и с издателем Леонардом Смизерсом, который предлагал заняться изданием «Баллады». Вместе с Даусоном они доехали до Мартэн-Эглиз, где Уайльд даже позволил себе улыбнуться молоденькой официантке из таверны, в которой они остановились выпить чашку чаю или рюмку абсента.

Неожиданно маркиз Куинсберри, прознавший о планах сближения своего сына с Уайльдом, вновь появился на горизонте. Он грозил устроить скандал прямо в Дьеппе и напоминал адвокатам Уайльда и Констанс, что, в случае если эти двое возобновят свои скандальные отношения, Уайльд должен будет лишиться годовой ренты. В полном смятении, поскольку Уайльд только что пригласил Бози приехать в Берневаль, и в неописуемом ужасе при мысли о грозящей катастрофе, о риске потерять друзей, которые немедленно бросят его, отдавая себе отчет в том, какой ужасный скандал разразится в Дьеппе или в Берневале, Уайльд написал Бози: «Если К. заявится сюда и закатит грандиозную сцену, это окончательно погубит мое будущее и оттолкнет от меня друзей. Им я обязан всем, что имею, вплоть до нательного белья, и совершить поступок, который их со мной поссорит, — значит, обречь себя на гибель (…) Я думаю о тебе постоянно и люблю тебя неизменно, но мрак безлунной ночи разделяет нас. Мы не можем преодолеть его, не подвергаясь отвратительной и безымянной опасности»[563]. Словно стремясь возвести непреодолимую преграду, он сообщил Робби: «Вот теперь я окончательно порвал с Бози. Я был так удручен, более того, напуган от одной только мысли о возможном скандале. Во французских газетах появилось сообщение, что я нахожусь вместе с Бози в Лоншане, а для злых языков достаточно уже и этого»[564].

В начале июля Уайльд продолжал тайные вылазки в Дьепп, где встречался с еще одним изгнанником, Обри Бердслеем, выброшенным на берег в этом городе, который стал последним пристанищем проклятых английских художников и где все еще продолжали судачить о группе экстравагантных личностей, окружавших Оскара Уайльда.

Прошло время, столь же переменчивое, как настроение Уайльда и несносная погода, стоявшая в том году в начале августа, как раз в ту пору, когда Дьепп наводнили около двенадцати тысяч английских туристов, толпившихся в казино, в

кафе или на скачках. Несчастному Мельмоту стало невозможно появляться в городе, его гнали изо всех кафе и ресторанов. Он вынужден был оставаться в своем шале, сидеть на балконе или в саду. Он слонялся без дела, закончил поэму, сделал кое-какие наброски для будущей пьесы, написал множество писем и погрузился в религиозные мысли, которые подтолкнули его, болезненно отрешенного, на сближение с церковью: «Страдание представляется мне теперь как нечто священное, нечто такое, что освящает всех, к кому прикоснется». Уайльд перечитал «Парня из Шропшира» А. Э. Хаусмена, и это даже сказалось на ритмике его «Баллады Редингской тюрьмы». Он интересовался у Росса, как обстоят дела с «De Profundis», копию с которого он просил переслать Бози (Росс, естественно, поостерегся это сделать), а также спрашивал о своем портрете, заказанном у Пеннингтона, который он хотел повесить на стену у себя в шале.

От Карлоса Блэккера, который находился вместе с Констанс во Фрайбурге, он узнал об ухудшении состояния здоровья жены, которую парализовало вследствие обострения хронического воспаления спинного мозга, от которого она вскоре умерла. Дозволено ли будет ему проведать ее, хотя бы на несколько дней? Не испугает ли ее его присутствие? В результате он так никуда и не поехал, и скрытая горечь постепенно уступила место отчаянию: «От Ваших слов разрывается сердце. Я не ропщу на то, что моя жизнь превратилась в обломки, — так оно и должно быть, — но когда я думаю о бедной Констанс, я просто хочу наложить на себя руки. Но я знаю, что обязан пережить все это. Немезида поймала меня в свою сеть, сопротивляться бесполезно. Почему человек так стремится к саморазрушению? Почему его так манит собственная погибель?»[565]

Пророческие слова, ибо в этом письме Оскар Уайльд в очередной раз предсказал свою судьбу. Даусон уехал обратно в Англию, Робби был слишком далеко, а Бердслей умирал в Дьеппе, в том самом отеле, куда прибыл Уайльд три месяца назад, три месяца, которых оказалось достаточно для того, чтобы от всей его решимости начать новую жизнь не осталось и следа. Удовольствия, созерцание природы, благостность — все меркло рядом со скукой, постоянным одиночеством и материальной зависимостью, от которой он никак не мог освободиться, исключительно по собственной вине. Обещания, данные им в «De Profundis» и повторенные позднее Россу и Жиду, оказались погребенными под обломками никудышного и сурового существования, такого же, как «Баллада Редингской тюрьмы», ставшая страстным ответом на «De Profundis», ибо в ней вновь зазвучала та самая нота отчаяния, которая была слышна почти во

всех его произведениях, начиная со «Звездного мальчика», «Дня рождения инфанты» и заканчивая письмом в «Дейли кроникл», чьим назойливым рефреном могла бы стать фраза из «Молодого короля»: «Бремя наших дней слишком тяжко для того, чтобы человек мог нести его в одиночестве, а мирская боль слишком глубока для того, чтобы человек в одиночку был в состоянии ее пережить».

Он попытался завязать интрижку с неким Хубертом Байроном, который жил со светловолосым пианистом и со своим секретарем, у которого волосы были фиолетового цвета. Но мысли и желания Уайльда были устремлены совсем в другом направлении. Время смирения прошло; вернулось время Бози Дугласа. Вот уже несколько недель Бози засыпал Уайльда письмами, и Уайльд не в силах был больше сопротивляться, о чем и написал Фрэнку Харрису: «Ну кто бы смог остаться глух, Фрэнк? Любовь зовущая, призывающая с распростертыми объятиями; кто нашел бы в себе силы остаться в этом мрачном Берневале, чтобы наблюдать, как завеса дождя обрушивается на землю, как серые краски неба перемешиваются с серостью морской воды, и думать о Неаполе, о любви, о солнце; ну кто бы устоял перед таким соблазном? Я не смог, Фрэнк, мне было так одиноко, я так ненавижу одиночество»[566].

Он отправился на встречу с лордом Альфредом Дугласом в Руан, а чуть раньше, 31 августа, пренебрегая угрозами маркиза Куинсберри и не имея сил сдерживать далее свою страсть, он написал, сидя на террасе «Кафе Сюис»: «Мой обожаемый мальчик, я получил твою телеграмму полчаса назад и пишу эти строки только лишь для того, чтобы сказать, что быть с тобой — мой единственный шанс создать еще что-то прекрасное в литературе (…) Мое возвращение к тебе вызывает всеобщее бешенство, но что они понимают?»[567] О деталях этой встречи стало известно от самого Альфреда Дугласа: «Бедный Оскар заплакал, когда я встретил его на вокзале. Весь день мы бродили по городу, взявшись за руки, и были совершенно счастливы». Ни дождь, ни ветер, ни осенние сумерки, окутавшие шале Буржа, ни оглушительный шум волн, разбивавшихся о скалы, ничто не в состоянии было омрачить радость Уайльда, который даже согласился доверить «бедному милому Обри» работу над иллюстрациями к «Балладе», несмотря на то, что, по его собственному признанию, он предпочел бы Фернана Кнопффа. Какая разница! Предоставив издателю самому решать все вопросы, он готовился к отъезду из Берневаля и из Дьеппа, чтобы поселиться в отеле «Англетер» в Руане. Угрозы Куинсберри,

опасность лишиться ренты? Прекрасно понимая, какую цену придется заплатить за преодоление «мрака безлунной ночи», он отказывался прислушаться к голосу разума, признаваясь в этом в письме к Робби:

«Мое возвращение к Бози психологически было неизбежным (…) Я не могу существовать вне атмосферы любви; я должен любить и быть любимым (…) В последний мой месяц в Берневале я был так одинок, что хотел покончить с собой. Мир захлопнул передо мной свои врата, а калитка любви по-прежнему открыта.

Если меня начнут осуждать за возвращение к Бози, скажи им, что он предложил мне любовь и что я, в моем одиночестве и позоре, после трех месяцев борьбы с отвратительным филистерским миром, вполне естественно, не отверг ее. Конечно, с ним я нередко буду несчастлив, но несмотря на это я люблю его; уже одно то, что он разбил мою жизнь, заставляет меня любить его. „Я люблю тебя за то, что ты погубил меня“ — этими словами кончается одна из новелл в „Колодце Святой Клары“, книге Анатоля Франса, и они полны жуткой символической истины»[568]. Оскар знал, что его поступок равносилен самоубийству, знал, что Тернер, Росс, Харрис, то есть все, кто обеспечивал его существование, резко осуждали это безумие; но Бози был и оставался его страстью, и эта страсть обернулась трагедией, равно как и любая страсть в жизни Оскара Уайльда.

И вот он приехал в Руан, где задержался до 14 сентября, в то время как Бози снова уехал в Неаполь. 15 сентября он перебрался в Париж, остановившись в отеле «Эспань» и заказав оттуда номер в Неаполе. Немного стыдясь самого себя, он объяснял друзьям и знакомым свой отъезд, ссылаясь на климат нормандского побережья, на скуку, на англичан в Дьеппе, на невозможность продолжать работу в невыносимой атмосфере Берневаля. Ему никого не удалось убедить, кроме самого себя, причем даже это остается под большим вопросом.

В тот же день Уайльд написал американо-ирландскому поэту и писателю Винсенту О’Салливану, который бывал у него в Берневале, попросив его приехать. На следующее утро О’Салливан приехал в отель на улице Тетбу и нашел Уайльда в обществе Роуланда Стронга, парижского корреспондента газет «Нью-Йорк таймс», «Обсервер» и «Морнинг пост»; будучи воинствующим антисемитом, Стронг с большим интересом следил за развитием дела Дрейфуса и одним из первых подхватил слух о том, что вице-президент сената месье Шерер-Кестнер убежден в невиновности Дрейфуса и может представить тому доказательства. У Стронга были собственные надежные источники информации в кругу гомосексуалистов из окружения

военного атташе Италии Паниццарди, и именно он рассказал Уайльду, которым неизменно восхищался, о деталях этого «дела», взбудоражившего общественное мнение.

Уайльд и О'Салливан отправились пообедать в скромный ресторан на бульваре Монмартр, где никто не мог узнать Уайльда. Уайльд был очень взволнован, сильно нервничал, рассказывая о своих планах поехать к Бози в Неаполь, о материальной стороне этого решения, и в конце концов признался: «Я еду в Италию сегодня вечером. Или, вернее, поехал бы, если бы не одно глупое обстоятельство. У меня нет денег»[569]. Тогда О'Салливан привез его на улицу д'Антен в Парижско-Нидерландский банк и вручил Уайльду сумму, необходимую для осуществления этого безумства.

На следующий день Уайльд принял в гостинице журналиста из газеты «Жиль Блаз», который описал его как высокорослого мужчину с руками, украшенными двумя перстнями с драгоценными камнями и каббалистическими знаками, подобными тем, какие можно найти в египетских пирамидах. Как пояснил Уайльд, один из камней он носил на счастье, другой — на несчастье, поскольку несчастье необходимо каждому, кто хочет стать счастливым. А кроме того, один из камней был зеленого цвета, потому что это цвет ада, но также и цвет надежды: «Чтобы войти в рай, нужно постучать только один раз, а чтобы попасть в ад, нужно постучаться трижды. Поверьте мне и любите зеленый цвет, любите ад; зеленый цвет и ад созданы для воров и художников». Он приводил цитаты из Верлена и Малларме, которому отдавал предпочтение, когда тот писал по-французски, так как «по крайней мере, на французском языке Малларме непонятен, чего, увы! не скажешь о его сочинениях на английском». После этого каламбура он улыбнулся журналисту, протянул ему руку и вернулся к себе в номер, чтобы закончить последние приготовления. Тем же вечером он уехал, сделав остановку в Экс-ан-Провансе, затем Генуе и наконец — в Неаполе, где у него был заказан номер в «Отель Рояль».

Жизнь его озарилась радостью. Он снова принялся за работу над «Балладой», написал либретто «Дафниса и Хлои» для Делхаузи Янга, поездил с экскурсиями по окрестностям Неаполя, в Паузилиппе, на Капри, без счета тратя деньги и постоянно пребывая в радостном возбуждении, которое ничто не в силах было омрачить: ни предостережения Карлоса Блэккера, ни угрозы леди Куинсберри, ни беззаботность Бози, ни огорченные упреки всех без исключения друзей, осудивших его безрассудство. Тем не менее на солнечное небо Неаполя вскоре набежали тучи в виде неизбежных английских туристов, которые, узнав Уайльда,

начали его преследовать. Именно по этой причине он снял виллу Джудиче на виа Позилиппо, в которой рассчитывал провести зиму с наименьшими расходами, а главное, надеялся укрыться от назойливых глаз. Уайльд получил сто фунтов от Делхаузи Янга за «Дафниса и Хлою», которая так и не была поставлена, и еще триста от Смизерса за «Балладу Редингской тюрьмы» — он уже начал вычитывать гранки; в эти же дни Уайльд начал работать над «Флорентийской трагедией».

Обретет ли он покой от страстей, вернется ли к нему вкус к работе на фоне «дорического и ионического», как он говорит, пейзажа? Утверждать так значило бы не принимать во внимание Бози, который продолжал играть чувствами Уайльда, то покидал его, то возвращался, не пропуская ни одного портового продажного мальчика; Дуглас плевал на обиды, которые приходилось сносить Уайльду в неаполитанских ресторанах или открытых кафе на Капри, когда какой-нибудь возмущенный отец семейства посылал метрдотеля попросить Уайльда и Дугласа покинуть заведение. Это значило бы не принимать во внимание драматические обстоятельства, вытекающие из этого возврата к прошлому: лишение ренты, ревность Робби, отвращение Харриса. Констанс писала ему угрожающие письма, сообщая об этом Карлосу Блэккеру: «Сегодня я отправила Оскару короткое письмо, в котором прошу немедленно ответить на мой вопрос: был ли он на Капри и встречался ли где-либо еще с этим ужасным человеком. Я также написала ему о том, что его совершенно не интересуют сыновья, так как он даже не сообщил, получил ли фотографии, которые я ему посылала вместе с письмом, полным теплых слов»[570].

Бедная, наивная Констанс, ее жизнь была разрушена, а она все еще не могла поверить, что Оскар и Бози снова вместе, в то время как об этом знала уже каждая собака!

Уайльд внезапно осознал, что лорд Генри Уоттон был совершенно прав, говоря Дориану Грею: «Очарование прошлого заключается в том, что это прошлое». Настоящее постепенно превращалось в кошмар; нехватка денег все сильнее давала о себе знать, позорные стычки, наподобие тех, которые случались в Дьеппе, становились все более частыми; Бози нередко оставлял его в одиночестве, задерживаясь на Капри в гостях у богатой американки, которая занимала там великолепную виллу. Несмотря на предупредительность шведского врача и романиста Акселя Мунте, который, отдыхая на Капри, оказывал Уайльду теплый прием, он снова начал страдать от одиночества, на которое был обречен даже на итальянской земле. У него было мало надежды на то, что права на «Балладу» удастся успешно

продать в Соединенных Штатах; нью-йоркский газетный магнат Уильям Рэндольф Херст явно не торопился с ответом. Что же до неаполитанской прессы, то она, напротив, без устали публиковала самые невероятные сообщения, которые отнюдь не способствовали улучшению и без того невыносимого положения Уайльда. Тем не менее он надеялся поставить в Неаполе «Саломею», хотя по всему было видно, что он и сам не очень-то верит в эту затею. Время для него растягивалось «наподобие стальной пружины», как напишет он сам, а за отчаянными попытками стряхнуть с Бози его безразличие все отчетливее проступала полная бесперспективность их отношений. Весь Лондон был в курсе его жизни в Неаполе, скандала на Капри, катастрофического положения, в котором он оказался и отголоски которого долетали и до Парижа: «Оскар Уайльд проживает сейчас в Неаполе и, как нам сообщили, очень нуждается»; Уайльд отозвался на это со свойственной ему иронией: «Парижский „Журналы“ посвятил мне симпатичную заметку, в которой говорится, что я умираю от голода в Неаполе; но ведь пока человек жив, французская публика расщедривается только на сонеты в его честь, когда же он помрет — готова скинуться на памятник»; Уайльд явно имел в виду общеизвестный факт, что один только муниципалитет Парижа заказал в последнее время чуть ли не тридцать пять памятников. Ренту от Констанс он больше не получал, маркиз Куинсберри был в курсе событий, леди Куинсберри с мольбой взывала к сыну. Из Капри в Неаполь, из Неаполя на Сицилию, то в гостиницах, то на виллах — роскошная и расточительная жизнь продолжалась. Уайльд был словно слепой, он не желал ничего видеть и слышать, не принимал упреков ни от Росса, от которого, кстати, больше чем от кого-либо зависел материально, ни от Шерарда, который продолжал защищать его, вопреки всему и всем. Его жизнь превратилась в сплошную череду ссор, расставаний, обид, а главное, — безразличия со стороны Бози. Он послал своему издателю посвящение к «Балладе», которое не будет помещено в издании 1898 года, но которое выражает глубокое чувство, несмотря ни на какие бури связывавшее его с Робби:

Когда я вышел из тюрьмы, одни встретит меня одеждами и яствами, другие — мудрыми советами. Ты встретил меня любовью.

Не в силах вырваться из плена ужасных воспоминаний и отчаиваясь от теперешней своей жизни, Уайльд чувствовал, что безумно устал от Бози и Италии, он все сильнее ощущал нехватку денег, о чем постоянно говорилось в его письмах в конце 1897

года. Тем не менее он нашел возможность вручить несколько фунтов недавно вышедшему из тюрьмы солдату, с которым побратался в Рединге. О его трудном положении было известно не только из газет, продолжавших писать о жалком существовании Уайльда в Неаполе, но также и благодаря его собственному признанию Робби Россу: «Я должен переосмыслить мое положение, поскольку не могу продолжать жить так, как живу здесь».

Хватило всего трех месяцев совместной жизни в Берневале и трех — в Неаполе, чтобы Уайльд осознал, что ад свободной жизни хуже ада Редингской тюрьмы. Любовь Бози умерла, любовь Оскара Уайльда была разбита. Он написал «De Profundis», «Балладу Редингской тюрьмы», и только теперь понял, что все было тщетно. Его жизнь разбилась вместе с любовью Дугласа. «Каждый из нас убивает то, что любит»; такие стихи он теперь писал. Ему было уже сорок три года, десять из которых, безусловно, были прожиты напрасно. Он вспоминал слова лорда Генри: «Молодость, Дориан, нет ничего, кроме молодости»; эту фразу он написал словно играючи много лет назад, и она наполнилась подлинным смыслом именно теперь, когда он проник в сады страданий, тех самых, в которых, по его признанию, сделанному Андре Жиду, он так страстно желал побывать. Даже Констанс потеряла всякую жалость по отношению к Уайльду; вот что она писала брату 18 ноября: «Я лишаю Оскара дохода, так как он живет с Альфредом Дугласом, кроме того, очень скоро я объявлю ему войну! Его друзья в Лондоне единодушно с этим согласились, поскольку договоренность была такова, что, если он вернется в этому человеку, он лишится всех доходов». К отчаянию Уайльда добавилось еще и унижение; его вновь стали посещать мысли о смерти: «Я не хотел бы умереть, не увидев свою поэму вполне законченной, насколько это возможно в отношении поэмы, сюжет которой убог, а трактовка слишком индивидуальна»[571]. Ему было необходимо изменить посвящение из боязни вызвать новый скандал, и Уайльд предложил то, которое и будет стоять во всех изданиях поэмы:

Памяти К. Т. У., бывшего кавалериста Королевской Конной Гвардии.

Казнен в тюрьме Его Величества, Рединг, Беркшир, 7 июля 1896 года.

В переписке с Россом, Мором Эйди, Тернером, поддержавшими решение Констанс лишить Уайльда ренты, он постоянно возвращался к «отвратительной репутации», которую они вменяли в вину Бози и которая стала основной причиной решения Констанс; ведь репутация тех, кто позволял себе судить

его, была ничуть не лучше. Несмотря на все, что было в прошлом, на былую решимость, на ужасные обвинения, предъявленные в «De Profundis», на теперешнее отношение к нему Бози, он почему-то пытался сохранить видимость этой любви ценой невероятной несправедливости и неблагодарности по отношению к своим единственным настоящим друзьям. Бози продолжал приоткрывать для него врата снов, пусть даже кошмарных, он все-таки оставался для Уайльда тем мгновением, в котором меркла реальность; присутствие Бози представлялось Уайльду ослепительной вспышкой света. Но безденежье оказалось страшнее всего остального. Уайльд принял решение покончить со своей совместной с Бози жизнью, надеясь, что Росс поможет добиться возобновления выплаты ренты. Он был уже не в состоянии игнорировать реальную жизнь по мере отдаления от него белокурого миража, который еще совсем недавно он называл не иначе, как «Нарцисс из Долины Снов». Уайльд был ошеломлен отношением к нему Констанс, о чем и написал Мору Эйди: «29 сентября я получил от жены чрезвычайно жестокое письмо, в котором она пишет: я запрещаю тебе встречаться с лордом Альфредом Дугласом. Я запрещаю тебе жить в Неаполе. Я запрещаю тебе возвращаться опять к той отвратительной и бессмысленной жизни. Я не разрешаю тебе приезжать в Геную»[572]. Действительно, она находилась в это время с сыновьями в Генуе и сильно опасалась того, что скандальная жизнь отца может отразиться на их судьбе.

Уайльд стал мечтать о возвращении в Париж, рассчитывая, что его дружески примут как поэта, ибо он вновь стал поэтом. К сожалению, издание «Баллады» сопровождалось бесчисленными трудностями, среди которых далеко не последними стали условия издателя, взявшегося учить его морали. И потом, Парижу и без Оскара Уайльда хватало забот.

После сенсационных заявлений сенатора Шерера-Кестнера антидрейфусовская агитация достигла апогея. Для того чтобы положить конец всяческим предположениям и гипотезам, Орельен Шолль заявил, что «виновность Дрейфуса не может быть подвергнута ни малейшему сомнению». Майор Эстерхази, со своей стороны, опубликовал письмо, в котором возмутился клеветой, распространявшейся на его счет — главным образом, полковником Пикаром, — и обратил внимание на то, что в событиях вокруг дела Дрейфуса приняла участие некая таинственная Сперанца: это прозвище, как мы помним, было боевым псевдонимом матери Оскара Уайльда. Эстерхази потребовал расследования по этому вопросу, в то время как общественное мнение ставило вопрос о невиновности Дрейфуса,

а сторонники и противники Дрейфуса рвали друг друга на части из-за не вполне понятной трактовки идеи родины или еще менее понятной идеи правосудия. Оскар Уайльд оказался в тени, так же как и третий процесс по делу, связанному со строительством Панамского канала, которое уже не вызывало ничего, кроме скуки. Газеты писали только о деталях расследования, которое было начато по требованию Эстерхази, и о триумфе Коклена в «Сирано де Бержераке» на сцене театра у Сен-Мартенских ворот.

С 30 ноября Бози Дуглас был в Париже; он оставил Уайльда в нужде и одиночестве, в тщетном ожидании получить от кого-нибудь аванс в счет будущей пьесы. В начале декабря Уайльд предложил Смизерсу воспользоваться услугами немецкого художника Анри Эрана, с которым его познакомил Анри Даврэ и который мог сделать иллюстрации к «Балладе», но из этой затеи ничего не вышло, поскольку Смизерс планировал сделать издание как можно более дешевым. Это новое разочарование, пусть и незначительное, соединившись с другими, образовало то самое «невыносимое ярмо», о котором много лет назад он писал в «Молодом короле». Уайльд поделился своими страхами с Робби, который и так вдруг оказался кругом виноват: именно на него Уайльд обрушился в связи с решением о прекращении выплаты ренты: «В целом же я полагаю, что ты проявляешь поразительно мало сочувствия к раздавленному, душевно надломленному и глубоко несчастному человеку»[573]. Но при всем этом Уайльд не потерял ни ясности ума, ни поразительного художественного и психологического чутья. Об этом можно судить по одной только фразе, которая не может остаться незамеченной в ворохе писем, полных страхов и терзаний: «Ужас тюрьмы заключен в контрасте между причудливостью внешнего вида и трагедией души»; в другом письме он повторил жестокую фразу, брошенную ему Робби: «Запомните навсегда, вы совершили пошлую и непростительную ошибку уже тем, что попались».

Неожиданно тучи, сгущавшиеся в течение многих недель, стали редеть. Сначала в руки знаменитой итальянской соперницы Сары Бернар Дузе попала пьеса «Саломея», и она загорелась желанием ее сыграть. Кроме того, «Баллада Редингской тюрьмы» наконец попала в типографию и должна была выйти в свет 13 февраля, в то время как в Соединенных Штатах тоже шла подготовка к ее изданию. И, наконец, главное — Мор Эйди передал ему чек на сто фунтов, половину вознаграждения, полученного от леди Куинсберри за разрыв с Бози! Уайльд тотчас покинул Неаполь и направился с экскурсией на Сицилию, затем остановился в Таормине, где любовался развалинами древнегреческого театра и средневековым замком. Очарованный

великолепным зрелищем, открывшимся взору, он забыл обиды и помирился с Мором Эйди, которого, как и Робби, считал виновным в истории с рентой. «Я, конечно же, очень сожалею, что написал тебе столько неприятного. Но я был удручен и обеспокоен и писал не думая и очень нелюбезно, ты, безусловно, должен простить меня»[574]. По возвращении в Неаполь он обнаружил еще сто фунтов, которые помогли ему на время забыть о своих злоключениях. Получив деньги, он не стал огорчаться из-за кражи одежды нахальным слугой, из-за скуки и одиночества, из-за трагикомичности жизни в Италии. К нему вернулась не только уверенность, но отчасти и его прежняя веселость.

13 января 1898 года он узнал об оправдании майора Эстерхази и публикации в газете «Орор» статьи Эмиля Золя «Я обвиняю», прокатившейся, словно раскаты грома, по всем европейским столицам. 7 февраля Уайльд получил первые экземпляры «Баллады Редингской тюрьмы». Он снова стал художником, и у него снова были деньги: сто пятьдесят фунтов, оставшиеся от денег матери Бози, которые Уайльд принял без особых угрызений совести; Бози находился в Мантоне, стало быть, Уайльду пора было возвращаться во Францию. 9 февраля он написал своему издателю: «В ближайшее воскресенье я буду в Париже. Это мой единственный шанс, чтобы сесть за работу. Я страдаю от недостатка интеллектуального общения и устал от греческих бронзовых статуй». В то же самое время он признавался Фрэнку Харрису[575], что разочарован безответственным поведением Бози: «Неаполитанские события, во всей их наготе, таковы. Четыре месяца Бози бомбардировал меня письмами, предлагая мне „кров“. Он обещал мне любовь, признательность, заботу, обещал, что я не буду нуждаться ни в чем. По истечении четырех месяцев я принял его предложение, но, встретившись с ним на пути в Неаполь, увидел, что у него нет ни денег, ни планов и что он начисто забыл свои обещания. Он вообразил, будто я в состоянии добывать деньги для нас обоих. Я действительно раздобыл сто двадцать фунтов. На них Бози жил, не зная забот. Когда же наступил его черед платить, он сделался ужасен, зол, низок и скуп во всем, что не касалось его собственных удовольствий, а когда мои деньги кончились, уехал»[576]. Даже если принять во внимание, что в устах Бози эта история выглядит иначе и что объяснения Уайльда несколько запутаны, все равно очевидно, что поведение Бози в Неаполе окончательно открыло Уайльду глаза и положило конец его безумной страсти, оставив в нем лишь чувство глубокой дружбы и воспоминания о радостных мгновениях, проведенных вместе.

Глава VIII. ЕМУ НУЖНО БЫЛО УМЕРЕТЬ

Оскар Уайльд дорого заплатил за то, что был Оскаром Уайльдом. Но быть Оскаром Уайльдом — верх роскоши. Так что вполне естественно, что это стоило так дорого [576].

Оскар Уайльд приехал в Париж 13 февраля 1898 года, в тот самый день, когда в книжных лавках появилась «Баллада Редингской тюрьмы»; он остановился в отеле «Ницца» на улице Боз-Ар. Уайльд полагал, что вырвался из ада, хотя и был уверен, что это — начало медленного погружения на самое дно.

В начале 1898 года роль Британии в Африке усиливалась, всего несколько месяцев отделяли Европу от Фашодского кризиса, который вылился в опасное противостояние между Англией и Францией, так что напряженность между ними продолжала расти. Франция, вконец запутавшаяся в деле Дрейфуса, которое активно раздувалось Англией, приняла в лице Оскара Уайльда мученика «коварного Альбиона», который превратил писателя в жертву собственной непорядочности. Такой отвлекающий маневр пришелся очень кстати, так как общественное мнение было обеспокоено признаниями Эстерхази своей жене, которые содержали обвинения в адрес генерального штаба. «Вы должны, наконец, узнать правду: я автор этого бордеро; но успокойтесь, мне нечего бояться, потому что если я и написал это бордеро, то по приказу и под диктовку полковника Сандерра». Кроме того, в результате громкого процесса, в ходе которого адвокаты Золя постарались пролить свет на условия, мало кому в то время известные, при которых Дрейфусу был вынесен обвинительный приговор, автор статьи «Я обвиняю» был также признан виновным. В такой-то обстановке потрясенная Франция смело обвиняла Англию в невзгодах, выпавших на долю великого поэта, приговор которому вынесло лицемерие викторианской эпохи, общество торговцев, отрицающих самое святое.

Да, именно жертва, человек, полностью подавленный двумя годами исправительных работ, растерявшийся после ухода Дугласа, лишенный каких бы то ни было амбиций, принял у себя в гостинице О'Салливана. «Когда я был молод, моими героями были Люсьен де Рюбампре и Жюльен Сорель. Люсьен повесился,

Жюльен кончил жизнь на эшафоте, а я отсидел в тюрьме», — сказал ему Уайльд с отчасти наигранной горечью. О'Салливан довольно быстро удостоверился, что литераторы, принимавшие Уайльда в Париже во времена его славы — Марсель Швоб, Анри де Ренье, Октав Мирбо, Анатоль Франс… — старательно избегают встречи с писателем, который нередко появлялся в ресторане у «Прокопа» и усаживался за тот же столик, за которым любил сидеть другой изгнанник: Поль Верлен.

Между тем очень скоро Уайльд обзавелся новым почетным эскортом, который состоял из Жана де Тинана, Феликса Фенеона, Жана Риктюса, Анри Даврэ, Эрнеста Ла Женесса, Антуана… не считая преданных друзей: Росса, Тернера, Шерарда и Фрэнка Харриса. А самое главное, он познакомился с юным Морисом Гилбертом, который был его правой рукой на протяжении последних лет. В начале марта он переехал в отель «Эльзас» на той же улице, который, по его словам, был «значительно лучше и вполовину дешевле». Первый тираж «Баллады» разошелся за несколько дней. Второй вышел 24 февраля, и Уайльд попросил своего издателя дать рекламу в газеты. 19 февраля Мор Эйди опубликовал о нем хвалебную статью, а 27-го «Дейли телеграф» приветствовала возвращение Оскара Уайльда в поэзию. Вскоре вышла еще одна статья, написанная Артуром Саймонсом, которая не оставляла уже ни малейшего сомнения относительно того, кто в действительности скрывался за подписью С3З. «Санди спэшл» писала: «Никогда доселе, со времен первого издания „Сказания о старом мореходе“[578], вниманию английского читателя не предлагалась столь странная, чарующая и столь мастерски написанная баллада»[579]. Уайльд разослал экземпляры своей книги Фрицу Таулову, Фрэнку Харрису и Констанс, которая, не в силах сдержать эмоций, писала: «Меня ужасно взволновала великолепная поэма Оскара, из которой до меня доходили отрывки, печатавшиеся в „Дейли кроникл“. Я узнала, что тираж разошелся в один день и что количество новых заказов все время увеличивается, а это очень хорошо, поскольку приносит деньги! Это страшное и трагическое произведение, которое заставляет плакать»[580]. Кроме того, что поэма принесла доход, она вернула Оскару Уайльду звание художника, «право гражданства», как сказал он сам. Роуленд Стронг, получив в подарок экземпляр книги, ответил восторженным письмом и с тех пор сблизился с Уайльдом, который не замедлил обратиться к нему с просьбой о ссуде. Анри Даврэ, который вел рубрику зарубежной литературы в «Меркюр де Франс», опубликовал положительный отзыв о поэме Уайльда, и тот ответил ему: «Я решил написать Вам несколько слов, чтобы еще раз повторить, насколько был тронут и

удовлетворен Вашей похвалой в адрес моей „Баллады“ и Вашим вниманием к ней. Я бы очень хотел, чтобы она была опубликована в Вашем переводе»[581].

Несмотря на трагические события, которые преследовали Уайльда в течение полугода, пока он находился вместе с Бози, он не смог окончательно отмежеваться от прошлого и написал об этом Россу, который постоянно упрекал его за бурные любовные приключения, не сходившие со страниц скандальной хроники: «Напрасно на меня все накинулись из-за Бози и Неаполя. Патриот, брошенный в тюрьму за любовь к родине, продолжает любить родину; поэт, наказанный за любовь к юноше, продолжает любить юношей. Изменить образ жизни значило бы признать уранической любовь недостойной»[582]. Память об этой любви давала ему мужество продолжать жить и преодолевать по мере сил материальные трудности, бывшие следствием его собственной безответственности. Несмотря на ренту, которую выплачивала Констанс, авторские отчисления за «Балладу», авансы, получаемые от разных издателей, он постоянно сидел без денег и вынужден был, скрывая стыд, все время выпрашивать то пять фунтов, то двести франков у всех, кто продолжал дарить ему свою дружбу.

И только «малышу Морису», обладавшему молодостью и красотой, похоже, удалось избежать таких просьб, хотя, впрочем, он при всем желании и не смог бы их удовлетворить. Уайльд договорился с Даврэ о переводе «Баллады», в работе над которым он принял активное участие, внося исправления и делая свои предложения, большинство из которых были учтены. Но энтузиазм его быстро иссяк. Резко отрицательная и грубая критика со стороны Хенли, встреча с директором «Меркюр де Франс» Валеттом, который отказался уступить требованиям Уайльда, привели его в отчаяние; наконец, сам перевод, судя по тому, что Уайльд о нем писал, не вполне удовлетворял его: «Эта вещь очень трудна для перевода, тем более что Даврэ, к сожалению, и как ни странно, никогда не сидел в тюрьме и не знает тюремной лексики (…) Мне придется просидеть над этим переводом не один день»[583]. И все же создается впечатление, что к нему время от времени возвращалась прежняя радость жизни — достаточно было пообедать с Фрэнком Харрисом у «Фуайо», прочесть благосклонную статью в «Ревю бланш» или зайти в дом Родена на Выставке 1898 года, вызвавшей у него следующие мысли: «Статуя Бальзака просто великолепна, именно так выглядит или должен выглядеть настоящий романист. Львиная голова падшего ангела, одетого в домашний халат».

Тем не менее трагедия его жизни постоянно омрачала

существование Уайльда, каким бы спокойным оно ни было. На него накатывали волны грусти, например, когда Карлос Блэккер сообщил, что получил письмо от Констанс, отправленное 4 марта: «Оскар живет или, по крайней мере, жил в отеле „Ницца“. Не затруднит ли Вас сходить к нему? Как Вам известно, он очень дурно обошелся со мной и моими детьми, поэтому любая возможность дальнейшей совместной жизни исключена; но я очень волнуюсь за него, как и за всех тех, с кем была раньше знакома. Я узнала, что сейчас он ничем не занят, а только лишь пьет, а также что он расстался с лордом А. и получил двести фунтов от леди К.»[584]. Карлос Блэккер, богатый англичанин, живший большую часть времени в Париже, где он с живейшим интересом следил за ходом дела Дрейфуса, не мог отказать Констанс в этой услуге. Он написал Уайльду письмо, а затем встретился с ним в гостинице. Уайльд по-прежнему был сердечен, ироничен и полон блеска, но ему все труднее было скрывать чувства, в которых он сам недавно признался в письме к Блэккеру: «Жизнь, которую я так любил — слишком любил, — растерзала меня, как хищный зверь, и, когда Вы придете, Вы увидите, в какую развалину превратился человек, который некогда поражал, блистал и был неподражаем (…) Вряд ли я когда-нибудь вновь возьмусь за перо: радость жизни ушла из меня, а она, наряду с силой воли, есть основа любого искусства»[585].

Создается впечатление, что Уайльд дошел до предела физических и моральных возможностей и что все его интересы ограничивались в тот период заботой о добывании денег. Он был вынужден питаться в дешевом ресторане и свести расходы к двумстам пятидесяти франкам в месяц, он, который во времена своего величия еженедельно тратил вдвое, а то и втрое больше! Но таков был теперь его доход, выплачиваемый, так же, как, впрочем, и доходы Бози и Тернера, при условии «хорошего поведения», — любопытное смешение щедрости и лицемерия, столь характерное для викторианской эпохи! Своеобразное отношение к художникам такого масштаба, попадавшим в положение полной зависимости, нашло еще одно подтверждение в очередном длинном письме Констанс к Карлосу Блэккеру, в котором она детально разъяснила материальную сторону своих отношений с Уайльдом, в то же время сознавая бесполезность каких бы то ни было объяснений. С трогательной наивностью она описывала поведение мужа, признаваясь при этом в собственной привязанности к отцу своих детей, которого она сама лишила прав на отцовство. В действительности, прожив с мужем целую жизнь, она так и не поняла в нем главного, она не распознала его

гениальности и его безумия. А муж ее в это самое время вновь наводил справки о Бози, который был с матерью в Венеции и собирался возвращаться в Лондон; игнорируя возможные последствия, он сделал остановку в Париже и снял квартиру на авеню Клебер. Да, реальную жизнь в конце этого 1898 года вернее назвать кошмаром: только что умер Бердслей[586], влачил жалкое существование Даусон, перебираясь из одной мансарды в другую, скатывался к полной нищете Кондер, а Симеон Соломон искал забвения в наркотическом дурмане. Таким был конец «сиреневого десятилетия», трагедия которого оказалась достойной той славы, что сопровождала его в течение всего последнего десятилетия XIX века.

Уайльд в очередной раз выступил с разоблачением варварского тюремного режима, принятого в Англии. Сначала он написал криминалисту Джорджу Айвсу, а затем, спустя два дня, 23 марта 1898 года отправил в «Дейли кроникл» еще одно письмо, которое было помещено на ее страницах под заголовком «Не читайте этого, если хотите сегодня оставаться счастливыми» в номере от 24 марта, то есть в тот самый день, когда в Палате общин должны были начаться дебаты по вопросу тюрем. После оглашения текста обоих писем на заседании Палаты все предлагавшиеся улучшения содержания арестантов были утверждены в законодательном порядке и вступили в силу в августе 1898 года. Депутат Джон Редмунд, выступавший в качестве обвинителя существующей системы, даже процитировал одну строфу из «Баллады Редингской тюрьмы», вызвав аплодисменты в зале заседаний.

В своем письме Уайльд перечислил три вида пыток, узаконенных в английских тюрьмах: голод, бессонницу и болезнь. Он указал, что необходимые реформы очень просты, но они должны касаться как телесных, так и душевных нужд заключенных, которые пока полностью игнорируются тюремным режимом. Уайльд перечислил все виды страданий и унижений, которые были порождены людским безразличием и жестокостью действующих правил. В заключение памфлета он сказал: «Но чтобы эти первые шаги были действенны, предстоит многое сделать. И в первую очередь самое, вероятно, трудное: научить начальников тюрем человечности, надзирателей — цивилизованности, капелланов — учению Христа». В том же номере «Дейли кроникл» опубликовала стихотворение Стивена Филлипса, предложенное автором «Баллады», не осмелившись назвать его имя и сообщить, что он продал уже десять тысяч экземпляров своей поэмы.

На следующий же день Бернард Шоу выступил в Лондоне на

конгрессе Лиги по правам человека с разоблачительной речью по поводу наказания кнутом, которое все еще применялось в тюрьмах. Кроме того, в прессе появилась большая статья, в которой один за другим были перечислены аргументы автора «Баллады Редингской тюрьмы»; автор статьи потребовал от государственного секретаря внутренних дел, чтобы эти аргументы были приняты во внимание до окончания заседания конгресса. «Пришло время положить конец игре в этот неслыханный скандал», — писала «Дейли кроникл» 25 марта. 30-го в газете было помещено интервью с узником, доведенным тюремным режимом до полной апатии.

Старая приятельница Оскара Уайльда Джорджина Уэлдон, прославившаяся тем, что заточила у себя Шарля Гуно, в которого была безумно влюблена, опубликовала собственное письмо о своем опыте пребывания в тюрьме. К ней присоединились другие свидетели тех ужасов, о которых написал Уайльд. В прессе появилось также еще одно письмо, написанное группой женщин, представительниц интеллектуальных кругов Лондона, среди которых были Эллен Терри и мисс Россетти; письмо было адресовано Эмилю Золя. Оскар Уайльд, отверженный, изгнанник, гомосексуалист, стал настоящим вдохновителем целого восстания за права человека! При этом Англия не упускала возможности заклеймить позором безответственность Франции, пославшей подкрепление в Конго для поддержки «миссии Маршана», призванной противостоять «гуманитарной миссии» Англии в Судане и Египте.

28 марта 1898 года Шерард и Роуленд Стронг, заехав за Уайльдом, повезли его на ужин, на котором присутствовал еще один герой дня, майор Эстерхази. «Меня потащили на ужин, чтобы познакомить с Эстерхази. Майор оказался удивительной личностью. Когда-нибудь я опишу все, о чем он рассказал. Само собой разумеется, он рассказывал только о Дрейфусе и К°»[587].Через несколько дней Уайльд сказал Даврэ: «Это автор того самого бордеро, он мне признался. Эстерхази гораздо интересней, чем Дрейфус, который, как выясняется, невиновен. Невиновные всегда неправы. Чтобы стать преступником, необходимо обладать воображением и отвагой, но какая досада, что Эстерхази так и не отправили в тюрьму».

Оскар Уайльд тоже увлекся этим делом, которое восстановило одну половину Франции против другой и разделило интеллектуальные круги на два отчаянно враждующих лагеря. Он не мог не заметить сходства между обоими случаями, своим и капитана Дрейфуса, осужденного без каких-либо доказательств. Как отмечал Жозеф Рейнаш, один из историков, вплотную

занимавшихся делом, «этому англичанину, самому утонченному и самому развращенному из людей, было приятно лицезреть шпиона, внезапно ставшего национальным героем». Вместе с Роулендом Стронгом, Шерардом, Эстерхази и еще одним приятелем итальянского военного атташе Паниццарди Оскар Уайльд оказался посвященным во все детали дела, после чего он уже никак не мог не согласиться с открытым письмом Эмиля Золя президенту Республики, напечатанным под заголовком, ставшим навсегда знаменитым: «Я обвиняю», в котором великий романист протестовал против оправдательного приговора Эстерхази, вынесенного по приказу свыше. Но при этом он с удовлетворением встретил известие об отмене, в связи с допущенным нарушением судебной процедуры, приговора, вынесенного самому Эмилю Золя.

Постоянно думая о переводе «Баллады», Уайльд обменивался с Даврэ многочисленными письмами и очень внимательно следил за ходом работы, что не мешало ему заниматься обстановкой квартиры Дугласа, который только что одержал очередную победу, на этот раз над слегка вороватым цветочником, которого тотчас окрестил «Флорифером»[588].

7 апреля в Генуе скончалась Констанс; известие стало для Уайльда ужасным ударом, как он сам писал Россу: «Констанс умерла. Приезжай завтра и остановись в моем отеле. Я в великом горе». И Карлосу Блэккеру: «Это воистину ужасно. Я места себе не нахожу. Если бы мы встретились, поцеловались… Но поздно. Как жестока жизнь (…) Я покинул свою комнату, потому что страшусь оставаться один». «Меня переполняет скорбь, — писал он брату Констанс. — Это самая жестокая из трагедий»[589]. Эти слова передают ту глубокую нежность, которую Уайльд питал по отношению к жене и которая устояла, несмотря на все испытания; смерть жены оставила его наедине с самим собой, теперь ему одному суждено было нести в себе «великую мировую скорбь», которая с каждым днем была для него все тяжелее.

Однако жизнь требовала свое даже тогда, когда казалась ему столь жалкой, когда все вокруг рушилось. Оскар ужинал с Фрэнком Харрисом, которого познакомил с Анри Даврэ. Покорил совсем юного мальчика по имени Эдмон, дав ему прозвище «Эдмон де Гонкур». Он ужинал с Фрицем Тауловым в «Пуссэ», где встретил Уистлера, сильно осунувшегося, постаревшего и окончательно превратившегося в ведьмака, каким он и был в душе в течение всей жизни. 30 апреля Уайльд присутствовал на открытии роденовской экспозиции на выставке; роденовский Бальзак продолжал шокировать публику, вызвав у одной из дам, дефилировавших мимо скульптора, следующую реплику: «Надо

же, а на вид совсем не злой!»

В «Белом журнале» была опубликована статья, посвященная «Балладе». По такому случаю Оскар Уайльд сблизился с редактором журнала Феликсом Фенеоном, вместе с которым нередко захаживал в «Мулен-Руж», где встречался с Иветт Гильбер и Тулуз-Лотреком, который оставил множество свидетельств этих встреч в виде карандашных рисунков и акварелей с карикатурным изображением Оскара Уайльда в виде толстого джентльмена в цилиндре. Уайльд продолжал изводить своего издателя, требуя денег, постоянно жаловался Робби на задержки с выплатой ренты и клянчил деньги у Карлоса Блэккера или Фрэнка Харриса. Нужда стала его навязчивой идеей. В конце концов обескураженный Росс написал Смизерсу: «Я получил ужасное письмо от Оскара, который, как мне кажется, пребывает в страшной нужде, даже если отбросить некоторые преувеличения. Он пишет, что не обедал в пятницу и субботу»[590]. На самом деле, пользуясь снисходительностью хозяина отеля «Эльзас» Дюпуарье, Уайльд жил в отеле в кредит, пробавляясь главным образом гостиничными завтраками; здесь также закрывали глаза и на молодых людей, которые приходили к Уайльду под предводительством Мориса Гилберта. Когда Уайльд оказался не в состоянии уплатить за недавно перенесенную операцию на горле, он написал Карлосу Блэккеру: «Такая ужасная и комичная жизнь не может больше продолжаться, и я пишу Вам, чтобы спросить, сможете ли Вы сделать для меня это»[591]. Под этим, понятное дело, подразумевалась просьба одолжить тридцать семь фунтов в счет ренты до июля, поскольку Уайльд еще ничего не получил от издателя и поэтому мог себе позволить ужин, только если его приглашал Харрис или кто-нибудь из новых литературных знакомых, таких, как, например, Альфред Жарри[592]. Жарри прислал Уайльду полное собрание своих сочинений и пригласил на постановку «Короля Юбю», которому Уайльд посвятил следующий забавный комментарий: «Он дебютировал постановкой пьесы под названием „Король Юбю“ в театре „Эвр“. Интрига состояла в том, что все действующие лица говорили друг другу „дерьмо“ на протяжении пяти актов, причем безо всякой видимой причины»[593]. В театр Уайльда сопровождал его новый почитатель — молодой и очаровательный Робер Дюмьер, который в 1909 году осуществил постановку «Саломеи» в Театр-дез-Ар.

23 мая 1898 года в суде присяжных департамента Сена-и-Уаза открылся второй процесс над Эмилем Золя. Оскар Уайльд переехал в Версаль к своей хорошей знакомой леди Планкетт, которая снимала здесь просторный особняк[594]. Затем к нему

присоединился Эстерхази, и вдвоем они отправились на слушание дела. Перед зданием Дворца правосудия Уайльду пришлось успокаивать вспыльчивого майора, вознамерившегося спровоцировать полковника Пикара, который, ознакомившись с секретным досье, пришел к убеждению, что автором бордеро, из-за которого осудили Дрейфуса, был Эстерхази, выступивший на этом процессе в роли свидетеля защиты. Что же касается самого Золя, то в беседе со своими адвокатами он выразил сожаление, что его не посадили в тюрьму, где «в тишине своей камеры он мог бы написать еще один роман».

По возвращении в Париж Уайльду, за неимением денег, не удалось встретиться со Стронгом, который вместе с Бози ждал его в Ножан-сюр-Марн, и он отправился вместе с Фенеоном, Жеаном Риктюсом и Стюартом Мериллом в Латинский квартал на праздник дуралеев. «Мы замечательно провели вечер, весь Латинский квартал сверкал красотой и брызгами вина, а студенты, переодетые в средневековые костюмы, казались такими живописными и нереальными», — рассказывал Уайльд добряку Дюпуарье, которому приходилось довольствоваться этими рассказами вместо платы за жилье.

От редактора журнала «Эрмитаж» Оскар узнал, что с ним хотел увидеться Метерлинк, который находился теперь в Лондоне, но должен был скоро вернуться, а пока предложил ему сходить в Опера Комик и насладиться пением своей любовницы, певицы Жоржетты Леблан, которая играла Сафо. Уайльд отправился в театр вместе с Бози, зашел поприветствовать певицу в ее уборной, поразился ее красоте и обаянию и принял приглашение зайти в гости, когда вернется Метерлинк. Что же до музыки Массне, то он считал, что «она, как это принято у Массне, небрежно блуждает, прерываемая извечными ложными тревогами, подлинными мелодиями и бесконечным обозначением тем, не находящих дальнейшего развития»[595]. На следующий же день он написал Леблан: «Мадам, не знаю, как отблагодарить Вас за огромное счастье, которое Вы подарили мне вчера в театре, и умоляю оказать мне честь и позволить увидеться с Вами на несколько минут (…) В моей теперешней жизни так мало удовольствий, но вчера вечером я был счастлив. Красота и талант — это такое утешение»[596].

Наконец Тернер выслал Уайльду деньги, и это принесло ему некоторое облегчение. Он сразу же отправился к Бози и его маленькому «Флориферу» в Ножан, затем к Арману Пуэну и Кондеру в Шенневьер-сюр-Марн. Оказавшись снова в Париже, он принял «малыша Мориса», только что вернувшегося из Лондона, где он доставил немало сладостных минут Тернеру и Россу.

Уайльд начал подумывать о том, чтобы снять квартиру, чтобы жить там вместе с Морисом, «сладким нарциссом английских прерий». Его нередко можно было видеть на террасе кафе «Пуссе», у «Прокопа», в «Кафе де Пари», где он писал бесконечные письма или делал наброски к задуманным пьесам. Оскар и Дуглас ужинали в самых больших ресторанах и посетили постановку «Ткачей», на которую друзей пригласил недавно примкнувший к их кругу Антуан[597]. Издательство Смизерса готовилось выпустить «Как важно быть серьезным» и «Идеального мужа». Оскару пришлось отказаться от плана переехать в меблированные комнаты, как из материальных, так и, главным образом, из моральных соображений: те из его гостей, с которыми еще мирились в гостинице, в любом другом месте рисковали быть вышвырнутыми на улицу. В один из дней Оскар и Морис отправились на выставку в Дом Инвалидов, а оттуда — на встречу с Шерардом в «Кэмпбеллс» на улицу Сент-Оноре, где стали невольными свидетелями скандала, учиненного каким-то вспыльчивым противником Дрейфуса, который прямо на улице набросился на человека, которого принял за еврея, с кулаками и криком: «Долой евреев!», что можно было принять за явную провокацию в разгар разбирательства по делу Дрейфуса. Затем, будучи в стельку пьяным, этот тип начал назойливо предлагать прочесть «Балладу», возвестив, что Уайльд, который чувствовал себя очень неловко во время всей этой сцены, является величайшим мастером современной литературы и величайшим человеком. Оскара Уайльда оглушала столь бурная жизнь, которая выглядела карикатурной по сравнению с той жизнью, какую в прежние годы вел он сам.

Печатаясь в издательстве «Меркюр де Франс», поддерживая тесные отношения с Жарри, Фенеоном, Ла Женессом, Жоржеттой Леблан, Антуаном, Тулуз-Лотреком, знакомство с которыми добавляло ему известности, возросшей после успеха «Баллады», вернув себе признание французской прессы благодаря статьям по тюремной тематике, Оскар Уайльд, безусловно, мог той весной 1898 года вновь стать самим собой; он прекрасно понимал это, если верить тому, что он говорил Джорджине Уэлдон: «Лично я, конечно же, считаю, что цель жизни заключается в том, чтобы реализовать себя как личность, реализовать все присущие тебе качества; лично я, как вчера, так и сегодня, могу добиться этого только посредством искусства»[598].

И все же моральные условия вкупе с материальной неопределенностью существования, страшная тяжесть двух лет, проведенных в тюрьме, в конце концов лишили его воли к жизни. Кроме того, новое чувство, которое возникло в «De Profundis», а

затем проявилось и в «Балладе», чувство сострадания, рожденное в нем ужасами тюремного заключения, плохо сочеталось с той жизнью, которую он продолжал вести: лишенную всяких иллюзий с Бози в Ножане, восторженную — с Кондером в Бонньере или другими юными партнерами, которых он принимал теперь в маленькой гостинице в Ножане, ставшей приютом последних проклятых поэтов. Оскар испытывал смутное беспокойство, отказываясь от той новой жизни, о которой мечтал в Рединге; кроме того, будучи непоследовательным и слабовольным, он не мог жить без комфорта, а как только дорывался до всяческих благ, бездумно и жадно упивался вином, словами, приключениями. Он стремился угнаться за роскошной и беспокойной жизнью прекрасных 90-х годов, но вынужден был ограничиваться кафе в Латинском квартале да маленькими гостиницами, не в силах выбросить из сердца свою пропащую любовь, чей образ все больше разрушался в его воображении, стоило ему посмотреть на Дугласа, летевшего в пропасть в обществе «Флорифера» или предававшегося разврату с двенадцатилетним мальчишкой, дружком своего цветочника. Он прятал свою абулию за маской художника, которая не могла обмануть даже его самого, особенно когда он оказывался у себя в номере в отеле «Эльзас», занятый бесконечной партией в безик с Морисом. Неспособный вести такую жизнь, которая больше подходила бы автору «De Profundis» или «Баллады», Оскар перестал удивлять мир; его волшебные фокусы утратили таинственность, и теперь он все чаще напоминал жалкого человечка, который сам не знает, зачем живет. Благодаря своим друзьям — писателям и художникам, — которые с радостью его принимали, Уайльд сохранял иллюзию, что и сам принадлежит к их кругу; благодаря щедрости окружавших его людей, он еще мог утешать себя надеждой возврата к прошлому, однако ложь, которую он некогда возводил до уровня произведения искусства, становилась бледной немочью.

В июле он вновь побывал в театре, где аплодировал великолепной Жоржетте Леблан, а затем навестил ее и Мориса Метерлинка у нее дома, неподалеку от Булонского леса, где певица встретила его в гостиной, одетая в тунику из черного атласа, со сверкающей диадемой на голове и с белоснежного цвета ягненком, притулившимся у ее ног. Уайльд любовался красивой зеленой мебелью, расставленной вдоль стен, затянутых белым атласом, слегка хмурясь при виде репродукций Берн-Джонса. Метерлинк не произвел на него особого впечатления, он уже был далеко не тем поэтом, который написал «Принцессу Мален», он был скорее неким писателем-материалистом,

озабоченным больше всего собственной респектабельностью, чей иронический портрет Оскар Уайльд нарисовал в одном из писем: «Это добрый малый; разумеется, он совершенно забросил искусство. Его заботит только то, как сделать свою жизнь здоровой и крепкой и как выбраться из сетей, которыми культура опутала его душу. Искусство кажется ему теперь болезнью. А „Принцесса Мален“ — абсурдной ошибкой молодости. Он считает, что будущее человечества принадлежит велосипеду»[599]. В другой раз Уайльд ужинал у «Мэра» (достойное место для Оскара Уайльда) с Харрисом, навязывая ему, во-первых, общество Дугласа и заставив, во-вторых, оплатить умопомрачительный счет. Ненадолго он вновь стал прежним Оскаром Уайльдом, говорил, рассказывал, покорял сидевшую за соседним столиком парочку, пожиравшую его глазами: это был Эдмон Ростан в блеске своей славы в сопровождении одной из многочисленных любовниц. Уайльд, развеселившись, наклонился к Фрэнку Харрису: «Он слушал так внимательно, что, мне показалось, он ни слова не понимает по-английски».

Через несколько дней против Эстерхази выдвинул обвинения его двоюродный брат, у которого тот выманил крупную сумму денег, этот брат заявил, что именно майор был автором поддельных телеграмм, сфабрикованных, чтобы скомпрометировать Пикара. Эстерхази взяли под стражу вместе с его любовницей, куртизанкой Маргаритой Паис. Они сознались, что подделали документы, чтобы уличить Пикара и воспрепятствовать его деятельности в защиту Дрейфуса. А за несколько дней до того суд присяжных департамента Сена-и-Уаза вновь вынес обвинительный приговор Эмилю Золя; и тогда же майор Эстерхази, встретив на улице полковника Пикара, поколотил его под аплодисменты толпы, настроенной крайне враждебно к пересмотру результатов процесса по делу Дрейфуса. Уайльда постоянно держали в курсе мельчайших перипетий дела, накалявших страсти публики, которые очень быстро вышли из-под контроля. «Вчера я ужинал со Стронгом специально для того, чтобы увидеться с Эстерхази и познакомиться с Паис, которая оказалась очаровательной, необыкновенно умной и красивой женщиной. Мы с ней и с майором договорились еще раз поужинать вместе в четверг на будущей неделе». За этим ужином Эстерхази продал свои признания Роуленду Стронгу. На следующий же день майор Генри, автор сфабрикованного документа, ставшего уликой против Дрейфуса, кончил жизнь самоубийством. Становилось очевидным, что дело будет пересмотрено; генеральный штаб рисковал оказаться обвиненным

в пренебрежении к правосудию. Английская пресса вежливо-снисходительно комментировала следующие одну за другой отставки высших чинов: министр обороны Кавеньяк, генералы Буадефр и Зюрлинден… «Таймс» добавляла: «Необходимо также отметить, что весь мир испытывает сейчас смешанное чувство удивления и грусти, когда обнаружились столь черные замыслы в стране, которую всегда считали оплотом свободы и прогресса». При этом пресса коварно напомнила презрительное отношение Жоржа Клемансо к маневрам «армии, обреченной на поражение», которая к тому времени окончательно запуталась в Фашоде. Таким образом, Франция, оказавшая гостеприимство жертве английского правосудия, также не обошлась без скандала, жертвой которого стал капитан Дрейфус, уже почти четыре года пребывавший на острове Дьявола. Французская пресса еще имела нахальство возмущаться тем, что в лондонском театре «Стандарт» состоялось несколько частных представлений для узкого круга пьес «Правосудие» и «Новая военная мелодрама», не обратив внимания на пьесу Ж. Роклора «Судебная ошибка», премьера которой прошла в Париже 30 июня на сцене театра Мондэн в присутствии многочисленной публики и нескольких про-английски настроенных дрейфусаров. В прессе Эмиля Золя величали теперь не иначе, как «Отец Переполох» или «Мсье-я-обвиняю». Тем не менее все усилия были напрасны, и дело капитана Дрейфуса неумолимо шло к пересмотру.

В августе того же года «в Париже стоит ужасная жара. Я брожу по раскаленным добела улицам и не встречаю ни одного прохожего. Даже преступники в полном составе отправились к морю, оставив полицейских зевать и жаловаться на вынужденное бездействие. Единственное, что может принести им хоть какое-нибудь утешение, так это возможность дать заведомо неправильный ответ на вопрос английского туриста»[600]. Оскар Уайльд продолжал внимательно следить за процессом по английским газетам либо узнавая подробности от самого Эстерхази, с которым он встречался за ужином как раз накануне отъезда майора в Брюссель. Снова оставшись без денег, Уайльд вновь обратился к Смизерсу и Россу, которые и теперь не смогли ему отказать. Экстравагантный художник-еврей из Голландии Леонар Сарлюи стал его экспансивным и восторженным поклонником. На одном из приемов он познакомил Оскара Уайльда со своим юным протеже, который представился восторженному взору Уайльда боттичеллиевским ангелом. В конце концов, чтобы скрыться от уличного пекла, он отправился с Ротенстайном и Кондером в Ла-Рош-Гюийон, расположенный в департаменте Сена-и-Уаза, где купался, катался на лодке и

готовил издание пьесы «Как важно быть серьезным».

В начале сентября он вернулся в Париж и снова допоздна стал засиживаться с Морисом на террасах кафе, где писал бесконечные письма и принимал угощения от новых знакомых, присаживавшихся за его столик. В компании с Ла Женессом и Мореа он участвовал в открытии литературных вечеров в «Кализая» на Итальянском бульваре, там Гомес Карильо познакомил Уайльда с поэтом и консулом Никарагуа во Франции Рубеном Дарио: «На бульварах находился бар под названием „Кализая“. Карильо и его друг Эрнест Ла Женесс познакомили меня здесь с довольно крепким мужчиной с гладко выбритым лицом; мужчина чем-то напоминал аббата, отличался утонченными манерами и говорил с явным английским акцентом. То был великий и несчастный поэт Оскар Уайльд. Мне редко доводилось встречать более изысканного, образованного, более элегантного, любезного и рафинированного собеседника»[601]. А вечером — «Мулен-Руж» с Лотреком и Иветт Гильбер; затем возвращение в свой номер на Рю-де-Боз-Ар и сладостные размышления о юном корсиканце Джорджио — «любвеобильном фавне», которого Уайльд мечтал покорить. Он все реже встречался с Андре Жидом, хотя последний и подарил ему экземпляр своего «Саула», который намечали поставить на сцене Театра Антуана.

В сентябре 1898 года антидрейфусовская истерия достигла своего апогея после публикации в английской прессе «признаний» Эстерхази. Англия получила прекрасную возможность подлить масла в огонь и начала мощную кампанию против Франции. «Таймс», печатавшая ежедневную хронику основных событий, ограничилась следующим суждением по поводу выступления Жана Жореса: «Когда социалисты предпринимают попытку перейти от теории к практике, они становятся опасными и ирреалистичными». Но главное — пресса комментировала дела и поступки Эстерхази. Майор так писал из Брюсселя Роуленду Стронгу:

«Телеграфируйте мне в Брюссель в „Отель де Провиданс“, я могу о многом рассказать, и мне предстоит многое сделать. Я бы очень хотел, чтобы Вы помогли мне с моей книгой, а также нашли для меня возможность заработать несколько гиней за счет статей и интервью, но не за самую большую бомбу, которую я припас на потом. До сих пор я хранил молчание, подчиняясь приказам вышестоящих начальников. Но меня бросили, и я получил право защищаться. Я рассчитываю на Вас и Вашу газету, чью беспристрастность очень ценю». «Таймс» не отказала себе в удовольствии напечатать это письмо как вызов общественному

мнению.

В начале сентября Эстерхази приехал в Лондон как раз в то самое время, когда французское правительство приняло решение о пересмотре дела. Он поселился у Роуленда Стронга на Сент-Джеймс-стрит и был готов к тому, чтобы рассказать о своей роли во всем этом загадочном деле и прояснить, был ли он шпионом и подделывал ли злополучное бордеро. Роуленд Стронг писал Оскару Уайльду, что Эстерхази был встревожен происходящими событиями и что сам Стронг посоветовал ему рассказать правду; Эстерхази якобы поведал ему, что из тысячи документов, составляющих досье, шестьсот поддельные, и майор был готов обнародовать имена тех, кто их в свое время сфабриковал. Стало очевидным, что новые откровения Эстерхази прольют на дело совершенно новый свет. Это отмечал сам Уайльд: «Здесь поднялся большой шум по поводу признаний, которые Эстерхази продал Стронгу. Он подвергается гневным нападкам со стороны своих бывших сослуживцев, а Роберт Шерард пишет ужасающей силы критические статьи»[602]. 26 сентября в беседе с владелицей «Обсервера» миссис Бир Эстерхази подтвердил то, в чем уже признался собственной жене и Уайльду:

«Бордеро было написано мной по приказу полковника Сандерра, которого уже нет в живых. Очень жаль, что полковник Сандерр и полковник Генри мертвы, так как они оба знали правду. Тем не менее остается возможность доказать, что именно я являюсь автором бордеро. Необходимость в подлоге была вызвана отсутствием материальных улик; все обстоятельства указывали на виновность Дрейфуса, поэтому потребовалось сфабриковать улику — именно это и повлияло на решение полковника Сандерра, эльзасца, как и сам Дрейфус, но отчаянного антисемита». За эту исповедь, опубликованную в «Обсервере» и подробно прокомментированную в «Таймс» от 3 октября 1898 года, Эстерхази получил пятьсот фунтов. «Дейли кроникл», в свою очередь, провела тщательный анализ этих признаний и пришла к заключению о виновности полковника Сандерра и полковника Генри. На следующий день «Таймс» опубликовала статью Роуленда Стронга, в которой последний подтвердил объяснения Эстерхази и высказал пожелание выслушать полковника Пикара, если только «Францией не правит сабля».

Парижские газеты «Фигаро», «Матен», «Тан» и «Орор», набросившиеся на эту исповедь, всячески усиливали нервное возбуждение, каждая в своем лагере. Ярость антидрейфусаров не знала границ; Анри Рошфор взялся за перо. Прежде всего ему показалось странным, что Эстерхази, оправданный в связи с

отсутствием состава преступления, вдруг сам заявил перед зарубежными журналистами о своей виновности, которую до этого всячески отрицал. Рошфор задался вопросом, не пахнет ли здесь ста тысячами франков Синдиката и кто оплатил поездку Эстерхази и пребывание в Лондоне? 13 октября «Таймс» несколько колонок посвятила перечислению основных событий, связанных с делом, придав ему уже европейский размах и утверждая, что ни в Германии, ни в Италии никто не верит в виновность Дрейфуса. Кроме того, тон заявлений лорда Эскуита становился все тверже, когда он говорил об экспедиции Маршана, которая подошла к стенам Фашоды. В довершение всего начали поговаривать о заговоре военных с целью свергнуть ревизионистское правительство: «Скандал по делу Дрейфуса сделал достоянием гласности тот факт, что дела во Франции обстоят совершенно невероятным образом». В конце концов пресса, уже не стесняясь, сравнила военный суд, вынесший приговор Дрейфусу, с судом инквизиции. В ноябре 1898 года «Меркюр де Франс» поместила на своих страницах французский перевод «Баллады Редингской тюрьмы», которая уже была опубликована в майском номере журнала; это дало возможность Жану Лоррену, посвятившему ей хвалебную статью, напомнить о несправедливом осуждении автора «Баллады» в той самой Англии, которая покрыла себя бесчестьем в Трансваале, уничтожая буров, и которая посадила в тюрьму Уайльда, вменив ему в вину порок, считающийся в этой же стране обычным делом.

В начале декабря Уайльд опять оказался в отчаянном положении. Он написал Андре Жиду, который только что прислал ему свои «Размышления о некоторых вопросах литературы и морали», душераздирающее письмо: «Мой дорогой друг, я очень Вам благодарен. Ваш сборник изречений — просто маленький шедевр эстетического достоинства, причем эта книга — первый подарок, который я получаю от Вас. Я очень этому рад и с огромным удовольствием перечитал ее снова. И вместе с тем я сейчас очень расстроен. Я давно ничего не получал из Лондона от моего издателя, который должен мне деньги, и поэтому прозябаю в полной нищете. Не знаю, можете ли Вы мне чем-нибудь помочь, но если бы Вы одолжили мне двести франков, то сделали бы меня вполне счастливым, так как на эти деньги я смог бы продержаться какое-то время. Видите, в какой степени трагедия моей жизни стала безобразной. Страдание можно, пожалуй даже необходимо, терпеть, но бедность, нищета — вот что страшно. Это пятнает душу»[603]. Андре Жида, не слишком расположенного рисковать двумя сотнями франков, тем не менее тронуло такое отчаяние, и он предложил Уайльду отправиться вместе в путешествие. Тем

временем в Париж, как нельзя более кстати, приехал Фрэнк Харрис, который и взял на себя заботу о своем невыносимом друге. Каждый день он обедал и ужинал с Уайльдом у «Дюрана» или в таверне «Пуссэ», где Уайльд успел сделаться завсегдатаем, дал ему в долг несколько фунтов и решил увезти его на Лазурный Берег, где недавно купил отель в Монте-Карло. Об этом Уайльд написал Жиду: «Я благодарю Вас. В Париж только что приехал один из моих друзей, редактор лондонского „Субботнего обозрения“, он увозит меня с собой на два месяца в Канны. Может быть, там мне удастся найти свою душу. Надеюсь увидеться с Вами по возвращении»[604].

Уайльд в очередной раз погрузился в мечты, полный радужных надежд. Когда он приедет в Ля Напуль, море, солнце, аромат цветов помогут ему написать шедевр! Вдали от парижской суматохи, от постыдных сидений на террасе кафе, жалоб хозяев гостиниц он мог наконец обрести здесь то, чего с таким нетерпением ждал, сидя в тюремной камере: «Природа, чьи ласковые дожди равно окропляют правых и неправых, найдет для меня пещеры в скалах, где я смогу укрыться, и сокровенные долины, где я смогу выплакаться без помех. Она усыплет звездами ночной небосвод, чтобы я мог бродить в темноте, не спотыкаясь, и завеет ветром мои следы, чтобы никто не нашел меня и не обидел»[605].

Поселившись 16 декабря в «Отель де Бэн», он погрузился в это лирическое состояние, скрывавшее от него реальную жизнь. Он выехал в Ниццу, чтобы поаплодировать Саре Бернар в «Тоске» Викторьена Сарду, при этом его сопровождал новый наперсник: Гарольд Меллор. Когда спектакль закончился, Уайльд поспешил в усыпанную цветами гримерную, и они упали в объятья друг друга, целуясь и обливаясь слезами, короче говоря, они разыграли замечательную сцену: автор и его Саломея, от которой он был в таком восторге. «Я отправился повидаться с Сарой, и она поцеловала меня и заплакала, и я тоже заплакал, и весь вечер все было чудесно»[606].

Однако у него не было больше средств, чтобы и дальше предаваться мечтам; реальная действительность давала о себе знать. Дней через двенадцать после приезда в Канны Фрэнк Харрис исчез, и Уайльд остался в гостинице, предоставленный самому себе. С этого дня началась бешеная гонка за юными рыбаками из Гольф-Жюан, у которых были красивые глаза, вьющиеся кудри, полное отсутствие морали и волшебные имена — Рафаэль и Фортюне. Оскар с грехом пополам расплатился за гостиницу и переехал в Ниццу к Гарольду Меллору и «малышу

Жоржу», которого он соблазнил еще в Париже и который занимался тем, что торговал собой на побережье. Отдыхавшие в Ницце англичане тыкали в него пальцем, а он, в сопровождении Меллора и Эоло, продолжал метаться между портом, кабаре и набережной. Безусловно, именно нынешнее его безрассудное поведение удерживало Харриса в Монте-Карло — последнему оставалось лишь радоваться тому, что за неимением денег Уайльд вынужден был жить пока в Ницце.

В январе 1899 года, когда от Харриса все еще не было никаких известий, а его отель уже находился на грани банкротства, Уайльд работал над гранками пьесы «Как важно быть серьезным», за что издатель Смизерс переслал ему гонорар в размере пятнадцати фунтов. Книга вышла в феврале с посвящением «Роберту Болдуину Россу в знак глубочайшей признательности». Он послал Россу один из двенадцати экземпляров, отпечатанных на японской бумаге, сделав на нем следующую дарственную надпись: «Воплощению Совершенной Дружбы: Робби, имя которого я начертал на вратах этой скромной пьесы». Тем временем помимо того, что хозяин гостиницы, все более и более хмурясь, ежедневно подавал Уайльду счет, англичане, жившие в отеле, не пожелали сидеть с ним за одним столом. Он опять погрузился в отчаяние, из которого его вытащил неутомимый Фрэнк Харрис, приславший денег, чтобы он мог расплатиться за продолжительное пребывание в Ницце; это, однако, не помешало Уайльду вести тщательный подсчет тех сумм, в которых Харрис ему когда-либо отказал. Наконец он смог уехать из Ниццы, подальше от ужасных англичан. 26 февраля он отправился в Швейцарию, где его ожидал Гарольд Меллор в своей роскошной вилле, расположенной в Глане в кантоне Во на берегу Женевского озера. По пути в Швейцарию Уайльд сделал остановку в Генуе на могиле Констанс, с трудом сдерживая чувства, которыми, сразу по прибытии, поделился с Робби: «Я был потрясен до глубины души — но меня не оставляло сознание тщеты всяческих сожалений. Ничто нельзя было бы изменить, и жизнь — страшная вещь»[607].

Забыв на время о материальных проблемах, он встретился с Эоло и молодым итальянским актером Дидако, с которым познакомился в Генуе и которого считал похожим на Гамлета, пребывающего в меланхолии. В бокалах пенилось шампанское, прогулки по берегам Женевского озера были полны романтических воспоминаний, а в свободное от развлечений время Уайльд работал над версткой «Идеального мужа» для Смизерса или читал Мопассана. Усиленные Шерардом и Стронгом, до него докатывались отголоски расследования,

проводимого в связи с требованием о пересмотре дела Дрейфуса — в обстановке невероятного накала страстей. Короче, Уайльд наслаждался несколькими неделями покоя. Правда, он не строил иллюзий относительно кратковременности этого затишья, и ему быстро приелось плаксивое малодушие хозяина: «Он мне совсем не нравится, а швейцарцы так уродливы на вид, что я от них целыми днями пребываю в меланхолии»[608].

По правде говоря, он устал от бесцельного существования, монотонности окружающего бытия, никчемности озера, Монблана и Гарольда Меллора. Безусловно, вилла с окнами, выходящими на безмолвное озеро, располагала к покою и комфорту, и этот комфорт, несомненно, был Уайльду по вкусу, но где же Тернер, Росс, Бози, юный Морис? Как ему быть без литературных споров с Фенеоном, Ла Женессом, Жидом? Он уже мечтал уехать отсюда, но даже на это у него не было денег.

Именно в это время, а именно 13 марта 1899 года, умер его брат Уилли. И теперь он внезапно стал наследником имения в Мойтуре. Если сразу продать его, то можно было выручить три или четыре тысячи фунтов, в счет которых Оскар немедленно одолжил сто фунтов, чтобы уехать из Глана. Сначала он направился в Женеву, где провел несколько дней с еще одним итальянским актером, Дидако[609]. 2 апреля он переехал в Геную, где в восхитительной портовой таверне, пользовавшейся дурной репутацией, его поджидал прелестный юноша — Эдуардо Ролла. После монотонных недель, проведенных в Швейцарии, Уайльд вернулся к совсем другой жизни, полной удовольствий и возбуждения: он ездил по портовым городам Италии — Санта-Маргерита, Рапалло, Сан-Фруктуозо, где, кстати, его вновь и вновь посещала мысль уйти в монастырь. «После холодной и заснеженной девственности Швейцарских Альп я истомился по пурпурным цветам страсти, ковром устилающим итальянское лето». Он на несколько дней задержался в Генуе, затем добрался по побережью до Портофино, где его настигла дурная весть: оказалось, он не мог продать Мойтуру, так как кредиторы грозились наложить арест на деньги, которые будут выручены от этой сделки. В тот же миг Италия, ее порты и рыбаки утратили все свое очарование. Уайльд внезапно понял, что остался совсем без средств и что ему очень не хватает Робби. Он написал ему о своей привязанности, о том, как он несчастен и о том, как скучает. Робби немедленно приехал и увез Уайльда в Париж.

15 мая он остановился в «Отель де ля Нева» на улице Монтини, вернувшись к привычному образу жизни: бесконечные кафе и рестораны — дешевые, если платит он сам, дорогие, если его приглашают. Он был в восторге от «Сада пыток» Октава

Мирбо, который писал ему, став академиком: «Как это чудовищно; ты просто ощущаешь, как трепещет садистская радость страдания».

Уайльд оказался замешанным в еще одно громкое политическое событие, происходившее в эти дни. 2 июня он случайно смешался с толпой манифестантов перед зданием Военного клуба на площади Сент-Огюстен. Манифестанты выступали в поддержку майора Маршана, героя Фашоды, преданного французским правительством, которое отозвало его из Судана, выполняя требование англичан. Ряд политических деятелей хотели бы видеть его новым генералом Буланже[610], восставшим против слабого правительства, чтобы в дальнейшем поднять престиж армии, серьезно пошатнувшийся в связи с последними событиями, связанными с процессом по делу Дрейфуса. Кассационный суд отменил приговор 1894 года и направил дело на новое рассмотрение военного совета в городе Ренн. Уайльд провел несколько счастливых недель в обществе Робби и «малыша Мориса». Ему пришло письмо от актера Кирле Беллью с предложением о сотрудничестве в написании пьесы, которую Беллью хотел посвятить Бруммеллу[611]; Уайльд порадовался и выходу седьмого тиража «Баллады», и появлению на книжных прилавках «Идеального мужа», которого он посвятил на этот раз Фрэнку Харрису «в знак скромного свидетельства выдающихся качеств художника и рыцарской доблести в отношении друзей». В Марлотте он сблизился с небольшой группой почитателей и друзей художника Армана Пуэна и ожидал здесь чека от Смизерса, после чего он смог бы отправиться в Гавр.

18 июля газета «Матэн» опубликовала признания Эстерхази с обвинениями в адрес генерального штаба; фактически он лишь повторил заявления, сделанные в газете «Обсервер», на которую, кстати, подал в суд. Эти события лишний раз подтвердили достоверность показаний Роуленда Стронга на заседании кассационного суда, когда он рассказал о своих беседах с Эстерхази, за которыми последовала публикация в «Обсервере». Для Уайльда дело Дрейфуса еще не закончилось. Когда его включили в список свидетелей защиты на заседании реннского военного совета в августе 1899 года, Эстерхази опроверг его показания, а главное, дискредитировал его и Стронга, сделав письменное заявление; «Я хочу подчеркнуть, что интимными друзьями мистера Стронга, с которыми он имеет постоянную связь, являются два очень умных человека — лорд Альфред Дуглас и сэр (sic) Оскар Уайльд. Несмотря на то, что мне поставили в вину все мирские преступления и пороки, я все-таки

еще не докатился до того, чтобы получать удовольствие от подобных отношений; мои встречи с ними носили эпизодический характер, и все заявления Стронга о каких-то якобы сделанных мною признаниях — совершенная ложь. Он специально создал целый синдикат, чтобы использовать меня в своих целях…»

В соответствии с приговором, вынесенным 9 сентября, Дрейфус был признан виновным со смягчающими обстоятельствами, и дело объявлено закрытым, по крайней мере в том, что касается интереса, который уделял ему Уайльд; известие о том, что 19 сентября Дрейфус помилован решением президента Республики, Уайльд встретил с насмешливой иронией.

Прошли годы, утихли страсти, и Уайльд снова встретился с лордом Альфредом Дугласом, как встречаются с прежней любовью, пламя которой угасло навсегда. Однажды сентябрьским вечером они вместе поужинали в кафе «Мир». За соседним столиком случайно оказалась знакомая актриса Ада Реган и ее импресарио Огастин Дэйли с женой. Ада Реган подняла на Уайльда глаза, и он ответил ей широкой улыбкой. Чувствуя себя крайне неловко, она пришла в замешательство, не решаясь пригласить Уайльда за свой стол из опасения, что ее импресарио не одобрит этот поступок. Но решение все же было принято, и Уайльд закончил вечер с ними, обретя на эти несколько часов свой прежний блеск, став даже более обаятельным, чем всегда, и обсуждая с американцем-импресарио проекты разнообразных театральных постановок. Проектам этим не суждено было осуществиться, поскольку на следующий день Дэйли умер. Уайльд, словно ему недоставало своих проблем, счел себя обязанным поддержать миссис Дэйли и Аду Реган и помочь им справиться с горем, которое обрушилось на них с этой скоропостижной смертью.

Через несколько дней Оскар Уайльд сидел в одиночестве на террасе кафе на бульваре; неожиданно он увидел идущего по улице Андре Жида. Он окликнул его. Слегка смущенный тем, что его могут увидеть в компрометирующем обществе, Жид уселся так, чтобы быть к улице спиной. Уайльд крайне огорчился, заметив, что его стыдятся даже близкие друзья: «Да сядьте же поближе, я сейчас так одинок». Какое-то мгновение Жид колебался, затем пересел ближе к Уайльду. Разговор не клеился, и очень скоро Жид встал; тогда Уайльд жалобно признался, что остался без средств к существованию. Жид снова опустился на стул и начал вполголоса отчитывать Уайльда, упрекая его в праздности.

— Ну зачем вы так быстро уехали из Берневаля, ведь было

решено, что вы останетесь там подольше. Я не должен вас упрекать, но…

— Не следует упрекать того, кто получил такой удар!

В другой раз, как-то вечером, Стюарт Меррилл познакомил его с двумя новыми почитателями — захудалыми поэтами-символистами Фердинандом Эрольдом и Микаэлем Роба. Оскар присоединился к ним, чтобы попасть в одно кафе на Монмартре, где в этот вечер Жеан Риктюс, которому Уайльд послал экземпляр своей «Баллады», читал стихи. Вот как Уайльд сам рассказывал об этом литературном вечере, одном из последних в своей жизни: «Меня принимали с самыми большими почестями и представили мне всех присутствовавших. Мне не разрешили платить за пиво, которое я выпил, а слуга, необыкновенно красивый мальчик, выпросил у меня автограф в свой альбом, в котором, по его словам, уже были собраны автографы пятидесяти трех поэтов и двух убийц. Я с удовольствием выполнил его просьбу»[612]. Уайльд был неисправим: он усадил юношу за свой столик и пригласил его к себе в гостиницу на следующий день.

Несколькими днями позже настала очередь Эрнеста Даусона, еще более опустившегося, чем прежде, пригласить Уайльда в кафе. Роуленд Стронг отказался идти с ними под тем предлогом, что Даусон дружил с Шерардом, а тот был ярым дрейфусаром. Уайльд сокрушался по поводу этих мелких ссор, которые рассеивали и без того немногочисленную группу его друзей, еще больше омрачая унылый пейзаж, представавший взору мэтра, когда он оставался один в четырех стенах своего номера в отеле «Эльзас».

Бози Дуглас, внезапно и чудесным образом разбогатевший, пытался вывести Уайльда из оцепенения, пригласив пообедать у «Мэра»: бургундское, шампанское и коньяк текли рекой. Затем они вдвоем уехали в Шенневьер-сюр-Марн и присоединились к компании Армана Пуэна, в то время как молодые «пантеры» взяли себе в спутники русского подростка, которого они называли Мальчик Перовински, и некоего таинственного «Первого Консула», обнаруженного на бульварах в объятьях «Эдмона де Гонкура», недавно вышедшего из тюрьмы. В это же время Оскар послал надписанные экземпляры «Идеального мужа», который вот уже несколько недель продавался в Лондоне, Лотреку, Жиду, Мерриллу, Ла Женессу, Даврэ, Фенеону и Анри Боеру.

В октябре 1899 года, в полном изнеможении, Уайльд вновь появился в отеле «Эльзас». Причем накануне он был вынужден бежать из другого отеля, где жил какое-то время по возвращении из Трувилля, оставив там в залог все свои вещи. И опять его

выручил Фрэнк Харрис, выслав двадцать фунтов, а добряк Дюпуарье отправился вызволять пожитки своего постояльца. В письме к Эме Лоутер, к которой лет десять назад Уайльд был, кажется, неравнодушен, он писал: «Недавняя встреча с Вами, столь красивой и непредсказуемой, доставила мне огромную радость; Ваша дружба подобна цветку на терновом венке, в который превратилась моя жизнь»[613].

Наступил январь 1900 года. Оскар Уайльд все больше отчаивался от своего убогого жилья, отдавая себе при этом отчет в том, что живет здесь практически задаром, если, конечно, можно назвать жизнью жалкое существование посреди того праздника жизни, каким был Париж на рубеже веков — Париж Брюана, «Мулен-Руж» и тех самых «господ», чей портрет нарисовал Франсис Карко: «Вырядившись в чрезмерно облегающие костюмы и вызывающе выставив зады, напомаженные, накрашенные, потряхивающие искусственными завитками волос, они собираются в кафе, открытом только по ночам в доме 122 по бульвару Рошешуар, и считают себя сливками особого общества. Это место встреч самых любопытных представителей нашей эпохи. Весь Париж стремится попасть в „Лунный свет“»[614]. Уайльд все перебирался из одного кафе в другое, нередко подолгу засиживаясь под дождем на открытой террасе «Колизея», в ожидании, что появится кто-нибудь из знакомых, кто мог бы составить ему компанию и по доброте душевной заплатить по его счету. Изредка ему удавалось стать прежним, например, за ужином с Фрэнком Харрисом или в окружении писателей, собиравшихся послушать его занимательные истории.

Эрнест Ла Женесс оставил достоверное описание плачевного конца «мастера изящной словесности»: «Если вам доводилось встречать на бульварах этого неторопливого, излишне угрюмого господина, являвшего собой пример полной деградации, то вы не могли не отдавать себе отчет в том, что он один подобен нескончаемой череде угрызений совести»[615]. Среди тех, кто приходил на помощь, был Жан-Жак Рено, восторгавшийся им несколько лет назад. Рено так вспоминал об одной из последних встреч с Оскаром Уайльдом: «Как-то вечером в одном из баров на Итальянском бульваре какой-то бедно одетый человек попросил у меня разрешения сесть за соседний столик. Это был мистер Уайльд, вернее трагическая и безжалостная пародия на него самого. От прежнего Уайльда остался лишь его музыкальный голос да по-детски огромные голубые глаза».

Неужели это конец? Можно ли было надеяться, что таким существованием он искупил безумства прошлой жизни? Париж

конца зимы 1900 года стал для него местом ожидания смерти; он знал, что смерть физическая уже предопределена смертью его творческого гения; он умирал от скуки и одиночества, в котором его оставили друзья, понимая, что бессильны ему помочь. Его уже стали выгонять из баров, если он приходил туда один. Время от времени он еще находил в себе силы импровизировать для Анри Бека, Поля Фора, Жана де Митти, но уже ни на что не надеялся и мечтал лишь об одном — согреться воспоминаниями о своих прежних любовных чувствах. Все тот же Жан де Митти встретил его как-то в «Чэтеме»: «За одним из столиков сидел тучный человек с затуманенным взором, обвисшими щеками, пузатый и грязный. Неужели это был тот самый, всегда такой безупречно элегантный Уайльд? Чтобы убедиться в этом, я подошел поближе к одинокому и угрюмому господину, приподнял шляпу и прочитал по-английски первые строфы „Баллады“. Внезапно мужчина встал, бросил на столик какую-то мелочь, взглянул на меня в упор и разрыдался». Он отправился на прогулку по Сене с Анной де Бремонт и сделал вид, что принимает ее советы, ничем не отличавшиеся от тех, которые ему приходилось выслушивать в течение многих месяцев и которые с каждым разом нагоняли на него все большую тоску.

— Вам необходимо взять себя в руки, выйти из оцепенения, начать, наконец, писать театральные пьесы или те же рассказы, которые вы так бездумно расточаете в беседах с друзьями.

Уайльд отвечал удрученно:

— Я не могу больше писать, во мне умерло честолюбие. Я мог говорить о жизни, не зная ее. Теперь же, когда я узнал о ней все, мне нечего больше сказать.

Тем временем французский перевод «Баллады» пользовался неизменным успехом. Февральский номер журнала «Перо» поместил исключительно благожелательную статью: «В своей „Балладе“ м-р Оскар Уайльд отошел от того парадоксального, уверенного и так любимого им самим тона, который нередко вызывал раздражение в его предыдущих произведениях. Здесь мы обнаруживаем обнаженное чувство того, насколько жизнь полна фатальности. Это боль, вызывающая жалость; все произведение пропитано духом сострадания. Человек предстает во всей своей человечности, а душа раскрывает всю свою красоту». Трудно сказать, читал ли Уайльд эту статью, появившуюся вскоре после того, как он узнал о смерти Эрнеста Даусона, а сам мучился от нарыва на горле, который поражал и его душу, о чем он писал Россу — его душу! или то, что от нее осталось в той медленной скорби тех немногих месяцев, которыми ограничивался его горизонт. Если иногда он еще мог блеснуть остроумием у

«Прокопа» или у «Франсуа I», то, оставаясь наедине с Ла Женессом или с Мерриллом, признавался, что его сердце переполнено грустью и что если иногда ему удается забыть о своем отчаянии, то оно неизменно возвращается, стоит ему переступить порог гостиничного номера, и он чувствует себя потерпевшим кораблекрушение мореплавателем, выброшенным на песок.

Но внезапно он исцелился! Смизерс прислал несколько фунтов за «Идеального мужа», а Фрэнк Харрис и Росс оплатили неотложные долги. Но главное, снова появился Гарольд Меллор и пригласил Уайльда приехать к нему в Рим всего за пятьдесят фунтов. 2 апреля он был уже в Палермо, где его встретил Гарольд Меллор, все такой же скучный, но для Уайльда это уже не имело значения после всего того, через что он прошел. Он провел в Палермо неделю, как раз столько, сколько было необходимо, чтобы вновь почувствовать себя прерафаэлитом. Оттуда он на три дня отправился в Неаполь. А на Пасху, 15 апреля, в обстановке всеобщего подъема, он добрался до Рима. Оказавшись среди толпы коленопреклоненных верующих, он получил благословение проехавшего по улице папы Льва XIII: «Во всем своем великолепии он проплыл мимо меня на носилках: не существо из плоти и крови, а чистая белая душа, облаченная в белое, святой и художник в одном лице». Затем, с присущей ему предупредительностью, он написал Дюпуарье: «Мой дорогой хозяин, я не вернусь до первого июня, и, следовательно, (sic) Вы можете сдать мой номер; не имеет смысла держать его, так как в мае у Вас наверняка будет много туристов, которые приедут на Выставку»[616] — несколько наивное заявление, поскольку «дорогой хозяин» уже несколько месяцев разрешал ему жить у себя в кредит. Какое-то время спустя Уайльд, сильно отравившийся мидиями, внезапно быстро излечивается — может быть, благодаря благословению? — и тут же покидает юного Армандо, составлявшего ему компанию… ибо у него появляется новый спутник, Арнольдо. На следующий день, сидя, по обычаю, на террасе «Кафе Насьональ», он с поклоном приветствовал проехавшего мимо короля Италии Умберто I. При этом Уайльд заметил молодым студентам, чье общество, с тех пор как они узнали Уайльда, доставляло ему удовольствие, что его приветствие адресовано скорее монархии, нежели монарху, проявляющему враждебность по отношению к Ватикану: в то время папу даже называли «узником Ватикана». Кстати, именно среди этих молодых людей, замиравших в экстазе от каждого его слова, он и нашел малыша Омеро, который заполнил пустоту, образовавшуюся после разлуки с Армандо. Уайльд еще несколько

раз посетил Ватикан, виллу Боргезе, сфотографировался у подножия статуи Марка Аврелия — он был великолепен, в элегантном темном костюме, небрежно опираясь на трость с набалдашником из слоновой кости — и ему вновь пора было возвращаться в Париж, в отель «Эльзас», в бездну, на дне которой повергались в прах химеры, которых он так и не сумел приручить. Грусть об утраченном прошлом и ускользающем будущем он выразил в следующих строках: «И вместе с тем бесконечно много пурпурных часов так и не удается вырвать из объятий неторопливой и зыбкой серости, называемой временем! Поцелуи пьянят мои губы, а пыл насыщает тело»[617].

На обратном пути Уайльд остановился на десять дней в Глане, а в последних числах мая он уже ужинал в Париже в обществе Фрэнка Харриса и Бози, чей последний и ужасающий приступ ярости вновь поверг его в отчаяние. Он покинул кафе вне себя от стыда и отвращения.

Дуглас окончательно превратился в неблагодарного и неверного Иуду, бросившего того, кому поклонялся, пока не разразилась катастрофа.

Что же до маркиза Куинсберри, то 31 января 1900 года он скончался в возрасте пятидесяти пяти лет, оставив после себя состояние, оценивавшееся в триста семь тысяч фунтов стерлингов, которые были заработаны на организации боксерских поединков, так как от своего отца, восьмого маркиза, он унаследовал только одну тысячу шестьсот пятьдесят семь фунтов. Бози получил в свое распоряжение большую часть этого состояния, если верить тому, что он сам писал в «Воспоминаниях»: «Перед смертью отец послал за мной; между нами состоялось полное примирение, и он оставил мне абсолютно все, что было возможно мне завещать из своего довольно значительного состояния»[618]. Тем не менее, несмотря на свои неоднократные заверения, он ограничился в отношении Уайльда лишь несколькими приглашениями на ужин и кое-какими незначительными субсидиями, хотя, конечно, должен был сдержать слово чести и возместить Уайльду ту тысячу фунтов, которую его семья обязалась уплатить, чтобы покрыть судебные издержки. Кстати, вспышка гнева, случившаяся у него за последним совместным ужином, произошла именно после напоминания об этом долге чести, который, по его словам, настоящий джентльмен никогда не возвращает.

Возбуждение от поездки в Рим спало, Уайльд вновь принялся скитаться по Парижу, ужины у «Мэра» сменялись бесконечным ожиданием на террасах кафе. Он продал Фрэнку Харрису план

пьесы «Мистер и миссис Давентри», утаив от него, что права на нее уже приобрели сначала американские актрисы Браун-Поттер и Ада Реган, затем Гораций Седжер и Луис Нетерсол, а потом еще два театральных директора и, наконец, Леонард Смизерс.

В июне 1900 года Уайльд посетил Всемирную выставку, открытие которой состоялось 14 апреля. На стенде Эдисона он записал на один из первых фонографов три последние строфы «Баллады Редингской тюрьмы»[619]. Его пригласили на банкет, устраиваемый в честь Родена, и он с большим удовольствием встретился вновь с великим скульптором, которого считал величайшим поэтом Франции, полностью «затмившим Виктора Гюго». Ни с того ни с сего Джордж Александер вдруг предложил Уайльду двадцать фунтов ежемесячно за права на «Веер леди Уиндермир» и «Как важно быть серьезным»; однако и этого было уже недостаточно для того, чтобы помешать неотвратимому погружению в манящее небытие. К тому же все обладатели прав на «Мистера и миссис Давентри» по очереди предъявили ему свои претензии. Оскару Уайльду было уже сорок пять лет, он написал «Портрет Дориана Грея», познал небывалый успех благодаря четырем театральным пьесам, вдохнул последние искры своего гения в «De Profundis» и «Балладу Редингской тюрьмы»; экстравагантная жизнь довела его до того, что, подобно нищему бродяге, он вынужден был клянчить деньги у тех, кто еще продолжал окружать его своей заботой.

Июль 1900 года. Уайльд был очень болен и страдал от воспаления уха, которое стало следствием давнего падения в тюремной часовне. Когда дела пошли на поправку, он уехал для восстановления сил в Швейцарию и вернулся в Париж только в сентябре, как всегда, весь в долгах, преследуемый своим «дорогим хозяином» и снова больной — на руках у «малыша Мориса». 10 октября ему сделали операцию, но он не мог заплатить ни хирургу, ни сиделке, чей уход ему был необходим.

16 октября Уайльд в постели отметил свое сорокашестилетие. К его физическим страданиям добавились переживания по поводу той пьесы, которую собирался ставить Харрис, вынуждая Уайльда вернуть деньги всем другим владельцам авторских прав. 25 октября на сцене театра «Роял» поднялся занавес и появилась исполнительница главной роли в пьесе «Мистер и миссис Давентри» — миссис Патрик Кэмпбелл — одновременно нимфа и жертва Бернарда Шоу.

А Оскар Уайльд все хворал в отеле «Эльзас» в своем маленьком номере, стены которого были оклеены такими невзрачными обоями. По полу были разбросаны книги и одежда. И все же ему удалось получить последнюю улыбку еще одной

женщины — давнишней знакомой, баронессы Деланд, которую он впервые увидел в костюме Боттичелли, согласно тогдашней моде, и которую разыскал в редакции одной из газет, где она вела светскую хронику. Она в очередной раз уступила его обаянию и поддалась колдовской силе волшебного голоса. Баронесса позволила Уайльду увлечь себя в ресторан «Гранд Ю» на улице Ле Пеллетье, правда, обратив внимание на некоторый беспорядок в одежде Уайльда, так что умная женщина без труда догадалась, что платить по счету придется ей. Но какое это имело значение — Уайльд был ослепителен, и вечер закончился прогулкой в Булонском лесу, во время которой Уайльд говорил: «Я бродяга. Нынешний век запомнит двух бродяг-литераторов: Верлена и меня». Его нынешнее положение и в самом деле чем-то напоминало то, в котором оказался некогда Верлен.

На следующий день Уайльд встретил Харриса, зашедшего проведать больного, взглядом, полным боли; улыбка, озарявшая его лицо накануне, исчезла. Все разговоры сводились к богатею Бози, к деньгам, которые он надеялся получить за постановку «Мистера и миссис Давентри», и к мучениям, перенесенным в тюрьме. Он приходил в сильное возбуждение при упоминании о Бози, вспоминал о его изменах и неожиданно, подняв на Харриса полные слез глаза, признался: «Я заблудился в этой жизни; прохожие презирают меня, а человек, которого я любил, бичует своим безразличием и осыпает ужасными оскорблениями (…) Мне некуда дальше идти. Для меня все кончено! Остается лишь уповать на скорый конец»[620]. И мольба его была услышана.

В самом начале ноября Роберт Росс приехал в Париж; его очень встревожило состояние Уайльда, который страдал от сильных болей в ухе. Тем не менее Уайльд встал, чтобы поприветствовать Робби, и они вместе отправились на прогулку в Булонский лес. Оскар все вспоминал предательство Бози, свои долги, говорил о глупости доктора Таккера, который запретил ему употреблять спиртное. Он рассказал, что прошлой ночью ему приснилось, будто он сидел за одним столом с мертвецами, на что присоединившийся к ним на прогулке Тернер пошутил: «Милый мой Оскар, ты наверняка был жизнью и душой того общества», чем вызвал у него улыбку.

12 ноября Росс должен был ехать к матери на Лазурный Берег. Он оставил Уайльда на попечение Тернера и уехал с ощущением, что больше никогда его не увидит.

27 ноября Росс получил от Реджи письмо с просьбой немедленно вернуться в Париж. В ухе обнаружился абсцесс, инфекция начала распространяться на весь организм, и все это усугублялось самоубийственным злоупотреблением шампанским.

29 ноября Росс прибыл на Лионский вокзал и спешно направился в отель «Эльзас». Оскар Уайльд был уже безнадежен, он очень исхудал, был мертвенно бледен и дышал тяжело и прерывисто. Он находился в сознании и тщетно пытался что-то сказать. Росс послал за пастором, отцом Катбертом, который совершил соборование; затем к умирающему пригласили сиделку. Тернер и Росс заняли номер этажом выше. 30 ноября в половине шестого утра их разбудили. У Уайльда началась агония, и их взгляду предстало ужасающее зрелище. В два часа десять минут пополудни[621] тело сотрясла последняя конвульсия, и Оскар Уайльд навсегда покинул сцену. Ему было сорок шесть лет. Как только это известие разнеслось по Парижу, гостиницу заполонили толпы журналистов и кредиторов, а простодушный Дюпуарье, совсем потеряв голову, еще больше усугубил ситуацию, попытавшись сохранить в тайне имя Уайльда. Дело дошло до того, что судебно-медицинский эксперт начал выспрашивать, не было ли здесь самоубийства или убийства. В конце концов разрешение на похороны было получено. Проститься с Уайльдом собрались самые преданные друзья: Харрис, Карлос Блэккер, Стюарт Меррилл, Жеан Риктюс, Анри Даврэ… все те, кто никогда не переставал восхищаться им и любить его. Перед тем как тело положили в гроб, Морис Гилберт сфотографировал усопшего.

Похороны состоялись в понедельник в 9 часов утра. За катафалком шли Дуглас, приехавший накануне, Тернер, Росс, Дюпуарье и Морис Гилберт. Около церкви Сен-Жермен-де-Пре шествие остановилось, и один из викариев отслужил заупокойную службу, на которой присутствовало около пятидесяти человек, среди которых были Поль Фор, Сар Луи, Ла Женесс, Жеан Риктюс, Лоранс Усман… Верный Дюпуарье возложил венок с надписью «Моему постояльцу», вслед за ним цветы возложили Альфред Дуглас, Мор Эйди, Адела Шустер, «Меркюр де Франс», Гарольд Меллор. Затем катафалк направился к кладбищу в Баньо, где стараниями Робби тело Уайльда подлежало захоронению в негашеной извести, дабы свершилось последнее пророчество его «Баллады»:

Есть возле Рединга тюрьма,
А в ней позорный ров,
Там труп, завернутый людьми
В пылающий покров,
Не осеняет благодать
Заупокойных слов.

Пускай до страшного суда

Лежит спокойно Он,
Пусть не ворвется скорбный стон
В Его последний сон, —
Убил возлюбленную Он,
И потому казнен[622][623].

Эпилог. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АККОРД

Надо преклоняться перед Уайльдом за то, что он дал нам, и за то, что мы у него взяли [623]

Известие о смерти Уайльда обошло страницы всех парижских газет. «Знаменитый английский поэт Оскар Уайльд скончался вчера после полудня; ставший всемирно известным после громкого процесса, он проживал в скромном отеле, скрываясь под именем Себастьяна Мельмота, и умер от менингита; в свое время, будучи превосходным мастером английского юмора, он являлся одним из законодателей моды в Англии», — писала «Эко де Пари» 2 декабря 1900 года. Журналисты не обошли вниманием тот факт, что имя Уайльда считалось в Англии шокирующим, несмотря на то, что его творчество представляло значительный интерес для читающей публики. Газеты задавались вопросом, принял ли Уайльд католическую веру in extremis[624] и был ли он в сознании во время соборования по обряду католической Церкви.

В газете «Журналь» под заголовком «Шествие жертв» Жан Лоррэн провел параллель между Оскаром Уайльдом и президентом Крюгером, находившимся в это время с официальным визитом во Франции, и представил поэта очередной жертвой варварства английской короны, которая восстановила против себя общественное мнение всего западного мира, задушив Республику Трансвааль, основанную Крюгером.

И наконец, Эрнест Ла Женесс отдал дань уважения памяти поэта, описав, каким он был в конце своей жизни: «Каждый, кому довелось внимать бесконечной нити его красноречия, сверкавшей золотом и драгоценными камнями, сотканной из множества тонких ухищрений, душевных и причудливых изобретений, при помощи которых он сплетал удивительную ткань своей драматургии и поэзии, кто имел возможность наблюдать, как гордо и небрежно он боролся с небытием, как хрипел или смеялся, произнося свои последние слова, тот навсегда запомнит трагическое и возвышенное зрелище — бесстрастного изгнанника, отказывающегося погибнуть без следа»[625].

Декабрь 1900 года застал Андре Жида в Бискре, где он находился вместе с Мадлен и Анри Геоном. Только в 1902, а затем в 1905 году он опубликовал в «Эрмитаже» и в «Меркюр де Франс» два этюда, посвященных Уайльду. «Теперь, — объяснял он, — когда назойливая шумиха вокруг этого печально знаменитого имени улеглась, когда толпа наконец устала

изумляться, а затем проклинать того, кого так восхваляла прежде, теперь, быть может, друг сумеет выразить свою неутолимую грусть и возложить вместо венка на заброшенную могилу эти страницы, полные любви, восхищения и почтительного сострадания»[626].

19 июня 1909 года Роберт Росс вскрыл могилу Уайльда на кладбище в Баньо. Благодаря принятым предосторожностям, тело сохранилось целым и невредимым. Росс перенес останки на кладбище Пер-Лашез, где могилу Уайльда отныне стал охранять Сфинкс работы скульптора Джейкоба Эпстайна, обезображенный впоследствии человеческой глупостью; могила расположена на 89-м участке на первой линии 93-го сектора. Сам участок земли, на котором установлено надгробие, был выкуплен в бессрочное пользование Робертом Россом, чей прах, согласно его завещанию, был захоронен здесь же в 1950 году. Так что он теперь может слышать, как Оскар говорит ему: «Ах! Робби, когда настанет час и нам возлечь в порфирные могилы и когда зазвучат трубы Страшного Суда, давай сделаем вид, что мы их не слышим». Ни дети Уайльда, ни члены его семьи никогда не ухаживали за могилой, расположенной по соседству с могилами Апполинера, Бальзака, Бразийака, Нерваля, Мюссе, Пруста, Сары Бернар, Айседоры Дункан, Клео де Мерод: поэзия, театр, полусвет, танец, гений — весь его мир. А напротив лежит верный друг Стюарт Меррилл. Роберт Росс выбил на надгробии несколько строчек: «Оскар Уайльд. Автор „Саломеи“ и других замечательных произведений, родился в Дублине в доме 21 по Уэстленд-Роу 16 октября 1854 года. Получил образование в Королевской Школе Портора в Эннискиллене и Три-нити-колледже в Дублине, где удостоился стипендии и золотой медали Беркли за успехи в греческом языке в 1874 году. Будучи стипендиатом колледжа Св. Магдалины в Оксфорде, получил первую премию за успехи в изучении гуманитарных наук, и премию Ньюдигейт в 1878 году. Умер, исповедовавшись перед Церковью, 30 ноября 1900 года в Париже в отеле „Эльзас“, расположенном в доме 13 по Рю-де-Боз-Ар. R.I.P.[628] Verbis meis addere nihil audebant et super illos stillabat eliquiam meam». (После слов моих уже не рассуждали; речь моя капала на них[629].)

And alien tears will fill for him
Pity’s long broken urn
For his mourners will be outcast men
And outcast always mourn.

И чаша скорби и тоски
Полна слезами тех,
Кто изгнан обществом людей,
Кто знал позор и грех[630].

Роберт Росс ушел со сцены в 1918 году. Лорд Альфред Дуглас прожил до 1945 года. В 1902-м он женился на Олив Элеанор, дочери и наследнице полковника Фредерика Хамблдона Кьюстанса, когда она уже ожидала рождения сына, Рэймонда Уилфрида Шолто, который появился на свет 17 ноября того же года. Несмотря на заявления Дугласа о состоянии, унаследованном от отца, умер он в нищете. Сэр Генри Шэннон, депутат и завсегдатай светских салонов, близко знакомый со всеми известнейшими политическими деятелями и представителями высшего света, встречался с ним в Брайтоне в 1942 году.

«Мы поехали в гости к лорду Альфреду Дугласу, — писал он, — с которым никто из нас до этого не был знаком. Он занимал небольшую квартирку, расположенную в полуподвальном помещении в доме на Сент-Аннс-корт; он сам открыл нам и повел себя очень вежливо и дружелюбно. Он пригласил нас пройти в свой небольшой рабочий кабинет, уставленный книгами и какими-то невзрачными безделушками, связанными с воспоминаниями юности. Ему было семьдесят два года, но выглядел он гораздо моложе, был строен, элегантен, с улыбающимися восхитительными глазами. Но он совершенно не слушал то, о чем ему говорили, и вообще не принимал в беседе никакого участия (…) Он много рассказывал нам об Уайльде, а после бокала хереса заявил, что, несмотря на то, что дело Уайльда сломало ему жизнь, он ни о чем не жалеет; что он только и делал, что ждал его возвращения из тюрьмы, а потом поселил его у себя на вилле в Сорренто, где они жили вместе, пока его семья не приказала ему расстаться с Уайльдом под угрозой лишения ренты. Поскольку он не мог оставить Оскара совсем без денег, то написал матери и попросил ее переслать ему двести фунтов. После этого любовники расстались навсегда. Он не скрывал того, что был содержанкой Уайльда, и показал нам репродукцию одного своего портрета, написанного в ту пору. Это был самый настоящий Дориан Грей — молодой человек почти невероятной красоты. Он добавил, что Росс, равно как и Харрис, вели себя как последние негодяи, и что сам он получил полгода дисциплинарного батальона за оскорбление, нанесенное Уинстону Черчиллю. Он был очень жалок, этот бедняга, у

которого не осталось друзей, только жена, с которой он вообще не виделся, несмотря на то, что она тоже снимала квартиру в Брайтоне»[631].

В июле следующего года Чипе пригласил его на обед и нашел постаревшим, но по-прежнему веселым и живым. Теперь он хвастался своими отношениями с Уайльдом и, когда начинал говорить, весь загорался страстью.

В январе 1945 года Бози, совсем больного, подобрали друзья; к тому времени он уже напоминал «старую французскую герцогиню», по свидетельству Чипса, которому довелось еще раз выслушать его воспоминания о прошлой жизни. Альфред Дуглас умер 20 марта 1945 года: «Тот факт, что он был великим поэтом, неоспорим, — писал Чипе, — но из-за любовной связи с Уайльдом его гению не суждено было раскрыться в полной мере. Даже сейчас, спустя пятьдесят лет, его имя навсегда связано с именем Оскара Уайльда»[632]. Несомненно, лорд Дуглас был поэтом, если судить по стихотворению, которое он написал на смерть Уайльда и которое, безусловно, дает ему право на толику снисхождения; стихотворение называется «Мертвый поэт»:

I dreamed of him last night, I saw his face
All radiant and unshadowed of distress,
And as of old, in music measureless.
1 heard his golden voice and marked his trace
Under the common thing the hidden grace,
And confine wonder out of emptiness,
Till mean things put on beauty like a dress
And all the world was an enchanted place.

And then methought outside a fast locked gate
I mourned the loss of unrecorded words,
Forgotten tales and mysteries half said
Wonders that might have been articulate,
And voiceless thoughts like murdered singing birds
And so I woke and knew that he was dead.

Той ночью я его узрел
С челом, омытым от волнений,
От горестей и сожалений,
А голос золотом звенел.

Как в дни былые, он умел
Простое сделать откровеньем,
Облечь красой уродство тени

И волшебством — земной удел.

Вдруг лязгнул на дверях засов,
И грудь стеснило сожаленье.
И боль невымолвленных слов,

Забытых сказок тихий стон
Меня повергли на колени.
Увы, я понял: умер он[633][634].

И наконец, следует еще сказать, что 8 июня 1923 года Оскар Уайльд передал миссис Дауден послание с того света. Он просил ее сообщить другим, что он не умер, но живет в сердцах всех тех, кто способен чувствовать красоту форм и звуков в природе. А вот слова, которые можно считать его последними словами, услышанными самим Конан Дойлом: «Я путешественник. Я много блуждал по свету в поисках глаз, которые вернули бы мне возможность видеть. Бывают моменты, когда мне дано разорвать эту странную пелену тьмы, и через глаза того человека, от которого скрыта моя тайна, я вновь могу любоваться сияющей благодатью дневного света». Как отметил Конан Дойл, такие слова мог сказать только неизменно изысканный Уайльд.

ХРОНИКА ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ОСКАРА УАЙЛЬДА [635]

1854, 16 октября — в семье дублинского врача-окулиста Уильяма Уайльда рождается сын, названный Фингал О'Флаэрти Уилс Оскар. Отец был известен и как собиратель ирландского фольклора (издал в 1852 году сборник «Народные поверья и предрассудки ирландцев»), а также как археолог-любитель. Мать, леди Джейн Франческа, под псевдонимом Сперанца (Надежда) регулярно публиковала стихи и публицистические статьи в газете «Нейшн», главном печатном органе движения «Молодая Ирландия», боровшегося за освобождение от колониального владычества Англии.

1871–1874 — Уайльд учится в дублинском Тринити-колледже, выказывая особую одаренность к древним языкам и интерес к культурному наследию Эллады.

1874–1877 — Уайльд учится в Оксфорде (колледж Св. Магдалины), где испытывает сильное влияние философа и критика Джона Рёскина (1819–1890), страстного пропагандиста античной культуры и итальянского искусства эпохи Ренессанса, а затем сближается с «Эстетическим движением», возглавляемым эссеистом и критиком Уолтером Пейтером (1839–1894), ранним пропагандистом художественных идей декаданса и символизма в Англии.

1875, июнь — первая поездка в Италию.

1876, 19 апреля — смерть отца. Его кончине предшествовала тянувшаяся много лет тяжба по иску пациентки, обвинившей д-ра Уайльда в посягательствах на ее честь.

1877, весна — путешествие в Грецию.

1878, июнь — стихотворение «Равенна», проникнутое отголосками идей Рёскина и Пейтера, удостоено почетной премии Ньюдигейта, присуждаемой оксфордским студентам и выпускникам за успехи на литературном поприще.

1879, весна — начало систематической литературной работы. Страстное увлечение театром, в особенности искусством часто гастролировавшей в Лондоне знаменитой французской актрисы Сары Бернар и ее английской соперницы Лилли Лэнгтри. Уайльд обосновывается в Лондоне на Тайт-стрит и старательно создает образ денди — экстравагантного молодого щеголя, более всего на свете дорожащего независимостью своих мнений и поступков.

1881, весна — выходит в свет книга Уайльда «Стихотворения».

1881, 23 апреля — премьера комической оперы У. С. Гилберта и А. Салливана «Терпение», в которой высмеивается мода на дендизм. Герой оперы, имеющей триумфальный успех, обладает очевидным сходством с Уайльдом.

1882, 2 января — начало американского турне Уайльда, выступающего с лекциями об «Эстетическом движении» и чтением собственных произведений. Турне продлилось около года, маршрут проходил через десятки городов США.

1883, август — нью-йоркская премьера пьесы «Вера, или Нигилисты», сюжет которой навеян Уайльду русским революционным движением, известным ему, впрочем, лишь по литературным откликам.

1884, 24 мая — брак с Констанс Ллойд. В семье Уайльда будет два сына, Сирил и Вивиан.

1885–1887 — время активного сотрудничества Уайльда в изданиях, ставших рупорами новых эстетических веяний, связанных с декадансом. Уайльд, олицетворение этих веяний в Англии, завоевывает славу лидера эстетизма. Самые ранние достоверные свидетельства перверсии.

1887, февраль — опубликован рассказ «Кентервильское привидение».

1888 — «Счастливый принц», книга сказок, сочиненных для сыновей. Начало европейской известности Уайльда.

1890, 20 июня — выходит в свет номер «Липпинкотс мэгэзин», где в первой редакции опубликован роман «Портрет Дориана Грея». В книжном издании (апрель 1891) появятся шесть дополнительных глав.

1891 — вторая книга сказок «Гранатовый домик». Сборник рассказов «Преступление лорда Артура Сэвила». Пьеса в стихах «Герцогиня Падуанская». Книга программных эссе Уайльда о природе искусства «Замыслы».

1891–1892 — Уайльд работает над драмой «Саломея», написанной по-французски для Сары Бернар, поскольку надежд на ее постановку в Англии у него нет. Английский перевод появится в 1894 году, он сделан лордом Альфредом Дугласом (Бози), с которым Уайльда познакомили летом 1891-го, когда Бози, сыну маркиза Куинсберри, было двадцать лет. Это знакомство и последующая бурная связь завершатся для Уайльда тюрьмой.

1892–1895 — театральные триумфы Уайльда: одна за другой на лучших сценах Лондона поставлены его комедии «Веер леди Уиндермир» (1892), «Женщина, не стоящая внимания» (1893), «Идеальный муж» и «Как важно быть серьезным» (обе — 1895).

1895, весна — Уайльд получает от маркиза Куинсберри

оскорбительное послание и начинает его преследование за клевету. Однако жертвой судебного процесса оказывается сам Уайльд, приговоренный к трем годам тюрьмы за аморальное поведение, выразившееся в гомосексуальных связях. Исход процесса означал для Уайльда и финансовое банкротство, от которого он не оправился. Констанс развелась с мужем и вернула себе девичью фамилию, под которой жила до своей смерти в 1899 году.

1895, 27 мая — 1897, 19 мая — Уайльд отбывает срок в различных английских тюрьмах. В заключении написаны обращенная к лорду Дугласу исповедь «De Profundis» (впервые опубликована с сокращениями в 1905 году) и «Баллада Редингской тюрьмы» (1898).

Освободившись, Уайльд поселяется во Франции и избирает для себя имя Себастьян Мельмот, напоминающее о демоническом герое знаменитого романа тайн «Мельмот-скиталец» (1820), принадлежащего перу ирландского романтика Чарлза Мэтьюрина.

1897–1900 — годы нищеты и бедствий во французской провинции, а затем в Париже. Постановлением суда Уайльд лишен родительских прав, гонорары за переиздания его книг уходят в возмещение долгов.

1900, 30 ноября — Уайльд умирает в третьеразрядном парижском пенсионе «Эльзас». Похоронен на кладбище Пер-Лашез.

БИБЛИОГРАФИЯ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Oscar Wilde, First Collected Edition (14 volumes), London, Methuen, 1908.

Oscar Wilde, Complete Works, London & Glasgow, Collins, 1972.

Oscar Wilde, The Woman's World, London, November 1887 — October 1890.

Wilde v. Whistler being an Acranimous Correspondence on Art, London, 1906.

W. A. Clark Memorial Library, Manuscripts & Letters, Berkeley University, 1922.

R. H. Davies, The Letters of Oscar Wilde, London, R.H.D., 1962.

R. H. Davies, More Letters of Oscar Wilde, London, John Murray,1985.

Oscar Wilde, Œuvres Complètes, trad, française,éd. par J. de Langlade, Stock, 1975–1977, 2 vol.

БИБЛИОГРАФИИ

Stuart Mason, Bibliography of O. Wilde, Milford House Inc., 1972.

E. H. Mikhail, Oscar Wilde Bibliography, New-Jersey, Rowman & Littlefield, 1978.

E. H. Mikhail, Oscar Wilde Interviews & Recollections, London, Bosingstoke, MacMillan, 1979, 2 vol.

БИОГРАФИИ И КРИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Alin C a i 11 a s, Oscar Wilde tel que je I 'ai connu, Paris, 1971.

P. K. Cohen, The Moral Vision of Oscar Wilde, London, Associated University Press, 1978.

Cooper-Prichard, Conversations with O. Wilde, London, P. Allan, 1981.

Rupert Croft-Cooke, Oscar Wilde Discoveries, London, Books & Bookmen, February 1974.

Lucie Delarue-Mardrus, Les Amours d'Oscar Wilde, Paris, Flammarion, 1929.

Lord Alfred Douglas, O. Wilde et moi, Emile-Paul Freres, Paris, 1917.

J. Epstein, The O. Wilde Monument, London, The Times, 8 November 1913.

A. Germain, Wilde a Bemeval, Revue européenne, Paris, dècembre 1923.

André Gide, Journal 1889–1939, La Pleiade, 1940.

André Gide, Oscar Wilde In Memoriam, Paris, Mercure de France, 1948.

André Gide, Pretextes, Mercure de France, 1929.

André Gide, Si le grain ne meurt, Gallimard, 1951.

R. de Gourmont, Promenades littéraires 1904–1913, t.l.

J. Green, Barbey d'Aurevilly et O. Wilde, Revue des lettres modemes, Paris, 1971–1972.

S. Guitry, Tribute to O. Wilde, Adam International Review, London, 24 Mars 1954.

F. Harris, The Life & Confession of O. Wilde, ed. F. Harris, New York, 1917.

Ch. H. Hirsch, Teleny Ganymede club, Paris, 1934, et Paris, R. Deforges, 1977.

V. Holland, Oscar Wilde and His World, London, Thames & Hudson, 1979.

V. Holland, Son of O. Wilde. London, R. H. Davies, 1954.

M. Hyde, O. Wilde, London, Methuen, 1976.

M. Hyde, The Aftermath, London, Methuen & C°, 1963.

M. Hyde, The Trials of O. Wilde, trad. P. Kyria, Genève, Edito Service, 1971.

Ph. Julian, Oscar Wilde, Paris, Perrin, 1967.

Ph. Julian, Les Parents d'Oscar Wilde, Revue des Deux Mondes, février 1967.

E. La Jeunesse, Cinq ans chez les sauvages, Paris, Ed. Ollendorf, 1905.

J. de Langlade, Oscar Wilde ecrivain français, Paris, Stock, 1975.

Brood Lewis, The Friendship and Follies of O. Wilde, London, 1954.

Lewis & Smith, Oscar Wilde discovers America, New York, Harcourt, Brace & C°, 1936.

Jean Lorrain, Sensations et souvenirs, Coins de Byzance, La Ville empoisonnée, Charpentier et Fasquelle, 1895, Ollendorf, 1902.

J. P. Mahaffy, Rambles and Studies in Greece, London, MacMillan, 1887.

T. Mainsard, L'esthetisme de Pater a Wilde, Etudes, CXCIV, 5 mars 1928.

Stuart Mason, O. Wilde and the Aesthetic Movement, London, 1920.

Camille Mauclair, Servitudes et grandeurs litteraires, Paris, Ollendorf, 1922.

Robert Merle, Oscar Wilde, Paris, Perrin, 1984.

V. O'Sullivan, Aspects of Wilde, London, 1936.

Simona Pakenham, The English at Dieppe 1814–1914, Dieppe, Les Informations dieppoises, 1971.

Walter Pater, A Novel by Mr. Oscar Wilde, New York, Liveright, 1919.

Henry de Régnier, Figures et caractéres, Paris, Mercure de France,1901.

Adolphe Retté, Le Symbolisme, anecdotes et souvenirs, Paris, Messein & C, 1903.

Ernest Reynaud, La Mélée symboliste, Paris, La Renaissance du Livre, 1920.

R. H. Sherard, A. Gide's Wicked Lies about the Late O. Wilde in Algiers, Paris, Ed. Calvi Vindex, s. d. R. H. Sherard, B. Shaw, F. Harris, and 0. Wilde, London, T. Werner Laurie, 1937.

R. H. Sherard, Oscar Wilde, the Story of an Unhappy Friendship, London, 1902.

R. H. Sherard, The Real Oscar Wilde, London, T. W. Laurie, 1915.

R. H. Sherard, Twenty Years in Paris, London, T. W. Laurie, 1920.

A. Symons, A Study of Oscar Wilde, London, C. J. Sawyer, 1930.

A. Symons, Essays and Biographies, London, Cassell, 1969.

O. Uzanne, Visions de notre heure, Paris, Librairie Henry Floury, 1899.

P. Wiegler, Genius in Love and Death, New York, A & Ch. Boue, 1929.

M. Yourcenar, Oscar Wilde, Revue bleue, Paris, 19 octobre 1929.

СОЦИАЛЬНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ И СЕМЕЙНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Mary Clark Amor, Madame Oscar Wilde, Paris, Perrin, 1985.

Natalie Clifford Barney, Aventures de I'esprit, Paris, ed. P. Freres, 1929.

Aubrey Beardsley, The Letters of A. Beardsley, London.

Sarah Bernhardt, Memories of My Life, New York, D. Appleton & C°,1907.

Max Birnbaum, Beardsley and Wilde, Paris, ed. de la Nouvelle Revue, 1939.

Anna de Brémont, O. Wilde and His Mother, London, Everett & C °, 1911.

Patrick Byrne, The Wildes of Merrion Square, London, Stapless Press, 1953.

Francis Carco, La Belle Epoque au temps de Bruant, Paris, Gallimard. 1954.

Cardinne-Petit, Pierre Louys inconnu, Flammarion, Paris, 1937.

J. E. Chamberlain, Ripe was the Drowsy Hour, New York, Scabury Press, 1977.

Jacques Chastenet, Le Siecle de Victoria, Paris, Fayard, 1947.

Chips, The Diaries of sir H. Shannon, London, Weidenfeld & Nicholson 1967.

H. Cixous Weintraub, A. Beardsley, une grande ombre, Cahiers

Renaud-Barrault, 1-er trimestre 1973.

Sir A. Conan Doyle, Memoirs & Adventures, London, Hadder & Stoughton, 1924.

R. Croft-Cooke, Bosie: the Story of Lord A. Douglas, London, W. H. Allen, 1963.

Jean Delay, La Jeunesse d'A. Gide, Paris, Gallimard, 1956, 2 vol.

Lord A. Douglas, The Autobiography of Lord A. Douglas, London, M. Seeker, 1931.

S. J. Adair Fitzgerald, The Story of the Savoy Opera, London, Stanley Paul, 1924.

W. Freeman, The Life of Lord A. Douglas, London, H. Joseph, 1948.

F. Ganzi, Lautrec et son temps, Paris, Perret, 1954.

Gilbert & Sullivan, Patience, London, 1882.

E. et J. de Goncourt, Journal, Paris, Fasquelle-Flammarion, 1956, 4 vol.

Julien Green, Journal 1928–1958, Paris, Plon, 1961.

Yvette Guilbert, La Chanson de ma vie, Paris. Grasset, 1924.

Yvette Guilbert, Mes lettres d'amour, Paris, Denoël & Steel, 1933.

C. J. Hamilton, Lady Wilde Dublin Sealy, Beyers & Walker, 1904.

W. Hamilton, The Aesthetic Movement in England, London, Reeves & Turner, 1882.

Louis Hámon, Cheiro's Memoirs, London, 1912.

R. R. James, Lord Rosebery, London, 1964.

R. Kenneth, A Portrait of Curzon and His Circle, New York, Weibright & Tally, 1969.

Lillie Langtry, The Days 1 knew, London, Hutchinson, 1925.

Georgette Leblanc, Maeterlinck and I, London, Methuen, 1932.

J. P. Mahaffy, Rambles and Studies in Greece, London, MacMillan,1878.

J. P. Mahaffy, Social Life in Greece from Homer to Menander, London, 1935.

Th. Mann, Last Essays, London, Martin Seeker, 1959.

Ed. Marjoriebanks, The Life of Lord Carson, London, Gallouez, 1932, vol. I.

C. R. Marx, К Guilbert vue par H. de Toulouse-Lautrec, Paris, Au Pont des Arts, 1950.

A. E. W. Mason, Sir G. Alexander and the St. James Theatre, London, MacMillan, 1935.

Ch. Maturin, Melmoth errant, J.-J. Pauvert, Paris.

Me inholt, Sidonia, the Sorceress, trad. Jane Wilde, Kelmscott Press, 1893.

H. Mondor, Vie de Mallarme, Paris, Gallimard, 1941.

Munhall, Whistler's portrait of R. de Montesquieu, Gazette des

Beaux-Arts, avril 1968.

A. L. Nicoll, A History of late 19th Century Drama, Cambridge University Press, 1949.

H. Pirenne, Les Grands Courants de Thistoire universelle, Paris, Albin Michel, 1965, 7 vol.

H. T. Porter, Lillie Langtry, London, St. Hélier, 1973.

T. Prideaux, Love of Nothing, the Life and Time of Ellen Terry, New York, Scribner's & Anderson, 1971.

Mergery Ross, R. Ross, London, J. Cope, 1952.

Ch. Saint-John, Ellen Terry, London, J. Lane, 1907.

S. Sitwell, For want of the Golden City, London, Thames & Hudson, 1973.

Otis Skinner, Sarah Bernhardt, Paris, Fayard, 1968.

G. Taranov, Sarah Bernhardt, The Art within the Legend, Princeton University Press, 1972.

Ellen Terry, The Story of My Life, London, Hutchinson, 1908.

J. M. N. Whistler, The Gentle Art of Making Enemies, London, Heineman, 1904.

J. G. Wilson, Victorian Doctor, London, 1942.

F. Win war, O. Wilde and the Yellow Nineties, New York, Harper & Brother, s.d.

C. Woodham-Smith, Queen Victoria, Her Life and Times (1819–1861), London, 1972.

H. Windham, Speranza, New York, Philosophical Library, 1951.

H. Windham, The «Sphinx and Her Circle», London, A Deutsch, 1963.

W. B. Yeats, Autobiographies, London, MacMillan, 1955.

W. B. Yeats, Le Frémissement du voile, Paris, Mercure de France, 1970.

W. B. Yeats, Souvenirs of O. Wilde, Paris, Gallimard, ler Juillet 1966.

Harper's Bazaar, New York, 10.06. 1882.

New York Daily Tribune, 10.06. 1882.

New York Herald, 31.10. 1882.

New York Daily Tribune, 10.01. 1883.

New York Daily Tribune, 27.01. 1885.

Daily Telegraph, London, 6.04. 1895.

The Star, London, 19.04. 1895.

Le Gaulois, La L'Ermitage, La.

The Times, Morning Cronicle, Daily Cronicle, L 'Echo de Paris, Lanteme, Le Figaro, Mercure de France, La Revue blanche, Plume.

ГАЗЕТЫ И СТАТЬИ В ПРЕССЕ, ПОЯВИВШИЕСЯ ПРИ ЖИЗНИ ОСКАРА УАЙЛЬДА

Punch, London, 1880. et suiv.

New York Times, 7.12. 1881.
New York World, 3.01. 1882.
Harper's Bazaar, New York, 10.06. 1882.

New York Daily Tribune, 10.06. 1882.

New York Herald, 31.10. 1882.

New York Daily Tribune, 10.01. 1883.

New York Daily Tribune, 27.01. 1885.

Daily Telegraph, London, 6.04. 1895.

The Star, London, 19.04. 1895.

The Times, Morning Cronicle, Daily Cronicle, L 'Echo de Paris, Lanteme, Le Figaro, Mercure de France, La Revue blanche, Plume.

Издания произведений О. Уайльда и литература о нем на русском языке

Уайльд О. Полное собрание сочинений /Под ред. К. И. Чуковского. — СПб., 1912. Т. 1–4.

Уайльд О. Избранные произведения. Вступ. ст. А. Аникста. — М., 1960. Т. 1–2.

Уайльд О. Избранные произведения. Вступ. ст. Н. Пальцева. — М., 1993. Т. 1–2.

Уайльд О. Избранное. — М., 1986.

Уайльд О. Избранное. — М., 1989.

Уайльд О. Пьесы. — М., 1960.

Уайльд О. Письма. — М., 1997.

Айхенвальд Ю. Этюды о западных писателях. — М., 1910.

Аксельрод Л. И. (Ортодокс). Мораль и красота в произведениях О. Уайльда. — Иваново-Вознесенск, 1923.

Акройд П. Последнее завещание Оскара Уайльда. — М., 1993.

Парандовский Я. Король жизни. В кн.: Я. Парандовский. Алхимия слова. — М., 1990.

Соколянский М. Г. Оскар Уайльд. — Киев; Одесса, 1990.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Сэр Уильям Уайльд, отец Оскара, в зените своей славы.

Портрет Уильяма Уайльда в возрасте двадцати восьми лет.

Оскар Уайльд в синем бархатном платье в двухлетнем возрасте.

Джейн Франческа Уайльд (урожденная Элджи) в возрасте тридцати восьми лет.

Дублин, дом 1 по Меррион-сквер. Здесь Уайльд жил в детские годы, здесь же находился салон леди Уайльд.

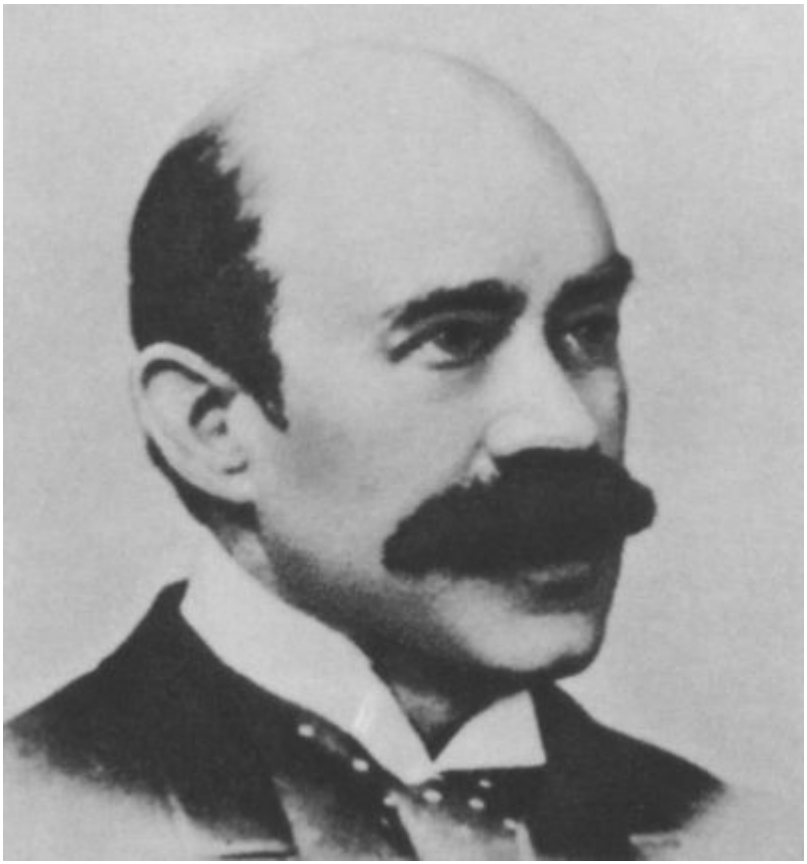
Преподобный Джон Пентленд Махэйффи.

Золотая медаль Беркли, которой был удостоен Уайльд в 1874 году за успехи в изучении греческого языка.

Дублин, Тринити-колледж. Гравюра XVIII века. Сохранился в прежнем виде до наших дней.

Оскар Уайльд в Оксфорде.

Здание и башня колледжа Святой Магдалины, одного из самых красивых сооружений Оксфордского университета.



Уолтер Патер, преподаватель Оксфордского университета, проповедник гедонизма, под чье влияние попал молодой Оскар Уайльд.

Однокашники Уайльда по Оксфорду.

Оскар Уайльд (крайний справа) в одежде для игры в крикет.

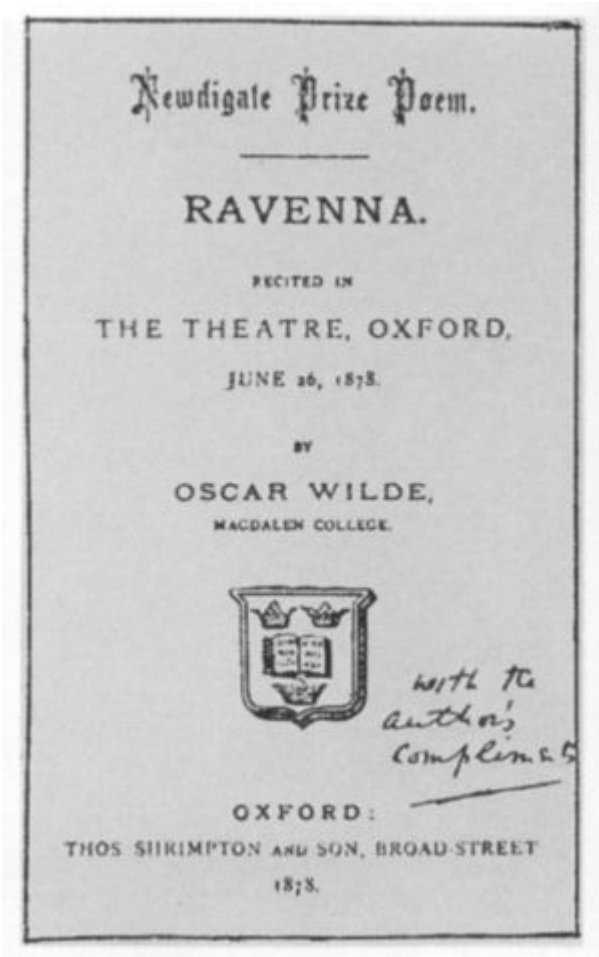
Общежитие колледжа, в котором жил Оскар Уайльд.

Оскар Уайльд в греческом костюме. Снимок сделан в Афинах.

Оскар Уайльд (сидит) в средневековом костюме.

Собрание в Академии, 1881 год.

Уайльд в период написания поэмы «Равенна», за которую он был удостоен премии Ньюдигейт.


Newdigate Prize Poem.

RAVENNA.

RECITED IN

THE THEATRE, OXFORD,

JUNE 26, 1878.

BY

OSCAR WILDE,

MAGDALEN COLLEGE.

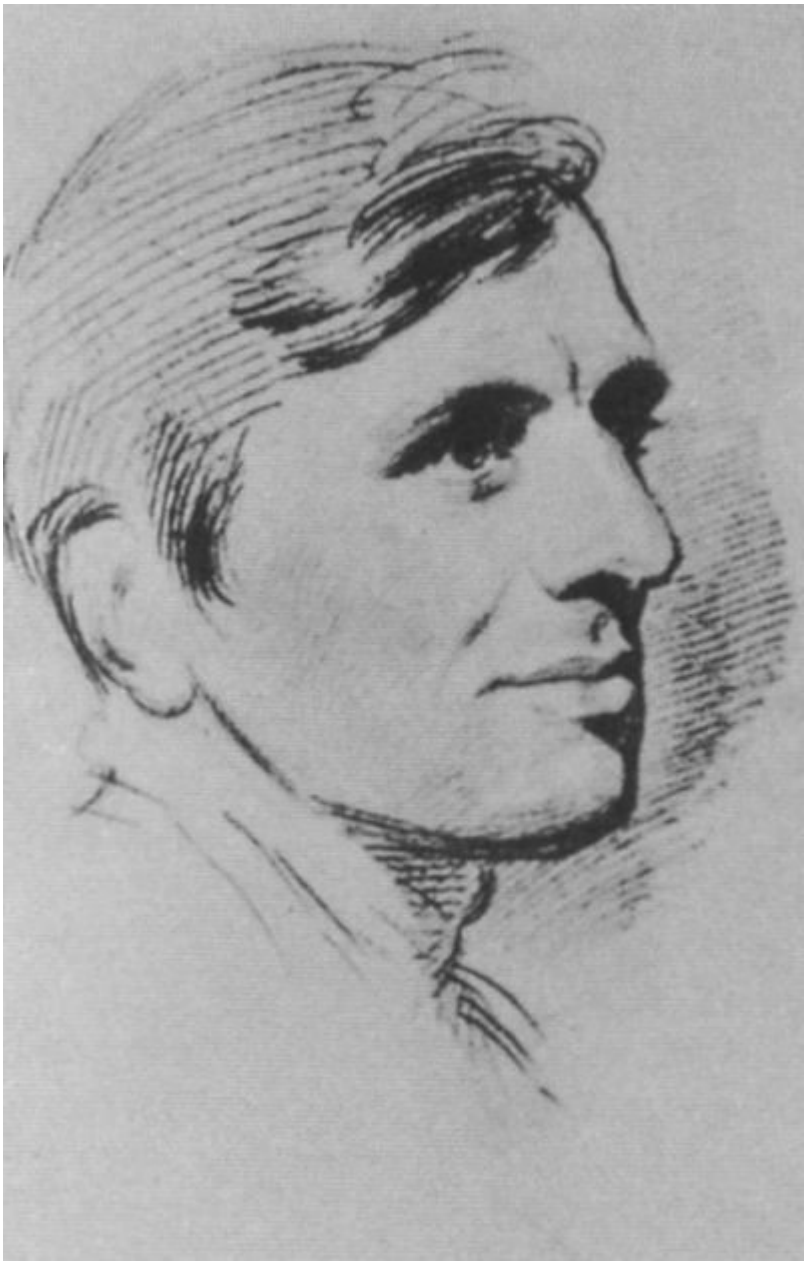
with the author's compliments

OXFORD:

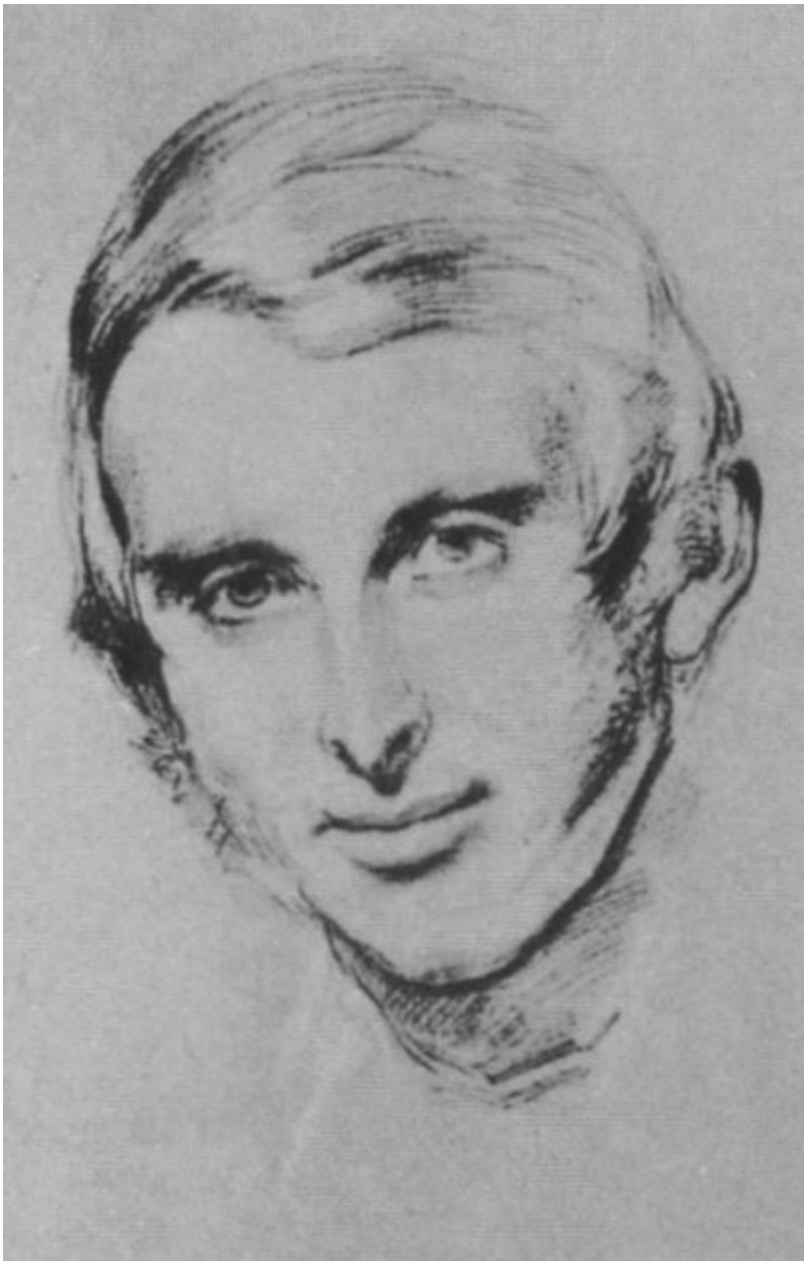
THOS SHRIMPTON AND SON, BROAD-STREET

1878.

Обложка поэмы «Равенна», вышедшей в Оксфорде в 1878 году.



Кардинал Ньюмен.



Джон Рёскин.

Лилли Лэнгтри, «Лилия из Джерси», которую обожал Оскар Уайльд.

Джеймс Уистлер.

Эллен Терри. Фото Джулии Маргарет Кэмерон.

Эллен Терри в роли леди Макбет.

Карикатура на движение эстетов, помещенная в журнале «Панч» в 1880 году.

Обложка юмористического памфлета на Оскара Уайльда.

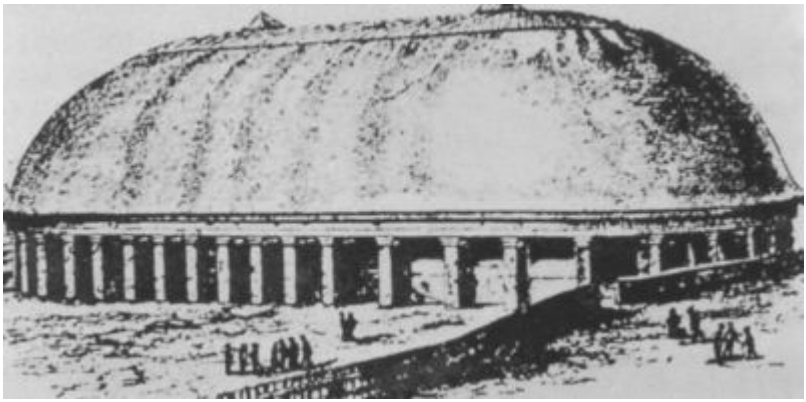
Сара Бернар.

Уайльд в эстетском наряде. Штат Алабама, июнь 1882 г.

Штаб-квартира Уайльда в Нью-Йорке, расположенная по соседству с домом Вашингтона Ирвинга.

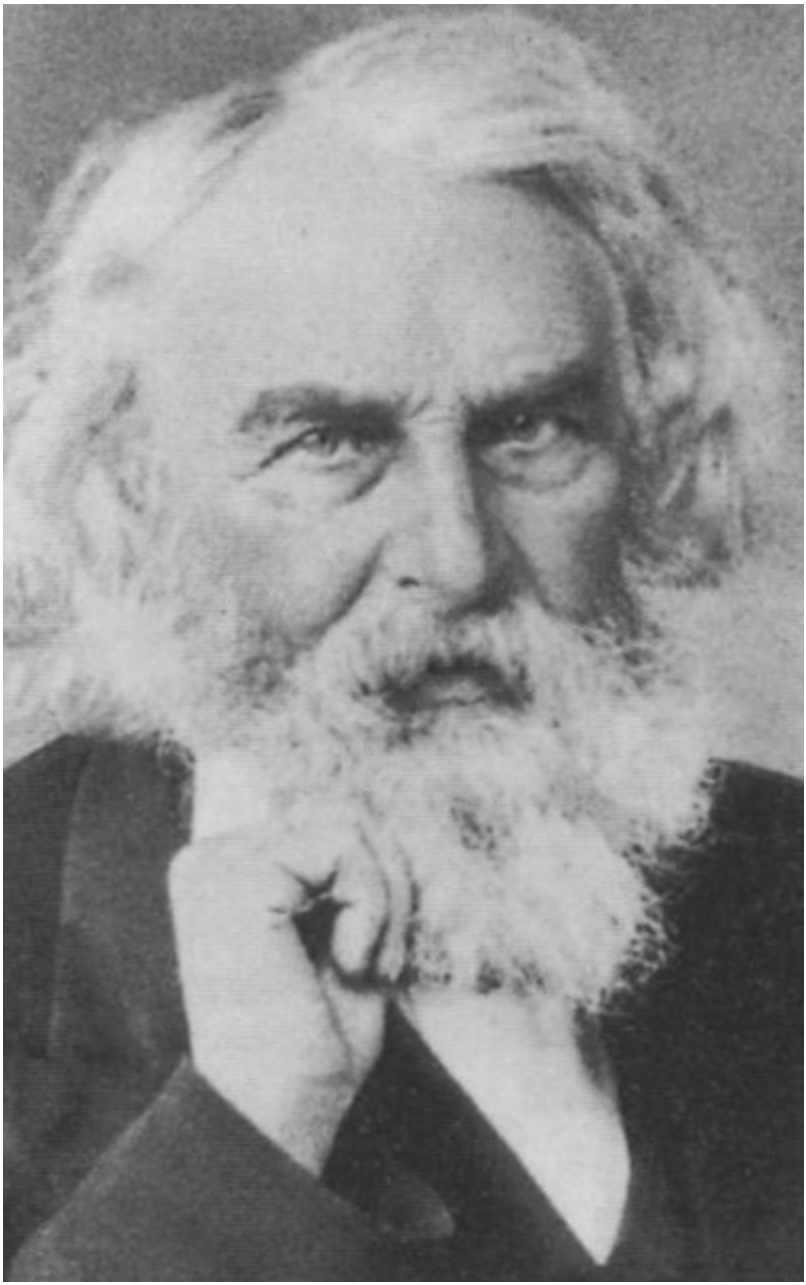
Здание Оперного театра в Канзасе, где Уайльд читал лекции

во время своего американского турне.

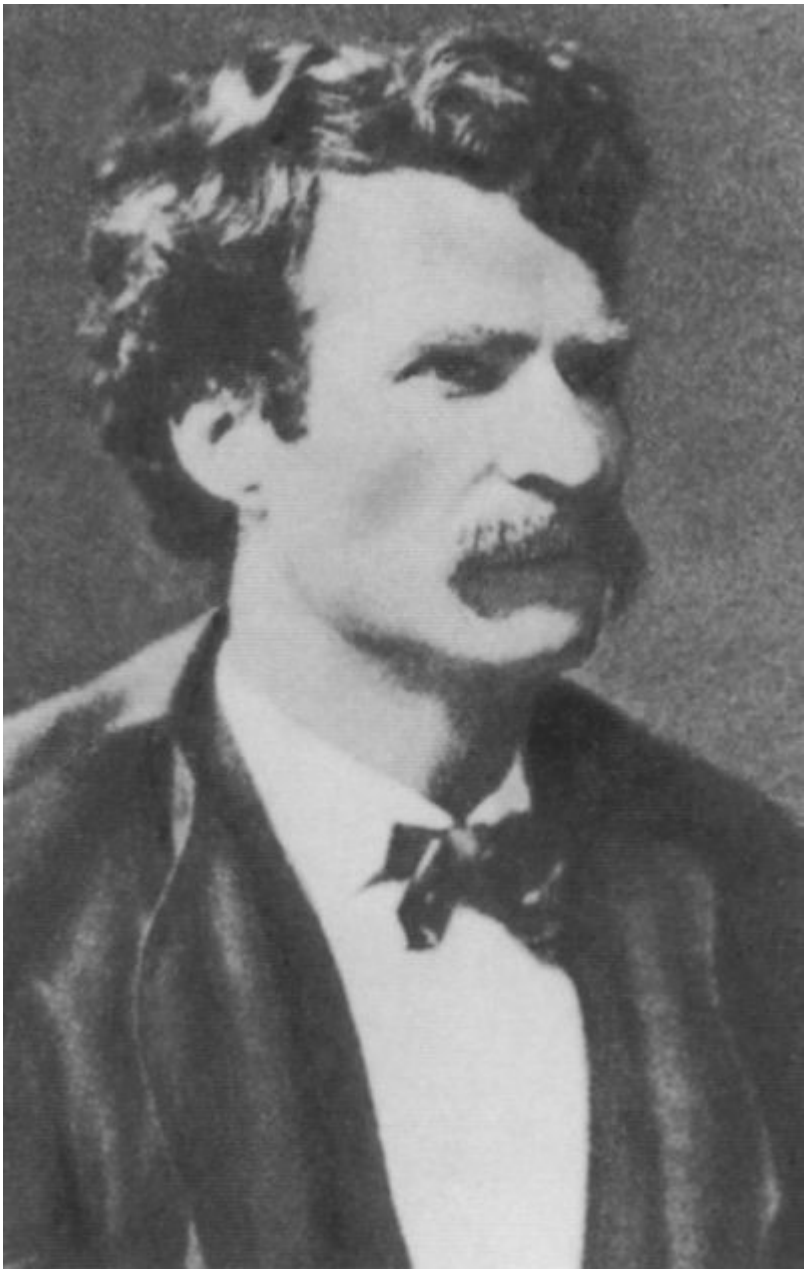


Огромный храм мормонов в Солт-Лэйк-Сити, где выступал Уайльд.

Мэри Андерсон, для которой Уайльд написал пьесу «Герцогиня Падуанская».1883 г



Генри Лонгфелло.



Марк Твен.

Оскар Уайльд. 1895 г.

Констанс Мэри Уайльд (урожденная Ллойд), супруга Оскара Уайльда.

Парижские бульвары. Такими их впервые увидел Уайльд в 1883 году.

«Маленькая церковь, что за углом», в которой венчался Оскар Уайльд.

Челси, дом 16 по Тайт-стрит. Здесь проходила семейная жизнь Уайльда.

Андре Жид.

Юный Бози, лорд Альфред Дуглас, третий сын восьмого маркиза Куинсберри.

Пьер Луис.

Констанс Уайльд со старшим сыном Сирилом.

Оскар Уайльд и лорд Альфред Дуглас в 1893 году.

Оскар Уайльд в период шумного успеха пьесы «Как важно быть серьезным». Февраль 1895 года.

Иллюстрация Обри Бердслея к английскому изданию пьесы «Саломея», вышедшему в 1894 году.

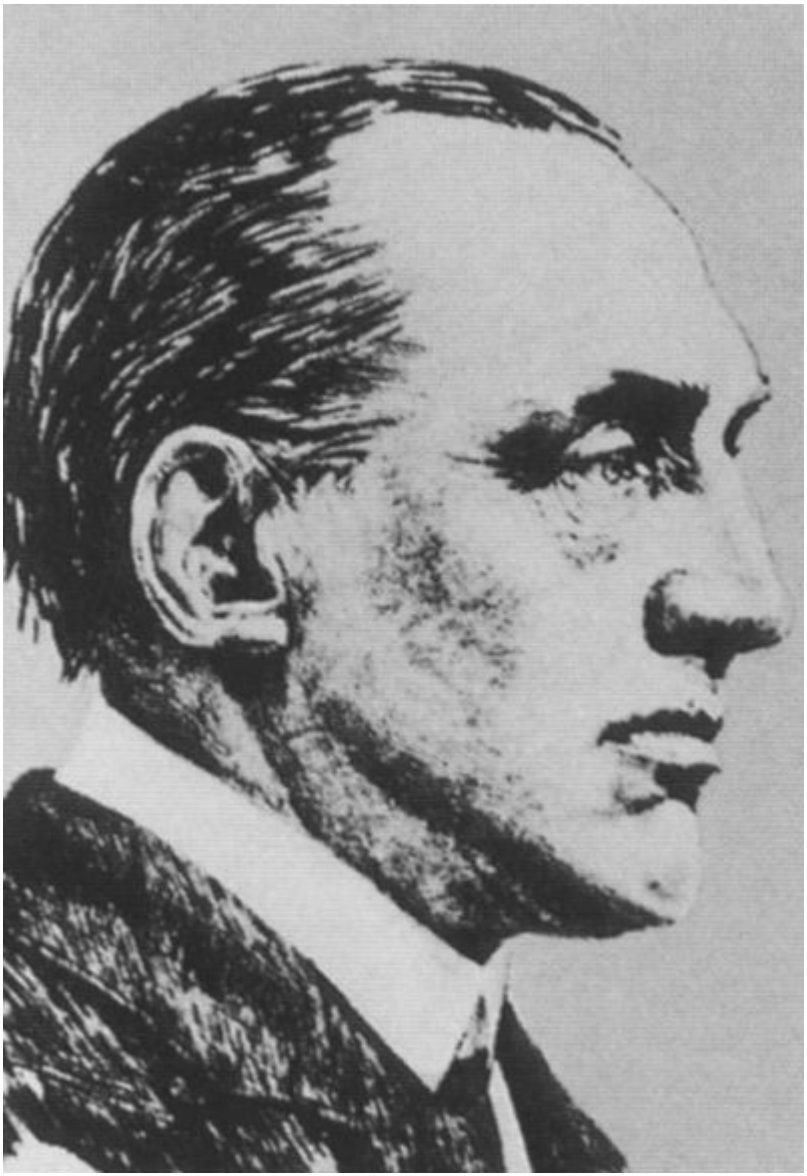
Титульный лист поэтической фантазии Уайльда «Сфинкс». Иллюстрация Чарльза Рикеттса.

Эдмон и Жюль Гонкуры.

Портрет актрисы Патрик Кэмпбелл.

Оскар Уайльд в последние годы жизни.

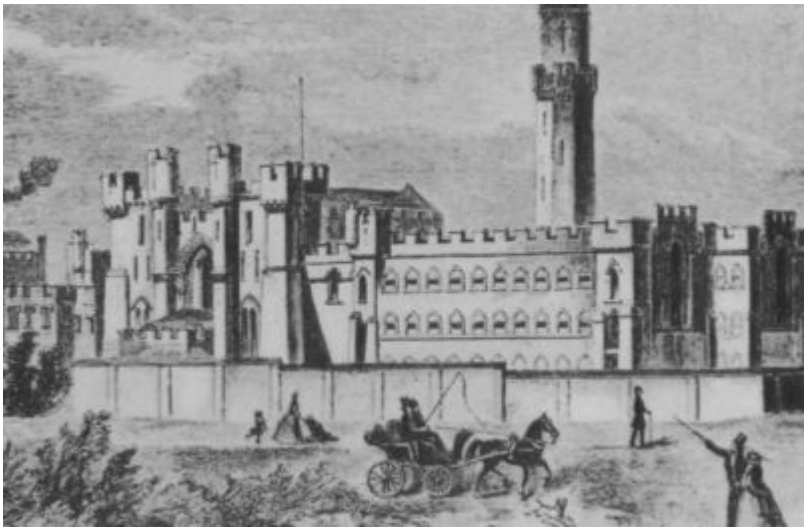
Судья на последнем процессе м-р Джастис Уиллс, приговоривший Оскара Уайльда к двум годам тюремного заключения и исправительных работ.



Эдвард Карсон, адвокат маркиза Куинсберри.

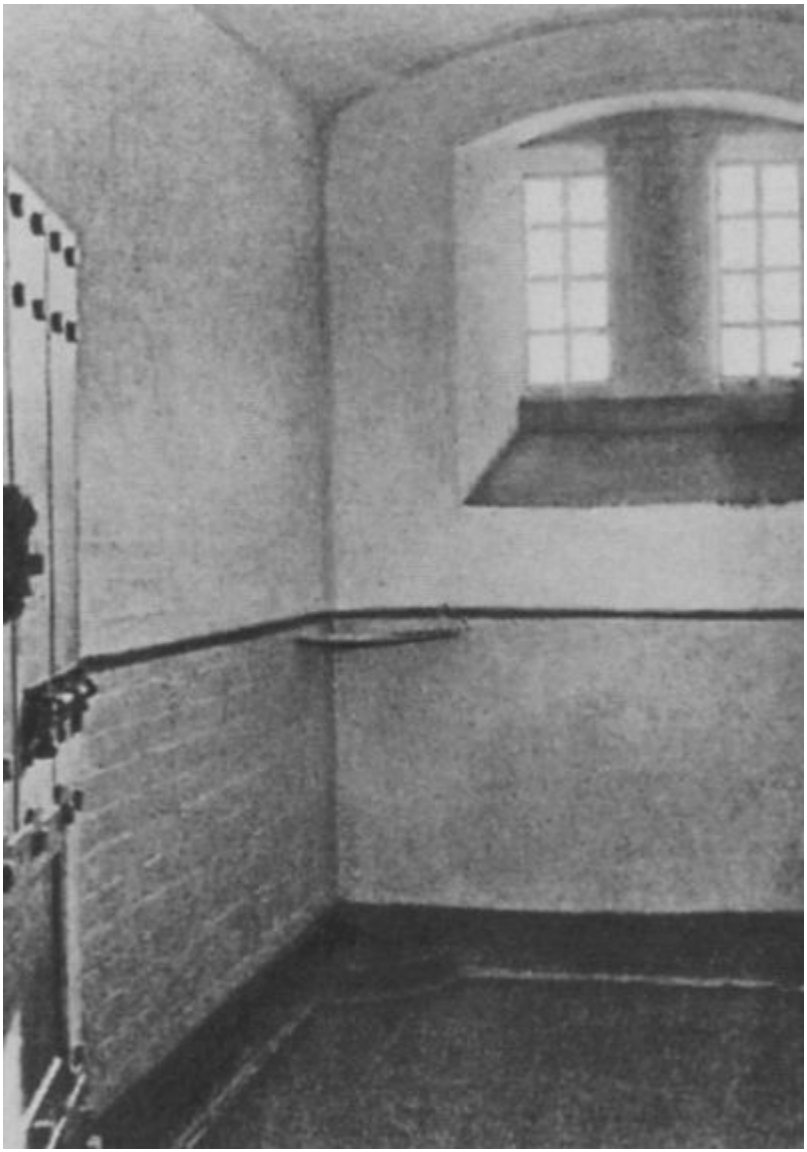
Эдуард Кларк, адвокат Уайльда на всех трех судебных разбирательствах.

Маркиз Куинсберри, отец Бози.

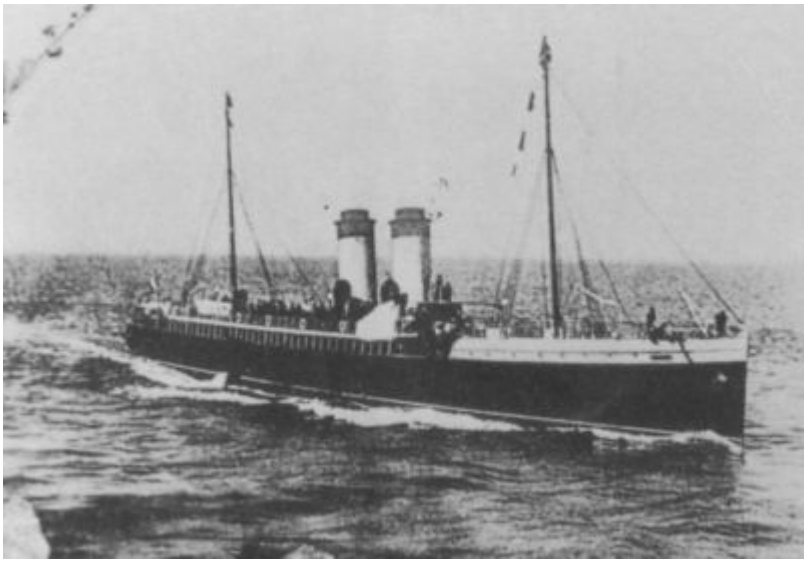


Тюрьма Холлоуэй, куда был заключен Уайльд после провала его процесса против лорда Куинсберри.

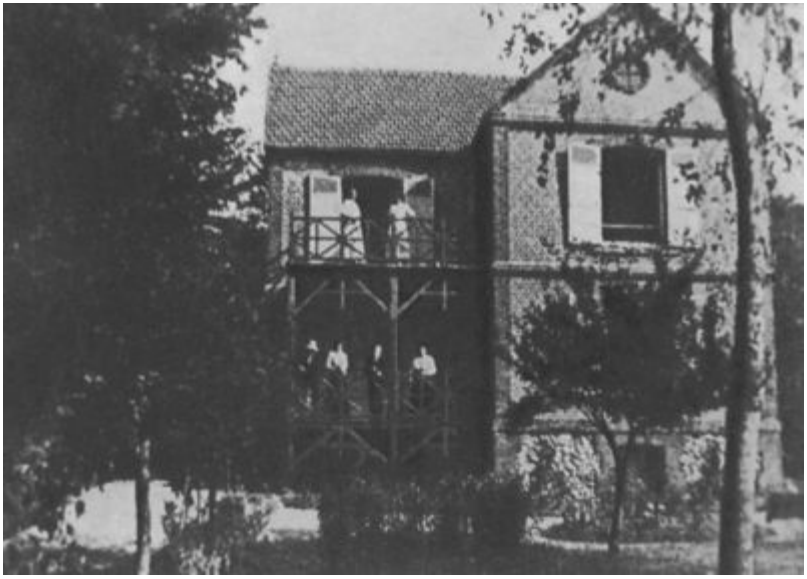
Леди Уайльд в последние годы жизни.



Камера Оскара Уайльда в Рединrской тюрьме.



«Темза» — судно, на котором Оскар Уайльд приплыл из Ньюхейвена в Дьепп 19 мая 1897 года.



Дом в Берневале, где Уайльд написал большую часть «Баллады Редингской тюрьмы».

Уайльд в Риме на площади Святого Петра. 1898 г.

Ницца в 90-е годы прошлого столетия.

Оскар Уайльд и лорд Альфред Дуглас на террасе ресторана. 1898 г.

Париж, гостиница «Эльзас», в которой умер Оскар Уайльд.

Могила Оскара Уайльда. Париж, кладбище Пер-Лашез.

notes

Примечания

1

С соответствующими изменениями (лат.) (Прим. пер.)

2

«Из глубин» (лат.) — письмо О. Уайльда Альфреду Дугласу из Редингской тюрьмы, известное также как «Тюремная исповедь». (Прим. пер.)

3

Если обратиться к шеститомнику Ларусс издания 1947 года, то там можно прочесть, что О. Уайльд родился в 1856 году. Эту дату подтверждают Луис Унтермайер в своей «Сокровищнице великих поэм» (Нью-Йорк, 1942), Ф. И. Холлидэй в «Истории культуры Англии» (Лондон, 1967) и, наконец, Филипп Жюлиан в книге «Оскар Уайльд» (Париж, 1968), хотя он и колеблется между 1855 и 1856 годами, оставляя долю сомнения, несмотря на утверждение Жака Шастене в книге «Век Виктории» (Париж, 1947), что датой рождения О. Уайльда следует считать 1856 год.

4

В некоторых семьях из сельских районов Ирландии существовала традиция одевать маленьких мальчиков в девочек из страха, чтобы их не унесли злые феи, поскольку известно, что злые феи интересуются только маленькими мальчиками. (Старая ирландская легенда, рассказанная леди Уайльд.)

5

Рекамье Жанна Франсуаза Жюли Аделаида Бернар (1777–1849), известная французская дама, подруга мадам де Сталь и Шатобриана, организовала у себя салон для высшего общества эпохи Реставрации. (Прим. пер.)

6

Мэтьюрин Чарлз Роберт, автор «Бертрама» и «Мельмота-скитальца». Детство Оскара будет окутано подвигами этого героя «черного» романа, обладавшего сверхъестественной и ужасающей силой и приводившего в восторг романтических поэтов той эпохи.

7

H. Wyndham. Speranza. New York, Philosophical Library, 1951, p. 15.

Ibid., p. 16.

9

Фергюс О’Коннор (1796–1855), ирландский пропагандист, член Парламента.

10

Даниэл О’Коннелл (1775–1847), адвокат, вел кампанию за эмансипацию католиков. Являясь членом Парламента, сумел настоять на принятии значительного числа поправок в пользу улучшения статуса Ирландии. (Прим. пер.)

11

Ibid., p. 22.

12

Жребий брошен (лат.) (Прим. пер.)

13

Ibid.

Ibid., p. 47.

15

Philippe Jullian. «Les parents d'Oscar Wilde», Revue des Deux Mondes, 1967, p. 390.

16

Stuart Mason. Oscar Wilde and the Aesthetic Movement. London, 1920, pp. 118–119.

17

Так называли дворец — резиденцию вице-короля Ирландии, который управлял страной под контролем Англии.

18

Бернар Мулервэн (1803–1868), ирландский портретист и миниатюрист.

19

H. Wyndham, op. cit., p. 65.

Philippe Jullian, art. cit., p. 65.

21

H. Wyndham, op. cit., p. 27.

Ibid., p. 55.

23

Ibid., p. 71.

Ibid., p. 73.

Ibid., p. 74.

Ibid., p. 76.

Ibid., p. 84.

Ibid., pp. 84–85.

Ibid., p. 85.

Ibid., pp. 86-87

Ibid., pp. 89–90.

Ibid., p. 92.

33

Высший суд римско-католической церкви в Риме. (Прим. пер.)

F. Harris. The Life and Confession of O. Wilde. N.Y., 1917, pp. 25–28.

Ibid., pp. 29–30.

36

«Да покоится (с миром)» (лат.). Это стихотворение будет положено на музыку в 1910 году композитором Х. В. Джервис-Ридом под названием «At Rest». («Упокоение». — Прим. пер.)

F. Harris, op. cit., p. 36.

M. Hyde, op. cit., p. 11.

39

Ссылка, каторга — от названия бухты в Новом Южном Уэльсе, служившей местом ссылки. (Прим. пер.).

Philippe Jullian, op. cit., p. 37.

M. Hyde, op. cit., p. 12.

F. Harris, op. cit., p. 41.

43

E. H. Mikhail. Oscar Wilde Interviews and Recollection. London, 1979, t. 1, p. 2.

Джордж Беркли (1685–1753), английский философ. Был выпускником Тринити-колледжа. (Прим. пер.)

M. Hyde, op. cit., p. 13.

46

Мэтью Арнольд (1822–1888), английский поэт и критик, сторонник пантеистического морализма.

Ibid., p. 17.

48

Поль Бурже (1852–1935), французский писатель, автор психологических романов. (Прим. пер.)

E. H. Mikhail, op. cit., pp. 3–4.

Philippe Jullian, op. cit., p. 47.

E. H. Mikhail, op. cit., p. 4.

Ibid., p. 5.

53

Джон Рёскин (1819–1900), английский писатель, социолог и художественный критик. (Прим. пер.)

Преподаватель филологии, большой авторитет в области санскрита, к которому Уайльд питал немалый интерес.

M. Hyde, op. cit., p. 17.

F. Harris, op. cit., p. 49.

M. Hyde, op. cit., p. 19.

Ibid.

59

Эдвард Бувери по прозвищу Пьюзи (1800–1882), английский богослов, основатель Оксфордского движения, приведший к обращению в католическую веру части прихожан англиканской церкви. (Прим. пер.)

E. H. Mikhail, op. cit., p. 7.

61

Короткие мужские штаны (фр.). (Прим. пер.)

62

Роберт Руперт (1619–1682), английский адмирал, лидер сторонников короля, потерпевший множество поражений во время английской Революции. (Прим. пер.)

F. Harris, op. cit., p. 45.

R. H. Davies. The Letters of Oscar Wilde. London, 1962, p. 6.

Ibid., p. 8.

Ibid.

H. Wyndham, op. cit., p. 101.

M. Hyde, op. cit., p. 23.

69

Генри Уилсон, врач, член Королевского колледжа хирургов Ирландии, умер от пневмонии 13 июня 1877 года в возрасте тридцати четырех лет. (Прим. пер.)

Ibid., p. 24.

R. H. Davies, op. cit., p. 17.

Преподаватель древнегреческого в Оксфорде в 1870–1882 гг.

Ibid., p. 18.

Ibid., p. 20.

75

Флоренс Энн Лемон Болкомб (1858–1937), знакомая Уайльда по Дублину, дочь отставного подполковника, одна из самых красивых женщин своего времени. В 1878 году вышла замуж за Брэма Стокера, автора знаменитого романа ужасов «Дракула» (1897). (Прим. пер.)

Ibid., p. 23.

77

Джон Аддингтон Саймонс (1840–1893), автор двухтомного сочинения «Исследования греческой поэзии». Второй том вышел в 1876 году. О публикации рецензии Уайльда на него ничего не известно. (Прим. пер.)

Ibid., p. 30.

Дэвид Роберт Планкет (1838–1919), английский аристократ, член Парламента, позднее лорд Рэтмор. (Прим. пер.)

Ibid., p. 34.

81

M. Hyde, op. cit., p. 26.

82

Гюстав Доре (1832–1883), французский художник, гравер и иллюстратор.

Ibid., p. 36.

Ibid.

J. P. Mahafly. Rambles and Studies in Greece. London, MacMillan, 1878, p. 25.

Ibid., pp. 317, 371.

87

Уильям Юарт Гладстон (1809–1898), английский политический деятель, лидер Либеральной партии с 1868 года, трижды назначался премьер-министром Англии, автор многочисленных реформ. (Прим. пер.)

88

Герцог Отто фон Бисмарк (1815–1898), прусский политический деятель, премьер-министр при Вильгельме I, стоял у истоков укрепления германского единства, создания германской колониальной державы, в 1871 году провозглашен имперским канцлером, противник католической партии, инициатор Тройственного союза с Австрией и Италией против Франции. (Прим. пер.)

Ibid., p. 379.

Complete Works. London and Glasgow, Collins, 1972, p. 40.

R. H. Davies, op. cit., p. 36, n. 3.

92

Джеймс Эбботт Макнейл Уистлер (1834–1903), американский художник и гравер, живший в Лондоне. (Прим. пер.)

93

Джон Китс (1795–1821), один из величайших английских поэтов-романтиков. (Прим. пер.)

94

Наемная кавалерия на службе у турецких султанов, прославившаяся своей жестокостью во время балканских войн.

Ibid., p. 37.

Ibid., p. 43.

E. Terry. The Story of My Life. London, Hutchinson, 1908, p. 108.

Ibid., p. 182.

Ibid., p. 123.

Ibid., p. 124.

Ibid., p. 181.

102

Равенна — город в Италии близ Адриатического моря, богатый историческими памятниками. (Прим. пер.)

M. Hyde, op. cit., p. 34.

Ibid., p. 27.

Ibid., p. 36.

106

Чарльз Стюарт Парнелл (1846–1891), депутат, руководитель автономистской партии Ирландии.

H. Wyndham, op. cit., p. 116.

108

Роберт Браунинг (1812–1889), английский поэт-романтик. (Прим. пер.)

109

Anna de Brémont. O. Wilde and His Mother. London, Everett and Co, 1911, p. 180.

Ibid., p. 181.

111

H. Wyndham, op. cit., p. 117.

R. H. Davies, op. cit., p. 54.

113

Ibid., p. 60, n. I.

M. Hyde, op. cit., p. 43.

Ibid., p. 41.

R. H. Davies, op. cit., p. 64, n. 1.

Ibid., p. 64.

Ibid., pp. 65–66.

F. Harris, op. cit., p. 61.

Lillie Langtry. The Days I knew. London, Hutchinson, 1925, p. 2.

121

Джон Эверетт Миллес (1829–1896), английский художник, один из участников Прерафаэлитского братства. (Прим. пер.)

Ibid., p. 3.

123

Ibid., p. 4.

R. H. Davies, op. cit., p. 66.

125

Ibid.

126

Аристократический район лондонского Вест-Энда. (Прим. пер.)

Otis Skinner. Sarah Bernhardt. Paris, Fayard, 1968, p. 87.

128

«Эрнани, или Кастильская честь» — драма в стихах Виктора Гюго, написанная в 1829 году. (Прим. пер.)

129

Ibid., p. 85.

Ibid., p. 117.

Stuart Mason, op. cit., p. 226.

M. Hyde, op. cit., p. 46.

Journal de l'impressionnisme. Genève, Skira, 1973, p. 64.

E. et J. de Goncourt. Journal. Paris, Fasquelle-Flammarion, 1956, 4 vol., t. IV, p. 380.

Ibid., t. Ill, p. 109.

Gazette des Beaux-Arts, mars 1977, p. 108.

137

Frances Winwar. O. Wilde and the Yellow Nineties. New York, Harper and Brothers, s. d., p. 35.

F. Harris, op. cit., t. I, p. 64.

139

H. Wyndham, op. cit., p. 124.

Ibid., p. 126.

141

Ibid., p. 142.

R. H. Davies, op. cit., p. 71.

143

Ibid., p. 73, n. 2.

M. Hyde, op. cit., p. 45.

E. H. Mikhail, op. cit., t. 11, p. 276.

R. H. Davies, op. cit., pp. 74–75.

147

H. Pirenne. Les Grands Courants de l'histoire universelle. Paris, Albin Michel, 1965, 7 vol., t. IV, p. 497.

Stuart Mason, op. cit., p. 254.

F. Harris, op. cit., p. 67.

Stuart Mason, op. cit., p. 286.

M. Hyde, op. cit., p. 48.

Stuart Mason, op. cit., p. 290.

Ibid., p. 325.

Ibid.

F. Harris, op. cit., p. 69.

Ibid., p. 73.

157

W. S. Gilbert et A. Sullivan. Patience. 1881, p. 15.

Ibid., p. 28.

M. Hyde. O. Wilde, op. cit., pp. 46–47.

Lillie Langtry. The Days I knew, op. cit., p. 88.

161

Если верить прессе, которая неверно интерпретировала его слова. На самом деле он сказал: «Не могу сказать, что полностью удовлетворен плаванием по Атлантическому океану. Он не был таким величественным, каким я ожидал его увидеть. Я бы хотел видеть, как морская волна накрывает палубу». Майкейл И. Г. Оскар Уайльд. Интервью и воспоминания, с. 38.

E. H. Mikhail. O. Wilde Interviews and Recollections, op. cit., p. 36.

Ibid., pp. 36–37.

Lewis et Smith. O. Wilde discovers America. New York, Harcourt, Brace and Co, 1936, p. 58.

In Oeuvres completes, op. cit., t. I, pp. 78–79.

Ibid., p. 87.

Lewis and Smith, op. cit., p. 73.

E. H. Mikhail, op. cit., pp. 46–47.

169

Так назывался корабль первых переселенцев из Европы в Северную Америку. (Прим. пер.)

Lewis and Smith, op. cit., pp. 116–117.

171

In Œuvres complètes. London, Collins, reéd. 1976, p. 756.

Lewis and Smith, op. cit., p. 122.

173

Oscar Wilde. First Collected Edition. London, Methuen, 1908, 14 vol., t. XIV, p. 243.

Lewis and Smith, op. cit., p. 122.

Ibid., p. 125.

Ibid., p. 126.

177

Ibid.

First Collected Edition, op. cit., t. I, p. 82.

E. H. Mikhail, op. cit., pp. 50–51.

180

Эксцентричный американский поэт (1839–1913), чьи ковбойские наряды и типичные для американского Дальнего Запада жилеты приводили в восторг Париж и Лондон в 70—80-х годах прошлого столетия.

R. H. Davies, op. cit., p. 98.

E. H. Mikhail, op. cit., p. 51.

Ibid., p. 52.

R. H. Davies, op. cit., p. 100, n. 1.

185

Сидни Колвин (1845–1927), преподаватель искусствоведения в Кембридже, поссорившийся с Уайльдом после того, как получил от того оскорбительное письмо.

186

Гарри Куилтер (1851–1907), адвокат и художественный критик, был персональным врагом Уистлера, Уайльд говорил, что ценит его за попытку «возвысить искусство до уровня ручного труда».

Ibid., p. 102, n. 2.

Ibid.

Ibid., p. 103.

Stuart Mason. O. Wilde and the Aesthetic Movement, op. cit., p. 255.

R. H. Davies, op. cit., p. 105.

E. H. Mikhail, op. cit., p. 59.

Ibid., p. 60.

Ibid., p. 61.

R. H. Davies, op. cit., p. 110.

E. H. Mikhail, op. cit., pp. 76–77.

Lewis and Smith, op. cit., p. 305.

Ibid., p. 308.

R. H. Davies, op. cit., pp. 111–112.

Ibid., p. 115.

201

Мисс Ричардс (1852–1934), дочь губернатора округа Британская Колумбия, подруга художника Роберта Росса, переехавшая в Лондон в 1888 году.

Ibid., p. 119.

203

Речь идет о Парижском салоне 1882 года, на котором Уистлер выставлял «Композицию в черном и белом». «Маленькая Розовая леди» — сочетание телесного и розового цветов, также выставлялась в Гросвеноре в мае 1882 года.

Ibid., p. 121.

E. H. Mikhail, op. cit., p. 92.

206

Патрик Генри (1736–1799), адвокат, герой Войны за независимость. Томас Джефферсон (1743–1826), ученый, дипломат, президент Соединенных Штатов Америки с 1801 по 1809 год. Джордж Вашингтон (1732–1799), главнокомандующий вооруженными силами в годы Войны за независимость, первый президент Соединенных Штатов. Джефферсон Дэвис (1808–1889), президент Конфедерации Южных штатов, с начала Гражданской войны в США (1861–1865), выпускник Вест-Пойнта.

Ibid., p. 95.

Ibid.

R. H. Davies, op. cit., p. 123.

Lewis and Smith, op. cit., p. 382.

R. H. Davies, op. cit., p. 125.

Ibid., p. 127.

Lewis and Smith, op. cit., p. 396.

Lillie Langtry, op. cit., p. 4.

Lewis and Smith, op. cit., p. 404.

Lillie Langtry, op. cit., pp. 95–96.

E. H. Mikhail, op. cit., p. 100.

Ibid., p. 104.

R. H. Davies, op. cit., p. 130, n. 2.

Lewis and Smith, op. cit., pp. 443–444.

First Collected Edition, op. cit., t. XIV, p. 255.

Ibid., p. 258.

Ibid., p. 260.

Ibid.

Ibid., p. 33.

Ibid., p. 38.

227

Леон Гамбетта (1838–1882), французский адвокат и политический деятель, противник Империи; будучи депутатом от республиканской партии, провозгласил Республику 4 сентября 1870 года; депутат Национальной Ассамблеи, лидер крайне левого Республиканского союза. (Прим. пер.)

Le Figaro, 15 janvier 1883.

229

Шарль де Соль де Фресине (1828–1923), инженер, политический деятель, министр общественных работ, неоднократно назначался на пост председателя Совета министров в период с 1879 по 1892 год. (Прим. пер.)

Жюль Ферри (1832–1893), адвокат и политический деятель, занимал посты министра общественного образования, министра иностранных дел, назначался председателем Совета министров в 1880–1881 и 1883–1885 годах. (Прим. пер.)

231

Настоящее имя Жюльенн Ковэн Друэ (1806–1883), французская актриса, спутница Виктора Гюго с 1833 года. (Прим. пер.)

232

Огюст Вакери (1819–1895), французский писатель и журналист, член Сенакля, общества писателей-романтиков, близкий друг Виктора Гюго. (Прим. пер.)

233

Анри де Ренье (1864–1936), французский писатель, романтик и поэт, одно время увлекался эстетством. (Прим. пер.)

R. H. Davies. The Letters of Oscar Wilde, op. cit., p. 141.

Ibid., p. 143.

236

Ж.-Э. Бланш (1861–1942), художник, писавший портреты знаменитостей, близкий друг Марселя Пруста, сын доктора Бланша, директора санатория в Пасси, где лечились такие известные пациенты, как Жерар де Нерваль, Шарль Бодлер и Мопассан.

237

Уильям Вордсворт (1770–1850), английский поэт-романтик. (Прим. пер.)

E. et J. de Goncourt, op. cit., t. Ill, p. 255.

M. Hyde. O. Wilde, op. cit., p. 72.

240

«Ля Куполь» — один из известнейших артистических ресторанов в Париже. (Прим. пер.)

Ibid., pp. 73–74.

R. H. Davies, op. cit., p. 145.

E. et J. de Goncourt, op. cit., t. Ill, p. 251.

R. H. Davies, op. cit., p. 147.

245

Stuart Mason. O. Wilde and the Aesthetic Movement, op. cit., p. 266.

Ibid., p. 273.

Ibid., p. 272.

Œuvres complètes, trad. franç. J. de Langlade. Paris, Stock, 1975–1977, 2 vol., t. II, p. 62.

Oscar Wilde. First Collected Edition, op. cit., t. XIV, p. 77.

Ibid., p. 78.

Ibid.. pp. 78–80.

R. H. Davies, op. cit., p. 152, n. 1.

253

Ibid.

Ibid., p. 152.

255

Patrick Byrne. The Wildes of Merrion Square. London, Stapless Press, 1953, p. 164.

Ibid., p. 169.

Ibid., p. 170.

Ibid.

Ibid., p. 154.

Ibid., p. 155.

Mary Clark Amor. Madame Oscar Wilde, op. cit., p. 50.

Ibid., p. 52.

R. H. Davies, op. cit., p. 156.

M. Hyde, op. cit., p. 94.

R. Sherard. Twenty Years in Paris, op. cit., p. 43.

R. H. Davies, op. cit., pp. 157–158, n. 6.

E. H. Mikhail, op. cit., p. 119.

M. Hyde, op. cit., p. 85.

269

Мари-Луиза де ла Раме, по прозвищу Уида (1839–1908), английская писательница, автор романов «Шандос», «Под двумя знаменами».

Ibid., p. 165.

Patrick Byrne, op. cit., p. 176.

O. Wilde. Complete Works, op. cit., p. 809.

Перевод Ф. Сологуба.

Œuvres complètes, op. cit., 1977, t. II, p. 52.

Ibid., p. 74.

M. Hyde, op. cit., p. 101.

Ibid., p. 102.

Stephane Mallarme. Oeuvres completes. La Pleiade.

Wilde v. Whistler being an Acronimous Correspondence on Art. London, 1906, pp. 5, 6–7.

Ibid., p. 9.

Ibid., p. 10.

Ibid., p. 11.

283

Ibid.

Так назывался сборник статей О. Уайльда, вышедший в 1891 году. (Прим. пер.)

Œuvres complètes, op. cit., 1977, t. II, p. 424.

286

Эдвард Стэнхоуп (1840–1893), вице-президент Совета по образованию в июне 1885 года.

R. H. Davies, op. cit., p. 178.

Ibid., p. 177.

289

Генри Карри Мэрильер (1865–1951) в 1880–1881 годах жил на Стрэнде, неподалеку от Уайльда. В 1885 году студент классического отделения Кембриджского университета, впоследствии занимался литературным творчеством, журналистикой. (Прим. пер.)

Ibid., p. 181.

Ibid., p. 185.

M. Hyde, op. cit., p. 104.

293

Газетный псевдоним главного редактора газеты «Уорлд» Эдмунда Йейтса.

Wilde v. Whistler, op. cit., p. 12.

F. Harris, op. cit., p. 64.

Œuvres complètes, op. cit., t. I, p. 87.

M. Hyde, op. cit., p. 122.

Ibid., p. 106.

299

Джеймс Босуэлл (1740–1795), английский мемуарист, автор биографии своего друга лексикографа Сэмюэла Джонсона. Уистлер подписывал все свои картины бабочкой, эту деталь позднее заимствовал Марсель Пруст при описании Элстира.

Stuart Mason, op. cit., p. 28.

Ibid., pp. 28–29.

R. H. Davies, op. cit., pp. 194–195.

Stuart Mason, op. cit., p. 220.

Ibid., pp. 335–336.

First Collected Edition, op. cit., t. XIV, pp. 47–53.

W. B. Yeats. Le Fremissement du voile. Paris, Mercure de France, 1970, p. 40.

Ibid., p. 43.

Ibid., pp. 48–49.

Œuvres complètes, op. cit., 1977, t. II, p. 11.

E. H. Mikhail, op. cit., p. 155.

Ibid., p. 161.

R. H. Davies, op. cit., pp. 291–292.

Wilde v. Whistler, op. cit., p. 15.

Ibid., pp. 17–18.

315

Произведение Марселя Пруста, состоящее из семи романов и публиковавшееся с 1913 по 1927 год, то есть последние тома вышли уже после смерти писателя. (Прим. пер.)

Œuvres complètes, op. cit., t. II, p. 240.

Ibid., p. 274.

M. Hyde, op. cit., p. 271.

F. Harris, op. cit., p. 117.

M. Hyde, op. cit., p. 115.

R. H. Davies, op. cit., p. 253.

W. B. Yeats, op. cit., p. 74.

323

Грин был преподавателем философии в Оксфорде.

324

Недолго просуществовавший иллюстрированный журнал, издававшийся Шенноном и Чарльзом Рикеттсом; первый его номер Уайльд получил в августе 1889 года.

R. H. Davies, op. cit., p. 255.

Ibid.

Ibid., lettre écrite fin février 1890.

Stuart Mason, op. cit., p. 105.

R. H. Davies, op. cit., p. 257.

Ibid., p. 259.

Ibid., p. 263, n. 1.

Ibid., p. 266.

333

Так назывались собрания поэтов и художников-символистов, которые организовывал их вдохновитель Стефан Малларме.

J. de Langlade. Oscar Wilde écrivain français. Paris, Stock, 1975, p. 25.

R. H. Davies, op. cit., p. 273, n. 2.

Ibid., p. 274.

Ibid., pp. 275–276.

338

Один из персонажей «Человеческой комедии» Оноре де Бальзака. (Прим. пер.)

R. H. Davies, op. cit., p. 277.

Stuart Mason, op. cit., p. 329.

R. H. Davies, op. cit., pp. 287–288; en français.

Ibid., p. 288.

343

Натаниэл Ротшильд (1840–1915), первый английский еврей, возведенный в пэры. Лайош Кошут (1802–1894), политический деятель, один из вдохновителей венгерской революции. Мантолини, персонаж из «Дэвида Копперфилда» Ч. Диккенса.

Wilde v. Whistler, op. cit., p. 20.

R. H. Davies, op. cit., p. 297.

Эта фраза была написана по-английски. (Прим. пер.)

Ibid., p. 298, n. 1.

Джордж Огастес Мур (1852–1933), ирландский романист, поэт и драматург. (Прим. пер.)

Stéphane Mallarmé. Œuvres complètes, op. cit., p. 65.

350

Роман Шарля Мари Жоржа Гюисманса, библия декадентов, которую читает уайльдовский Дориан Грей и которая открывает ему горизонты, за которыми он найдет свою погибель.

E. et J. de Goncourt. Journal, op. cit., t. Ill, pp. 357, 663.

Gazette des Beaux-Arts, avril 1968.

E. et J. de Goncourt, op. cit., t. IV, p. 116.

354

Письмо написано на французском языке.

355

Manuscrit B. N.. N. A. F. 15303, p. 184.

Ibid.

357

Le Figaro, 2 décembre 1891.

L’Echo de Paris, 6 décembre 1891.

359

Ernest Reynaud. La Mêlée symboliste. Paris,La Renaissance du Livre, 1920, pp. 394–395.

В тексте — на английском языке. (Прим. пер.)

R. H. Davies, op. cit., pp. 303–304.

M. Hyde, op. cit., pp. 131–132.

363

Все письма Уайльда к французским друзьям написаны по-французски. В издании писем поэта, подготовленном Р.-Х. Дэвисом, не воспроизводятся некоторые ошибки, которые фигурируют в рукописях.

Carteret, 1926, manuscrits B. N., CV 1109, p. 99, n. 169.

Cardinne-Petit. Pierre Louýs inconnu, p. 92.

Перевод М. Виталь.

367

La Conque, épreuve Rés. B. N., mai 1891.

Paul Vahéry. Œuvres poétiques, éd. Y. G. Le Dantec, t. I, p. 25.

369

André Gide. In Memoriam. Paris, Mercure de France, 1948, p. 15.

Ibid., pp. 16–17.

Correspondence Gide-Valéry, pp. 139–140.

Catalogue exposition Gide, B. N., 1970.

Correspondence Gide-Valéry, op. cit., pp. 142–144.

374

André Gide. Journal 1885–1939. La Pléiade, pp. 27–29.

375

Жюль Шере (1836–1932), известный французский художник-плакатист.

Stuart Mason, op. cit., pp. 365–366.

Ibid., p. 369.

R. H. Davies, op. cit., pp. 305–306.

Ibid., p. 305, n. 1.

Ibid., pp. 305–306, n. 1.

Ibid., p. 305, n. 1.

382

От Марка, 6; 29.

383

M. Drewska. Quelques interpolations de la légende de Salomé, p. 91.

A. Ransome. Oscar Wilde, p. 130.

385

Джордж Александер (1858–1918), известный английский актер и режиссер. В 1881–1889 годах играл в труппе Генри Ирвинга, затем с 1891 года и вплоть до своей кончины арендовал театр «Сент-Джеймс». (Прим. пер.)

E. H. Mikhail. Oscar Wilde Interviews and Recollections, op. cit.

387

Театр «Сент-Джеймс» расположен в самом сердце Вест-Энда. Он был основан известным тенором Джоном Брэмом, протеже леди Гамильтон. В 1882 году он приобрел трактир в Сент-Джеймсе на Кинг-стрит за восемь тысяч фунтов и начал строить театр при поддержке короля Вильгельма IV, влюбленного в ту пору в актрису миссис Джордан. 14 декабря 1885 года театр «Сент-Джеймс» распахнул свои двери. Преодолев изначальные трудности, театр вскоре аплодировал Гортензии Шнайдер, в которую был влюблен принц Уэльский, прежде чем воспылал страстью к божественной Лилли Лэнгтри. В 1891 году директором театра стал Джордж Александер.

R. H. Davies. The Letters of Oscar Wilde, op. cit., p. 311.

Lillie Langtry. The Days I knew, op. cit., p. 87.

V. Holland. Oscar Wilde and His World. London, Thames and Hudson, 1979, pp. 81–82.

Oscar Wilde. Complete Works, op. cit., 1972, p. 413.

W. Freeman. The Autobiography of Lord A. Douglas. London, M. Seeker, 1931, p. 35.

Ibid., p. 39.

Ibid., p. 61.

R. Croft-Cooke. Bosie, the Story of Lord A. Douglas. London, W. H. Allen, 1963, p. 51.

Ibid., p. 47.

Ibid., pp. 55–56.

R. H. Davies, op. cit., p. 312.

399

Le Gaulois, 18 avril 1892.

R. Croft-Cooke, op. cit., p. 56.

401

Ibid.

R. H. Davies, op. cit., p. 314.

403

Catalogue Carteret, p. 104, n. 178; en français.

Stuart Mason, op. cit., p. 374.

Catalogue Carteret, op. cit., p. 99, n. 170.

R. H. Davies, op. cit., p. 316, n. 3.

407

Le Gaulois, 29 juin 1892.

L’Echo de Paris, 2 juillet 1892.

Manuscrits B. N N. A. F. 15303, pp. 178–180.

R. H. Davies, op. cit., pp. 316–317.

Ibid., p. 317, n. 2.

Lettres inédites.

R. H. Davies, op. cit., p. 320.

Ibid., p. 321.

415

Джон Уэбстер (1580–1624), английский драматург, автор двух драм в стихах «Белый дьявол» (1612) и «Герцогиня Амальфи» (1614), которые по своей трагической силе и богатству мыслей стоят в одном ряду с лучшими произведениями У. Шекспира. (Прим. пер.)

Ibid., p. 322.

Ibid., p. 326.

Pierre Louýs. Poèmes, p. 204.

R. H. Davies, op. cit., p. 324.

M. Hyde, op. cit., p. 130.

R. Croft-Cooke, op. cit., p. 74.

422

Le Gaulois, 12 février 1893.

423

L’Univers illustré, 10 juin 1893.

L’Echo de Peris, 10 juin 1893.

P. Champion. Marcel Schwob, p. 99.

Jules Renard. Journal. La Pléiade, p. 123.

427

C. Mauclair. Servitudes et grandeurs littéraires. Paris, Ollendorf, 1922, pp. 52, 54.

Ernest Reynaud. La Mêlée symboliste, op. cit., p. 143.

429

Préface de Une maison de grenades, p. 1.

Préface d’lntention, pp. IX, XIII.

J.-E. Blanche. Propos de peintre, II-e série, p. 136.

J.-E. Blanche. La Pêche aux souvenirs, p. 296.

La Plume, mars 1893, pp. 117–118.

L’Action, 23 juin 1912.

L’Ami du peuple, 23 janvier 1930.

E. H. Mikhail, op. cit., p. 193.

R. H. Davies, op. cit., p. 331.

Ibid., p. 332, n. 2.

Ibid., p. 336.

440

Этот театр, расположенный в центре Вест-Энда, является старейшим лондонским театром (построен в 1720 году) после Королевского театра Друри Лэйн. На его сцену поднимались, сменяя друг друга, величайшие актеры — Мак Реди, Эдмунд Кин, Чарльз Кембл, миссис Сиддонс, Эллен Терри, Лилли Лэнгтри… В 1878 году на сцену «Хеймаркета» вышел Герберт Бирбом Три. Девять лет спустя он стал директором театра. Именно он стал гарантом успеха всех постановок спектаклей и превратил это заведение в место высокой моды, где представления разыгрывались как на сцене, так и в зрительном зале. В дни премьер весь Лондон буквально сражался за билеты.

E. H. Mikhail, op. cit., pp. 217, 184–185.

Stuart Mason, op. cit., p. 404.

443

Lettres inédites de P. à G. Louýs.

Catalogue Carteret, n. 176, p. 102.

R. H. Davies, op. cit., pp. 334–335.

Oeuvres competes, 1972, p. 475.

R. Croft-Cooke, op. cit., p. 79.

R. H. Davies, op. cit., pp. 342–343, n. 5.

449

В своих воспоминаниях Фрэнк Харрис пишет, что эта реплика была адресована приятельнице Уистлера и весьма некрасивой женщине Анне де Бове. Однако певица в своих мемуарах утверждает, что именно она явилась адресатом этой остроты, приведшей ее в полный восторг.

Ibid., p. 344.

Ibid., p. 346.

R. Croft-Cooke, op. cit., p. 82.

Ibid.

R. H. Davies, op, cit., pp. 347–348.

R. Croft-Cooke, op. cit., p. 84.

Ibid., pp. 92–94.

R. H. Davies, op. cit., p. 353.

R. Croft-Cooke, op. cit., pp. 97–98.

R. H. Davies, op. cit., p. 354.

J. Delay. La Jeunesse d’André Gide. Paris, Gallimard, 1956, 2 vol., t. II, p. 248.

André Gide. In Memoriam, op. cit., p. 19.

R. H. Davies, op. cit., p. 354, n. 2.

Ibid.

Stuart Mason, op. cit., p. 393.

465

Перевод Н. Гумилева.

Œuvres complètes, op. cit., t. II, pp. 55, 62.

W. Freeman. The Life of Lord A. Douglas, op. cit., p. 105.

R. H. Davies, op. cit., p. 358.

Ibid.

Шэмроком в Ирландии называют клевер.

Ibid., p. 373.

M. Hyde, op. cit., p. 172.

R. H. Davies, op. cit., p. 381.

More Letters of Oscar Wilde. London, John Murray, 1985, p. 189.

Ibid., p. 128.

J. Delay, op. cit., t. II, p. 380.

477

«Иди со мной» (лат.) — здесь: неизменный спутник. *(Прим. пер.)*

Ibid., pp. 447–448.

André Gide. Si le grain ne meurt, 1955, p. 291.

Cité par J. Delay in op. cit., t. II, pp. 451–452.

In Memoriam, op. cit., p. 31.

Вид барабана в арабских странах. *(Прим. пер.)*

André Gide. Si le grain ne meurt, op. cit., p. 298.

Ibid., pp. 299–300.

485

André Gide. Les Nourritures terrestres. 1921, p. 178.

R. H. Davies, op. cit., p. 385.

Stuart Mason, op. cit., p. 433.

В последнем слове маркиз написал лишнее «м». *(Прим. пер.)*

F. Harris, op. cit., t. I, pp. 192–195.

Œuvres compètes, éd. Collins, p. 521.

M. Hyde, op. cit., p. 180.

I The Times, 4 April 1895.

493

Так в тексте. (Прим. пер.).

Ibid., 6 april 1895.

R. H. Davies. The Letters of Oscar Wilde, p. 386.

Ibid.

L’Echo de Paris, 5 avril 1895.

R. H. Davies, op. cit., pp. 389–390.

Ibid.

R. H. Davies. More Letters of Oscar Wilde, op. cit., p. 133.

501

M. Hyde. The Trials of Oscar Wilde, trad. P. Kyria, Edito Service, 1971, p. 136.

R. H. Davies, op. cit., p. 391.

503

Ibid.

The Times, 27 April 1895.

R. H. Davies, op. cit., p. 394.

506

L’Echo de Paris, 20 avril 1895.

E. et J. de Goncourt. Journal, op. cit., t. IV, p. 780.

F. Harris. The Life and Confession of Oscar Wilde, op. cit., t. I, p. 285.

Ibid., p. 310.

510

L’Echo de Paris, 23 mai 1895.

Œuvres complètes, op. cit., t. I, p. 342.

512

Речь идет о романе Достоевского «Записки из мертвого дома», где автор описывает четыре года, проведенных на каторжных работах в Сибири с 1850 по 1854 год.

«Баллада Редингской тюрьмы», пер. Н. Воронель. (Прим. пер.)

514

Колесо — вид тюремного наказания, когда заключенного заставляли подолгу ходить внутри большого колеса со ступеньками. (Прим. пер.)

Bernard Shaw. English Prisons, p. XII.

F. Harris. The Life and Confession of Oscar Wilde, op. cit., t. II, pp. 331–332.

517

Перевод Н. Воронель.

Œuvres complètes, op. cit., t. II, p. 81.

519

Aftermath, p. 19.

520

L’Echo de Paris, 13 juillet 1895.

M. Clark Amor. Madame Oscar Wilde, op. cit., p. 241.

Œuvres complètes, op. cit., t. I, pp. 365–366.

M. Hyde. The Trials of Oscar Wilde, op. cit., p. 268.

Œuvres complètes, op. cit., t. I, p. 332.

525

L’Echo de Paris, 28 novembre 1895.

526

В интересах своих сыновей она решила вновь взять свою девичью фамилию.

527

Le Journal, 12 février 1896.

Ibid.

529

Жан-Батист Маршан (1863–1934), французский генерал и исследователь. Отправившись в 1897 году в Конго, он вышел к Нилу у Фашоды, занял ее, но вскоре, в 1898 году, получил приказ эвакуироваться оттуда. (Прим. пер.)

R. H. Davies. The Letters of Oscar Wilde, op. cit., p. 399.

Ibid., p. 401.

Ibid., p. 403.

Ibid., p. 408.

Ibid., p. 410.

Ibid., pp. 423–424.

Œuvres complètes, op. cit., t. I, p. 16.

Новая жизнь (итал.). (Прим. пер.).

Aftermath, op. cit., p. 99.

539

Revue blanche, 15 décembre 1896.

R. H. Davies, op. cit., p. 515.

R. H. Davies. More Letters, op. cit., p. 141.

Ibid., p. 534.

Aftermath, op. cit., p. 138.

R. H. Davies, op. cit., p. 559.

545

The Morning, 19 mai 1895.

Aftermath, op. cit., p. 143.

R. H. Davies. The Letters of Oscar Wilde, op. cit., p. 566.

Ibid., p. 567.

Ibid.

S. Pakenham. The English at Dieppe, 1814–1914. Les Informations dieppoises. 1971, p. 141.

R. H. Davies, op. cit., p. 577.

552

Марсель Жуандо.

553

Книга Эрнеста Ла Женесса (1874–1917) «Подражание Нашему Величеству Наполеону» вышла в 1897 году. (Прим. пер.)

Ibid., p. 590.

André Gide. In Memoriam, op. cit., p. 35.

Ibid., pp. 39–40.

557

Эрнест Даусон (1867–1900), английский поэт, познакомился с Уайльдом в 1890 году. (Прим. пер.)

558

Чарльз Кондер (1868–1909), английский художник, известный рисунками на веерах и акварелями на шелке, которые очень нравились Уайльду. (Прим. пер.)

559

Делхаузи Янг (1866–1921), английский композитор и пианист, автор памфлета «Апология Оскара Уайльда», написанного вскоре после заключения Уайльда в тюрьму. (Прим. пер.)

R. H. Davies, op. cit., p. 594.

Ibid., p. 598.

Alin Caillas. Oscar Wilde tel que je l'ai connu. 1971, p. 71.

R. H. Davies, op. cit., p. 613.

Ibid., p. 614.

Ibid., pp. 628–629.

F. Harris. The Life and Confession of O. Wilde, op. cit., t. II, p. 404.

R. H. Davies, op. cit., p. 637.

Ibid., p. 644–645.

Ibid., p. 644.

Ibid., p. 653.

Ibid., p. 675.

Ibid., p. 685.

Ibid., p. 691.

R. H. Davies. More Letters, op. cit., p. 162.

575

В книге: Оскар Уайльд. Письма. (М.: Аграф, 1997) указывается, что данное письмо было адресовано Роберту Россу. (Прим. пер.)

F. Harris, op. cit., t. II, p. 407.

577

Жан Кокто.

578

Самая известная романтическая поэма Колриджа, вышедшая в 1798 году.

R. H. Davies. More Letters of Oscar Wilde, op. cit., p. 170.

R. H. Davies. The Letters of Oscar Wilde, op. cit., p. 706.

Ibid., p. 709.

Ibid., p. 705.

Ibid., p. 727.

Ibid., p. 714.

Ibid., p. 715.

Обри Бердслей скончался 16 марта 1898 года в возрасте двадцати двух лет. (Прим. пер.)

Ibid., p. 727.

От французского «floriférе» — цветоносный. *(Прим. пер.)*

Ibid., pp. 729–730.

Ibid., p. 735.

Ibid., p. 737.

592

Альфред Жарри (1873–1907), французский писатель, создатель персонажа Юбю, героя ряда его произведений; предтеча сюрреализма. (Прим. пер.)

Ibid., p. 746.

По этому адресу расположено Общество Оскара Уайльда под председательством Ее Королевского Высочества принцессы Марии Пии Савойской, в котором принимают почитателей писателя.

Ibid., p. 753.

R. H. Davies. More Letters of Oscar Wilde, op. cit., pp. 172–173.

597

Андре Антуан (1858–1943), французский актер и режиссер, основавший в 1887 году Свободный театр, пропагандист эстетики натурализма. (Прим. пер.)

R. H. Davies. The Letters of Oscar Wilde, op. cit., p. 751.

Ibid., p. 756.

Ibid., p. 759.

601

Ruben Dario. Autobiografia. Buenos Airres, 1912.

R. H. Davies, op. cit., p. 762.

Ibid., p. 769.

Ibid., p. 771.

Œuvres complètes,op. cit., t. I, p. 350.

R. H. Davies, op. cit., p. 775.

Ibid., p. 783.

Ibid., p. 784.

609

Так в тексте. ***(Прим. пер.)***

610

Жорж Буланже (1837–1891), военный министр Франции в 1886— 87 гг., пользовался большой популярностью, позже собрал вокруг себя военачальников, недовольных режимом, но, триумфально избранный в Париже, не решился на государственный переворот (1889); под угрозой ареста бежал в Бельгию, где покончил с собой на могиле своей любовницы. *(Прим. пер.)*

611

Джордж Бруммелл (1778–1840), английский денди, прозванный «Королем моды». (Прим. пер.)

Ibid., p. 802.

Ibid., p. 809.

Francis Carco. La Belle Epoque. 1954.

[29] Ernest La Jeunesse. Préface à Salomée, ed. 1917, p. 29.

R. H. Davies, op. cit., p. 822.

Ibid., p. 828.

Alfred Douglas. Oscar Wilde et moi. Emile-Paul Frères, 1917, pp. 72–73.

619

Эта запись сохранилась и находится в коллекции Общества Оскара Уайльда.

F. Harris. The Life and Confession of Oscar Wilde, op. cit., t. II, p. 531.

621

В своем письме к Мору Эйди от 14 декабря 1900 года Роберт Росс писал, что Оскар Уайльд «отошел в час пятьдесят пополудни». (Прим. пер.)

Перевод Н. Воронель.

Œuvres complètes,op. cit., t. II, p. 83.

Саша Гитри.

Préface à Salomée, op. cit., p. 30.

André Gide. In Memoriam, op. cit., p. 12.

В последний момент (лат.). *(Прим. пер.)*

Re In Pacet — Покойся с миром (лат.). (Прим. пер.)

629

Иов, XXIX.

630

Из «Баллады Редингской тюрьмы», пер. Н. Воронель.

[3] Chips. The Diaries of sir Henry Shannon. London, 1967, p. 338.

[4] Ibid., p. 400.

633

Перевод М. Виталь.

[5] Oscar Wilde and His Confessions, t. II, p. 522; trad. Par Lucie Delarue-Mardrus.

635

Составил А. Зверев.